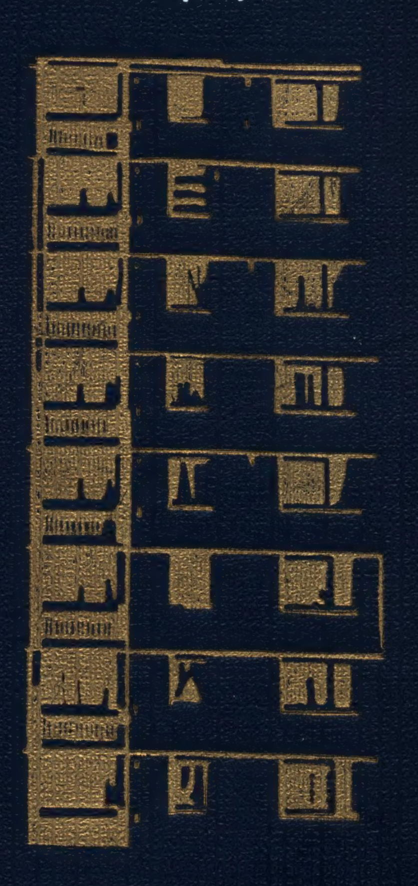
АРКАДИЙ САХНИН

ЧУЖИЕ ЛЮДИ

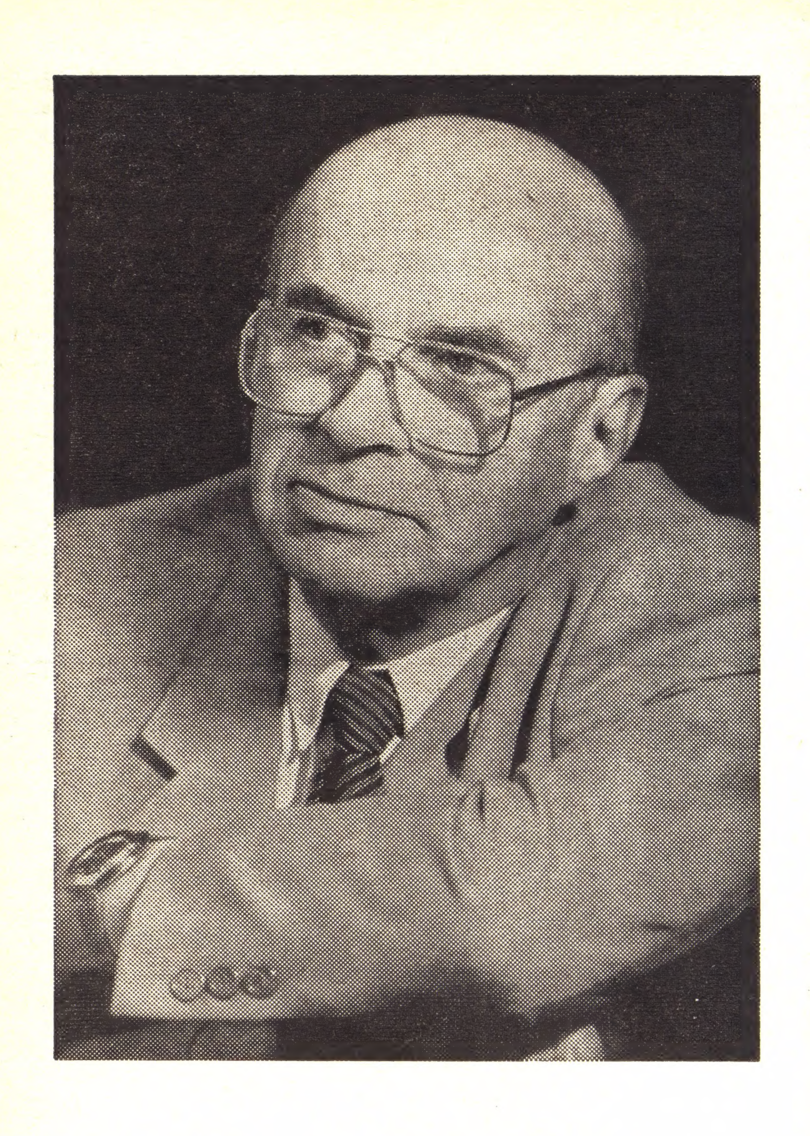






АРКАДИЙ САХНИН

ЧУЖИЕ ЛЮДИ



АРКАДИЙ САХНИН

ЧУЖИЕ ЛЮДИ

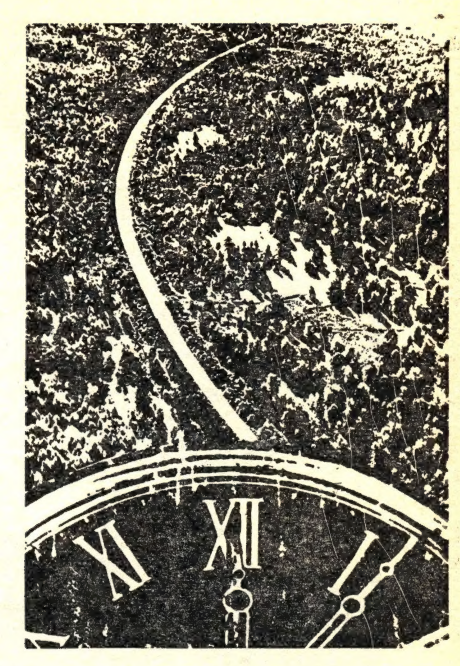
ПОВЕСТИ И ОЧЕРКИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

ББК 84. Р7
С 22

Художник
ВАСИЛИЙ ТЕРЕЩЕНКО

С $\frac{4702010200—267}{083(02)—86}$ 134—86



ПОВЕСТИ



НЕОТВРАТИМОСТЬ

1

Заседание бюро обкома партии проходило бурно. Заканчивалось в полном молчании. За массивным, во всю длину зала, столом, вокруг которого собралось человек тридцать, царила противоестественная тишина. Одни смотрели вниз, точно боясь поднять голову, другие как бы украдкой поглядывали на покрасневшее от возбуждения лицо совершенно растерянного человека. Он озирался, и глаза его, полные отчаяния, останавливались то на одном, то на другом, будто моля о помощи.

Но каждый, на кого бы он ни смотрел, отводил взгляд.

Люди молчали.

— Но это же чудовищное недоразумение,— проговорил он наконец, едва произнося слова.— Наваждение какое-то...

Поднялся первый секретарь обкома Владимир Михайлович Званов. Сказал спокойно и твердо:

— Еще раз прошу вас сдать партийный билет. Вы видели — решение принято единогласно.— И обернулся в сторону председателя парткомиссии: — Товарищ Чугунов...

Чугунов подошел к исключенному, и тот медленно достал из бокового кармана бумажник. Медленно вытащил партбилет.

Маленькая книжечка в сафьяновой обложке. Никогда не приходило в голову рассматривать ее. Хранить — да, хранил бережно, в служебном сейфе. Когда надо было идти в обком или другие партийные органы, брал с собой и предъявлял у входа не раскрывая. Платя взносы, тоже не рассматривал ее, секретарь парторганизации сам находил нужную страничку, проставлял сумму заработка за месяц, сумму взноса, расписывался и ставил маленький фиолетовый штампик. Каждый месяц — штампик. На каждой страничке двенадцать штампиков. Каждая страничка — год. Год жизни.

Он листает странички. Год за годом перед глазами проходит жизнь. Сколько же секретарей сменилось за последнее десятилетие? И суммы заработка... Нет, это не бухгалтерские цифры. По ним видно, какие должности

на протяжении многих лет он занимал, видно, как поднимался на новые высоты. И вот — последняя. Последняя высота. Взглянуть — голова закружится. Как не сознавал этого раньше... И страничка последняя. Последняя заполненная. А дальше — свободные, чистые, только разграфленные: «Сумма заработка за месяц», «Сумма взноса», «Подпись секретаря» и двенадцать чистых строчек. Никто больше не станет их заполнять, никто не поставит штампика...

Он листает чистые странички. Вот и чистые кончились. Дальше — обложка. Больше ничего нет. Кончился партбилет. Кончилась жизнь...

Точно не решаясь потревожить человека в столь трагическую минуту и все-таки поторапливая его, Чугунов кашлянул. А тот, на мгновение подняв ничего не видящие глаза, снова уставился в партбилет, начал медленно извлекать его из сафьяновой обложки.

Едва ли дорожил ею, скорее помимо воли тянул время. Не было мочи так просто взять и своими руками отдать партийный билет. Отдать навсегда. Кто-то перечеркнет черной тушью первую страничку, линия пройдет и через его лицо на фотографии, и поставят последний штамп. Большой жирный штамп: «Аннулирован». Это он аннулирован, перечеркнут, вычеркнут из жизни. Точно так аннулируется партийный билет, когда человек умирает.

И в гнетущем безмолвии зала в полную силу загремел голос, только что звучавший так беспомощно и жалко. Вскинув голову, уставившись на секретаря обкома, выкрикнул:

— А вы мне его давали?! — Кровь прилила к лицу, вздулись на шее жилы, заходили желваки. Гневом засверкали глаза.— Вы мне его давали, я спрашиваю! Я в бою его получил, кровью своей оплатил! Не отдам!

2

Кто может угадать, когда над головой нависнет беда? Сергей Александрович Крылов приехал в крупный областной центр Лучанск в отличном настроении. Запер свой маленький чемодан в камере хранения, набрав на цифровом замке номер своего автомобиля — зачем придумывать, записывать или, того хуже, держать в голове цифры, если только один раз в жизни они и потребуются.

Вышел на вокзальную площадь и зашагал широко, размашисто. У него крупное, грубоватое лицо, изрядное место отвоевала себе седина в его красивых, волнами волосах, но крепок, подтянут, строен. И не скажешь, что далеко не молод человек, что в теле его три осколка, а на ногах глубокие рваные шрамы, оставленные войной.

Инженер-механик по образованию, он ни одного дня не работал по специальности. В тридцатые годы учился в индустриальном институте. Ему это было неинтересно. Учиться там престижно, потому и поступил. Гуманитарные профессии в ту пору не почитались, да и не очень они его прельщали. Он сам не знал, чего хотел. Ничего не хотел.

Стипендии на жизнь не хватало. Отца не было, и помощи ждать было неоткуда. Некоторые студенты с его курса подрабатывали в железнодорожных пакгаузах, таская тяжелые мешки. Это ему не подходило. Наиболее предприимчивые однокашники нашли заработок на кондитерской фабрике — грузили ящики с печеньем. Работа полегче, да и выгодней. Выносить печенье не удавалось, зато наедались им до тошноты. Он не оказался в числе предприимчивых. Посчастливилось устроиться на подсобные работы в редакции отраслевой газеты. Посчастливилось... Уж лучше бы таскать мешки... Проверь, действительно ли в таком-то общежитии непролазная грязь... Поезжай на завод, установи, за что уволили счетовода... Узнай, почему трамвай сошел с рельсов...

Проверь, установи, узнай, сверь цитаты, а этот, как барин, сядет и по готовому материалу напишет статью. Как же, известный журналист... черновой работой брезгует, да еще и издевается: «Как отчество Татьяны Лариной?» Откуда ему знать, как ее отчество! Пушкин называл только Татьяной, иногда прибавлял фамилию. И ни разу по отчеству.

Разыгрывали его часто, а он совершенно не мог держать удар, не знал, как отвечать, обижался. Обиды накапливались. Даже некоторые задания стали казаться обидными, чуть ли не унизительными... Ну, ничего, настанет и его врéмя... Какое время? Что настанет? Настанет, и все.

Написать заметку ему никто не поручал. Однажды увидел, как грубо оскорбили старую женщину, и решил выступить в ее защиту. Писал долго, стараясь представить себя на месте пострадавшей, все полнее ощущая ее

боль и беспомощность, и это уже становилось его собственной болью, его личным оскорблением, щемящим сердце. Он словно изливал негодование за свои собственные унижения, какими казались ему многие задания редакции и невинные розыгрыши.

В его заметке не было громких слов, казалось, написана она бесстрастно, но так, что вызывала гнев читателей против нравственных уродов. Ее опубликовали без правки и сокращений и высоко оценили на редакционной летучке.

В тот день впервые в жизни он испытал счастье. Целую неделю, приходя в студенческое общежитие, доставал из тумбочки газету, настороженно поглядывая на дверь — как бы не вошел кто-либо из ребят, и любовался заметкой, подолгу останавливал взгляд на своей фамилии, набранной жирным шрифтом.

Заметка изменила его жизнь. Будто после мокрой и скользкой глинистой дороги выбрался на асфальт. Еще любуясь первым своим творением, думал о новом, искал тему. Теперь поручения редакции не казались обидными, хотя по-прежнему интереса не вызывали. Ну что ж, таскать мешки тоже радости мало. Но что поделаешь — надо. Откуда что взялось,— на подковырки газетных острословов находил достойный ответ, и уже не всякий решался подшучивать над ним. Вскоре появилось его второе, тоже заметное выступление в газете.

Так началась его журналистская жизнь. Институт заканчивал экстерном, уже числясь в штате редакции, и на всю жизнь остался верен своей новой профессии, за исключением небольшого периода в самом начале войны.

В ту пору двадцатипятилетний, но уже с определенным опытом, он работал в ТАССе. В армию его не взяли — выдали бро́ню. И вот однажды срочно вызвали в райком партии. Кроме первого секретаря райкома в кабинете находился незнакомый человек в железнодорожной форме. После первых ничего не значащих слов о том, как идут дела, хозяин кабинета спросил Крылова, кто он по профессии. Вопрос удивил. Секретарь райкома хорошо знал его, знал, где и кем работает. К чему этот вопрос?

— Журналист...— растерянно сказал Крылов,— но по образованию...

— Нет,— прервал секретарь,— до института кем вы работали?

— Слесарем в депо, потом на паровозе...

— Вот-вот,— снова не дал ему договорить секретарь.— Понимаете, в Западном депо не хватает помощников машиниста, некому снаряды возить...

Крылов с облегчением вздохнул. Это хоть как-то смягчало угрызения совести: молодой, здоровый, сильный ворошиловский стрелок сидит за письменным столом в огромном здании, где почти не осталось молодежи, среди женщин, стариков и инвалидов, когда идет война.

Оставив записку главному редактору, он ушел в депо. Не станут же считать его дезертиром.

Три месяца, часто под бомбежками, водил поезда с военной техникой, боеприпасами и войсками. А потом прибыли из Белоруссии эвакуированные паровозники, и нужда в нем отпала. Пошел в военкомат. Сказали, взять не могут, поскольку на него бро́ня. Ему ничего не оставалось как вернуться на прежнее место работы. По дороге домой случайно встретил бывшего ответственного секретаря редакции отраслевой газеты, где начинал еще студентом, а ныне редактора фронтовой газеты, и тот забрал его в свою редакцию, надлежащим образом все оформив через военкомат.

С тех пор прошло больше трех десятилетий. Теперь номера газет, где печатались выступления Крылова, переходили из рук в руки, вызывали горячие споры, не утихавшие по нескольку дней, порой оставляя след на годы. Ему не раз приходилось писать о людских пороках, он получал удовлетворение, развенчивая недостойных, но подлинную радость обретал, лишь раскрывая характеры сильные, цельные, показывая людей мужественных и талантливых.

К одному из таких людей Сергей Александрович и приехал в Лучанск. Написать о нем, вернее, о таком человеке, предложил сам.

Каждый раз, когда предстояло выпустить газету, посвященную знаменательной дате, главный редактор Герман Трофимович Удалов собирал сотрудников, которых как-то в шутку назвал мозговым центром. Выражение прижилось, к нему привыкли, и оно уже не воспринималось иронически. На совещания мозгового центра приглашались сотрудники газеты не в зависимости от рангов или занимаемых должностей, а только особо инициативные, способные к выдумке, дававшие волю полету своей фантазии.

Решался там всегда только один вопрос — как лучше,

оригинальнее, интереснее выпустить данный номер газеты. Совещание не имело распорядка, регламента, не велся протокол, и разговор шел, как кто-то выразился, «в порядке бреда». Каждый говорил то, что приходило в голову. Даже самые нелепые предложения не осуждались, не высмеивались, их просто отвергали.

На последнем совещании мозгового центра, посвященном Дню Победы, Крылов предложил рассказать о герое войны, прежде человеке ничем не примечательном, но в боях проявившем не только мужество, но и изобретательность, незаурядные способности и талант организатора. Показать, как эти качества, раскрывшиеся в боевой обстановке, получили дальнейшее развитие на ответственном руководящем посту, который доверен ему сегодня.

Предложение приняли.

Начальник одного из крупнейших в стране главков Артем Савельевич Ремизов, к которому обратился Крылов, назвал кандидатуру в высшей степени подходящую. Непревзойденного героизма командир танкового взвода громил живую силу и технику врага, порой врываясь в его тылы. В одном из боев попал в окружение. Ему удалось скрыться в глухом лесу на оккупированной территории. Вскоре организовал партизанский отряд и снова громил врага. В настоящее время — генеральный директор крупного производственного объединения, из года в год перевыполняющего планы.

О лучшей кандидатуре и не мечталось. Именно о таком человеке хотелось написать, тем более человеке с такой фамилией.

Крылов придавал значение фамилии. Хорошо понимал абсурдность этого, тем не менее порой ему даже трудно было писать о герое, если у того была, как он выражался, сюсюкающая или рыхлая фамилия.

А тут сразу — Гулыга! Петр Елизарович Гулыга. Нет, не может иметь такую фамилию хлюпик или трус. Что-то мужественное, решительное почувствовал в ней Крылов.

И вот сейчас ему предстояло встретиться в Гулыгой. Каков он? Собственно говоря, Сергей Александрович уже довольно много о нем знал. По давно укоренившейся привычке беседовал с героем будущего очерка в последнюю очередь, уже после того, как заканчивал сбор материалов о нем. Так и поступил. Прежде всего отправился в места,

где когда-то партизанил Гулыга. А приехав в районный центр Липань, с благодарностью вспомнил слова Ремизова: «Человек очень скромный и ничего вам о себе не расскажет. Советую побывать в районном Музее боевой славы. А данные о его сегодняшней работе получите у нас».

Действительно, в липаньском музее была довольно широко отражена деятельность Петра Елизаровича во время войны. Здесь же экспонировалась книга его воспоминаний. Крылов с опаской прикоснулся к первым страницам — боялся разбить уже сложившийся в душе образ человека о его авторское «я», отлитое из словесной бронзы. Но, слава богу, автор провел Сергея Александровича по своим военным дорогам достойно, не опускаясь до мелкой человеческой слабости, даже наоборот, пряча свою главенствующую роль в танковых атаках и позднее в дерзких партизанских вылазках. Но, помимо воли автора, в сознании все-таки возникал и его героический облик.

В Крылове сочетались два, казалось бы, несовместимых качества. Будучи человеком широким, не очень организованным, порой бесшабашным, а главное, доверчивым, он, когда собирался писать о ком-то, становился до мелочей скрупулезным и придирчивым. Точно не веря самому себе, каждый факт, каждую деталь проверял по нескольку раз, пользуясь разными источниками.

Уже досконально зная биографию Петра Елизаровича, пошел в райком партии, спросил, нет ли у районного комитета возражений против публикации очерка о Гулыге. Первый секретарь райкома Степан Андреевич Исаев победно взглянул на него:

— На таких, как Гулыга, земля наша держится. Давно пора.

В самом лучшем настроении Крылов и приехал в Лучанск. Предстоящей встрече он придавал большое значение. В голове уже выстраивался очерк, но чего-то не хватало. Личного обаяния героя, что ли.

3

Как и в каждом городе, куда попадал впервые, с вокзала пошел пешком. Для апреля было холодновато, хотя и солнечно. Шел без головного убора, с расстегнутым воротом, любуясь красивыми магистралями и многоэтажными домами. Похоже, весь город был новым. Так и по-

думал бы Сергей Александрович, не знай он, что стоит на Руси тот город уже столетия. Видно, не много от него осталось после войны.

Пешеходы, одетые уже легко, по-весеннему, торопились на работу. Один за другим подходили автобусы и троллейбусы, поглощая на остановках пассажиров. Разворачивался на площади огромный «Икарус». «Наверное, за ними»,— подумал Крылов, глядя на большую группу туристов у гостиницы «Центральная».

Сергей Александрович, ориентируясь по карте города, купленной на вокзале, без труда отыскал нужную улицу и большое здание управления. Он страшно не любил останавливать пешеходов и лезть к ним с расспросами.

В просторной приемной сидело несколько человек. У входа в кабинет Гулыги — респектабельная секретарша.

К секретаршам у Крылова было свое отношение — настороженное, недоверчивое. Порой бездумно, точно щитом прикрывают они своих шефов, ограждая их от посетителей и телефонов. Неприступный вид, непроницаемое лицо, холодные глаза: «Занят... не скоро... не знаю... звоните». Набор одинаковых фраз на все случаи жизни. Такую не проймут ни просьбы, ни мольбы, ни угрозы. Первая мысль, которая овладевает ею при виде посетителя,— как бы побыстрее от него избавиться.

Насмотрелся Крылов на таких секретарш, ох как насмотрелся. Знал он и другое. Умная, добросовестная секретарша без ущерба для дела и интересов людей неизмеримо облегчает работу руководителя. По первым же фразам посетителя безошибочно определит, с кем имеет дело. Этот — просто сутяга, и надо выставить его немедленно. У второго — вопрос пустяковый, вполне может решить не только шеф, а вот у этого действительно важное дело, и надо улучить минуту, точно определить, когда удобнее руководителю принять его.

Ответив на приветствие Крылова, секретарша — звали ее Анна Константиновна — окинула его оценивающим взглядом.

— Петр Елизарович у себя?

— Да, но сейчас он занят. Вы по какому вопросу?

— Как вам сказать?.. У меня много вопросов.

— Возможно, проще непосредственно к исполнителю или...

— Нет, лично к нему.

Раздался негромкий звонок.

— Извините, минутку,— и, чуть приоткрыв дверь кабинета, скрылась за ней. А он не привык стоять перед закрытой дверью. Решительно распахнул ее, уверенно шагнул.

Просторный, строго обставленный кабинет. Вдоль стен и за длинным столом заседаний — стулья.

Гулыге лет шестьдесят, довольно солидная комплекция. Умное, волевое лицо, добрые глаза. Крылов вошел в тот момент, когда раздался телефонный звонок, и Гулыга, не обратив на него внимания, поднял трубку:

— Слушаю.

Анна Константиновна, возмущенно взглянув на Крылова, быстро направилась навстречу. А он так и остался стоять у двери и, выслушав упреки и ее просьбу покинуть кабинет, ничего не ответив, сел на ближайший стул — никуда я отсюда не пойду. Она продолжала что-то говорить шепотом, но Крылов не слушал ее.

— Как же так! — строго выговаривал кому-то Гулыга.— Три года Чумаков обивает у вас пороги, а вы хоть бы что. Вы же обязаны сделать у него ремонт... А ему фонды спускали, когда он замерзал в партизанских лесах? — горячился генеральный директор.— А выделяли ему дополнительные фонды крови, когда он проливал ее за родину? А вы... Эх вы, какой-то несчастный десяток досок... Тем более, если развалюха. Да как вы не понимаете, черт возьми,— резко повернулся он на стуле.— Ветеран войны, партизан — и в развалюхе. Да это же не ремонтно-строительный вопрос — политический. Когда вы наконец поймете это?.. Понятно...— Голос стал спокойным, мягким.— Понятно... А как с моей пристройкой?

Крылов с интересом слушал, сидя у двери. Потеряв надежду выставить его и лишенная возможности апеллировать к кому-либо, точно страж, встала возле него секретарша.

— Понятно...— еще раз протянул Гулыга безразличным тоном. И вдруг загремел: — Так вот! Обе бригады посылайте с утра не ко мне, а к Чумакову. А сегодня, вы меня слышите, сегодня все материалы до последнего кирпича, до последней доски перевезите с моего участка к нему. Чтобы, как вы выражаетесь, фронт работы был обеспечен с утра. Ясно? И пока не закончите ремонт у Чумакова, вы слышите, пока не уберут у него строительный мусор — ни одного человека ко мне. Ясно? — И в сердцах бросил

трубку: — Подхалимы несчастные, бюрократы проклятые...

— Петр Елизарович! — Анна Константиновна развела ладонями вверх руки, указывая на гостя.— Ворвался... без разрешения...

Петр Елизарович как будто только сейчас увидел посетителя.

— Вы что, товарищ?

Крылов торжествовал. Вот оно — начало очерка. Стенографически точно передать этот разговор! Он дал ему, может быть, больше, чем все ранее собранные о Гулыге материалы. Никаких эпитетов — «чуткий к чужим нуждам, отзывчивый, скромный, все для простых людей в ущерб себе» — ничего этого можно не писать. Читатель все сам увидит из одного эпизода. Даже не будь у человека такой героической биографии, Крылов потянулся бы написать о нем, только услышав подобный разговор. Нет, не на каждом шагу попадаются такие люди.

Может быть, восторженные мысли Крылова отразились на его лице, возможно, что-то подкупающее увидел в нем Гулыга, только на очередной протестующий жест секретарши мягко сказал:

— Не будем терять времени, я вас потом приглашу.— И обернувшись к Крылову, улыбнулся: — Так что у вас, товарищ?

Анна Константиновна недовольно покинула кабинет.

— Я лично к вам, Петр Елизарович,— направился он к столу.— Журналист. Крылов моя фамилия, Сергей Александрович...

— Крылов? Это не ваша ли статья «Обыкновенное головотяпство»? Теперь нас громить приехали?— и он улыбнулся.

— Ну, так уж сразу громить... А вдруг прославлять?

— Давно пора... садитесь, что же вы стоите... А то все о металлургах, шахтерах, машиностроителях. Понимаю, группа «А», важнейшие отрасли. Ну а сахар? Это же валюта. Что он — с неба валится или вот так сыплется? — показал он на тумбочку, стоящую в углу. На ней — огромный, в мелкой резьбе хрустальный рог, из которого сыплются кусочки «сахара».— Много у нас достойных, даже героических тружеников. Выбирайте, могу подсказать.

— Уже выбрал, о вас писать буду.

— Обо мне? — удивился Гулыга и неожиданно рассмеялся.— Нет уж, избавьте. Мы что? Чиновники. Прослав-

лять надо рабочего человека, людей, создающих ценности.

— Верно, конечно,— согласился Крылов,— но ко Дню Победы редакция решила рассказать о подвигах ветерана войны, который занимает сейчас крупный пост и хорошо ведет дело.

— Интересная мысль. У нас полтора десятка заводов и совхозов, есть среди директоров предприятий и фронтовики, отлично работающие сегодня. Вот подойдите сюда,— отодвинув бумаги, показал на какой-то список, лежавший под стеклом.— Вот они все здесь перечислены, давайте выбирать...

— Нет уж, не будем подвергать сомнениям рекомендацию начальника главка товарища Ремизова и решение нашего главного редактора. Остановились на вас, и сам я ничего не могу уже изменить.

Гулыга хотел что-то сказать, но Крылов опередил его:

— Не надо скромничать, Петр Елизарович. Вы геройски воевали в танковых войсках, организовали подполье, командовали партизанским отрядом... О ком писать, как не о вас... И потом, не обижайтесь, пожалуйста, не ради вас же это делается. Пусть наша молодежь учится, берет пример.

Три долгих вечера Крылов провел в беседах с Гулыгой. Ремизов оказался прав — почти ничего о себе Петр Елизарович не рассказывал. Говорил о достижениях предприятий объединения, о передовых людях, о подвигах своих военных соратников, в большинстве погибших. Поведал и горькую историю предательства одного из своих односельчан.

Крылову уже было почти безразлично, добавит он новые факты к биографии или нет, фактов и так хватало с лихвой. Важно было, как он говорит, как ведет себя. И здесь душа журналиста радовалась. Обаятельнейший человек, удивительной скромности, такта. Никогда еще Крылов так легко не работал — ночью в поезде вдруг «проговорил» про себя весь очерк. Каждое слово — нужное, живое — словно впечатывалось в память. Утром, переступив порог своего дома и отбыв ряд мелких жизненных повинностей — завтрак, телефонные звонки, разговор с женой, уселся за машинку.

Очерк о Гулыге был дорог Крылову. Пока писал — будто сам прожил героическую жизнь.

Публикация биографии героя стала фактом его соб-

ственной биографии, ибо не только он сам, но, что важнее, собратья по перу считали очерк лучшим его произведением.

Неделя до выхода праздничного номера в свет пролетела в нервном напряжении — тщательно вычитывал гранки, сам определил место на полосе в макете, радовался, что ответственный секретарь согласился с ним. «Не знаю,— отвечала на телефонные звонки жена,— или в редакции, или в сумасшедшем доме».

Обычно, когда верстается полоса, где стоит материал Крылова, он не отходит от талера, пока она не уйдет под пресс на матрицирование. Все. Никто уже никакой правки внести не сможет. Он не опасался, что его будут править, давно миновало то время, когда в отделе, секретариате, редакторате могли изменить без его ведома хоть слово. Но он хорошо знал технологический процесс.

«На третьей полосе — хвост двенадцать строк», «На пятой полосе — два хвоста...» — то и дело слышатся выкрики метранпажа. Концовки не влезающих в полосу материалов «вывешиваются» на ее полях. Обязанность дежурного редактора в частности — сократить соответствующее количество строк. И тут уж он делает это по своему усмотрению. Согласовывать с отделом, а тем более с автором нет времени. И чаще всего для простоты концовка и сокращается. Но когда у талера Крылов, он сам находит, что именно вычеркнуть с наименьшим ущербом для статьи.

Правда, к талеру рядового литсотрудника не допустят, это привилегия маститых. Что касается очерка о Гулыге, то Крылов провожал его не только до талера.

Решил дождаться выхода номера. Удивительное дело — статья, очерк, любой материал, написанный от руки,— это одно, но напечатанный на машинке он воспринимается уже по-другому, он же в гранках или верстке как бы обретает новую силу, а уж в вышедшем номере газеты — будто обнажил себя.

Крылов стоял у ротационной машины, любуясь ее работой. Она втягивала в себя широкую ленту газетной бумаги, разматывая рулон, видно, как, складываясь, тянется между барабанами, и вот уже вылетают сложенные, автоматически подсчитанные газеты, укладываясь в пачки, которые уносит лента транспортера.

Не стесняясь печатников, Сергей Александрович выхватил перед счетчиком газету, раскрыл и посмотрел на свое детище. На его лице была радость.

4

Дитриху Грюнеру было семнадцать лет, когда его взяли в армию и послали на фронт. Воевать почти не пришлось — весь их полк был разгромлен под Смоленском, а сам он попал в плен. Два года находился в Советском Союзе.

Спустя много лет, на конгрессе Международной организации журналистов, проходившем в Берлине, он познакомился с Крыловым. Грюнер, работавший тогда в дрезденской газете, возглавлял делегацию ГДР, а Крылов — советскую. Их номера в гостинице были рядом, обедали и ужинали они за одним столом. Грюнер прилично знал русский язык, но дело не в языке. Хотел того или нет Сергей Александрович, но где-то в сознании или подсознании шевелилось, скреблось: он вполне мог в меня стрелять или даже убить. Да, это было не в сознании — разумом он понимал: нелепо, дико в чем-то обвинять Дитриха Грюнера или относиться к нему с недоверием. Член коммунистической партии, отличный журналист-международник, он раскапывал и публиковал все новые факты, раскрывающие существо фашизма. Но это был первый приезд Крылова в страну, где его окружали только немцы. Войну он закончил в Кенигсберге и до центра Германии не дошел.

Как-то за ужином один из членов делегации ГДР, тоже побывавший в плену, сказал Крылову:

— Вы вели очень умную и дальновидную политику, ваша тактика оказалась правильной. Создавая хорошие условия для пленных немцев, вы готовили себе сторонников. Каждый пленный впоследствии становился вашим агитатором. А пленных были миллионы. Теперь все бывшие пленные в Западной Германии, а тем более в ГДР — ваши надежные друзья.

— Ты есть прав, Ганс,— вмешался Дитрих.— Я тоже имел замечать: все, кто немножко жил в России, также узнавал ее, образовались самые верные ее друзья. Только это есть не политика,— положил он руку на плечо Ганса.— И не есть тактика. Гуманисмус к человеку есть существо строя, из которого он состоит, как есть существо фашизма его злободеяния.

— Ничего не могу добавить,— улыбнулся Крылов. Он не сказал, только подумал: «Умный и глубокий человек». Крылов повторил эту фразу про себя, аплодируя Грюнеру после его страстного выступления на конгрессе.

Они стали друзьями. Во время командировок встречались и в Москве и в Берлине, помогая другу другу в работе.

Спустя месяца три после публикации очерка о Гулыге Крылов получил задание написать о подвиге бывшего шахтера Петра Максимчука, проходившего военную службу в Группе советских войск в Германии, ценою собственной жизни спасшего от гибели немецкую школьницу. В помощь Крылову был выделен молодой сотрудник редакции, выпускник Института международных отношений Константин Упин, хорошо знавший немецкий язык.

В чистеньком зеленом городке они в подробностях узнали историю, которая до сих пор волновала жителей. В тот праздничный день, два месяца назад, красивое озеро, окруженное деревьями и кустарниками, находившееся почти в центре города, было заполнено людьми. Лодки, шлюпки, парусники скользили по воде, играла музыка. Пятнадцатилетняя Карола Феттер вместе со школьным товарищем каталась на байдарке. Слишком поздно они заметили запрещающий знак, который устанавливается на буе в те часы, когда открывается шлюз на плотине. Рванули весла, но вразнобой, и байдарка перевернулась. Парню удалось выплыть, а Каролу затянул поток. Вода падала с высоты трех метров, образуя водоворот.

Петр Максимчук, вместе с двумя товарищами получивший в тот день увольнение в город, шел по плотине. Петр первым услышал позади отчаянный крик и, бросившись назад, увидел, что произошло. Раздеваться было некогда. Он прыгнул в воду и сильным толчком выбросил Каролу из водоворота. А самого его закрутило и разбило о камни.

Крылов и Костя осмотрели озеро и шлюз, встретились с Каролой и ее матерью Гертрудой Феттер, побывали в школе, теперь носящей имя Максимчука. В воинской части они узнали, что приказом главнокомандующего Группой советских войск в Германии Петр Максимчук занесен в книгу Почета, а решением правительства ГДР посмертно награжден Почетной Золотой медалью.

За три дня Крылов мысленно воссоздал в мельчайших

подробностях всю трагедию, ощутил атмосферу вокруг нее, царившую в городе, ощутил гордость за свою армию и свой народ, знал — он сумеет передать эти чувства читателям.

Командировка была на пять дней, оставались два дня на Берлин, которые они провели с Грюнером. Он познакомил их с Вайсом — удивительным, героическим человеком. Крылов сказал Косте:

— Расспрашивай и записывай все до мельчайших деталей. Эту тему отдаю тебе.

Крылов и Костя уезжали домой в жаркий солнечный день. Их провожали Дитрих Грюнер с женой Хильдой. Оживленно беседуя, они стояли у вагона поезда Берлин — Москва.

Один из пробегавших мимо стайки ребят что-то ехидное выкрикнул в адрес лысины Дитриха, и тот с обидой и недоумением посмотрел вслед. Костя шепотом объяснил Сергею Александровичу, что произошло.

— Не обижайся, Дитрих,— сказал Крылов.— Он прав, лысина — это очень плохо. Лысого всякий дурак сразу увидит, а вот чтобы дурака увидеть, он еще должен заговорить.

Они рассмеялись, и громче всех сам Крылов. С опозданием улыбнулась Хильда, которой Дитрих скороговоркой перевел на немецкий русскую речь. Продолжая улыбаться, сказала что-то, кивнув на Дитриха.

— Что она, Костя?

— Говорит, когда двадцать лет назад они поженились, Грюнер уже был лысым.

И снова — общий хохот. Молодая мамаша вела, вернее тащила, за руку маленькую девочку с задорной мордашкой. Малышка с любопытством смотрела по сторонам, смотрела на смеющихся людей, и Сергей Александрович, неожиданно приставив к седой своей голове указательные пальцы, сделал ей рожки. И так же неожиданно серьезно сказал:

— Спасибо тебе, Дитрих, действительно поразительная биография.— И обернувшись к Косте: — Вот у кого учиться откапывать темы.

— А ты все не доверил,— подмигнул Дитрих.— Я, конечо, не такой журналист, как ты, только маленький, но немножко понимал, как ты напишешь. Еще лучше, чем про Гулыга.

— Читал?

— О, Крылова читает не только Москва.

— Ну уж...— отмахнулся Сергей Александрович.— А писать буду не я.— Костя. Грандиозный дебют...

Прицепили локомотив, вздрогнули вагоны. Крылов взглянул на часы.

— О, теперь немножко забыл,— полез в карман Дитрих.— Тут я находил интересный документ. Мои друзья из Фау Фау Эн имели просить смотреть архив. Гестапо доносил про один ваш человек... Данченко его звали... «Самый жестокий допрос не дал результатов». Знаешь такого? — И вопросительно, выжидающе посмотрел на Крылова.

— Данченко? Фамилия распространенная.

Грюнер явно ожидал другого. На лице удивление.

— А что это за Фау такое?

Грюнер не успел ответить, вмешался Костя:

— Такие вещи положено знать, товарищ шеф, даже не владеющим немецким. Это очень разветвленная в Западной Германии «Организация лиц, преследовавшихся при нацизме». Они раскапывают материалы о фашистских злодеяниях, узнают адреса, где ныне скрываются фашисты, и возбуждают уголовные дела.

— Верно,— подтвердил Грюнер и протянул конверт: — Возьми, тебя это отшень заинтересовывайт будет.

— Меня? Почему?

— Я так думаю, Серьежа. Возьми.

Крылов довольно безразлично взял конверт, не глядя положил в карман.

И вот уже Крылов и Костя в купе мчащегося поезда. Кроме них — суетливый старичок с бородкой клинышком, в добротном костюме, явно ищущий повода заговорить. Костя, забравшись на верхнюю полку, возился с вещами, а Крылов, раскрыв «дипломат», перебирал бумаги. Достал из кармана конверт Дитриха, положил сверху и захлопнул крышку.

Словно дождавшись этого, старичок заискивающе спросил:

— А как вы насчет преферанса?

— Преферанс?.. А что, если в очко? В очко, папаша, а? Играть, правда, не хочется, но позарез нужны деньги.

Бородка приподнялась вверх. Не то обиделся человек, не то удивился. Помолчав, вздохнул:

— Жаль...— Безнадежно взглянул на Костю. Этого и

спрашивать нечего, нынешняя молодежь умные игры не признает.— Жаль. Удивительно, знаете ли, время летит за пулечкой. Не успеешь оглянуться, уже приехали. В дороге незаменимое средство.

Крылов не ответил. Мирный пейзаж, мелькавший за окном, почему-то напомнил трагедию в маленьком и тихом, таком красивом немецком городке. Всплыли в памяти школьная комната со знаменем, на котором ученики вышили советский герб и фамилию героя, его огромная фотография на стене, его личные вещи на стенде.

— А мне, знаете ли, не терпится опробовать,— не унимался старик и извлек колоду карт: — Пластмассовые, у нас их не производят. Чудо карты: не мнутся и мыть можно. Вечные. Пойду-ка поищу партнеров.

«Товарищи пассажиры! — раздался голос из динамика.— Если среди вас есть врач, просим его срочно зайти в шестой вагон. Повторяю...»

Старичок преобразился. С нестарческой поспешностью раскопал в своих вещах баул, выдернул из чемодана тщательно выглаженный и аккуратно сложенный белый халат и выскочил из купе. Крылов и Костя переглянулись.

— Вот вам и очко, Сергей Александрович! А вы еще подсмеивались над ним.

Крылов молча смотрел в окно. Возможно, гибель украинского парня на немецкой земле навеяла воспоминания о далеких уже днях войны. Он снова открыл «дипломат», достал документ из конверта Грюнера.

— Я сейчас...— направился Костя к двери,— погляжу на ту сторону дороги.

— Минутку... Как Грюнер назвал фамилию... того, что пытали?

Костя задумался.

— Данченко вроде.

— А тут что написано? — ткнул пальцем в бумагу.

— Панченко,— бросил Костя беглый взгляд на указанное место.

— Не может быть!

— Потому что не может быть никогда. Вам, естественно, не постигнуть, что русское «ч» составляется из четырех букв. Но латинский-то алфавит, надеюсь, вы знаете и отличить «д» от «п» в состоянии. Совершенно ясно: «П» — Панченко.

— Не до шуток мне, Костя. Переведи весь текст.

— У нас крепостное право давно отменено, Сергей

Александрович. Это по моей исключительной доброте я в Берлине переводил. Мои функции переводчика на вокзале кончились.

— Переведи немедленно,— обозлился Крылов.

Костя наконец понял — встревожен человек серьезно — и совсем другим тоном прочел: «Выписка из донесения гестапо группы армий «Центр» в Берлин от второго октября 1942 года. Установлено, что главарем банды, раскрытой двадцать восьмого августа, о чем я своевременно доносил вам, оказался бургомистр Панченко...»

— А имя-отчество?

— Тут не сказано... «Седьмого июля оповестил все население о готовящейся облаве. Он снабжал оружием бандитские партизанские шайки...»

— Где он был бургомистром?

— Вы думаете, это анкета по учету кадров?.. «Сообщников не назвал. Самый жесткий допрос не дал результатов. Приняты необходимые меры». И подпись: «Полковник Тринкер».

Крылов уставился глазами в пол:

— Что произошло, Сергей Александрович?

Крылов не ответил, тяжело откинулся назад.

— Что с вами?

Сергей Александрович рассеянно взглянул на Костю.

— Упустил, понимаешь. Хорошего партнера на пульку упустил.

И резко встав, вышел в коридор.

Точно дожидаясь его у двери, человек в тренировочном костюме развел руками:

— Дикость, просто дикость — международный поезд, а вагона-ресторана нет! Представляете?

Крылов удивленно посмотрел на него.

— И проводники, видите ли, ничем не запаслись, тоже ничего у них нет.

— Почему нет? Чай носят вон, на столе печенье, сухарики.

Человек уставился на Крылова. В его взгляде не только недоумение — презрение.

— У нас не курят, гражданин,— недовольно заметил проходивший мимо проводник.

— Виноват.— Крылов быстро направился в тамбур. До самого вечера не находил себе места, ни с кем не разговаривал. И спал плохо, вернее вовсе не спал. Ворочался с боку на бок, то и дело протягивал руку к тусклому ночно-

му свету, поглядывая на часы. Озираясь на спящего Костю, тихонько встал, аккуратно открыл двери и бесшумно зашагал по коридору. Из тамбура вышел сосед по купе. Лицо одухотворенное, гордое. Увидев Крылова, обрадовался. Торжественно провозгласил:

— Человек родился!

— Тише, спят все.

— Уже легли?

— Уже вставать скоро будут.

Старичок заговорил шепотом:

— Парень — килограммов пять. Герой! И мать — героиня, ни одного стона не издала.

Утром, когда проснулся Костя, Крылов сидел, глядя в окно. Пролетали разъезды, домики путевых обходчиков, станции, но ничего не замечал Крылов, смотрел невидящим взглядом в одну точку.

— Что все-таки произошло, Сергей Александрович?

— А?

— Что с вами случилось, я спрашиваю?

— Где случилось?

— Ну, Сергей Александрович! Вот сейчас, в поезде.

— Ах, в поезде... В поезде человек родился.

Костя обиделся. Что же он, издевается? Уже готов был высказать свою обиду, когда из динамика донеслось: «Прибываем в Варшаву. Стоянка сорок минут».

Костя твердо решил: ни одного вопроса больше не задаст... как с мальчишкой разговаривает. Хотя, видимо, произошло что-то серьезное. Ну и черт с ним — не хочет, не надо.

Они вышли из вагона и молча зашагали по перрону. Костя смотрел, как отцепили часть вагонов и маневровый тепловозик утащил их куда-то. Потом подкатили другие вагоны, очень разношерстные — короткие, длинные, с широкими на шарнирах дверьми, с полукруглыми высокими крышами и почти все разного цвета. На них таблички: «Вена — Москва», «Брюссель — Москва», «Кельн — Москва». Тут же вагон-ресторан. Подкрался к поезду магистральный тепловоз, вздрогнули вагоны, и пассажиры заспешили к ним.

— Пойдем! — сказал Крылов таким тоном, будто не в поезд звал, а решился на какое-то важное дело.

Поздним вечером в вагоне-ресторане сидел, клюя носом, тот, в тренировочном. Две официантки, убирая столы, уговаривали его:

— Ну сколько можно, гражданин, нет пива, вам же сказали — ресторан давно закрыт.

— Нам ведь хоть немного поспать надо, совесть поимейте,— убеждала другая.

Хлопнула дверь. Появился Крылов.

— Закрыто, закрыто,— выскочила из кухни буфетчица, преграждая ему дорогу.— Ну что за люди пошли! Ночь-полночь, а они прутся, как скоты.

— Извините, извините, бога ради,— быстро заговорил он, прижимая руку к груди.— Я не подумал, не сердитесь,— и повернулся к выходу.

Буфетчица явно не ожидала такой быстрой и безропотной капитуляции. Нет, этот не из тех, не из алкашей. Недоуменно посмотрела ему вслед, и когда он уже был у двери, точно извиняясь, спросила:

— А вы что хотели, гражданин?

Он обернулся, в смущении помолчал и наконец выдохнул:

— Водки.

Она излила на него всю злость разочарования:

— Сколько вам? Бутылку, ящик, ведро?

— Полстакана.

— Водкой давно не торгуем, коньяк.

— Очень хорошо.

— И конфету?

— Да-да, спасибо.

Он выпил залпом, положил в карман конфету, расплатился и молча вышел.

Утром бодрый голос поездного радиоузла объявил: «Прибываем на станцию Брест. После таможенного и пограничного досмотров можно выходить. Стоянка поезда два часа. Просим всех зайти в свои купе».

Костя сказал:

— Поедем Брестскую крепость смотреть?

— Нет, я не поеду, поезжай сам,— ответил Крылов.

— Вы же обещали.

— Не могу, Костя, у меня другой маршрут.

Костя совсем обозлился. Что могло случиться? Ехали в Берлин, и у Крылова было отличное настроение. В Бресте пошли смотреть, как меняли тележки вагонов с широкой колеи на более узкую. Это происходило ночью, при ярком свете прожекторов. А мемориал — он сам предложил — решили посмотреть на обратном пути, времени для этого вполне достаточно. И на вокзале в Берлине был веселым.

Все изменилось после проклятого гестаповского донесения. Но при чем здесь он? И почему ничего не хочет объяснить?

Таможенники не стали проверять их чемоданы, спросили лишь — не везут ли фрукты или овощи. Пограничники взяли паспорта, осмотрели купе и ушли.

«Ну и бог с ним»,— в который раз решил Костя и обратился к врачу:

— Интересно, что поставят в графе «Место рождения»? Поезд Москва — Берлин?

— Ну, конечно, Москва. Женщина-то наша, советская.

— Как же Москва? Спросят, где справка из роддома. Нет, скажут, вы сюда с готовым ребенком явились.— И они рассмеялись.

Крылов не слышал их. Думал.

К выходу Костя шел рядом с Крыловым, к которому с раздражением обратился проводник:

— Вещи зачем же? Никуда не денутся, не беспокойтесь.

— Да нет, я схожу здесь,— как-то обреченно ответил Сергей Александрович.

— Вы же сказали — до Москвы.

— Мало кто чего говорит,— вздохнул Крылов.— Проверять надо. Проверять — вот главное.

— А я и проверил,— недовольно проворчал проводник.— Билет у вас до Москвы.

На перроне Крылов сказал:

— Не теряй времени, поезжай смотреть мемориал, у вокзала всегда есть такси.

— Значит, успею, если есть такси. Я провожу вас.

— Меня некуда провожать, я — на вокзальный переговорный пункт.

— Тем более... Близко.

На почте Крылов заказал Берлин.

— Все-таки что мне сказать в редакции, Сергей Александрович?

— Я тебе уже ответил — ничего не говори. Я сам позвоню главному.

— Нет, ребятам что сказать?

— Отшутись, ты это умеешь.

Крылов взглянул на часы. Сунул голову в окошко:

— Девушка, переведите мой разговор на срочный.

— Втрое дороже.

— Хоть впятеро.

Вскоре она пригласила его в кабину. Костю разбирали и любопытство и беспокойство. Кабина большая, будь что будет — тоже вошел. Выгонит — значит, выгонит. Но Крылов не обратил на него внимания.

— Дитрих? Здравствуй, дорогой, это я... Да, благополучно, уже в Бресте.

Это, по-видимому, был тот редкий случай, когда слова били в ухо, и Крылов немного отстранил от себя трубку. Теперь Костя слышал весь разговор.

— У меня к тебе очень большая просьба, Дитрих. Ты оказался прав, меня очень заинтересовал твой документ. Узнай, пожалуйста, нет ли в архиве еще каких-либо документов, касающихся Панченко.

— Вот смотришь, я говорил, тебя заинтересовывайт, а ты все не доверил... Узнаю, узнаю, там много документы. Фау Фау Эн готовят процесс майора Бергера...

— Кто такой Бергер? Не Бергер меня интересует — Панченко. Понимаешь — Панченко.

— Пан-чен-ко! — неожиданно, будто испугавшись, протянул Костя. А Грюнер продолжал:

— Майор Бергер был комендант, где самый жестокий допрос делайт...

Костя больше не прислушивался к разговору. Он все понял.

— Тот Панченко? — глухо сказал, когда Крылов положил трубку.

— Нет, этот. Дошло наконец.

— Как же это получилось? Может быть, недоразумение?

— Какое там недоразумение, документ подлинный...

— Нет, это копия...

— Ксерокопия.

— Что же теперь будет?

Крылов не ответил.

— Сергей Александрович,— горячо заговорил Костя.— Ей-богу, недоразумение. Не придумали же вы!

— Так и Гулыга не мог придумать. Тем более что я в архиве все проверил.

— Значит, вы и не виноваты.

Крылов горько усмехнулся.

— Ты виноватого ищешь, а искать надо выход из положения.

— А все очень просто,— уверенно заявил Костя.— Найти семью, если она осталась, родственников и офи-

циально сообщить. И на место прежней службы сообщить, официальным документом, с печатью.

Тоскливо и насмешливо слушал его Крылов. Глядя куда-то в сторону, покачивая головой, грустно сказал:

— На всю страну героя объявить предателем, а потом извиниться шепотом, на ухо? Так, что ли? Нет! — Голос изменился, стал резким.— В порядочном обществе так не поступают. Если действительно герой, еще как-то можно выйти из положения, сообщив об этом в газете. Но что это значит? Опровержение? Так? А на опровержение главный хоть убей не пойдет.

— А вы?

Крылов промолчал.

— Вам-то зачем это надо?

— Ох как не надо, Костенька.

— Ну и порвите к черту эту бумажку. Нет ее и не было никогда. Это же не документ, обрывок какой-то.

Крылов посмотрел на него, и Костя не понял — осуждает или ухватился за хорошую мысль. А Крылов, помедлив, извлек из кармана конверт, посмотрел на него, протянул Косте:

— На, рви... И едем дальше — воспевать и воспитывать.

— Сергей Александрович, я...

— Да знаю, что не порвешь, а потому — нравоучение сто тридцать пятое: никогда не советуй поступать так, как не поступишь сам, даже из лучших побуждений.— И неожиданно хлопнул по спине вдруг сгорбившегося парня.— Не сутулься, замуж никто не возьмет!

5

На следующее утро Крылов был уже в Лучанске, в приемной Гулыги.

— Сергей Александрович! Здравствуйте! — Анна Константиновна одарила его обворожительной улыбкой.

Не столь восторженно, но достаточно учтиво ответив на приветствие, спросил:

— У себя?

— Нет,— с сожалением покачала головой.— В командировке.

— Вот тебе и раз!

— Завтра будет, прямо с утра... Я вам сейчас номер в «Центральной»...

— Я всего-то на один день...

— Да что вы, Сергей Александрович! — все так же улыбаясь, всплеснула руками.— Да он же меня уволит, если узнает, что вы были, а я... Одним словом, я вас не отпускаю.— Говорит деланно строго, с едва уловимым кокетством.

— Впрочем...— достал сигарету, закурил.— Впрочем, впрочем... Где у вас Комитет ветеранов войны?

То, что он может не застать Гулыгу, как-то не приходило в голову. Решил все же дождаться его, а чтобы не пропадало время, найти кого-либо из бывших партизан и поговорить. Проверка эта нужна была ему просто для успокоения совести. Он ведь достаточно все проверил после рассказа Гулыги об этом предателе. Практически было достаточно и только того, что рассказал Гулыга... Но вот... Эта странная бумажка... Видимо, Гулыга сможет объяснить, в чем путаница. А пока есть смысл поискать бывших партизан.

В Комитете ветеранов войны ему дали фамилии и адреса трех человек, воевавших в отряде Гулыги и проживающих в районном центре Липань. Километров тридцать пять — далековато. Но один из них, Голубев, работает на сахарном заводе, всего в пяти километрах от города. Решил поехать на завод. Вышел на шоссе. Одна за другой проносились машины, а автобус как сквозь землю провалился. Еще издали увидел тяжелый «КамАЗ», доверху груженный сахарной свеклой. «Наверняка — на завод»,— подумал Крылов и выскочил, преграждая ему дорогу.

Шофер оказался добродушным, разговорчивым человеком лет пятидесяти. Охотно согласился подвезти, тем более действительно ехал на сахарный завод. Голубева он хорошо знал.

— Я еще с него сто грамм стребую за то, что привез к нему корреспондента. Мужик он стоящий, каждый норовит к нему попасть. А то привезешь свеклу, чистую, как умытую, а приемщик — бах — пятнадцать процентов загрязненности ставит.

— Начальство куда же смотрит?

— У-у, начальство? Там директором такой кулак... И ему дай бог перепадает, да не подступишься, друг самого́.

Крылов непонимающе взглянул на него. Тот умолк. Но ненадолго.

— А фигуру правильную выбрали. Голубев мужик

стоящий. Сколько грязи привезешь, столько и пометит, даже бутылку не потребует. Чудной мужик.— Он окинул взглядом Крылова.— Аппарат где же у вас? Или без фотографии его печатать будете?

— Пожалуй, и писать ничего не буду. Поговорить с человеком надо.

Машина остановилась близ ворот сахарного завода. На вывеске эмблема — рог изобилия. Дожидаясь очереди, стояли у проходной несколько самосвалов тоже с сахарной свеклой. Видимо, был конец смены — люди шли с завода и на завод.

— Эй, Колька! — высунулся из окна водитель.— Поищи Голубева, к нему корреспондент приехал.

— Про меня напишет — найду! — засмеялся рыжий паренек в кепочке козырьком назад.

— А если правду напишет? — выкрикнул кто-то.

Парень не почувствовал подвоха:

— Премию дадут.

— Так заголовок будет «Лодырь».

Люди вокруг рассмеялись, улыбнулся и Крылов, направляясь к проходной.

Голубева нашел в какой-то конторке. Астенического сложения человек, сколько ему лет, и не поймешь. Может быть, шестьдесят, а может, и все семьдесят. Нетороплив, держится с достоинством. Во время войны был связным. Так сказали в Комитете ветеранов. Значит, дела тех лет знает точно.

Крылов представился — так, мол, и так, в связи с определенными обстоятельствами хотел бы проверить некоторые факты времен войны, просил помочь.

Голубев не понравился. Едва ответив на приветствие, начал перебирать бумаги и, пока Крылов говорил, ни разу не поднял головы. Не слушает, что ли? Ничего не сказал, когда Крылов умолк. На вопрос, как его имя-отчество, взглянул чуть ли не подозрительно, буркнул:

— Никита Нилович.

Будто недовольный приходом журналиста, беспричинно пожал плечами.

— Я хотел узнать, кто был бургомистром в Липани во время оккупации.

Метнул недобрый взгляд, ответил не сразу:

— Панченко.

— Звали его как?

И снова посмотрел настороженно, ответил неохотно:

— Иваном звали. Иван Саввич.

— Что вы о нем знаете, Никита Нилович?

— Что я о нем знаю?! Ничего не знаю,— полоснул Крылова глазами.— Так же, как и вы, товарищ корреспондент.

— Не понял... Вы же партизанили там, где он свирепствовал...

Молчит человек, не отвечает.

— Ну хорошо,— вздыхает Крылов.— Постарайтесь вспомнить день девятого августа сорок второго года.

— А что девятого августа?

— Ну каких-нибудь событий в тот день не было?

— Скажете тоже! Я третьего дня не помню, что было... Чудно́.

— Облавы в тот день не было?

Задумался.

— Облава?.. Облава, похоже, в начале августа была.

— Людей много взяли?

— Сколько взяли? Как говорится, ку-ку! Попрятались от Бергера люди. Видел кот молоко, да рыло коротко.

Непроизвольно слова прозвучали приглушенно:

— Значит, предупредил кто-то. Кто?

Опять недобро покосился на Крылова.

— Никита Нилович! Что вас смущает? На ваших глазах все происходило...

— А что происходило? Наше дело было воевать, мы и воевали. А кто там, чего, как — нас не касается.

— Как же не касается,— не выдержал Крылов.— Вы советский человек, партизан, жизнью своей рисковали. Что же, вам безразлична судьба человека, который предупредил людей, а значит, спас их?

— Не безразлична,— впервые голос прозвучал твердо.— Только не знаю я... Вы, если хотите точно, к Зарудной Валерии Николаевне обратитесь, в Лучанске живет.

— Тоже партизанила?

— Нет, годами не вышла. Девчонкой тогда была.

— Так откуда же?..

— Вроде книжку научную писала. У нее материалов о нашем партизанском житье-бытье — горы, как у меня свеклы. А мне, извините, некогда, свеклу надо принимать.— И он поднялся.

— Где она работает?

— Откуда ж мне знать!

Обратно Крылов возвращался на пригородном поезде. У стоянки такси образовалась очередь. Крылов пересек площадь и остановился у справочного киоска.

— Девушка, пожалуйста, Зарудная Валерия Николаевна. Адрес и, если есть, телефон.

— Год рождения?

Он беспомощно улыбнулся:

— Разве можно спрашивать, сколько лет женщине?

Улыбнулась и киоскерша. Достала справочник, долго листала, наконец нашла. Быстро записала на бланке и, подавая его Крылову, сказала:

— Вот. Третий и пятый троллейбус до площади Некрасова, потом на первом автобусе до Овражной, а там квартала три пешком придется.

— Ну и маршрутик вы мне устроили.

— Это не я, это Зарудная, Валерия Николаевна... А вот,— ткнула пальцем в бумажку,— ее телефон.

— Слава богу, хоть телефон есть... Спасибо. До свидания.— Положил бланк в карман и услышал:

— До свидания... Не беспокойтесь, я оплачу справку, зарплата у меня высокая.

— Простите... как же я... простите...— И он торопливо стал искать мелочь. Расплатившись, пошел к телефону-автомату, набрал номер.

— Да? — раздался приятный женский голос.

— Можно Валерию Николаевну?

— Слушаю.

— Валерия Николаевна? Товарищ Зарудная?

— Да, да, я вас слушаю.

— С вами говорит журналист Крылов...

— Кто?! Крылов?! — голос показался ему до крайности удивленным.— Сергей Крылов?

Крылов не был честолюбив. И все-таки приятно — знают люди. Какой-то Лучанск, где никогда не был, какая-то Зарудная, которую никогда не видел, а вот знает...

— Да. Сергей Александрович...— Частые гудки раздались прежде, чем он успел договорить. Мысленно послав в адрес телефонной сети подходящие для данного случая слова, снова набрал номер.

— Извините, разъединили,— сказал, как только ответила Зарудная.— Это Крылов...

— Я счастлива! — В голосе явная ирония, и снова частые гудки.

Что за чертовщина? В чем дело? Порывшись в кармане,

снова опустил монету. На этот раз ответ последовал после пятого гудка.

— Слушаю! — строго сказала Зарудная.

— Ничего не понимаю...

— Значит, плохо соображаете...— Теперь уже не ирония, а чуть ли не злоба в голосе.— Я не желаю с вами разговаривать. Неужели не ясно?!

Обескураженный Сергей Александрович вышел из автомата. Такого с ним еще не было. Медленно достал сигарету, закурил. Прошелся взад-вперед. Как все же это понять? Вот так оплевали. Нет, так оставить нельзя... Он извлек из кармана адрес Зарудной. Безнадежно потух его взгляд — очередь на такси стала еще длиннее. Постояв минуту, резко отбросил окурок и снова решительно направился к автомату. Позвонил Анне Константиновне и спросил, не может ли часа на два дать машину.

— Сейчас же высылаю, Сергей Александрович, машину Петра Елизаровича, все равно шофер ничего не делает. Куда послать?

Вскоре появилась начищенная, с двумя антеннами черная «Волга», и он назвал водителю адрес. Хотя ехали быстро, но добрались не скоро. Шофер затормозил у огромного жилого корпуса в новом районе города. Крылов нашел нужный подъезд, прыжком перескочил две ступеньки и оказался на хорошо освещенной площадке. По обе стороны и прямо перед ним были двери, обитые дерматином. Одна из них открылась, вышла женщина, не обратившая на него внимания, и заперла дверь.

— Извините... Валерия Николаевна?

— Что вам угодно? — чуть надменный взгляд голубых глаз.

Природа наделила ее неброской, но впечатляющей красотой, и смотреть ей в глаза — небезопасно.

— Я вам только что звонил...

— А я вам только что ответила.— Она заспешила к выходу.

И он заторопился вслед, на ходу быстро заговорил:

— Уверяю вас, какое-то недоразумение... Давайте разберемся.

— Мне некогда разбираться, опаздываю,— сказала она, быстро семеня по тротуару.

— Я вас подвезу,— кивнул на машину.

— На этой?! — обернулась и неожиданно расхохоталась.— Хороша я буду в этой машине,— и ускорила шаг.

— Что это значит?! — загремел Крылов, не отставая от нее и тоже ускоряя шаг.— Я — на службе, и у меня к вам дело...

— Ах, дело? — не то разочарованно, не то насмешливо.— А я-то думала...— Она остановилась.— Если вы сейчас же меня не оставите, я позову милиционера.— Повела глазами по сторонам, казалось, готовая выполнить свою угрозу. И быстро пошла.

Крылов, совершенно растерянный, остался стоять. Он смотрел, как, не оборачиваясь, она все ускоряла шаг, пока не скрылась за углом. Медленно вернулся к машине:

— Поехали.

— Куда?

Глупо как все. И перед водителем неловко. Конечно, наблюдал эту постыдную сцену. А тут еще плюхнулся: «Поехали»,— даже не сказав куда. Кто знает, как он истолкует... А в самом деле, куда? Он взглянул на часы.

— Пожалуйста, заедем на вокзал за чемоданом, а потом — в гостиницу «Центральная».

Весь вечер работал — приводил в порядок записи о подвиге Максимчука, твердо решив выбросить из головы эпизод с Зарудной, не думать больше о нем. Одно уравнение со многими неизвестными. Задача неразрешимая, и нечего ею заниматься. Но как это сделать, как выбросить из головы? Это же не сундук — открыл и выбросил. Человек может решиться на любой поступок, даже самый безрассудный, и осуществить его. Но думать или не думать о чем-либо зависит не от него. Он может тысячу раз решать не думать и, будь это человек даже самой железной воли, выполнить свое решение не сможет. Ходом мыслей он не управляет. Они управляют человеком. Изгнать их из головы он бессилен.

6

Петр Елизарович Гулыга пришел на работу рано. Спокойно поработать, сосредоточиться удавалось только в ранние часы. Как бы ни задерживался в своем кабинете, все равно не давали покоя телефонные звонки, сотрудники, посетители. А ему предстояло подготовиться к серьезному докладу в обкоме партии. К началу рабочего дня он все закончил и с удовольствием потянулся. Вошла Анна Константиновна, доложила о приезде Крылова. Велел пригласить его, как только появится, а сейчас вы-

звать одного из начальников отделов. Не успела секретарша выйти, как он нажал кнопку.

— Слушаю, Петр Елизарович,— тут же появилась она вновь.

— Закажите обед на двух человек в «Поплавке».

— На который час?

— Когда, он сказал, придет?

— Крылов? Он не сказал, видимо, скоро — сегодня уезжает.

— Часа на два, только не в зале.

— Конечно...

Спустя полчаса снова появилась в дверях.

— ...И передайте директорам заводов,— говорил Гулыга начальнику отдела,— пусть немедленно начнут отгрузку. Колхозы сидят без кормов, а у них жом складывать некуда...

Голос у Гулыги спокойный, без нотки раздражения. Видно, человек этот хорошо знает, где и что делается в его большом и сложном хозяйстве.

Он повернулся в сторону Анны Константиновны.

— Крылов пришел.

— Что ж вы его там держите? Зовите.

Захлопнув папку, поднялся начальник отдела.

— А прием отменить? — спросила она.

— Пока не надо,— взглянул на часы.

— Рад, рад видеть,— широко улыбаясь, пошел навстречу Крылову Петр Елизарович.

— И я рад, Петр Елизарович,— протянул руку, крепко пожал.

— Как живы, что хорошего?

— И не спрашивайте, верчусь, как вор на ярмарке. Приехал в два ночи и ни свет ни заря — здесь.

Усадил Крылова в кресло у журнального столика, сел напротив, но тут же, перегнувшись через письменный стол, нажал кнопку. Зажглось красное окошечко фонарика, вмонтированного в стол.

— Что-то новое,— кивнул Крылов на фонарик,— раньше вроде не было.

Петр Елизарович довольно улыбнулся:

— Такой же фонарик зажегся и у секретарши. У американцев подсмотрел,— хитро сощурился он.— Надо же и у буржуазии чему-нибудь учиться.— А секретарша уже стояла на пороге.

— Чайку нам... Какими же ветрами, Сергей Александ-

рович? Я, откровенно говоря, немного смущен. Даже не поблагодарил. Да и как благодарить? Спасибо, что на всю страну прославили? Вроде неприлично. Однако спасибо.

— Полно вам,— поморщился Крылов.

— Не скажите, не скажите. У нас как принято? Расчихвостить хозяйственного руководителя — пожалуйста. А похвалить, оценить работу... Так что не скромничайте, дорогой Сергей Александрович.

— Что ж, написал как есть, написал правду... Поэтому и приехал к вам.

— Слушаю,— Петр Елизарович откинулся на спинку кресла.— Слушаю, Сергей Александрович.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о Панченко.

— О ком?

— О Панченко. О предателе Панченко, фашистском бургомистре.

Петр Елизарович усмехнулся:

— Да, крепко вы его. Всего десятка два слов, а предатель как на ладони. Вот что значит писатель! И в глаза не видел, а как точно.

— Верно, не видел. Да точно ли? Вот в чем закавыка.

Гулыга поднял на него недоуменный взгляд. Крылов молча достал из кармана сложенный вчетверо листок с донесением гестапо.

— Что это?

— Почитайте.

Петр Елизарович взял со стола очки, надел их, повертел в руках листок, улыбнулся.

— Я, дорогой мой, кроме бюрократического русского, других языков не знаю. Только и выучил за всю войну «хенде хох»... Да, еще фрицы очень любили говорить «Хитлер капут» — тоже выучил... Переведите, пожалуйста,— вернул он бумагу.

— Вот перевод,— протянул ему другой листок Крылов.— Правда, от руки, но почерк разборчив.

— Что за чепуха?! — удивился Гулыга, прочитав первые строчки. И снова обратился к тексту.— Бред какой-то! Где вы это взяли?

— В гитлеровских архивах. Документ подлинный...

— Гм, подлинный,— хмыкнул Петр Елизарович. И задумчиво добавил: — Кому?

— Что «кому»? — не понял Крылов.

— Еще римляне говорили: «Кви продест» — кому вы-

годно. Вот я и думаю: кому это выгодно? Кому надо подбрасывать нам с вами такие «подлинные»?

Вошла Анна Константиновна, неся на подносе чай и вазочку с баранками и сухариками.

— Спасибо,— сказал Петр Елизарович.— И вот что... Извинитесь перед товарищами, отмените прием. И телефоны на себя возьмите.

Она подошла к столу, передвинула рычажки.

— Нет, нет, этот оставьте,— он поднялся, прошелся по кабинету.— Прошу, Сергей Александрович,— показал на чай. Снова сел, теперь уже за письменный стол. Положил перед собой донесение, разгладил, стал перечитывать.

— Что же получается, Петр Елизарович? У них Панченко предатель, и у нас предатель. У них бандит, и у нас бандит. Так не бывает.

— Сергей Александрович, дорогой мой,— как бы извиняясь, заговорил Гулыга.— Не обижайтесь, я даже разбираться не желаю. И плевать я хотел на любые бумажки. Я своим глазам верю, а не бумажкам.

— Но все-таки,— пожал плечами Крылов,— объяснить этот документ как-то надо.

— А разве вы не допускаете, что эту липу подбросили в свое время гитлеровцы? Они часто таким методом пользовались, обеляя в наших глазах предателей. Куда он делся? С ними бежал? А может быть, оставили на нашей земле, чтоб на них работал? А писуля такая любые подозрения с него снимет, зачеркнет его бургомистерство. И, наоборот, на честных людей клепали, а мы,— покачал ладонью, приставив к уху большой палец,— заглатывали.

Крылов задумался.

— Допускаю... Откровенно говоря, такая мысль не приходила в голову. Но как доказать это?

Гулыга снова пересел за журнальный столик, отхлебнул из стакана.

— А что доказывать? Они и до войны еще так действовали... Каких людей мы лишились, каких талантливых военачальников потеряли только потому, что вот такие фальшивки,— кивнул на донесение гестапо,— за чистую монету принимали... Н-да, интересная картинка. Выходит, этот Панченко снабжал мой отряд оружием, а я, партизанский командир, даже не знал об этом.— И рассмеялся.

— Может быть, другой Панченко, однофамилец?

— Может быть,— поддержал Гулыга.— Подписал полковник Тринкер. У нас таких не было, я ведь всех фа-

шистских собак в своем районе знал. У нас майор Бергер лютовал. А про Тринкера не слышал даже... Да что, в самом деле? Дмитрия Панченко — сынка предателя — из партии исключили? Исключили. Значит, разбирались люди. Зря из партии не выгонят.

Крылов ничем не мог возразить. Был согласен с каждым доводом Петра Елизаровича. Не сказал ему, что, перед тем как писать о нем очерк, заходил в райком партии, где подтвердили, что Панченко до войны был исключен из партии, а потом верно служил фашистам. Но не к месту лезли в голову слова Твардовского, относящиеся совсем к другому: «И все же, все же, все же...» Все же что-то царапало. Документ-то вон он, лежит на столе. Как-то надо из этого лабиринта выбираться.

— Не могли вы чего-нибудь напутать, Петр Елизарович?

— Ну, знаете ли... Да этот фашистский сволочуга собственноручно людей расстреливал.

Крылов удивленно посмотрел на него.

— Вы мне об этом не рассказывали.

— Я много чего не рассказывал. Имя это произносить — язык поганить... Его военный трибунал к смертной казни приговорил за предательство, да сбежал, сволочуга. На глазах у всех это было.

— Что же вы молчали?!

— Потому что тошно — об этом... И знаете, дорогой мой, получается, я чуть ли не оправдываюсь. Все село видело. А рядом со мной Ржанов стоял. Вот и поговорите с ним, с односельчанами, с партизанами побеседуйте.

— А кто это Ржанов?

— Заработались вы, Сергей Александрович. Ржанова уже не знаете — член правительства. В Совете Министров работает.

— А-а, я о таких высотах и не подумал. Федора Максимовича, конечно, знаю, хотя лично не знаком.

— Вот и отличный повод познакомиться,— пришел в хорошее настроение Петр Елизарович.— Да свидетелей хоть отбавляй.— Петр Елизарович обернулся и показал на фотографию, которая висела за его спиной. Крылов увидел группу людей в ватниках с винтовками, автоматами, застывших перед объективом. В центре — Гулыга, его и сейчас легко узнать на этом давнем снимке.— Конечно, одних уж нет теперь, но и живые остались. Встретьтесь с ними. Раз уж не доверяете партизанскому

командиру, с людьми поговорите. Это вернее всяких бумажек.

— Почему не доверяю... Что уж вы, Петр Елизарович!..

— Ладно, ладно, это я так... Дайте побрюзжать немного... Смотрите, Сергей Александрович, для меня это, я вам сказал, просто филькина грамота. Но на вашем месте я бы съездил к партизанам. Успокойте совесть, раз она того требует. Вызову машину — и поезжайте. А домой вернетесь — к Ржанову. Он-то, надеюсь, для вас — авторитет, не то что мы, грешные. И хороший повод познакомиться,— повторил он, по-доброму улыбнувшись.— Запишите, запишите фамилии партизан,— снова обернулся к фотографии.

Сомнения Крылова рассеивались. Пожалуй, их уже не осталось. Теперь он думал о том же, с чего начал Гулыга. Что это за документ? Может, и в самом деле кому-то он нужен. Поехать бы в ГДР посмотреть подлинник, все объяснить Грюнеру.

Крылов знал многие выступления в печати своего немецкого друга. Едва ли кому удавалось распутывать такие сложнейшие узелки, как ему. Вот, оказывается, зачем дал гестаповский документ, почему сказал: «Тебя очень заинтересовывайт будет». Не прямо, но дал понять. Выходит, верит донесению.

Крылов сидел, задумавшись, молчал и Петр Елизарович, грыз сухарики, запивая уже остывшим чаем.

Удастся ли снова поехать в ГДР, это еще вопрос. А вот коль скоро уже здесь, с людьми поговорить не помешает. Он оставался верен своим принципам — один и тот же факт надо проверять несколько раз по разным источникам. Тем более такой факт. Решил последовать совету Гулыги — встретиться с другими свидетелями событий.

— Петр Елизарович, вы Голубева знаете?

— Никиту Ниловича? А как же! Боевым партизаном был. Правда, сейчас уже сник — видать, годы вышли. А что?

— Беседовал я с ним. Странный человек, ничего не сказал.

— Он вообще молчун, да и, говорю вам, староват стал. Только не на нем одном свет клином сошелся. Я назову вам десятки людей.

Крылов достал блокнот.

— Вот Хижняков,— показал Петр Елизарович на фотографию,— второй справа. Партизанской медалью награжден. Теперь директор совхоза... Это Чепыжин, тоже в полном здравии. Хотя старик, а такой живчик, дай бог каждому... Записываете?.. И этот жив-здоровехонек — Терентьев. Все в одном месте в Липани живут. А вот...

— Ну и хватит,— закрыл Крылов блокнот. Достал сигарету, чиркает спичкой — не зажигается. Достал другую — поломалась.

— Боже мой,— всплеснул руками Гулыга,— в наш век технической революции такой анахронизм.— Открыл ящик, достал зажигалку, вынув ее из красивой коробки.— Вот вам на память,— повернул колесико, щелкнул, вырвалось непомерно высокое пламя.— Кофе на ней варить можно,— и уменьшил огонь.

— Да что вы, ей-богу,— отстранился Крылов.— Такие дорогие подарки не для меня.

— Вот это дорогая? — поразился Гулыга.— Да это жестянка, грош ей цена... Смотрите, полный ящик всякого добра. Экспортно-импортные организации заказывают зарубежным фирмам, а потом дарят кому попало.— Он вздохнул.— Или вот еще мода. В каждый праздник все, ну решительно все предприятия и учреждения, начиная от артели «Красная синька» до главков, министерств и комитетов, шлют друг другу поздравления. И все, естественно, за казенный счет. Я говорил с почтовиками — эти неисчислимые приветствия обрушиваются на них, как горные потоки. Одни сверхурочные почтальонам во что обходятся. А бумага, а красочные открытки! И каждый начальник, большой или малый, каждый руководитель — я это по себе знаю — целый день должен потратить, чтобы только подписать поздравления. Да и кому подписываешь, не смотришь. Все идет по раз и навсегда определенному списку... Не улыбайтесь. Вы сами наверняка знаете, это именно так. Подсчитали бы на ЭВМ, во что обходится государству, да и грохнули бы фельетончик... А? А вот этого добра,— взял в руки зажигалку,— накопилось у меня, дорогой Сергей Александрович, полно... Берите, берите, не то обижусь.

Зазвонил телефон.

— Слушаю,— поднял трубку Гулыга.— Как же некстати вы, некогда мне... Ну ладно, не дави, перезвони через полчаса.— Положил трубку, начал набирать но-

мер.— Извините, Сергей Александрович, неотложное дело, одна минута.

— Конечно, конечно, я и так у вас засиделся.

Почти одновременно Гулыга говорил в трубку:

— Степан Андреевич, это я. «Волгу» мы с вами в резерве держим, а сегодня последний день. Не заберем — пропадет. Хочу ее Прохорову отдать, он по итогам на первое место опять вышел... Спасибо, Степан Андреевич... И я вам — всех благ.— Положил трубку и обратился к Крылову, показывая на телефон: — Кстати, совсем забыл, в райком советую обратиться. Будете в Липани — обязательно к Степану Андреевичу, первому секретарю, загляните. Их немало донимал сынок Панченко, разбирались дотошно.

А Крылов о другом думает:

— Вы не знаете такую — Зарудную?

— Зарудную?

— Да, Зарудную, Валерию Николаевну.

— И вас уже начала донимать?

— Нет, напротив, я донимал, но она не пожелала разговаривать.

— И скажите спасибо.— Он покрутил пальцем у виска.— Я целых полгода от нее отбивался, чуть сам с ума не сошел. Упаси вас бог связываться... С одной стороны, ее жалко, конечно, неудачница, всю жизнь ей не везет, на этой почве, видимо, и... Что это, интересно, вы решили встретиться с ней?

— Странно,— не отвечая на вопрос, сказал Крылов.— Выглядит вполне нормально.

— Выглядит? — подмигнул Гулыга.— Слов нет, как женщина экземпляр завидный, все при ней... А вела себя тоже нормально?

— К сожалению, более чем странно.

— То-то и оно... А вообще, Сергей Александрович,— заговорщически наклонился к нему Гулыга, хитро улыбаясь,— где ж и расслабиться в нашей суматошной жизни как не в командировке. Однако не связывайтесь с ней, дорогой мой, как в тину засосет.

Крылов недоуменно взглянул на него. А Гулыга, добродушно улыбаясь, продолжал:

— В нашем городе есть масса возможностей развлечься.

— Петр Елизарович, о чем вы?

Гулыга посерьезнел.

— Ну-ну, дорогуша, это ведь я на таком уровне шучу. Неужели не понимаете?.. Ладно, посмеялись, и хватит. Смех, говорят, очень полезен для здоровья... Так езжайте, Сергей Александрович. Часа за три вполне управитесь. А потом пообедаем вместе. Лады?

Нажал кнопку, вошла секретарша.

— Машину товарищу Крылову. И вот что — скажите диспетчеру, чтобы по его вызову машину посылали в любое время.

Крылов хотел что-то сказать, но Гулыга не дал:

— И не возражайте, и слушать не буду. Не для прогулок...

Прощаясь, Крылов задержал взгляд на сверкающей модели тяжелого танка, стоявшего на столе:

— Недавно приобрели?

— Подарили,— довольно улыбнулся Гулыга.— Не скрою, приятно. Выступал тут на одном заводе... Даже не то приятно, что подарили, а вот узнали ведь, какой мне больше всего дорог.

— На нем?..

Петр Елизарович любовно погладил модель:

— Воевал на разных, а на таком как раз подбили. Вместе мы с ним горели. Он и спас мне жизнь, дымом своим заслонил, укрыл от вражеских глаз... Машина хорошая. Правда, против «тигров» и «пантер» уже не тянула, но и им от нас доставалось,— и он подмигнул Крылову.

7

В районный центр Липань Крылов добрался быстро — всего тридцать пять километров по отличному шоссе, да еще шофер попался опытный, лихой.

Многие улицы Липани были асфальтированы, в том числе и та, что вела к дому Хижнякова.

Хижняков — кряжистый здоровяк, на вид годков пятидесяти пяти, а в действительности на добрый десяток больше. Когда приехал Крылов, он сидел во дворе за толстенным пнем, разбирая, несмотря на воскресный день, бухгалтерский отчет. В домашних сатиновых штанах, без рубашки, в большой соломенной шляпе, почерневшей от времени, он чувствовал себя хорошо, и настроение было хорошим. Да и не могло оно быть другим — судя по отчету, хотя он и без того знал: хорошо шли дела в его свекловичном совхозе.

С лаем бросилась к калитке собака.

— Цыц, дура,— сказал он беззлобно, не оборачиваясь.

А собака заливалась все сильнее, и, оторвавшись от бумаг, он посмотрел в сторону калитки. Сквозь кусты и деревья увидел человека. Хижняков поднялся.

— Ни дня, ни ночи, ни в будни, ни в выходной,— ворчал он.

— Здравствуйте, я из Москвы, специальный корреспондент...

За лаем собаки Хижняков не расслышал, из какой именно газеты, но понял: из Москвы. Удивленно и радостно засияло его лицо.

— Заходите, заходите,— открыл он калитку,— таких дорогих гостей у нас еще не было.

Крылов органически не переносил лесть. И эти естественные для гостеприимного человека слова показались ему неуместными. Никак не отреагировав на них, спросил:

— Вы товарищ Хижняков?

— Он и есть. Хижняков. Павел Алексеевич. Извините, что в таком виде встречаю.

— Да нет, вы извините, без предупреждения, явочным порядком, да еще и в выходной день.

Они шли по дорожке к дому. Добротный кирпичный дом, за ним, в глубине, огород, фруктовый сад, меж деревьями — ульи.

— Мария,— крикнул Хижняков,— где ты там? Ну-ка собери что бог послал, гость к нам приехал.

— Да что вы,— запротестовал Крылов,— ничего не надо, я на минутку. Давайте здесь на колоде присядем.

— Э-э нет,— покачал головой Хижняков,— у нас так не положено. Чайку попьем с вишневым вареньем, не с магазина — собственное, со своего садочка. Вы уж не побрезгуйте.

Все это было не по душе Крылову, и он злился на самого себя, что помимо воли настраивался против, судя по всему, хорошего и доброго человека. И, бесспорно, хорошего директора совхоза — по дороге расспросил водителя о нем. Уже много лет директорствует Хижняков, и много лет его совхоз занимает одно из первых мест...

Из-за кустов появилась женщина под стать Хижнякову — крупная, дородная, улыбчивая. Поздоровалась — и исчезла в доме. Вслед за ней, подталкиваемый хозяином, вошел и Крылов. Хижняков тут же отлучился. Вернулся

в отглаженной рубашке и добротных брюках. Взад-вперед сновала хозяйка, накрывая на стол.

— Ей-богу, зря все это,— упрекнул ее Крылов. Она только рукой махнула — ничего, мол, не зря.

— А мы по одной, и все! — хитро сощурился Хижняков.

— Нет-нет,— запротестовал Крылов.— Мне еще с людьми встречаться, давайте лучше о деле поговорим. Вы Панченко Ивана Саввича знали?

Павлу Алексеевичу стало обидно. Он-то думал, что писать о нем приехали. Пусть даже не о нем самом, пусть только о совхозе, но это же его совхоз, он здесь полноправный директор, и если что плохо — его вина, но если хорошо, тут уж извините — его не обойти.

Обиды своей Павел Алексеевич не выказал. Решил все же вести себя с ним так же достойно, как и встретил.

— Да кто ж ту фашистскую собаку не знал!

— А все-таки,— спросил Крылов,— что вы могли бы рассказать о нем?

— Да то, что и все,— развел он руками.— Старостой у немцев был, по-ихнему бургомистром, честных людей мордовал, расстреливал.

Как ни странно, но Сергея Александровича эти слова успокоили. Понять его было можно: значит, не ошибся, не оклеветал героя. И все-таки продолжал расспрашивать:

— Вы это сами видели?

— А как же! — не задумываясь ответил Павел Алексеевич.— Меня самого в своем кабинете избил и хотел расстрелять, да я успел сбежать... Ну, будем,— поднял он стопку.

И Крылов махнул рукой — почему ж по такому поводу не выпить,— взял стопку, опрокинул.

Хозяин продолжал выказывать гостеприимство:

— Закусывайте, закусывайте, сальцо вот возьмите, тоже не покупное.

А Крылов гнул свое:

— А за что же он вас, Павел Алексеевич?

— А ни за что. За что фашисты измывались над нами? Вот так и он... За то, что коммунистом был. Он перво-наперво коммунистов истреблял.

— Вы вдвоем в кабинете были?

— Когда?

— Ну вот когда он избивал вас.

— Зачем? На глазах у всех, чтоб другие боялись. Нас человек пять было.

— Кто же именно?

— Из живых?

— Конечно, из живых.

Павел Алексеевич задумался.

— В живых мало кто остался,— вздохнул он.— Покосил он нас, гадина, и молодых и старых... Моляева в Германию угнал... Может, из пяти только Чепыжин Степан и остался. Он тут недалеко на хуторе живет.

— Да, я знаю, у меня его адрес есть... И еще вопрос, Павел Алексеевич: облавы были у вас?

— Конечно, были,— словно удивляясь наивности корреспондента, ответил Хижняков.

— В августе сорок второго года, например, не помните?

— На всю жизнь помню. Тогда людей что рыбу сетями позабирали, почти всех в Германию угнали да пять деревень и хуторов сожгли.

Одна загадка за другой. Голубев все досконально знает и ничего не говорит. Только на один вопрос ответил уверенно: никого не взяли, попрятались люди. И Хижняков тоже отвечает уверенно: людей что рыбу сетями позабирали.

— А вот говорят,— сказал Крылов,— будто никто в сети не попал.

— Кто же такое мог сказать? — удивился Павел Алексеевич.

Крылов замялся.

— Не знаете? Так я разъясню. Кто сам далеко упрятался, когда еще немцы не подошли. Или вовремя в эвакуацию отправился. Одним словом, кто не был в то время здесь. Придумают тоже: попрятались...

— Да нет, был здесь.

— А если был,— энергично сказал Павел Алексеевич,— значит, с выгодой для себя так говорит. Не иначе! — отрубил он и снова налил стопку.— По последней, Сергей Александрович.

— Нет, мне пора,— поднялся Крылов.— Скажите, вы не знаете Зарудную?

— Ах, вот кто! Ну, эта что угодно может сказать. Одно гнилье... Панченко, Зарудная...

— Кто она, чем занимается?

— Точно не знаю. Знаю только, что психованная баба.

Распрощавшись с Хижняковым, Крылов отправился к Чепыжину. Сухонький старичок, маленького роста, не по возрасту подвижный, и силенки, видать, в нем еще порядочно. Сергей Александрович решительно отказался войти в дом, даже во двор. По его настоянию сели на лавочке у калитки. Спросил, действительно ли Панченко бил Хижнякова?

— Так вляпал, что он, бедолага, до другой стенки летел, хе-хе-хе,— засмеялся он странным, точно потрескивание, смехом.— Сейчас, закричал, на месте расстреляю, и за рево́львер. Да Хижняков проворней оказался. Пока он свою кобуру рассупонивал, Павло уже и дверь захлопнул... Хе-хе-хе... Так пойдемте ж в дом,— поднялся он,— срамота одна такого гостя за калиткой томить.

— Спасибо, я пойду, только еще один вопрос — что вообще о Панченко вы можете сказать?

— Да что говорить... Хаты жег, скот с дворов сгонял, облавы устраивал, над людьми измывался. Что полагается фашистскому старосте, исправно выполнял, верой и правдой служил им.

Подробности той облавы особенно запомнились Чепыжину. Многим она стоила жизни. Выходит, действительно, как сетями...

А как же Голубев... да и Зарудная?.. Впрочем, всякие люди бывают. Решил все же заехать в райком.

Степан Андреевич встретил его радушно. Поблагодарил за хороший очерк о Гулыге. А на вопрос о Панченко тяжело вздохнул:

— Да, обидно это нам и больно, но куда денешься. Да и не только Панченко, еще человек пять. Правда, так, мелкая сошка, просто смалодушничали в трудную минуту. А вот Панченко — это был волкодав, идейный враг.

— Выводы глобальные... А все-таки на основе каких фактов они сделаны?

— Факты... факты...— задумчиво покачал головой Степан Андреевич.— Лучше бы их не было. Нам куда приятнее сказать — ни один человек в районе не пошел в услужение фашистам... С какой-нибудь высокой трибуны сказать... Да вот факты, именно факты нам всю картину портят. Набралось их немало, свидетельства одного Гулыги чего стоят. Но я вам еще кое-что покажу. Куда более весомое.

Нажал кнопку. Вошла секретарша.

— Возьмите в партархиве выводы комиссии по письму Дмитрия Панченко, сына бургомистра.

— У них сейчас обед, Степан Андреевич.

— Так они же здесь обедают,— пришел он в раздражение.— Никуда не убежит обед. Пусть дадут немедленно.

— Да зачем же мешать им, я подожду,— с укором сказал Крылов. Он органически не выносил грубости. Нет, не по отношению к себе, ему не очень-то грубили. Он не терпел повышенного тона в разговорах начальства с подчиненными. На этой почве не раз возникали у него споры с товарищами. В его глазах ни перевыполнение планов, ни даже самая большая забота о людях не давали права руководителю говорить с ними непочтительно.

Секретарша поспешно вышла.

Должно быть, по лицу Крылова Степан Андреевич угадал его мысли. Устало заговорил:

— Знаете, нервы стали сдавать. Ненавижу окрики, а в последнее время ловлю себя на том, что нет-нет да и тюкнешь. Вот и сейчас...

Сергей Александрович неожиданно рассмеялся, и Исаев с недоумением взглянул на него.

— Извините, Степан Андреевич, извините, бога ради.

— Да нет, пожалуйста, но разве это смешно?

— Еще раз извините, сценка одна вспомнилась, хотя никакой аналогии здесь нет. Видимо, по ассоциации.

Крылов никогда не упускал случая осадить зарвавшегося, защитить обиженного, если тот сам не мог этого сделать. Порою сам себя ругал за это — нельзя же то и дело вмешиваться в чужие дела. И успокаивал себя — нет, это не чужие. Незаслуженное оскорбление другого воспринимал как собственное. Не упустил случая и сейчас. Рассказал эпизод, смешав правду с вымыслом:

— Директор одного завода постоянно кричал на людей. Как и следовало ожидать, вызвали его в райком по жалобе очередного обиженного. «Нервы не выдержали»,— объяснил директор. «А на начальника главка,— спросил его секретарь,— тоже кричите, когда нервы не выдерживают, или они у вас избирательно расстраиваются?»

Степан Андреевич никак не отреагировал на слова Крылова. Будто самому себе сказал:

— Нет, не завидую я секретарям райкомов, ох не завидую, особенно такого, как наш. Два сахарных завода, сов-

хозы, колхозы, жилищная проблема... голова кругом идет. Ну ничего,— даже плечи расправил,— нет таких крепостей... Как-никак третий год первое место по области держим.

Вошла секретарша, положила на стол раскрытую папку с бумагами и молча удалилась.

— Ну вот,— посмотрел Степан Андреевич в папку.— Видите, девять подписей членов комиссии, расследовавших заявление сына Панченко. Требовал реабилитировать отца. Люди авторитетные, солидные, расследовали тщательно.

Крылов взял папку, стал читать... Участие в карательных налетах, помощь фашистам в угоне людей в Германию, поджоги хуторов — всюду приложил свою руку бургомистр.

Крылов прочитал, закрыл папку, задумался. Сквозь стеклянные дверцы шкафа увидел такой же рог изобилия, как и в кабинете Гулыги. Фирменная марка отрасли.

Сергей Александрович достал блокнот.

— Как фамилия председателя комиссии?

— Прохоров. Директор сахарного завода, пользующийся всеобщим авторитетом.

— Степан Андреевич, извините,— появилась секретарша,— комбайнер Савчук просто рвется в кабинет, говорит, если сейчас не доложу, сам войдет...

— Но вы объяснили, что у меня товарищ из Москвы?

— Все, Степан Андреевич, я пойду,— поднялся Крылов.— Спасибо вам, успокоили мою совесть.

А Савчук — огромный детина — уже ворвался в кабинет.

— Что же это, Степан Андреевич,— басом заговорил он.— Четыре года я на очереди, а «Волгу» опять кому-то отдали. Зачем тогда на всех собраниях слова про меня говорить?... Портрет на Доске почета уже пожелтел от времени...

— Спокойней, товарищ Савчук,— тихо сказал Степан Андреевич,— отдали не кому-то, а Прохорову, тоже человек заслуженный.

— Да он же на казенной ездит,— возмутился комбайнер,— не для себя — для сыночка берет, а того только от титьки оторвали, вместо молока теперь «Волгами» кормят, а он знай себе сосет.

— Спокойней, товарищ Савчук, спокойней, вы в рай-

коме партии находитесь...— И после паузы: — А вообще, может, вы и правы. По существу правы. Твердо обещаю: первая «Волга» по следующей разнарядке — вам.

В Лучанск Крылов вернулся за два часа до отхода поезда — на обед с Гулыгой времени уже не оставалось. Он собирал вещи, напевая глупенькую песенку:

А девочка Надя, чего тебе надо?
Ничего не надо, кроме шоколада...

Собрался позвонить Гулыге, но тот опередил, позвонил сам. Должно быть, шофер доложил ему, что вернулся. Петр Елизарович начал с упреков: как же так, договорились, сидит, ждет... Нет-нет, и слышать не хочет, не получился обед, значит, ужин. Крылов едва отбился — билет в кармане, а до поезда меньше часа остается. Гулыга смирился. Расспросил, как поездка. Сергей Александрович поблагодарил его — все удачно, никаких сомнений не осталось, со спокойной душой едет домой.

8

В Мюнхене шел дождь. Разбрызгивая лужи фонтаном, проносились машины, несмотря на раннее время, с зажженными фарами. Малолитражка доверху в грязи остановилась перед узким, в три окна старинным домом, фасад которого, должно быть, довольно часто подвергался варварским набегам: затертые и полустертые знаки и надписи, обрывки и клочки сорванных плакатов или афиш, огромная клякса на уровне второго этажа.

Дверца машины распахнулась, и вместо водителя появился огромный черный зонт, который тут же направился к подъезду. Возле двери зонт сложился и превратился в Грюнера.

Вскоре после отъезда Крылова из ГДР он был назначен на должность собственного корреспондента своей газеты в Бонне. Лет десять назад он уже был собкором в Западной Германии, хорошо знал страну, имел много друзей в разных городах, особенно среди работников Фау Фау Эн.

Выйдя из машины, с минуту рассматривал четыре зеркально-черных осколка, сиротливо болтавшихся на гвоздиках рядом со входом, когда услышал:

— Добрый день, Дитрих. Ты к нам?

Он поднял голову и увидел молодого человека в распахнутом настежь окне второго этажа.

— Здравствуй, Уго, вывеску ликвидировали недавно?

— Вчера. Заходи, чего ты там мокнешь.

Дитрих поднялся и вошел в комнату, обставленную с деловитой солидностью, которую подчеркивал и строгий костюм хозяина. Типичный служебный интерьер. Но маленькая деталь — портрет Тельмана на стене — красноречиво объясняла, почему так измордован фасад здания.

— Я уже договорился, Дитрих, сейчас нас пригласят в картотеку и покажут то, что тебя интересует, садись.

Зазвонил телефон.

— Фау Фау Эн,— отозвался Уго. Кто-то дышал в трубку, не отвечая.— Организация лиц, преследовавшихся при нацизме,— сказал он громче. В трубке раздались частые гудки.— Не надоело им... Вот что, Дитрих, пока там нас позовут, давай выпьем кофе.

— С удовольствием. Только закрой сначала это проклятое окно, я совершенно продрог.

Дитрих симпатизировал Уго. Когда-то, в первый период после войны, в этой организации состояли только немецкие патриоты — уцелевшие в гитлеровских застенках, вернувшиеся из эмиграции. В основном — люди пожилые. Постепенно ряды их редели. Тем не менее организация набиралась новых сил: ее пополняла молодежь. Руководил Мюнхенским отделением старый подпольщик, а Уго был его заместителем, и, пожалуй, на нем лежала львиная доля работы.

— Сейчас закрою,— улыбнулся Уго,— хотя должен тебе сказать, что холод дисциплинирует.— Он аккуратно затворил окно и налил из термоса две чашечки кофе.

— Представляешь — наша картотека! Довольно приличная коллекция фашистского отребья. Она же им житья не дает, они не только вывеску разбить готовы, они бы за ней на четвереньках из Парагвая прискакали и проглотили живьем. Только к нам не очень-то сунешься.— И засмеялся совсем как мальчишка.

Вскоре сообщили, что можно спуститься в картотеку. Друзья прошли через комнату, где за письменным столом печатала на машинке худенькая девушка в аккуратной блузке. На подоконнике сидел симпатичный парнишка с серьезными бицепсами. В кресле, свернувшись калачиком, устроилась собачка.

Из соседней комнаты, хлопнув дверью, устремился к

выходу человек в кожаной куртке с меховым воротником.

— Вот что, Линда,— обратился он к девушке.— Когда появится Хольберг, поцелуй его от меня и скажи, что я прождал его сорок минут.

В это время на пороге появился смешной человек в длинном несуразном пальто, с папкой под мышкой. Он весь вымок, ему явно пришлось взлететь по лестнице, но глаза у него смеялись.

— Ну, Линда, целуй меня скорее, я уже появился.

— Слушай,— перебила его кожаная куртка,— если у тебя в редакции дозволено вообще не показываться, потому что это идет только на пользу газете, то в моей мастерской хозяин фланирует с секундомером даже возле сортира.— Последние слова прогремели уже с лестницы.

— Вот сумасшедший. Сколько ждал, а я пришел — он тут же бежать.

— Хорошие ребята,— заметил Уго, когда они вышли на площадку.— Почти все у нас работают на общественных началах, урывают каждую свободную минуту.

— А Линда?

— У нее муж кинооператор, все время в разъездах, фактически, кроме собачки, ей заботиться не о ком.

С первого этажа они спустились в подвал по узкой лесенке и остановились у тяжелой двери, обитой жестью. Уго оглянулся по сторонам, нажал кнопку — короткий звонок, длинный, два коротких. На двери засветился стеклянный глазок, и она тяжело открылась, выпустив на свободу полоску яркого света и захлебывающуюся скороговорку спортивного репортажа. Друзья зашли, и дверь за ними захлопнулась. На маленькой, в полумраке, площадке снова воцарилась тишина.

В тесном помещении, заставленном шкафчиками и стеллажами, Уго и Грюнера встретила чопорная старушка в строгом костюме. Она раскланялась с Дитрихом и попыталась его выслушать, но рев и свист многотысячной толпы, заключенной в транзисторном приемнике на рабочем столе, сделали эту попытку совершенно бесполезной.

— Вы любите футбол, фрау Клюге? — улыбнулся Грюнер.

— Я!!! Футбол?!! — старушка оскорбленно вскинула подбородок и, чеканя каждое слово, обратилась к пространству между стеллажами: — Генрих, умоляю вас, выключите эту ужасную тарабарщину...

Мгновенно из-за стеллажа выпорхнул к столу очень грузный человек в черном рабочем халате, прижимая руку к сердцу, смущенно раскланялся, другой рукой убавил громкость в приемнике и, прильнув к нему ухом, замер в нелепой позе.

— Иоганн Бергер... Иоганн Бергер...— Старушка, перебирая карточки в ящике, нашла нужную, выписала шифр. На секунду задумалась, что-то припоминая.

Она ушла в глубь хранилища, а ее Генрих усадил друзей возле стола, расчистив на нем свободное место, поставил приемник на полку и, символизируя свое возвращение в реальный мир, накрыл его клетчатым платком.

Фрау Клюге принесла толстую папку.

— Вашего друга,— произнесла чуть ли не торжественно,— интересует Иоганн Бергер. Вот он весь здесь.

— Не столько он, как русский бургомистр, служивший при нем.

— Тут достаточно материалов обо всех, кто с ним служил.

— Здесь,— рука Генриха тяжело придавила папку,— собраны материалы и о новейшем, мало кому известном Иоганне Бергере — старом волке, патроне молодежного отделения реваншистской мафии. Этот экспонат живет и процветает в нашем прекрасном городе...

— Теперь я вспомнила,— вставила фрау Клюге,— почти год назад мы возбудили уголовное дело.

— Совершенно верно. Следствие закончено, скоро в суде будет слушаться дело военного преступника Бергера.— Голос Генриха зазвучал громче.— Мы считаем своим долгом раскрыть не только его прошлое, но и подлинное настоящее. Многим нашим согражданам это будет весьма полезно...

— Не надо так горячиться, помните, пожалуйста, о своем сердце.— Маленькая рука заботливо коснулась рукава Генриха, ловко вытащила из-под большого кулака изрядно потрепанную папку и передвинула ее Грюнеру.

— Недавно в Штутгартском отделении Фау Фау Эн,— не унимался Генрих,— напали на очень интересный след теневой деятельности нашего ягненочка. Оказывается, он в своем отеле...

— Извините,— перебил Грюнер.— В этой папке есть какие-либо материалы о русском бургомистре Панченко?

Генрих задумался.

— Панченко... Не помню, в какой связи, но фамилия мне знакома... Да, конечно, я встречал ее в этом деле не раз.

9

Перечитав свою статью, Костя пошел к Сергею Александровичу.

Такого ответственного задания — написать большой, весьма важный очерк — он еще не получал. Понимал: если справится с заданием, поднимется на ступеньку выше в журналистской иерархии. Выложился весь. А все-таки Крылов придрался — и то не так, и это не так. Уже два раза переписывал.

Вообще-то полагалось сдавать работу заведующему отделом, но Крылов взял над ней шефство. И все трое были довольны. Крылов — потому что верил в способности парня и хотел помочь ему, Костя понимал: после такой квалифицированной редактуры никто не станет придираться. Завотделом — потому что не придется возиться со статьей и можно будет, лишь пробежав ее, сдать в набор.

Костя шел по шумному редакционному коридору. Размахивая газетной полосой, испещренной правкой, пронесся курьер, куда-то торопясь, двое, усиленно жестикулируя, перебивая друг друга, спорили, на весь коридор раздался крик: «Пусть срочно печатают, это — в номер».

Шла обычная бурная жизнь редакции. Кабинеты начальства, отдельные рабочие комнаты спецкоров, и те, в которых сидят по нескольку человек, и коридоры всегда полны людей — сотрудников, просителей, жалобщиков, разоблачителей, изобретателей, посторонних авторов. И все торопятся, все делается в бешеном темпе. Это не мешает людям, казалось бы, не имеющим секунды свободного времени, собраться у журнального столика в холле, покурить, поболтать, порой расслабиться за чашечкой кофе, потом спохватиться, глядя на часы, и умчаться, предоставив следующему те же возможности. И стоит там неизменный гул голосов и смех.

На непосвященного редакционная атмосфера может произвести удручающее впечатление. Однако хаос лишь кажущийся. Идет напряженная работа. Все подчинено единой воле, единой цели.

Костя проработал в редакции почти год, но никак

не мог свыкнуться с правкой, порой нещадной, которой подвергаются почти все материалы, идущие в газету. Поочередно правят завотделами или их заместители, потом правят в секретариате, в редакторате, правят в оригиналах, в гранках, в верстке на полосах. Заодно и сокращают. Каждый старается ужать текст до предела. Только статьи опытных журналистов идут почти без исправлений до бюро проверки и корректуры,— там не щадят никого. Даты, цифры, события, фамилии, звания, награды и еще бесчисленное количество данных, содержащихся в материале, автор должен подтвердить ссылками на первоисточники. Корректура еще более категорична. Знаки препинания расставляет точно, как это положено по учебнику, не считаясь с волей автора, и после ее читки материал испещряется красными черточками и вопросительными знаками. А порой на полях против неудачной фразы появляется и резолюция: «Не по-русски».

В результате тщательной работы всего аппарата порой от корреспонденции мало что остается. Случается и так: пройдя все сциллы и харибды, испещренный крючочками, означающими визы ответственных лиц, материал доходит наконец до главного редактора, а там уже бракуется окончательно.

Идя к Крылову, Костя немного нервничал. Конечно, после его визы статья не подвергнется экзекуции и тем более не забракуется. Но этот придира наверняка еще к чему-нибудь прицепится.

— Все исправил, Сергей Александрович,— положил он статью на стол.

Крылов читал молча, постукивая карандашом по столу, и это постукивание раздражало Костю. Он не сводил глаз со своего судьи, который сейчас вынесет приговор. Самые мучительные минуты. Вот писал, сколько раз перечитывал написанное, снова мучительно рождались фразы, нервничал, радовался, бегал по комнате, когда приходили удачные мысли и нужные слова. Наконец — все. Он сделал все что мог, отдал все силы. И вот сидит, скажем, завотделом, читает. Поморщился, и екнуло сердце. Да нет же, это он муху согнал... А может, не муха его раздражает?.. Перевернул страницу, сейчас должен засмеяться, именно здесь изображена очень смешная ситуация... Нет, даже не улыбнулся... А вот здесь не нахмурился. Как можно равнодушно прочесть о таком неожиданном для героя ударе?..

Тревожно следил Костя за глазами Крылова, пока тот читал. А не следить, спокойно сидеть, глазея по сторонам, не хватало мочи.

Лицо Крылова ничего не отражало. Осталось бесстрастным и когда кончил читать. Молча отодвинул статью. Косте стало трудно дышать, и он не выдержал:

— Ну как?

Крылов выразительно взглянул на него:

— Нет на тебя Дмитрия Васильевича.

— Кого?! Кто это Дмитрий Васильевич?

— Был такой зам. главного редактора в газете, где я начинал. Великий учитель журналистики. Никогда ни одного слова ни у кого не исправлял.

— Поэтому и вы не исправляете?

— Но разжевываю, только что в рот не кладу. А он вот как делал. Прочитал он однажды мою статью и говорит: «Исправьте, мы все-таки на идеологическом фронте работаем».— «В каком,— спрашиваю,— смысле, Дмитрий Васильевич, что именно исправить?» — «Я уже сказал вам,— отвечает,— мы работаем на идеологическом фронте»,— и взялся читать другую рукопись. Разговор, мол, закончен. Был я тогда молодой, горячий, обозлился страшно. Ну, думаю, я и тебе загадку загадаю. Прихожу на следующий день и, знаешь, невинным таким, даже услужливым тоном говорю: «В полном соответствии с вашим указанием все исправил»,— и кладу перед ним статью. Прочитал он, лицо довольное, и я возрадовался, заулыбался. Вот, думаю, как одурачил его. «Вот это уже другое дело»,— говорит он. Представляешь мое торжество? «Это совсем другое дело»,— повторяет он и при этом рвет мою статью на четыре части и бросает в корзину. Уже не глядя на меня, добавил: «Надеюсь, копия у вас осталась, как-нибудь на свободе почитаете». Три дня я себе места не находил, ночи не спал, и вдруг меня осенило — понял свою ошибку, исправил. Снова прихожу. Как побитая собака прихожу, прошу еще раз прочитать. Закончил он и спокойно, без всяких восторгов и эмоций говорит: «Молодец!» А я уже не верю его словам, подвоха жду. «Отнесите»,— добавил он и что-то в уголке написал. И я увидел: «В набор». Не было тогда для меня слаще слов, Костя. Я ждал их, как мать сыновних писем, как глоток воды в раскаленной пустыне, как крестьянин дождь в засуху.

— Почему же он сразу не сказал? — с недоумением спросил Костя.

— Правильно сделал. Это его школа. Он добивался, чтобы человек сам думал, искал, анализировал. Только так можно научить нашему ремеслу. А что толку в правке? Она только раздражает автора и лично ему пользы не приносит... Нет,— сказал с сожалением,— не хватает у нас силы воли воспринять его методы. Уж разжуешь все, и то не действует... Вот и тебя не правил, объяснял, что сам ты должен сделать. А ты?.. Вот здесь оставил, как было,— ткнул пальцем в страницу,— вот здесь просто слова переставил, а смысл тот же, двойственный остался. Концовка осталась, хотя она явно не годится, тоже говорили об этом... Нет, никаких уроков не извлек.

— Ну почему же?..

— Дмитрий Васильевич, будь он на моем месте, при первой же читке сказал бы: «Статья многословная, рыхлая, композиционно не выстроена. Исправьте». И все. Вот и думай, анализируй, сам постигай. Это настоящая школа.

— Выходит, в третий раз переписывать,— обиделся Костя.

— Выходит. В утешение тебе скажу: я и сейчас по пять раз переписываю... И вот еще — слишком много у тебя «я», поубавь маленько. И подпись сократи вдвое, достаточно — «К. Упин». То, что ты — Константин, читатели догадаются.

На пороге появилась Верочка — машинистка из секретариата главного редактора, с явными излишками косметики на лице. Понуро произнесла:

— Верните, пожалуйста, Пушкина, надо обменять. Сразу не посмотрела, а мне брак всучили.

— Какого Пушкина?

— Третий том, который я вам по подписке...

Пока она говорила, Костя незаметно для Крылова разыграл этюд по системе Станиславского на тему: «Не надо! Замолчи! Уйди!» Но не увидела его шедевр и Верочка.

— Какой брак, я что-то не заметил.

— Так вот и я не заметила,— обрадовалась она.— Спасибо, люди подсказали. Повести Белкина, понимаете, туда вогнали.

— Что?!

— Повести Белкина, говорю, заверстали Пушкину, а печатала Первая образцовая. Вот вам и образцовая.

Крылов громко рассмеялся, посмотрел на Костю, и тот жалко улыбнулся.

— И кто же заметил?

— Да вот,— кивнула в сторону Кости.

— Не надо менять,— строго взглянул на Костю.— Просто Упин не знает: «Повести Белкина» — название одного из произведений Пушкина.— И помолчав, добавил: — А вы разве в школе не проходили этого?

— Нет,— нисколько не смутилась она,— из прозы мы только «Капитанскую дочку».— И, покосившись на Костю, ушла.

— Значит, «К. Упин»? — Костя старательно зачеркнул имя.— Вы безусловно правы, Сергей Александрович, читатель и так догадается, что этот Карл, то есть Климентий, вернее, Кирилл Упин — не дурак.

— Костя! — укоризненно перебил Крылов.— Ну как тебе не стыдно измываться над девчонкой? Кстати,— пододвинул Костину рукопись,— и ты небольшой грамотей. Вот пишешь: «Это положение усугубляется...» А что значит «усугубляется»?

Зазвонил телефон.

— Слушаю... Бегу, бегу... Подожди здесь, Костя.

Крылов быстро вошел в стенографическое бюро. В комнате, обтянутой мягкой ворсистой материей, расходящейся от люстры лучами, у одной стены были расположены кабины с тяжелыми, обитыми дерматином дверьми.

Приглушенно, мягко стрекотали машинки. Старшая стенографистка у телефонного пульта подняла голову.

— Третья кабина,— кивнула Крылову.

Он вошел, сел у столика против стационарно укрепленного микрофона, надел наушники:

— Здравствуй, здравствуй, дорогой Дитрих. Рад слышать твой голос. Как дела?

— Отшень хорошо. У Фау Фау Эн толстая папка документы.

— О Панченко?

— Нет, там Бергер, но еще Панченко, приезжать смотреть...

Крылов рассмеялся:

— Легко сказать — приезжай. Нет повода. Понимаешь, трудно командировку получить... Что? Куда ты пропал? Ты слышишь меня, Дитрих?

— Слышу, слышу... Все есть трудно... Наверно, на

процесс военный преступник Бергер есть повод. Через месяц процесс есть будет.

— А копии документов, касающихся Панченко, можешь снять?

— Серьежа, отшень много документы, не знаю, что тебе интересовайт будет. Ты сам должен смотреть приезжать.

— Едва ли,— раздумчиво сказал Крылов.— Ладно, Дитрих, спасибо, поживем — увидим, может, и приеду, только вряд ли.

Они попрощались, и Крылов вернулся в свою комнату.

— Так что значит «усугубляться»? — спросил, усаживаясь в кресло.

— Ну это,— зашевелил пальцами Костя,— как бы это сказать...

— Возьми-ка на полке Даля, найди это слово.

Костя взял словарь, завозился, зашевелил губами.

— Ты когда-нибудь словарями пользовался?

— Сейчас, сейчас... Вот...

— Прочти. Вслух прочти.

Костя медленно прочел:

— «Усугублять — увеличивать, усиливать вдвое, умножать...»

— Так вот, может положение удваиваться, увеличиваться или умножаться?

— Но ведь так все говорят! — запротестовал Костя.

— Нет, не все! Только те, кто уродует свой язык. А вина твоя в том, что употребляешь слово, не зная его значения. И вот она-то может усугубляться. А учитывая, что работаешь в газете, усиливаться вдвое, даже умножаться... Так вот,— заключил он,— не лучше ль на себя оборотиться?

Костя молчал. Помолчал и Крылов.

— Возьми,— протянул он Косте статью,— доработай. Отличная вещь получается. Молодец.

После ухода Кости Крылов зажег свет и сел за свой незаконченный очерк о Максимчуке. Перечитал написанное и вконец расстроился. Не то. Портрет героя не получается. Расплывчато, туманно и вместе с тем крикливо. Появились ненавистные ему напыщенные слова и ватные или тяжелые, как штанга, фразы. Странное дело — в молодости мог за один вечер написать приличный очерк. Чем дальше, тем хуже. Внутренний голос успокаивал — нет, дело не в возрасте, просто строже стал относиться

к каждой странице, абзацу, слову. Но все равно, утешение слабое. Чего-то не хватает. Съездить бы в Донбасс на шахту Белянку, где работал Петр, посмотреть, как он жил, познакомиться с родителями, поговорить с шахтерами, знавшими его... Хорошо бы, да упущено время. Уже два новых задания получил. Начнутся упреки, недовольство: почему сразу не поехал, и нечего на шахту ехать, не о ней речь, а о подвиге, и сколько можно тянуть с одним очерком, и так далее.

Точно пытаясь себя обмануть, Сергей Александрович объяснял свое плохое настроение тем, что не удается очерк. Дело было в ином, а в чем, он не хотел себе признаться. И очерку мешало это иное.

Совсем маленькое, но глубоко проникшее в него. Забившись куда-то в самый дальний уголок, оно сидело тихо, не шевелясь, не тревожа почти целый день, а к вечеру нет-нет да и царапнет лапкой — цап-царап...

Он заглушал, душил это ненавистное существо — никаких сомнений нет. Столько живых свидетелей, документов, расследований... Цап-царап — а куда девать гестаповский документик? Почему так враждебно молчал Голубев, и почему так противоречит его словам версия Хижнякова, ведь они оба очевидцы события?.. Ну и черт с ним, не полезу в эти лабиринты, они мне неинтересны, они к делу не относятся... Цап-царап — а что это за странная история с Зарудной?.. И это мне неинтересно. Главное, решающее — неопровержимо, факты железобетонные. Заткнись наконец, замолчи, а то удушу!.. Цап-царап — удушить тебе не под силу, не сможешь, а уйти мне некуда, я могу жить только у тебя, в тебе, пока ты не ответишь на мои вопросы. Я не буду часто тревожить тебя, постараюсь утихнуть, только знай, я все время буду с тобой.

Крылов поднялся, сунул в ящик стола рукопись и яростно захлопнул его. Никуда не заходя, отправился домой.

10

Сергей Александрович женился, когда ему было сорок лет. Его жене, Ольге, в день свадьбы исполнилось двадцать. Она не видела, не ощущала разницы в годах. По-спортивному подтянутый, добрый, остроумный, он покорил ее еще своей трогательной заботой, чуткостью. Она не была в него влюблена, но ей нравилось в нем все.

Выйти замуж за такого человека — большего счастья не надо. Она сделает и его счастливым. Робко спросила, не станет ли возражать, если она бросит работу в тресте зеленых насаждений, куда ее направили после техникума. Он с радостью согласился.

Однажды в обычный будний день он принес ей цветы, и это вызвало бурную радость. Расцеловав его, сказала:

— Ты молодец, Сережечка, не забываешь, что я ровно вдвое моложе тебя. Приноси мне цветы всегда.

Он добродушно улыбнулся:

— Во-первых, цветы не годам, а тебе. Во-вторых, если приносить их каждый день, они перестанут радовать. Это превратится в привычку. А в-третьих, милая,— снова улыбнулся он,— постепенно разница в годах сотрется.

— Что же, Сержик, ты думаешь, я начну стариться раньше тебя?

— Нет, но разница в годах с нарастающей скоростью будет уменьшаться.

— Что за глупости ты говоришь, как это возможно?

— Ты математику учила по Малинину — Буренину? Вот и посчитай по Малинину — Буренину. Когда тебе исполнился год, я был старше тебя в двадцать раз, а теперь только вдвое. Когда мне стукнет шестьдесят, тебе будет сорок. Так? Значит, уже не вдвое, а на одну треть ты окажешься моложе. А в мои восемьдесят — только на четверть.— И он рассмеялся.

— Ну-ну, продолжай,— рассмеялась и она.— Когда тебе исполнится тысяча, мне — девятьсот восемьдесят... Значит, во сколько?.. В две сотых раза.

Она смеялась искренне, и все-таки на мгновение едва уловимое ощущение или вовсе неуловимое и все же промелькнувшее, трудно объяснимое, бесформенное оставило какой-то осадок обиды.

На следующий день она вспомнила об этом разговоре, задумалась. Нет, не так уж это и смешно.

Шли годы, он оставался таким же заботливым и внимательным, как прежде, а Ольге хотелось чего-то большего. С того шутливого разговора она стала считать разницу в годах своим большим достоинством и преимуществом, о чем он обязан всегда помнить, особо ценить, и это должно в чем-то выражаться. Трудно сказать, в чем именно, это уж пусть он сам придумает, но ощущение, что он ей чего-то недодает в жизни, нарастало.

Сама она делает для него все. Большей заботы, чем

проявляет о нем, не бывает. Никто никогда не видел его в рубашке не первой свежести или недостаточно тщательно выглаженной, весь дом сверкает чистотой, на столе всегда его любимые блюда. Она добровольно избавила его от забот о покупках нового костюма, туфель или пальто — сама говорила, когда нужна обновка, сама выбирала и брала его с собой только для того, чтобы посмотреть, как на нем сидит отобранная ею вещь. Он ни в чем не может ее упрекнуть. Хотя однажды, когда увидел, как рассеянно она слушает его очерк, только что написанный, упрекнул, будто ей неинтересна его работа. Но это неправда. Не меньше, чем он, радуется его успехам. А в то, как задумываются очерки, как готовятся, лезть не следует — в этом она была твердо убеждена. Не спрашивает же он, почему именно и как готовилось то или иное блюдо. Ей вполне достаточно, что он хвалит ее кулинарные таланты.

Когда-то она была увлечена им, с годами увлечение прошло, но он оставался для нее самым дорогим человеком, которому она безраздельно верна и преданна. Она хорошо знала — здесь у них полная взаимность.

С чего бы это? Показалось, что ли? Встретила холодно, недружелюбно. Сухо спросила:

— Есть будешь?

Что с ней?.. Но к чему задаваться глупыми вопросами? Целыми днями и вечерами он не бывает дома, сколько раз уже просила устроить на работу, страдает оттого, что нет детей, а он даже о цветах давно забыл. И вот явился надутый и нахмуренный, молча прошел в комнату. Хватит! Ее хоть не волновать своими запутанными делами.

— Буду, Оленька! Буду, родная! Голоден так, что готов даже тебя съесть.— Сказал весело, широко улыбаясь.

— Это я знаю! — голос прозвучал враждебно.

Изучающе взглянул на нее, пошел мыть руки, а она — на кухню. Здесь ее полноправные владения, сверкающие операционной чистотой. Все продумано во всех мелочах и обласкано маленькими, но такими ловкими и сильными руками.

Насупившись, шумно и с раздражением переставляя тарелки, она начала накрывать на стол. Крылов остановился в дверях — никакого внимания. В сердцах брошенная на стол вилка подпрыгнула и приземлилась у его

ног. Потянулся было поднять, но жена резким движением выхватила ее из-под руки и водворила на место.

— Ты чем недовольна, Оленька?

Ответила не сразу:

— Всем довольна... Успехами мужа, например, довольна.

Он с досадой поморщился:

— Какие там успехи! После очерка из Лучанска не опубликовал ни строчки.

— И я говорю о Лучанске.

— Да, об этом очерке все говорят,— он довольно улыбнулся.

— Пока не все, но мне бы очень не хотелось, чтобы о Лучанске заговорили все.

Сергей Александрович с недоумением посмотрел на жену.

— Что ты имеешь в виду?

— Зарудную, Сереженька! Валерию Николаевну Зарудную...

Сергей Александрович оторопел. На мгновение стало очень тихо.

— Ты ее знаешь?!

— Теперь знаю. Как и положено жене, узнала последней. Только не вздумай говорить, будто ты ее не знаешь.

— Конечно, не знаю, хотя и встречался.

Она зло и насмешливо ухмыльнулась:

— Неужели не видишь, как ты смешон,— встречался, но не знаешь.

— Да прекрати наконец эту комедию! — разозлился он.— Объясни, в чем дело.

— Объяснять тебе придется. Только не комедию, а трагедию. Вот это объясни,— она выхватила из кармана фартука конверт и швырнула на стол. Он быстро раскрыл его и прочитал письмо:

«Уважаемая жена Крылова! Извините, не знаю вашего имени-отчества. Пишу вам, чтобы не было беды, я человек решительный, и пойду на все, и никому не спущу. Может, вы и не знаете, а только пока я был в рейсе, ваш Крылов забавлялся здесь с Зарудной Валерией Николаевной, на которую я имею серьезные намерения. Все соседи видели, как он приезжал к ней домой с заграничными чемоданами на черной «Волге», а зачем приезжают под вечер к одинокой красивой женщине и подкупают ее заграничными западными тряпками, объяснять не надо,

всякий дурак поймет. Он положил на нее глаз, еще когда торчал тут две недели у Гулыги, я это сам видел, а потом — мне в рейс, он и воспользовался. А теперь опять. К ней я свои меры приму, а своему байбаку скажите, пусть к чужим бабам не лезет и в Лучанске не появляется. А сунется еще раз, если и не будет меня в Лучанске, все равно на костылях или на носилках уедет, а то и совсем останетесь вдовой. Так и знайте».

Потрясенный Крылов сидел не в силах проронить ни слова. Ольга зло смотрела на него.

— Что же ты молчишь? Придумываешь, как выкрутиться?

Неожиданный удар, обрушившийся на Ольгу утром, когда она прочла письмо, ошеломил ее. Она готова была на самый безрассудный поступок. Будь под рукой яд, могла бы не задумываясь принять его, равно как и бросить утюг в голову мужа, появись он в ту минуту. Так подло, так иезуитски обманывать ее, преданную и чистую, заботливую и нежную, так насмеяться... Она заливалась слезами, в бессилии стуча кулачками о стол. Какое вероломство, какая низость оправдываться: «Очень мало валюты дали». Ей привез грошовый подарок, а валюта вот куда пошла.

Из шока Ольгу вывела промелькнувшая, еще не сформировавшаяся мысль, и она ухватилась за эту спасительную ниточку, чтобы не потерять ее. Месть! Отомстить безжалостно, беспощадно, жестоко. Надо придумать такую изощренную, такую изуверскую месть, чтобы раздавить, растоптать, смешать с грязью его достоинство, его самолюбие, его мужскую гордость. Надо испепелить его душу, чтобы последствия ее мести он чувствовал годы.

Она то металась по комнате, то в бессилии падала в кресло, и в воспаленном мозгу рождались картины одна другой фантастичней и отвратительней. Надо затащить к себе в постель первого попавшегося на улице мужика — чем страшнее, тем лучше, позвонить, сказать, будто у нее инфаркт, или взорвался газ, или загорелась квартира, что угодно, только бы примчался немедленно. Он войдет — и все увидит. А она будет хохотать, глядя в перекошенное ужасом лицо мужа, и наслаждаться местью.

Одна картина сменялась другой, еще более фантастичной и безумной, рождались и гасли все новые планы

мести, она заливалась слезами, понимая, что не в силах осуществить ни один из них.

Но что-то же надо делать, на что-то решиться! Развестись? Да, это единственная доступная возможность отстоять свою честь. Неведомые тормоза мешали утвердиться решению о разводе.

В муках шли часы, она выдохлась, осталась без сил, осознав свою беспомощность.

Так ничего и не придумав, не зная, как встретить мужа, как говорить с ним, как вести себя, подавленная и опустошенная, дождалась его прихода.

...Она молча смотрела на его неподвижную фигуру. И верно, он сидел, точно окаменев, а внутри все бушевало, не находя выхода. Надо успокоить Ольгу, надо объяснить, найти убедительные доводы, но в голове билась мысль, кто и для чего мог написать такое чудовищное письмо? Кому надо, чтобы он не приезжал в Лучанск?

— Что же ты молчишь? — повторила Ольга свой вопрос.

— Ольга! — горячо заговорил он.— Неужели ты можешь поверить этой подлой, гнусной клевете?!

— А как же не верить? — словно умоляя, сказала она. И тут же спохватилась, голос стал ледяным, насмешливым.— Как объяснить твой скоропалительный вояж из Берлина прямо в Лучанск, а не домой?!

— Оля, я тебе уже пять дней объясняю— проверить гестаповский документ можно было только в Лучанске. В чем ты сомневаешься, я не пойму.

— И я не пойму, какие это у меня могут быть сомнения, если все так ясно — не потащишь же ты домой подарки, предназначенные ей!

— Ольга, где логика?!

— Нет логики? В твоих словах нет логики. Почему ты мчался туда, как на пожар, почему не поехал домой сразу, как все? Успел бы проверить свой документ. И при чем здесь документ гестапо? Тебе все подробно рассказали, миллион свидетелей его злодеяний, сам видел предателя в фашистской форме — на фотографии красуется...

— Зорге тоже «красовался» в фашистской форме,— прервал он.

— А раньше, когда писал очерк, ты этого не знал?.. И почему ты уходишь от главного, от этого письма? Кому это вдруг понадобилось на тебя клеветать?

— Вот на этот вопрос я пока не могу ответить. Кто придумал...

— Нет, не придумал,— оборвала она,— письмо искреннее, простое, простого человека. Такое не придумывается.— Ольга резко сорвала фартук, бросила на стол и рванулась к двери. Неожиданно обернулась и выплеснула на Крылова все, что надумала с тех пор, как прочла анонимку, выбрав, как это часто бывает у женщин, самую больную для себя версию. Она уже не говорила, а чуть ли не истерически кричала: — Не желаю быть участницей вашего пошлого водевиля. С меня достаточно первого акта!.. Не хочу получать таких писем, не хочу, чтобы на меня пальцем указывали!..

Он испугался. Испугался, что с ней будет истерика, чего никогда в жизни не случалось, испугался за нее.

— Оля, не надо,— умоляюще заговорил он, прижимая руки к груди,— прошу тебя...

— Нет, надо! В последнее время меня окружает один Лучанск. Это, конечно, стечение обстоятельств, но я не удивлюсь, если скоро в центральной печати каждый камень Лучанска будет описан.

Зарыдав, она рванулась из кухни, хлопнув дверью.

11

По шумному редакционному коридору шел человек, разглядывая таблички на дверях. У него было угловатое волевое лицо, большой лоб, черные вразлет брови, умные, выразительные глаза. На его высокой фигуре ладно сидел недорогой костюм, и весь он был ладным, крепким, чувствовалась в нем физическая сила.

Вопреки этому вид не казался бравым. Напротив, будто стесняясь своего роста, чуть сутулился, поспешно жался к стене, уступая дорогу встречным, словно опасаясь чего-то, прижимал к груди папку.

Отыскал наконец кабинет главного редактора, тихонько постучал в дверь и, не дождавшись ответа, аккуратно приоткрыв ее, вошел в приемную. Молча стоял у двери, ждал, пока секретарша оторвется от своих дел. В углу за маленьким столиком печатала на машинке Верочка.

— Вы что, товарищ? — подняла голову секретарша.

— Хотел с главным редактором поговорить.

— Нет его, видите? — показала на распахнутую настежь дверь.— Да и день сегодня неприемный, и к главному у нас предварительная запись.

Вошедший покачивал головой в такт ее словам, как бы подтверждая их справедливость. Видимо, ничего неожиданного в них для него не было, и не очень-то он рассчитывал на удачу. Знать, немало походил уже по кабинетам начальства. Без особой надежды, скорее для очистки совести, будто неловко ему за назойливость, спросил:

— Без записи нельзя, да? Я приезжий, отгул всего на два дня дали. Он когда будет?

— Сегодня уже не будет. Вы по какому делу приехали?

Тяжело вздохнул человек:

— Зря, наверное, приехал... Редакция, наверное, опровержений не печатает?.. Или случается?

Секретарша участливо посмотрела на него.

— Ошибку редакция допустила в статье... Серьезную ошибку, понимаете?..— и умолк, не зная, что говорить дальше.

— В какой статье, как называется? — секретарша потянулась за подшивкой.

— Нет, давно, больше трех месяцев назад... «Генеральный директор» называется.

— Почему же так долго молчали?

— Не молчал, сразу написал. А редакция мое письмо куда-то переслала, а там тоже переслали, ответ получил несколько дней назад от того, на кого жаловался.

Он виновато улыбнулся, словно извиняясь за то, что так нескладно получилось.

Секретарша задумалась:

— Минуточку...— и вошла в кабинет напротив редакторского. Вскоре вновь появилась и жестом пригласила: — Пройдите к заместителю, товарищу Андрееву, Василий Андреевич его зовут.

Минут через десять он вышел и, не попрощавшись, направился в коридор. Шел, глядя в пол, ни на кого не обращая внимания. Его вид был красноречив — ничего не добился.

— Костя, тебя Крылов искал! — раздался чей-то крик.

— Крылов? — удивился Костя.— Я только что от него.

Посетитель вскинул голову, насторожился. Постоял в нерешительности и спросил проходившего мимо сотрудника:

— Пожалуйста, где сидит Крылов?

— Вот, вторая дверь.

Постоял у двери, прочитав табличку, вошел.

— Вы ко мне? — поднял голову Сергей Александрович.

Молчит человек, уставился, смотрит.

— Извините,— сухо сказал наконец и повернулся к двери.

— Гражданин! — удивленно окликнул его Крылов.— Вы что хотели?

— Уже все, что хотел, сделал! — Голос стал твердым, жестким.— Хотел посмотреть на вас.

Теперь Крылов уставился на него. Что за чудак? На душе у него было хуже некуда, но он все же пошутил:

— Так нельзя смотреть — меня за деньги показывают, как в зверинце.

— За деньги? — всерьез переспросил вошедший и раздумчиво добавил: — Так, может, и вправду за деньги?

— У вас много свободного времени, товарищ? — уже нетерпеливо и тоже всерьез спросил Крылов.

— Теперь много,— тяжело вздохнул и добавил: — На партийные собрания не надо ходить, никаких общественных дел...

Что-то подкупающее было в этом красивом и, судя по всему, подавленном человеке.

— Где я мог вас видеть? — прищурился он.— Проходите, пожалуйста, садитесь.

— Да нет уж, спасибо,— и, резко повернувшись, поспешно вышел.

Что за чертовщина?! Опять какая-то загадка, какой-то идиотский детектив... В этот день по графику Крылов должен был дежурить по номеру. Пошел к главному. Увидев распахнутую дверь в приемной, спросил секретаршу:

— Скоро будет?

— Не скоро, на бюро горкома.

— А он? — кивнул на дверь Андреева.

— У себя.

— По горячему следу? — встретил его улыбкой Василий Андреевич.— Хорошо, что не зашли минут десять назад... С вас причитается.

— Когда только я от долгов отделаюсь? За что же?

— Приходил тут один на вас жаловаться. Ну, как водится у опровергателей, целая папка документов,

справок, вырезок, выписок... Хотел к вам направить,— рассмеялся он,— да решил выручить, сам отбился.

— А кто он, кто? — нетерпеливо спросил Крылов.

— Чего взволновались, дело ясное, исключен из партии, отец предатель...

— Панченко?! — ахнул Крылов.

— Именно он. Значит, и к вам заходил?

— А, черт возьми... Как же вы могли?! Где он? Где остановился?

— Вот тебе и благодарность! Откуда мне знать... Не собираетесь ли вы...

Не дослушав, Крылов метнулся из кабинета, бросив на ходу:

— Сегодня дежурить не могу, болен.

Он позвал к себе Костю, снял с полки телефонный справочник.

— Помоги, Костенька, пожалуйста. Возьми где-нибудь такой же справочник. Нам срочно надо найти, в какой гостинице остановился Панченко.

— Он жив?! Он здесь?!

— Да нет, его сын. Вот...— листает он страницы,— гостиницы. Я пойду с начала, а ты, скажем, с буквы «П». Только в интуристовские не звони. Иди. Костя, побыстрее надо, прошу тебя — ни на что не отвлекайся.

Костя ушел, а Крылов начал крутить телефонный диск.

— Гостиница «Алтай»?.. Пожалуйста, в каком номере остановился Панченко?.. Имя-отчество?.. Отчество «Иванович», из Лучанска. Спасибо,— и положил трубку. Смотрит в справочник, бормоча: — «Белград I», «Белград II», тут не может быть... «Берлин»... Вот, «Волга».— Снова крутит диск.

Трудно сказать, сколько он просидел за телефоном: «Не проживает», «Нет такого», «Не останавливался» — и так без конца. И он продолжал звонить с удивительным упрямством, пока не вбежал обрадованный Костя:

— «Ярославская»! — торжествующе потряс бумажкой.— Вот номер его телефона. Самая последняя, черт возьми. С конца бы начать обзванивать.

— Ну молодец! Молодчина, ей-богу. Спасибо, Костенька.

— Фирма марку держит,— с чувством собственного достоинства покинул тот комнату.

А Крылов уже набрал номер:

— Товарищ Панченко?.. Слава богу, я вас ищу, это Крылов, журналист Крылов. Я хотел бы с вами встретиться.

— Мы уже встречались,— хмуро ответил тот,— дел больше у нас нет.

— Но вы же заходили ко мне, значит, хотели поговорить.

— Да нет, только посмотреть на вас.

— Ну, что вы в самом деле, это же несерьезно. Я понимаю ваше состояние... Простите, ваше имя?

— Дмитрий Иванович...

— Хорошо понимаю, Дмитрий Иванович, и, поверьте, глубоко сочувствую. Давайте все-таки встретимся. Если не можете в редакции, я к вам приеду.

Помолчав, Панченко нехотя сказал:

— Приезжайте, если вам делать нечего, мне тоже... до поезда еще три часа.

Взяв разгонную машину, Крылов помчался в гостиницу «Ярославская».

Сергея Александровича Панченко встретил сухо, на его расспросы отмалчивался, отвечал односложно, давая понять, что говорить не хочет. Но и Крылов отступать не собирался. С трудом нащупал наконец ниточку, с которой можно начать распутывать клубок, и Панченко разговорился, не очень доверчиво, не вдруг, но разговорился. Отец — подпольщик. Должность бургомистра? — да это же ширма очень удобная. Липань немцы миновали, лишь в соседней Биловке были жандармерия и комендатура, одним словом, условия для работы отличные — и госпиталь в лесу для раненых окруженцев, и отряды партизан формировались в липаньских окрестных лесах, и оружие собирали...

— Но ведь отец был исключен из партии до войны?

— Верно, да вы посмотрите архивы, за что исключен! Был он заврайземотделом. Получил по разнарядке двести килограммов гвоздей, и нет чтобы по всем колхозам равномерно распределить, а дальше хоть трава не расти — пусть хоть под стеклом их показывают, так он одному колхозу отдал, да еще себе десять килограммов выписал сарай чинить. Вот его и исключили за нарушение Устава сельскохозяйственной артели и частнособственнические тенденции. А по сути он был коммунистом, коммунистом и остался. Исключение только помогло в бургомистры пробиться.

— Выходит, он сам хотел на эту должность?

— Конечно, сам. Задание партии выполнял в организации подполья и партизанского движения.

— Не очень сходится, Дмитрий Иванович. Фамилии каждого оставленного для работы в подполье и сегодня есть в архивах райкомов, горкомов, обкомов. А я проверял в райкоме...

— А я не говорю, что его специально оставили. Разве, например, краснодонцев кто-нибудь оставлял? Да таких примеров тысячи.

— Согласен, но надо доказать, что и данный случай из того же ряда. Нельзя же сбрасывать со счетов решение райкома, я читал его, факты убедительные...

— Не читали вы такого решения! — горячо заговорил Панченко.— Нет такого решения. Вы читали выводы комиссии Прохорова, а она ни разу не собиралась.

— Трудно в это верится. К тому же я и с живыми свидетелями беседовал.

— Вот в это, извините меня, трудно верится. Ни один не скажет, что отец предатель.

— К сожалению, говорят.

— Не секрет, кто говорит?

— Бывшие партизаны. Хижняков, например...

— Хижняков?! — загремел Панченко.— Может, еще Чепыжин или...

— И Чепыжин.

— Да знаете, кто они? — Голос стал грозным.— Вот прочитайте...

— Минутку, сейчас прочту, давайте все же по порядку. Вас-то за что исключили? Сын за отца не отвечает.

— Но меня не за отца — за обман партии. Хитро письмо в наш партком было составлено. «Если при вступлении в партию он сообщил, что отец — предатель, и коллектив все же решил принять его, значит, достойный человек. А если скрыл...»

— А вы что писали?

— Писал как есть — замучен в гестапо.

— Да... Сколько же вам тогда было лет?

Дмитрий Иванович горько усмехнулся:

— Лет не было. Месяцы. Семь месяцев.

После долгой паузы Крылов спросил:

— Письмо анонимное?

— Нет, авторитетнейший человек написал, заслуженный.— В его голосе нескрываемая боль.— Если бы

анонимка, думаю и разбирать не стали бы, ко мне все с уважением относятся. Я — ведущий инженер, моя группа всегда на первом месте... Да все равно я бы доказал, но...— безнадежно махнул рукой.

— Что же помешало?

— Ваша статья, товарищ Крылов. Теперь и слушать никто не хочет...

Крылов поморщился. Помолчав, спросил:

— Кто автор письма?

— Для вас он особый авторитет.

— Кто же?

— Гулыга.

— Гулыга? — Крылов на мгновение закрыл глаза. Гулыга ведь не так говорил. По его словам получалось, будто партком сам разбирался... Или не так его понял?.. Рассеянно сказал: — Что вы хотели рассказать относительно Хижнякова и Чепыжина?

— Голубев подробно описал, что это за типы.

— Голубев? Никита Нилович? Очень интересно. Я сколько ни бился, ничего он мне не сказал.

Неожиданно Дмитрий Иванович захлопнул папку.

— Нет, не имею я права показывать.

Ничего не понимая, Крылов смотрел на него.

— Голубев вместе с моим отцом в подполье работал,— продолжал Дмитрий Иванович.— Его схватили полицаи, когда из окружения выходил, и привели к отцу. Никита Нилович его фашистским выродком назвал, чуть в лицо не плюнул, а когда узнал, что отец подпольщик, вместе с ним стал работать. Отец устроил его у лесника, тоже подпольщика, на самом дальнем участке, выправил ему документ, будто он мостовой обходчик. У нас там много всяких мостков через речушки и овраги. Вот и ездил он — кум королю — никто задержать не мог. А потом в церковной сторожке соседнего села стал жить, ходил по лесникам, которые оружие собирали и в тайники перетаскивали. В лесу того оружия, как грибов после дождя, полно было... Люди в церковь ходили, там и явка была, там и получал Голубев указания отца.

Крылов тяжело плюхнулся в кресло:

— Почему же вы письмо Голубева в папке держите?

— Это моей рукой написано, это копия, да и то недействительная. Оригинал он забрал... Но я его не осуждаю, у него другого выхода не было.

— Мудреный детектив получается,— Сергей Алек-

сандрович пересел к столу.— Что-то не так, Дмитрий Иванович. Во-первых, не выгнали, работает, сам видел...

— Теперь-то работает,— не дал ему договорить Дмитрий Иванович.— Даже вынужденный прогул оплатили.

— Нет, все-таки ничего не понимаю. Вся история сомнительна. Вдумайтесь: безоружный Голубев во время войны плюет в лицо бургомистру, понимая — идет на гибель. Бесстрашный человек. А в наши-то дни?

— То-то и оно, что во время войны,— спокойно сказал Дмитрий Иванович.— Он был холостой, рвался мстить любой ценой. А теперь? Постарел, годы вышли. Жена с постели не встает после паралича, дочь — вдова с двумя детьми — машинисткой работает. Все на нем, куда же ему тягаться?

Крылова взорвало:

— С кем тягаться? Кто его уволил, кто восстановил? Кому, наконец, это надо?!

— Не могу о нем,— вздохнул Дмитрий Иванович.— И письмо не имею права показывать, еще хуже человеку будет. В таком же положении Зарудная, Чумаков...

— Кто-кто? Зарудная? Валерия Николаевна? Вы ее знаете?

— Гм... знаю. Еще как знаю!

— Кто она, чем занимается?

— Работает в историческом архиве, три года готовила диссертацию о партизанском движении в районе. Показала и подполье во главе с Панченко Иваном Саввичем. Не вступая в прямую полемику, опровергла выводы Прохорова, но тут и ей помешали...

— Ну знаете...— не выдержал Крылов и осекся.— Говорите, говорите, я вас слушаю.

— Вы сами с ней поговорите.

— Что же вы все там — одуванчики, что ли? Если правду не признают, значит, биться за нее надо. А ваша Зарудная еще хуже Голубева, вовсе разговаривать со мной, видите ли, не пожелала. Тот, чье дело правое, не боится ни с кем говорить... Да и вы... Самое заинтересованное лицо — все намеками да полунамеками. Вроде Зарудной, тоже не хотели говорить. Что за гордыня такая!

— Какая уж там гордыня, Сергей Александрович. Только не обижайтесь, но ваша статья не только мне — Зарудной все дороги к правде перекрыла. Вот так-то.— Он поднялся.

— Минутку,— жестом усадил его Крылов.— Я чело-

век откровенный, откровенно и скажу. Вы вызываете у меня не только сочувствие, но и доверие. Во всяком случае, хочется вам верить.

— И на том спасибо.

— Что произошло, вы не говорите, а только сетуете на то, что никто не хочет разобраться.

— Вы бы разобрались... да теперь по рукам связаны, кто же против себя выступать станет!

— Ошибаетесь, Дмитрий Иванович,— положил он руку на плечо Панченко.— Если погрешил против истины, если буду убежден в этом, хватит мужества признать любую ошибку, какой бы расплаты ни стоила.

Дмитрий Иванович посмотрел на Крылова.

— Хватит?— переспросил он.

Крылов поднялся и протянул Панченко руку.

— Не сомневайтесь. Но вы должны помочь. Договоритесь с Зарудной, пусть покажет мне свою диссертацию и документы, опровергающие выводы комиссии Прохорова. А к Голубеву еще раз поеду.

Это было крепкое рукопожатие. Будто союз заключили.

12

Из гостиницы Сергей Александрович вернулся в редакцию. Достал из стола рукопись... Закончить наконец очерк. Какой там очерк, не в состоянии написать и строчки. Сумбур... Ольга, Панченко, Голубев... Заколдованный круг. Прошлую ночь почти не спал, маялся, бессмысленно перебирая бумаги, не в силах ни ответить на вопрос, ни избавиться от него: кто и для чего мог написать такое письмо? Под утро прилег на диван, часа два в тревоге подремал и поднялся. Холодный душ освежил его. Выпив чашку кофе, собрался в редакцию, но уйти, не поговорив с женой, не мог. Робко пошел к ней. Она не спала. Может быть, так же как и он, всю ночь. Сказал спокойно и веско: «Ольга! Я клянусь тебе самым дорогим, что есть в моей и нашей жизни,— ни в чем перед тобой не виноват. Во всяком случае, в том, что написано в этом пасквиле. Я обещаю тебе не успокоиться до тех пор, пока не найду этого подлеца».

Ольга молчала. Он и не ждал ответа. Понимал ее состояние. Что она может сейчас сказать? Пусть хоть сколько-нибудь поколеблется вера в клевету, принятую ею за истину безоговорочно...

К действительности вернул его вошедший Костя:

— Все исправил, Сергей Александрович,— положил он на стол свою рукопись.

— Все?

— Все, проверьте.

— Молодец,— и, поставив на первой странице свою визу, отодвинул рукопись:— Сдавай.

И снова остался один. Сплошной туман... Один факт исключает, полностью опровергает другой. И оба убедительны. Так не бывает. Но так есть... Черт побери, не может же так быть! Где-то ложь. Где ложь? Во имя чего?

Неожиданно вспомнил о Ржанове. Бросил взгляд на часы, торопливо пошел к главному.

С Германом Трофимовичем Удаловым у Крылова сложились особые отношения. Они проработали вместе пятнадцать лет, и хотя их не связывала личная дружба и не встречались они домами, понимали с полуслова и глубоко уважали друг друга.

Сергей Александрович видел в редакторе человека тонкого политического чутья, образованного, одинаково доступного для всех, вне зависимости от рангов и положений, принципиального и бескорыстного. Далеко не у всех сотрудников он пользовался уважением и повод к тому давал. В своем справедливом требовании не допускать ошибок он перебарщивал, взыскивая за них. Даже орфографические ошибки вызывали его бурное негодование. Человек по натуре добрый, он становился в такие минуты беспощадным, безжалостным, даже жестоким. И выражалось это отнюдь не словами. Он налагал суровые взыскания, отбрасывая назад очередника, готовившегося вот-вот получить квартиру, а то и вовсе увольнял. И еще одно качество, казалось противоречащее его характеру, вызывало у многих недовольство. Проявляя заботу о жилищных условиях сотрудников, о заработках, путевках и продвижении по службе, совершенно не признавал права людей на ограниченный рабочий день, на отдых. Перегружал, заставлял работать, как кто-то сказал, на износ.

При нем Крылов прошел все ступени от литсотрудника до завотделом и члена редколлегии. Должность ответственная, престижная, хорошо оплачиваемая, но не о ней мечталось Крылову. Надо корпеть над планами отдела, заказывать статьи, уламывать талантливых, а значит, сверх меры перегруженных людей выступить

в газете, отбиваться от графоманов, разбирать жалобы, редактировать материалы, вести огромную организационную работу. Для того чтобы писать самому, не хватало времени. Чем выше редакционный работник поднимался по служебной линии, тем меньше оставалось возможности писать. Практически у завотделом такой возможности не было вовсе.

Как и каждому литературному сотруднику редакции, Крылову хотелось стать спецкором. Это высшая журналистская должность. Поставленное в скобках ниже его фамилии «Спец. корр.» не раз появлялось в газете, когда он был еще начинающим журналистом. Но это не то. Это означало лишь, что человек специально выезжал для выполнения данного конкретного задания. Должность «специальный корреспондент»— дело совсем иное. Никого не править, ничего не заказывать, ни за кого не отвечать. Только писать. Чаще всего — не по заданиям, а то, о чем хочется сказать людям. Да и задания-то, как правило, интересные, масштабные. Потому и назначают на эту должность журналистов высшей квалификации.

Четыре года Крылов заведовал ведущим отделом, и ни одного срыва, ни одной ошибки. Постоянно новые, важные для газеты инициативы, новые интересные рубрики и кампании. Потому и не хотелось Удалову переводить его в спецкоры, хотя понимал — самая подходящая кандидатура. Ему не хотелось терять хорошего руководителя отдела. Последнюю гирьку на чашу весов в пользу Крылова положил секретарь парткома. Но уже согласившись, верный своему принципу до предела загружать людей, возложил на Крылова обязанность шефствовать над отделом и в течение года нести полную ответственность за его работу.

Вопрос был предрешен. Сергей Александрович с нетерпением ждал приказа. Вот тут-то и пришел к нему завотделом информации, председатель месткома Петр Федорович Калюжный. Начал издалека, с вопросов о здоровье, работе, семье, а закончил просьбой не претендовать на вакантное место. Не скрывая, сказал: давно мечтал о нем, практически он, Калюжный, добился перевода прежнего спецкора в другую газету, поэтому по праву должен сам занять эту должность.

Весь разговор был Крылову неприятен. Нигде бы не сказал, но знал: Калюжный пишет плохо, просто не умеет писать, и такое назначение было бы в ущерб

делу. Верно, хороший организатор, может точно оценить слово, но только оценить, а не найти. Однажды даже сам признался в этом, надсмеявшись над довольно одаренным, но спесивым писателем. Тот принес заказанный Калюжным очерк, и Петр Федорович сделал ему ряд справедливых замечаний.

Писатель обиделся, запальчиво сказал: «Что вы командуете?! Если вы такой грамотный, пишите сами, вот вам мое стило».— «Знаете,— не растерялся Калюжный,— когда я прихожу на примерку к закройщику, я говорю ему: «Вот тут заужено, здесь морщит, рукава длинноваты». Но если он скажет: «Садитесь и шейте сами», я отвечу: «Даже пуговицу не смогу пришить». Я редактор и вижу, что не так, как и услышу фальшивую ноту у певца. Это вовсе не значит, что я должен сам уметь петь».

Да, за словом в карман Калюжный не полезет, но «петь» не умеет. Его статьи, которые сам называет очерками, полны громких фраз, не трогают читателя. Да и не только по этой причине не хотел Крылов выполнить просьбу Калюжного. Чего ради он должен уступать предназначенное ему место, тем более такому человеку. С недоумением пожал плечами:

— Так решил главный.

— Да,— парировал Калюжный.— Но решения редколлегии, а тем более приказа еще нет. И главный сказал: если ты откажешься — назначит меня.

Крылов задумался. Калюжный с надеждой смотрел на него. Однако думал он не о том, отказываться или нет, как предполагал Петр Федорович. Думал, как легко и не очень благородно отделался Удалов от назойливого Калюжного, которого ни за что не назначит на это место, и о самом Калюжном, его нескромности и настырности.

— Нет,— сказал решительно.— Это, конечно, нескромно, но я больше подхожу на роль спецкора. Впрочем, как решит редколлегия, так и будет.

Слова прозвучали действительно весьма нескромно. Но сказал их Сергей Александрович не сгоряча. Специально искал резкую форму отказа. Надо не юлить перед такими, не делать благородной мины, как Удалов, а учить их, ставить на место.

Калюжный ушел, не ответив, но в душе все кипело. Нет, он не из тех, кто прощает оскорбления. Особенно

такое. Больше года готовил себе место — и вот пожалуйста, его займет любимчик редактора.

— Кто у него?— спросил секретаршу Сергей Александрович, кивнув на дверь Удалова.

— Никого.

— Я позвоню коротенько с твоего телефона,— проходя в кабинет Германа Трофимовича, сказал Крылов. В словах не было просьбы, он как бы объяснял, зачем пришел.

Не отрываясь от работы, Герман Трофимович кивнул в сторону телефона, пододвинул алфавитную книжечку. Ржанов оказался на месте, согласился принять на следующий день утром.

— Что это тебе Ржанов понадобился?— поднял голову хозяин кабинета.— Опять о ком-то хлопочешь?.. Когда наконец сдашь очерк о Максимчуке?

— Не вытанцовывается...

— А ты не танцуй, тут не балет, попробуй головой работать.

Крылов только улыбнулся:

— Попробую головой, это, наверно, трудно... Не буду мешать,— и вышел.

13

Юркий «жигуленок», объехав храм Василия Блаженного, остановился рядом с другими машинами. Вышел Крылов, направился к Спасским воротам Кремля. Часовой взглянул на фотографию в удостоверении личности, потом на Крылова. Пробежав глазами список, поставил в нем галочку.

— Пожалуйста,— вернул удостоверение.

Пройдя под аркой, Сергей Александрович свернул направо, пошел вдоль Кремлевской стены и остановился у подъезда огромного здания. На мраморной плите отливали золотым блеском литые буквы: «Совет Министров СССР». Легко нашел кабинет Ржанова и вскоре прошел к нему. Коротко и полно изложил суть вопроса.

— Читал, читал ваш очерк,— сказал Ржанов.— Хотя помню Гулыгу очень смутно, мы ведь только раз встречались, но рад за него, выходит, воевал он здорово. Да и сейчас руководит большим делом... Правда, фантазер,— улыбнулся он,— но, может, это и хорошо. Без полета фантазии вершин не достигнуть.

— Почему фантазер?— насторожился Крылов.

— Фантастические планы расширения своего производства предлагал, трижды писал мне... Наверное, обиделся... Но невыполнимы они, каждый раз отказывал в поддержке... А эпизод этот хорошо помню, я потом с этим соединением воевал. Умный, бывалый полковник Зыбин поначалу собирал по пути из окружения многих бойцов. Были там и пехотинцы, и артиллеристы, и моряки — одним словом, все рода войск. На ночлег остановились в Липани. И я в то время там находился, в лесном госпитале, который организовали наши врачи, тоже оказавшиеся в окружении.

— А кто снабжал госпиталь?

— Честно говоря, не знаю, там все в тайне держали, да и пробыл всего три дня, ранение легким оказалось. Я уже думал, как пробиваться дальше, хотя рука после ранения еще не зажила. Вот тогда и появился отряд Зыбина.

— Большой отряд?

— Очень большой. Когда из окружения вышли, из нас дивизию сформировали. Зыбину присвоили генеральское звание и назначили командиром дивизии. Он фундамент дивизии еще в окружении закладывал. Сначала распределял людей по отделениям и взводам, а потом роты появились и даже полки. По мере роста все более походил на организованное воинское соединение. Было в нем три крупных ленинградских юриста, из которых он создал военный трибунал. Дисциплину поддерживал жесткую, людей берег по-отцовски.

— Он жив сейчас?

— Меня и самого это интересует. Видимо, жив. Он не раз отмечался в приказах Верховного Главнокомандования, удостоен звания Героя Советского Союза. Но меня уже в дивизии не было — тяжелое ранение получил... Ну, так вот. Еще с вечера в нашем лесном госпитале прошел слух об отряде Зыбина. Я решил уйти с ним. Чтоб не прозевать, отправился ночевать в деревню. А на рассвете, вернее, уже светло было, услышал барабанный бой. Вскочил — к окну, а потом выбежал на улицу. Такую увидел картину, что страшно стало. На площади, у самой опушки леса выстроился отряд, человек, думаю, триста. Форма на них разношерстная, да и та далеко не первой свежести. Но стоят колоннами, в каре выстроенные. Посередине, на наскоро сколоченном помосте — пять офице-

ров, среди них — Зыбин. А чуть подальше на ветке многовекового дуба — веревка с петлей. Под усиленным конвоем с автоматами наперевес, под барабанный бой вели человека. Остановились у дуба, смолк барабанный бой.

Из всех хат повысыпали люди, в основном женщины. Сначала жались у калиток, а потом осмелели, стали подходить ближе. И я продвинулся, рядом Гулыга оказался. В толпе было несколько человек таких, как мы с ним,— окруженцев.

Потом полковник скомандовал: «Давай!»

Вышел вперед офицер и начал читать приговор. Документ большой, я его не запомнил, но все там по форме — и состав трибунала из юристов первого и второго класса, и все формальности. В заключительной части приговора говорилось, что за участие в карательных акциях фашистов, расстрелах жителей, пособничество гитлеровцам в угоне людей в Германию, за измену Родине приговорить Панченко... Фамилию я хорошо запомнил, у нас сосед был Панченко. И отчество запомнил — Саввич. Противно рядом ставить, но отчество моего отца — Саввич. А имя выветрилось. Так вот этого Панченко — к смертельной казни через повешение.

Я предложил Гулыге уйти с этим отрядом, а он меня толкнул локтем. «Смотри, смотри!»— кричит. А я уже и сам увидел. В каком-то нечеловеческом прыжке Панченко рванулся в сторону меж деревьев, и тут же раздался громовой голос полковника: «Не стрелять! Живьем!»

Бросились за ним человек пятнадцать, да помехи всюду, кустарники, а он, должно быть выросший в этих местах, вымахивал гигантскими прыжками и все дальше уходил от преследователей. Тогда и раздался второй приказ полковника: «По предателю Родины — огонь!» Да поздно. Ищи теперь ветра в поле, как сквозь землю провалился.

— Так и не поймали?

Ржанов развел руками.

— Ничего больше не знаю. Я ушел вместе с отрядом Зыбина, еще раз звал Гулыгу, но, видимо, тогда еще он задумал сам организовать отряд, верил в свои силы.

Поблагодарив Ржанова, Крылов ушел. На душе стало легче: судя по характеристике Зыбина, зря этот человек расстреливать не станет.

Прямо из Кремля Крылов направился к главному редактору. Секретарша резким жестом остановила его:

— Полосы читает, просил только если по номеру.
— Андреев же сегодня ведет номер.
— Заболел.
Поколебавшись, Сергей Александрович открыл дверь, вошел. Удалов читал полосу, не поднял головы.
Странное дело — не сосчитать, сколько раз за долгие годы Крылов был в этой комнате, а сейчас, остановившись в нерешительности, молча рассматривал кабинет. Его не отличить от тысяч служебных кабинетов, если бы не щит, занимающий чуть ли не полстены. Он разделен на шесть частей по вертикали, и над каждой из них — часы и лампочка. На щите шесть оттисков газетных полос. Четыре сверстаны полностью, над ними горит свет, а стрелки часов не движутся, замерли, показывая время, когда полоса была готова. Пятая и первая полосы не готовы к печати, тут и там на них белые пятна, куда еще не поставлены корреспонденции или клише. Не скоро освободится редактор, жди теперь, пока загорятся все лампочки. Он уставился в свою верстку и ничего не хочет замечать, хотя времени у него предостаточно. Четыре полосы горят, газета явно идет раньше графика. Впрочем, когда номер ведет главный, все движется быстрее.
— Я на минуточку, Герман Трофимович,— решился он наконец.
— Да?— сказал тот, не взглянув на вошедшего.
— Я прошу короткую командировку в Мюнхен.
Герман Трофимович поднял голову, сдвинул на лоб очки:
— С заездом по пути в Париж и Лондон?
— Нет, серьезно, важное дело.
— Можно полюбопытствовать какое?
Вошел курьер, наколол поверх незаконченной пятой полосы готовую, полностью сверстанную. Сверху зажглась лампочка, часы остановились. Редактор покосился на них, довольно сказал:
— Молодцы, ребята, на пятнадцать минут раньше графика... Так какое же дело?
— Как вам сказать?.. Понимаете,— он почему-то перешел на официальный тон,— там будет судебный процесс над военным преступником Бергером...
— И ты должен выступить в качестве обвинителя?
— Вы настроены на веселый лад, а я дело говорю.— Голос Крылова прозвучал укоризненно.
— А почему бы и не на веселый? Пять полос уже

есть,— показал на щит,— вот дочитываю последнюю, и правки почти нет... Да и ты с веселым предложением пришел.

Крылов с грустью смотрел на него. Редактор уловил его взгляд. Сказал серьезно, но мягко:

— Что ты, в самом деле, сотни таких процессов прошли, всех оправдывают. Кому они интересны? Во всяком случае, не редакции... Что у тебя еще?

— Понимаете, тут дело не только в процессе...

— А в чем?

— Ну, пока еще трудно сказать...

— Знаешь что, Сергей, не морочь голову. У тебя дел уйма, и мне некогда.— Он водворил на место очки, наклонился над полосой.

Вошел сотрудник:

— Можно?

— По номеру?

— Нет, но...

— Тогда позже...

— Герман Трофимович, еще минутку... Помните, в очерке о Гулыге я вскользь о предателе Панченко написал?

— И хорошо сделал. Выросли в одной среде, одинаковое образование получили, один стал героем, а второй предателем. Хорошее сравнение. В чем у тебя сомнения?

— Не то чтобы сомнения, но некоторые детали надо уточнить.

Герман Трофимович повернулся в кресле:

— А я-то думал, что Крылов уточняет все до того, как садится писать, а не спустя месяцы после публикации. Это — во-первых. А во-вторых, нам важно лишь, что он был предателем. Такое доказательство, надеюсь, у тебя есть?

— Есть, и не одно.

— Так чего тебе еще надо? Ищешь повода прокатиться за границу?

— Да нет же,— с едва скрываемым раздражением сказал Крылов.— Есть версия, неясная, непроверенная, косвенная, будто он не был предателем. На процессе все и выяснится окончательно.

— Та-ак,— откинулся в кресле Герман Трофимович.— Веселенькая история. Ты понимаешь, что говоришь?! А если выяснится, что эта косвенная, неясная, непроверен-

ная подтвердится?! Ты понимаешь, что говоришь? Это же не техническая ошибка — политическая.

— Рано меня в политические преступники записывать, Герман Трофимович,— разгорячился Крылов. — У меня более чем достаточно данных о его предательстве. Но коль скоро появилось...

Вошла Верочка.

— По номеру?— недовольно спросил редактор.

— Да. Гегель спрашивает, идет ли сегодня его подвал «Женщина и социализм», он хочет верстку почитать.

Оба тупо уставились на нее.

— Это он сам вас спрашивал?

— Нет,— невинно улыбнулась она, хлопая непомерно длинными ресницами,— Косте Упину звонил.

Редактор громко рассмеялся, улыбнулся и Крылов.

— Верочка,— мягко сказал Герман Трофимович,— ну когда же вы поступите в вечерний? Вы хоть что-нибудь читаете?.. Философ Гегель умер в тысяча восемьсот тридцать первом году, он уже сто пятьдесят лет не читает версток... А «Женщину и социализм» написал не Гегель, а Бебель. Август Бебель, которого тоже давно нет на свете. И уж, конечно, они не могли звонить Упину. Ясно?

После непродолжительной паузы пылающая Верочка совершила акт мести:

— А вы Упину скажите, пусть босиком по редакции не ходит, а то у нас посетители пугаются.— И уже в дверях, совсем оправившись от удара:— Ему, видите ли, жарко...

— Твой воспитанничек,— с ехидцей произнес Герман Трофимович.

— Неисправимый,— покачал головой Крылов. После короткой паузы сказал настойчиво:— Одним словом, прошу дать мне командировку всего на три дня.

— А я прошу дать мне дочитать полосу и не держать номер. Речи не может быть о командировке. Если бы даже хотел, не мог бы послать, валюты нет, понимаешь?— И углубился в чтение.

Крылов не мог смириться. Был убежден — после процесса все встанет на свои места, и он обретет наконец спокойствие. Не находя новых доводов, чтобы убедить Удалова, говорил, казалось, не думая, что придет в голову:

— Во все дыры пихаете меня, а тут один раз в жизни попросил. Подумаешь, заграница! Да плевать я хотел на

все эти заграницы, сыт ими по горло, мне просто надо. Понимаешь, надо!

— Надо, и все. Вынь да положь,— не поднимая головы, отбивался Герман Трофимович.

Крылов задумался. Не обращая на него внимания, редактор что-то правил на полосе. Неожиданно Сергей Александрович вскочил, схватил лист бумаги и стал быстро писать.

— Тогда вот!— И положил бумагу на полосу.

Там была лишь одна фраза. Герман Трофимович пробежал ее и насмешливо сказал:

— Восстание рабов?

— Никакое не восстание. Я три года не был в отпуске, и ты обязан по всем законам дать хоть за один год.— И голос и вид его выражали крайнюю степень решительности.

— Видно, что ты три года не был в отпуске.— Написал резолюцию, отодвинул заявление.— Советую в санаторий... Знаешь, есть такие специальные санатории...

— Нет уж, спасибо,— взял он свою бумагу.— Не посылаете, сам поеду.

— Сомневаюсь,— прищурился редактор.— Не на дачу — в капстрану.

— Ничего, мне мой друг Грюнер поможет.

— Грюнер? Если не ошибаюсь, он в ГДР, а Мюнхен, я как-то слышал, в Западной Германии находится.

— Не все слухи до тебя доходят, Герман Трофимович. Грюнер действительно в ГДР, но уже давно собкор своей газеты в ФРГ, где у него уйма друзей.

Удалов не привык, чтобы последнее слово оставалось не за ним. Строго сказал:

— Если поедешь, не вздумай ни во что ввязываться там. Не забывай — воспринимать тебя будут не как частное лицо, а посчитают представителем редакции.

Крылов уже с трудом владел собой:

— Могу снять с себя это представительство, если вам угодно. Хоть сию минуту. Удостоверение у меня с собой.

Он ушел, едва не хлопнув дверью, и заспешил в стенографическое бюро. Оставил берлинский и боннский телефоны Грюнера, просил разыскать его и соединить с квартирой. И тут же уехал домой.

14

Поведение Сергея Александровича в истории с письмом произвело впечатление на Ольгу. Не может человек так играть. Возможно, и в самом деле шантаж. Врагов у него много. За годы работы в редакции разоблачил немало подлецов и негодяев. Они мстили. Она помнит и оскорбительные телефонные звонки, и полные угроз анонимные письма. В последнее время он писал только о людях героических, почему же сейчас такое письмо?

Сергей Александроич тоже не знал, как будет разговаривать, придя домой. Было ясно лишь одно — больную тему не трогать. Попросил поесть, после ужина пошел работать. Чутье подсказывало — безоговорочную веру Ольги в эту чудовищную клевету удалось поколебать.

Чутье подсказывало... Что же оно такое, чутье? Этого никто не знает. Но оно есть. Есть в людях что-то такое, что передается от человека к человеку, если даже они и не совершают каких-то поступков и не говорят слов. И если идет молчаливый поединок между двумя людьми, все равно каждый чувствует, кто в нем победитель, а кто потерпел поражение. Крылов глубоко верил в свое чутье. Настроение улучшилось. И с Ольгой постепенно образуется, и в Мюнхен пробьется. Надо только побыстрее закончить с Максимчуком. Сел за письменный стол, заваленный старыми верстками, рукописными черновиками. И как только разбирается человек в таком хаосе? Видать, разбирается. Время от времени, порывшись на столе, извлечет из груды листок или блокнот, посмотрит, снова пишет. Задумался... Щелкнул пальцами, стал быстро писать. То ли нужное слово наконец нашел, то ли хорошая мысль пришла.

На пороге появилась Ольга. Она не искала примирения, но помимо воли что-то подталкивало ее к тому.

— Сергей, знаешь, я твердо решила не укорачивать джинсы, а подвернуть их.

— Тебе важно сообщить мне об этом немедленно? — ласково улыбаясь, оторвался он от работы.

— Ну, Сергей...— в тоне нескрываемо деланная обида.

— Да нет, я ничего... Это хорошо не укорачивать, конечно, лучше подвернуть.

Раздались частые телефонные звонки. Он схватил трубку, откликнулся.

— Бонн вызывали? Соединяю.

— Гутен абенд, Дитрих, это я. Крылов тебя беспокоит.

Ольга так и осталась у двери, стоит, слушает.

— Да, скоро преподавать начну немецкий,— смеется Сергей Александрович.— Дитрих, дорогой, командировку не дают, никак не получается. Ты не можешь через своих друзей в ФРГ организовать мне вызов?.. Ну, как «что такое вызов»?.. Да-да, в гости, приглашение... На мой счет... Расходов у них не будет... Дней на пять, но приглашение надо на месяц, тогда у меня хватит денег, очень мало обменивают... Спасибо, большое спасибо. До встречи в Бонне.

Он положил трубку. Не видел — чувствовал: Ольга вопрошающе смотрит на него. Надо давать объяснения. Надо снова говорить о своих сомнениях, в которые она не верит.

Для решения любых проблем он всегда выбирал самый короткий путь, анализируя все возможные. Сложная, запутанная ситуация тем более требовала соблюсти этот принцип. Было ясно — самый короткий путь — встретиться с Зарудной и Голубевым. Если диссертация действительно опровергает выводы комиссии Прохорова, дело примет совсем другой оборот. Если история с Голубевым выглядит так, как ее представил Дмитрий Панченко, значит, надо взять под защиту редакции старого партизана и вернуть письмо. Не станет человек возражать, если получит гарантии в полной своей безопасности. Выяснится, если это правда, кто и во имя чего мешает ему, Зарудной и еще кому-то.

Выходит, ехать надо не в ФРГ, а в Лучанск. Что против? Упустит процесс? Не так уж это важно — документы немецкой патриотической организации, приготовленные к процессу, останутся, протоколы суда останутся.

Значит — Лучанск? Но этого Ольга не захочет, не сможет понять. Он злился на Ольгу, и ему было жаль ее. Наступив на собственное горло, решил уступить ей. Теплилась надежда — диссертацию Зарудной можно будет получить и не встречаясь с автором, с помощью Панченко, а Голубева редакция запросто вызовет. Правда, не так уж запросто, без разрешения главного не получится, для его согласия потребуются весомые доводы. Придется доложить — «косвенные», «непроверенные», «неясные»— не так уж безобидны. Не только доложить, но доказать это. Доказательства возникнут на процессе. Как Удалов воспримет факт столь чудовищной ошибки

в газете, страшно представить. Впрочем, и основания отбросить сомнения может дать процесс.

...Взглянул на Ольгу. В ее глазах не встретил для себя ничего неожиданного — что еще ты придумал?

Подробно объяснил, зачем должен ехать в ФРГ.

— Почему же надо просить Грюнера?— пожала плечами.— Почему по служебным делам надо ехать по частному приглашению неизвестных людей, да еще и за свой счет?

Не вдаваясь в детали, чтобы не вызвать нового спора, привел лишь формальный довод редактора — нет валюты.

Вопрошающий взгляд Ольги сменился недоверчивым.

— Не нравится мне эта новая поездка в Германию.

— Такой страны нет, Оля,— попытался он смягчить напряжение веселой улыбкой.— Есть ГДР, и есть ФРГ.

— Все равно,— не приняла она предложенного тона.— Там у тебя возникнут новые сомнения, придумывать ты мастер, и выяснять их, естественно, поедешь в Лучанск.

— Нет, уж на этот раз — никак... Оленька,— подмигнул он,— чашечку кофейку, а?

— Ты хочешь сказать — разговор окончен, отправляйся на свое место на кухню?

— О-оля...

Резко повернувшись, она вышла.

Приглашение в ФРГ пришло быстрее, чем можно было ожидать, и Крылов начал оформлять документы на выезд. А эта процедура длилась медленнее, чем хотелось. Он закончил наконец очерк о Максимчуке, подбирал «хвосты», готовился к поездке. Нервничал — долго возятся. Пришла вдруг тревожная мысль: задерживается характеристика, почему? Пошел к помощнику главного редактора Марии Владимировне. Она же ведала кадрами. Впрочем, чем только не ведала — даже распределением квартир и премиями.

Вошел не постучав. Может быть, потому что ее кабинет был более чем скромных размеров, бросался в глаза непомерно большой сейф в углу и несгораемый шкаф, до которого легко достать, не вставая из-за письменного стола.

Пожилая, довольно тучная Мария Владимировна что-то писала и не прервала своего занятия. Лишь мельком взглянула на Крылова, кивком ответила на его приветствие.

— Готова?— спросил он с порога.

— Почти.

— Как это «почти»?

— Главный подписал, секретарь парткома подписал, остался Калюжный.

— Машенька! — взмолился Сергей Александрович.— Он же год будет держать. Ты же его знаешь, потормоши, прошу тебя.

«Машенька» и «ты», обращенные к столь почтенной женщине, для постороннего прозвучали бы неожиданно, но уж так сложились их отношения за долгие годы работы в редакции. Крылов относился к ней с большим уважением. Если есть хоть малейшая возможность сделать добро человеку, значит, сделай,— таков был принцип ее работы, ее жизни.

Она отложила ручку, задумалась. А он продолжал:

— Приглашение немцы за три дня устроили, а мы целую неделю только с одной характеристикой возимся. Я же ее сто раз получал, только перепечатать и дату новую поставить.

— Немецкая точность и исполнительность известны,— вздохнула она, нехотя набирая номер.— Петр Федорович, можно зайти за характеристикой на Крылова?.. Не пожар, но надо же успеть к процессу... Хорошо.— И положила трубку.

— Ну, что он?

— Да разве его поймешь. Говорит, сам позвонит мне... И зачем тебе эта поездка, не понимаю.

— Нервничаю я, Маша. Что-то здесь не так.

— Тебе всю жизнь не так. Только Ржанова и Гулыги вполне достаточно. Этот приговор, который оба слышали, не деталь биографии человека, а вся его биография, суть его. А другие свидетельства? Чего нервничать?

— Как же не нервничать? Все противоречиво, а главное — хоть убей, интуитивно верю сыну Панченко.

— Не мне тебя учить, Сергей, но у сына Панченко эмоции, у тебя интуиция, на этом далеко не уедешь. Он лицо заинтересованное, и ты ему веришь, а фактам, авторитетнейшим людям... Не понимаю.

— Вот потому и схожу с ума. Нет, как хочешь, тут посерьезней, чем кажется с ходу. Смотри, что получается. Но уговор — все нижеследующее запрешь в свой сейф. Впервые о Панченко как о предателе мне рассказал Гулыга. С недовольством принял возникшие сомнения. Сына

Панченко исключили по его письму. К Хижнякову и Чепыжину, в искренности которых я не уверен, направил он. К Ржанову — тоже. Почему он так топчет уже мертвого Панченко? Зачем-то ему это надо?

— Странные рассуждения. А ты бы как поступил, если бы из предателя хотели сделать героя?

— Подожди, подожди, не горячись. По версии Дмитрия Панченко, его отец был организатором подполья и партизанского движения в районе. Но именно за это Гулыга поднят на такую высоту. Что ты на это скажешь?

— Подленькие мысли, скажу. Оснований для них нет.

— Согласен, подленькие, потому и предупредил: пусть они умрут в этой комнате. Но одно основание, крохот-ное, но неподленькое и весьма весомое, есть. Слушай внимательно.

Зазвонил телефон. Крылов неприязненно взглянул на него. Мария Владимировна подняла трубку, а он тут же придавил рычаг. На ее удивленный взгляд сказал:

— Могла ты выйти? Позвонят позже. Слушай дальше. Дмитрия Панченко исключили из партии по заявлению Гулыги, в котором была ссылка и на мою статью. Перед парторганизацией не вставал вопрос: предатель Панченко или патриот? У них — свидетельство такого авторитетного человека, как Гулыга, и еще более авторитетное выступление газеты. Значит, проверялся только один факт — написал ли в автобиографии Дмитрий Панченко при вступлении в партию, что отец работал на немцев? Выяснилось — нет. Значит, скрыл. Вот и исключили. А ведь мне Гулыга представил этот факт совсем по-иному. По его словам получалось, будто именно парторганизация Дмитрия установила факт предательства его отца.

— И на таком зыбком основании ты хочешь построить чудовищное обвинение?

— Нет, такое «зыбкое» основание дает повод не доверять Гулыге. Потому и хочу покопаться в документах. Все-таки подлинные документы в ФРГ.

— Звонки бубны за горами? Ну ладно, счастливый путь.

Крылов ушел, а Мария Владимировна надолго задумалась. Она активно возражала ему, не принимала его доводов, но все-таки сомнения закрадывались. Может, и в самом деле здесь что-то не то. Снова и снова анализировала сказанное им. Пришла к выводу малоутешительному.

Медленно придвинула к себе бумагу, написала: «В архив Министерства обороны СССР».

И снова задумалась.

Пока она беседовала с Крыловым, в кабинете главного редактора появился Калюжный с бумагой в руке. На нем костюм, к которому не прикасался утюг, должно быть, со дня сотворения этого образца массового пошива устаревшей модели. Лицо сухое, измятое.

— Опять Крылов! — сказал он хмуро, не поздоровавшись.

— Что опять натворил Крылов? Давайте-ка его сюда на ковер.— У Германа Трофимовича было хорошее настроение, да и не очень большое значение он придавал словам Калюжного.

— Не он, а мы! — с пол-оборота заводясь, ответил Петр Федорович.— Неужели, кроме Крылова, некого послать в загранкомандировку?!

— Во-первых, Петр Федорович, не командировка...

— Ну, это для маленьких детей,— прервал Калюжный.

— И для больших! — отрезал редактор.— Командировки он, верно, добивался настойчиво, но я отказал. Решительно отказал, хотя, откровенно говоря, возможность послать у нас есть. Кстати, отказал не только потому, что не видел особой необходимости в ней, но и предвидя, как на нее отреагируют некоторые наши товарищи.— Намека Калюжный не понял или сделал вид, что не понял, и редактор закончил: — А отпуск — тут, как говорится, дело хозяйское: хоть на Северный полюс, хоть в космос...

— Нет, вы подписали,— потряхивая бумагой, упрямо возразил Калюжный.— Значит, не отказали, а поддержали... Как только сенсационный материал — поручить Крылову. Интересное письмо — Крылову. Самые выигрышные темы — Крылову, загранкомандировка — Крылову...

— По-огнал лошадей... Во-первых, большинство тем, как вы говорите, сенсационных он находит и предлагает сам. В отличие от других в письмах читателей роется сам и улавливает интересное там, где ловит ворóн отдел писем. Ясно? На процесс же, повторяю, я его не посылаю. Что еще?

Калюжный замялся. После небольшой паузы сказал:

— А я все-таки кого-нибудь послал бы. Дело важное, политическое.

— Что мы играем в кошки-мышки?! — запальчиво

сказал Герман Трофимович.— Ты сам, что ли, хочешь ехать?

И опять Калюжный замешкался с ответом.

— Мог бы, конечно, и я,— ответил наконец,— но можно и Дремова, например. Человек проверенный, немецким владеет...

— Немецким, может, и владеет, не знаю, а вот с русским у него бо-ольшие нелады. До Крылова ему ой как далеко. Короче — на этот процесс никого не могу послать, не вижу целесообразности. Что касается Крылова... Или ты ему не доверяешь политически?

Петр Федорович недобро вскинул на него глаза, потом сел к столу и подписал характеристику.

15

Грюнер приехал в международный аэропорт во Франкфурте-на-Майне задолго до прибытия московского рейса. Нервно поглядывая на часы, то на свои, то на стенные, ходил по залу. Ему явно было не по себе. Попасть на процесс не удастся. Хотя кто может знать, сколько он продлится. Снова посмотрел на часы — время истекло. Неужели опаздывает? Пошел к справочному бюро.

— Сейчас прибудет,— ответила девушка из окошка.

И как бы в подтверждение этих слов по залу разнесся голос диктора:

— Самолет Москва — Франкфурт-на-Майне, рейс сто девяносто шесть, совершил посадку.

Грюнер устремился к таможенному залу. Дождался наконец окончания досмотра, и радостно засветились глаза, когда увидел Крылова. Обнялись, расцеловались. Грюнер не дал ему и слова сказать — сильно опаздываем, надо бежать. Они и пошли очень быстро вверх по эскалатору, обходя спокойно стоявших людей. Поднявшись, ступили на траволатор — движущийся тротуар — и еще более ускорили шаг.

— Разве ты не мог приезжать завтра... нет, извини, вчера?

— Никак не мог, Дитрих, только сегодня визу получил, едва на самолет не опоздал... Когда начинается процесс?

— Уже начинался сейчас.

— Ну и черт с ним. Мне ведь главное — документы Фау Фау Эн, а не процесс, хотя, конечно...

Спрыгнув с траволатора, почти бегом устремились к

выходу, вскочили в маленький «фольксваген». Как бы оправдываясь, Грюнер сказал:

— До Мюнхена надо скоро спешить, успеть там быть.

Далеко не новая машина Грюнера неслась по самой левой, скоростной полосе трехрядного шоссе. Одну за другой они настигали более солидные марки, и дисциплинированные немецкие водители, не дожидаясь сигнала, уступали дорогу.

— Дитрих, твой «роллс-ройс» вот-вот развалится.

— Это хорошо,— подмигнул Дитрих,— мы тогда полетим на крышку того «мерседеса»,— показал на идущую впереди машину.— Там можно немножко ложится отдыхать.

Оба смеются.

— Так какие, ты говоришь, документы о Панченко есть?

— Много документы. Я все тебе прочитать буду, а какой надо — ксерокс возьмем.

Летит малолитражка по широкому автобану. Крылов с интересом смотрит по сторонам. Перед глазами бесконечные потоки машин, поля как газоны, горы с древними замками и крепостными стенами. Над автобаном мелькают синие и зеленые щиты с названиями населенных мест, лежащих впереди. И вот уже указатель: «Мюнхен — 10 км». Как только въехали в город, Дитрих остановился у телефонной будки.

— Серьежа, почти минута, на дороге надо один ваш товарищ забирайт, тоже хотел суд смотреть.— И выскочил. Быстро набрал номер, что-то сказал.

— Кого ты хочешь взять, Дитрих? — недоуменно спросил Крылов, когда тот вернулся.

— Трудная фамилия, он — Юра, в отеле ждал, директор сахарной индустрии. Это совсем нам мимо, никакой задержки не будет.

Вскоре, едва Дитрих затормозил, с ловкостью кошки в машину вскочил человек.

— Как же вы в таком месте встречу назначили? — показал новый пассажир на знак «остановка запрещена».

— Это вы главный правил плохо учили. Если близко нет полицейский, ни один знак нет действительный.— И рассмеялся.— А теперь я буду совьетские люди знакомить... Пожалюста.

— Прохоров,— протянул руку сидевший позади.— Юрий Алексеевич.

— Прохоров... Прохоров...— повторил Крылов, морща лоб, вместо того чтобы назвать себя.— Из Липани?

— Вам Дитрих сказал? Он и мне о вас говорил. Заочно, выходит, познакомил. Впрочем, вас-то все знают.

— Как там Петр Елизарович поживает? — перевел Крылов на другое.

— Нормально. Сегодня разговаривал с ним, я здесь оборудование принимаю... Вот Дитрих говорит, процесс открытый, а я все сомневаюсь, не будет ли недоразумений — почему советский гражданин пришел? А послушать хочется, мне этот процесс особенно интересен.

Крылов посмотрел на него, промолчал.

— Знаете, мне пришлось косвенно заниматься этим делом в связи с нашим местным предателем Панченко...— Прохоров — Крылов не сомневался в этом — приглашал поддержать разговор.

Но Сергей Александрович снова промолчал.

Припарковались — как только Грюнер нашел щель между машинами и сумел в нее втиснуться — у тяжелого мрачного здания суда с непривычно узкими длинными окнами. У входа — статуя Фемиды. Здание очень старое, да и Фемида изрядно пожила на свете. На ее тунике мелкие выбоины, точно от осколков. А может, и в самом деле следы войны. И как страшный символ — отбита одна чаша весов.

Они поднялись по широким каменным ступеням.

— Момент,— остановил своих спутников Грюнер и направился к человеку в форменной одежде у двери.

— Узнайте еще раз,— уже вдогонку сказал Прохоров,— можно туда иностранцам?

— Нет беспокоится, можна, можна.— Он спросил о чем-то служащего и жестом позвал их.— Еще не кончился,— сообщил Дитрих,— прокурор речь взял.

Миновав короткий коридор, остановились у массивной двери, бесшумно открыли ее, тихо по одному вошли.

Зал маленький и, несмотря на высокий потолок и высокие окна, полутемный. Стулья большие, тяжелые, почерневшие от времени. На спинках герб. Людей мало, но трех свободных мест рядом не видно. Нашли наконец, пригибаясь, расселись.

Судьи в черных мантиях — на возвышении. На них широкополые, точно сплюснутые, белые шляпы. Председатель суда — седой, плотный старик — восседал на ка-

ком-то сооружении, скорее похожем на трон, чем на кресло. Внизу за перегородкой — обвиняемый.

С большим пафосом держал речь прокурор. Грюнер, наклонившись к Сергею Александровичу, торопясь переводил, коверкая русский больше обычного, но Крылов хорошо понимал его. Тоже наклонившись к Грюнеру, внимательно слушал Прохоров.

— Я подтверждаю! — торжественно говорил прокурор.— Материалами дела, показаниями свидетелей, архивными документами неопровержимо доказано, что в районе Липани, находящемся на территории Советского Союза, за период сорок первого — сорок третьего годов было расстреляно триста шестьдесят семь мирных жителей. Видит бог,— поднял он руку, повысив голос,— я говорю истину!

Крылов извлек блокнот, держа его на коленях, быстро стал писать.

— За то же время,— продолжал прокурор,— было сожжено шесть хуторов и деревень того же района. Это убедительно показали свидетели, это подтвердили фотографии, приобщенные к делу, это установили назначенные судом эксперты, выезжавшие на место событий. Видит бог,— снова взметнулась рука,— я говорю истину! И я обвиняю! — Голос звенел угрожающе. Прокурор сделал паузу, как бы призывая присутствующих к особому вниманию.— Я обвиняю бывшего коменданта района, бывшего майора Иоганна Бергера...

На некоторое мгновение зал замер, и тут же прокатился недовольный ропот.

— Ты правильно переводишь, Дитрих? — шепотом спросил Крылов.

— Да-да, он виноватит Бергера.

Судья молча ударил деревянным молотком по толстой резиновой плитке, и зал стих. Прокурор продолжал:

— Я обвиняю Иоганна Бергера в том, что он не справился с возложенной на него миссией охранять покой населения.

— Интересно,— прошептал Крылов, но Грюнер, боясь прослушать оратора, не ответил на реплику.

— Я обвиняю Иоганна Бергера в том,— с пафосом вещал прокурор,— что он оказался мягкотелым, более того, подпал под дурное влияние, что недостойно чести немца.

— Что это? — снова не выдержал Крылов.

— Слушай пока...

— Да,— картинно развел руками прокурор,— мне нечем возразить обвиняемому и его защитнику — моему уважаемому коллеге-адвокату,— вся полнота власти в районе действительно находилась в руках бургомистра Ивана Панченко, человека жестокого, который беспощадно мстил за то, что до войны его выгнали из коммунистов. Я обвиняю Иоганна Бергера как в том, что он не сумел остановить кровавую резню, которую безжалостно учинял этот варвар Иван Панченко, так и в том, что не смог остановить организуемые этим дикарем поджоги.

— Да что он несет, черт побери?! — Крылов закрыл блокнот.

— Потерпи, Серьежа...

Шепот привлек внимание соседей, и Прохоров прервал его:

— На нас смотрят.

— Доводы моего коллеги-адвоката,— звучал голос прокурора,— документально подтвердившего, что в Липани не было немецких гарнизонов, а штат обвиняемого исчислялся единицами и дислоцировался в соседнем районе, являются не оправданием, как утверждал мой уважаемый коллега, а лишь смягчающим обстоятельством. Естественно, ему трудно было охватить своим влиянием весь район. Но информацию о преступных акциях озверевшего Ивана Панченко он был обязан иметь. И тот факт, что он не располагал подобной информацией и все делалось за его спиной, отнюдь не говорит в его пользу. В этом состоит его вина, хотя он чистосердечно здесь признался в ней, чего, естественно, суд не может не учитывать, так же как и глубокого раскаяния обвиняемого в своих ошибках.

— Хватит, Дитрих, дорогой, хватит, уже все ясно...

Крылов сел ровнее, давая понять, что не слушает перевод. Обведя взглядом зал, остановился на Бергере. Нет, это не толстомордый, откормленный бюргер. Длинный и тощий, он сидел точно вбитый в стул, прямой, как доска, не шевелясь, не поворачивая головы, покрытой редким ежиком седых волос, похоже, приклеенных.

Точно почувствовав взгляд, Бергер обернулся. Глаза их встретились — насмешливо-торжествующие Бергера и полные презрения Крылова. В безмолвном поединке победил Бергер — Крылов отвернулся.

Закончив на высокой ноте речь, прокурор отошел к

своему столу. Судья объявил перерыв. Зал пришел в движение, люди потянулись к дверям.

— Что будет дальше? — нетерпеливо спросил Крылов, когда они направились к выходу.

— Дальше скажут приговор, и Бергер будет иметь оправдание. Это не есть правда, Серьежа. Не есть правда прокурор говорил. Они всех оправдать будут военных фашистов.

— Конечно, неправда! — с досадой поддержал Крылов.— Сволочь он, твой прокурор.

— Ты не надо волновать себя. Документы Фау Фау Эн не обратили для дела. Их смотреть будем, я тебе много переводить сделаю.

— Да, прошу тебя, хотя мне и неловко. Ты теряешь столько времени...

— Почему потеряю? Мне тоже надо, я себе газету писать буду.

Они спустились с лестницы. Крылов не мог успокоиться:

— Какой бред! Какой чудовищный бред он нес!

— Но повод ему дали,— робко вставил Прохоров.— Панченко ведь и в самом деле был фашистским холуем.— Даже вы писали об этом.

— Писал, писал,— пришел в раздражение Крылов.— Да, пусть фашистский холуй, но только холуй, а не «вся полнота власти». Ишь какую картинку нарисовал! Дитрих, есть возможность прочитать весь протокол суда?

— Конечно, я это устраиваю потом, еще не готова...

— Сейчас поедем документы Фау Фау Эн смотреть?

— Сейчас поздна, Серьежа,— Дитрих посмотрел на часы.— Уже все ушли. Надо потом предупредить, тогда ехать.— Помолчав немного, сказал: — Теперь думал... нет, предлагал Гофбройгауз смотреть, ты давно хотел смотреть... Совсем близко...

— Я пас,— покачал рукой Прохоров.— Видел эту пивную, где начинал Гитлер, а главное, надо еще подготовиться, завтра тяжелый у меня день. Да ведь мы еще увидимся. Вы где остановились?

«Оправдывается, будто его просят»,— подумал Крылов, а вслух сказал:

— Еще нигде не остановился, прямо с аэродрома.

Они подошли к машине, и Прохоров стал прощаться.

— Обязательно расскажу о процессе Петру Елизарови-

чу,— сказал, пожимая руку Крылову.— Ему это тоже будет интересно.

— Мы подвозим вас,— предложил Грюнер, когда Прохоров обернулся к нему.

— Нет-нет,— покачал рукой Юрий Алексеевич.— Мне близко.— Еще раз раскланявшись, направился к переходу.

Грюнер достал ключи от машины.

— Ты говоришь, это недалеко — может быть, пройдемся? Не могу сейчас сидеть на месте.

— Конечно, конечно,— согласился Дитрих.

Они пошли по широкому красивому проспекту. Крылов никак не мог прийти в себя.

— Абсурд! Бред, идиотизм! Просто фашистский суд.

— Да, Серьежа, еще новые фашисты есть... А есть и Фау Фау Эн. И еще тоже есть людской народ... Они понимайт, сейчас есть не эпоха фашисмуса...

Незаметно подошли к зданию Гофбройгауза. Поднялись в зал, где находилось человек пятьсот. Ударил в нос специфический запах. Бесчисленное количество длинных некрашеных столов, отшлифованных временем. В проходах сновали посетители в поисках свободных мест. Точно волноломы прорезались сквозь них тучные официантки, прижимая к своим необъятным бюстам по восемь литровых глиняных кружек — в каждой руке по четыре.

— Как они их удерживают? — поразился Крылов.

— О, совсем легко,— улыбнулся Грюнер,— одна кружка, налитая пивом, весит всего два килограммов.

В зале стоял невообразимый гул. Песни, выкрики, смех, громкий говор заглушали оркестр, и музыканты в кожаных шортах и жилетах, с тирольскими шляпами на головах, покинув эстраду, в одиночку бродили среди столов, наигрывая по заказу. Разные мелодии смешивались, создавая противоестественный аккомпанемент гулу голосов. Они поднялись во второй зал, потом в третий, но там было еще теснее. Пришлось снова вернуться на первый этаж.

Двенадцатиместный стол — с каждой стороны лавка на шесть человек,— стоявший торцом к стене, был огражден шнуром. И никто не посягал на него — заказан. А рядом, тоже у стены, почти впритык, маленький столик, но возле него ни стульев, ни лавки не было. Не обслуживается.

— Один минутка,— поднял палец Дитрих,— здесь постоять.— И исчез.

К зданию пивной подкатили три «мерседеса». С шумом вывалились возбужденные пассажиры. Среди них Бергер.

— Идем, идем! — кричал он.— Вальтер сам все машины припаркует.

Веселая компания — люди пожилые и даже старые — бодро поднималась по лестнице, говорили все сразу, энергично жестикулируя, перебивая друг друга. Несмотря на возраст, сохранилась у них военная выправка. К тому времени, когда они появились в зале, Грюнер уже успел договориться с официанткой — им поставили стулья, принесли пиво.

— Как фамилия того подпольщика, что я донесение гестапо тебе дал? — спросил Дитрих.— Кажется...

— Не помню,— резко, даже недружелюбно прервал Крылов.

Оба помолчали, отхлебывая пиво.

— Тебе эта история карьеру портит, Серьежа, да?

Крылов не успел ответить. Его внимание привлекла компания Бергера. Обгоняя уважаемых клиентов, торопилась официантка, сдернула шнур, ограждавший стол.

— Смотри,— показал на них взглядом Крылов.

Бергер плюхнулся на лавку, едва не столкнув Дитриха, но даже не взглянул на него.

— Давай пересядем, Дитрих.

— Некуда, Серьежа... И нехорошо,— показал на кружки.— Она уже вюрстхен... нет, как это... сосиски приносить будет.

Шумно рассевшаяся компания утихла — жадно схватилась за кружки, лишь изредка перебрасываясь короткими репликами. Сергей Александрович окинул взглядом зал. Через два стола от них тесно сгрудившаяся молодежь, размахивая кружками, пела фашистский гимн. Кто-то, выбрасывая вверх руки, кричал: «Хайль!» Снова шумно стало за столом Бергера. Уже успели вытянуть по две кружки и запели «Дойчланд, Дойчланд, юбер алес».

— Как в тридцатые годы, ползучие гады,— не сдержался Крылов.

Едва ли Бергер расслышал слова Крылова, но русская речь донеслась до него, и он резко обернулся, остановил на Крылове долгий взгляд.

— Зови официантку, прошу тебя,— полез Крылов в боковой карман.

— Нет, спрячь,— забеспокоился Дитрих.— Москва ты платил, тут я платил.— И стал искать глазами официантку.

Расплатившись, поспешно вышли из зала.

Среди множества стоявших у пивной машин отливали стальным блеском три «мерседеса». Грюнер перехватил взгляд своего друга, бережно взял его за локоть:

— Ты не предполагай, Серьежа, что в ФРГ все такие.

— Что ты, Дитрих, конечно...

— Да-да, ты смотришь цветы Штукенброка и понимаешь наш народ. Это один раз за год случается, скоро будет.

— А что это?

— Это надо смотреть, так не объясняется... Два часа расходовать будешь, я знаю, тебя заинтересовывайт будет, ты хочешь писать, совьетские люди не знают, надо им знать.

16

Пленных гнали в концлагерь Эдельсхайде через всю Германию, подальше от наступавших советских войск. Лагерь находился на северо-западе страны, близ границы с Нидерландами, между местечками Штукенброк и Хефельсхов. Пленных там не кормили, поэтому они постепенно умирали.

Глубоко в лесу близ Штукенброка, на поляне в несколько гектаров вырыли длинный ров, куда сбрасывали трупы. Когда ров заполнился, параллельно ему выкопали второй, потом третий... Тех, кто долго не умирал, убивали, и их тела тоже сбрасывали в ров. А всего в этих рвах закопали 65 тысяч советских людей, всех, кого сюда пригнали. Это успели сделать до прихода войск союзников. И после войны о лагере Эдельсхайде мало кто знал даже в самой Западной Германии.

Потом местные коммунисты, деятели Фау Фау Эн и прогрессивно настроенные жители близлежащих районов решили, что так не годится, и образовали комитет «Цветы для Штукенброка». В него вошли — учитель Вильгельм Г. Нимеллер, служащая Эльфрида Хаус, художник-декоратор Вернер Хенер, священники Гюнтер Дангер и Генрих Дистельмайер, журналист Хельмут Нетцебанд, асессор Ганс-Иохен Михельс и другие антифашисты. Люди разных мировоззрений, разной партийной принадлежности и беспартийные.

Кто мог предвидеть — у комитета еще и помещения не было, а его уже осаждали толпы. У каждого, кто приходил, были свои счеты с Гитлером: отцы, сыновья, братья,

родные и близкие, перемолотые жерновами войны, не забывались — они тоже были жертвами фашизма, слепым, как стихия, орудием в его руках.

В воззвании комитета говорилось: «Не забудем! Нации Земли во второй мировой войне потеряли 55 миллионов человек. Немецкий народ оплакивает 3,8 миллиона убитых, 12 миллионов раненых, 2,7 миллиона гражданских лиц, погибших в результате бомбардировок».

55 миллионов взывали к действию. И вот — комитет. Его поддержали тысячи западных немцев, независимая газета «Ди тат», общественные организации, представители религиозных культов. На том месте, где нашли последнее пристанище замученные советские люди, на добровольные взносы соорудили мемориал, чтобы время не стерло память о них и новые поколения знали бы, как страшен фашизм.

Решили каждый год собирать здесь митинг и возлагать к могилам 65 тысяч цветов — по одному на каждого погибшего. На митинг под девизом «Цветы для Штукенброка» — какой уже по счету! — и вез Дитрих Сергея Александровича. Чем ближе они подъезжали к мемориалу, тем теснее становилось на дороге. Люди ехали на легковых машинах, автобусах, шли пешком, и не оставалось сомнений, куда они направляются,— все с цветами.

Обогнав два ярко раскрашенных грузовика с цветами, Грюнер затормозил у опушки леса. Друзья миновали просеку, и Крылов невольно остановился, замер. Впереди простирался, казалось, необозримый нежно-зеленый газон, огражденный могучими деревьями, на нем бесконечными рядами стояли невысокие обелиски. Под ними и лежали солдаты. И у каждого обелиска — а их сотни и сотни, может быть, тысячи, они терялись где-то далеко-далеко — горели на солнце цветы. Среди них купы деревьев или вдруг одинокая печальная береза.

Мемориал открывался высоким массивным обелиском, увенчанным пятиконечными звездами, образующими шар. У подножья — горы цветов, а по бокам замерли девушка и юноша с факелами в руках. Их лица торжественно-строги, одухотворенны, они как часовые, охраняющие мир на земле.

Сергей Александрович прочитал высеченную на памятнике надпись на русском языке: «Здесь покоятся русские солдаты, замученные в фашистском плену. 1941—

1945». Склонив голову, он застыл у монумента как в почетном карауле, пока Дитрих не тронул его за руку:

— Пойдем...

Крылов поднял голову. Взгляд схватил мрачное, уродливое изваяние из черного железобетона толщиной в шкаф, пронизанное квадратными отверстиями, стоявшее особняком, за пределами мемориала.

— Что это?

— Это есть решетка тюрьмы,— ответил Дитрих.— Символ фашизма, его знамя, его герб... Пусть смотрит молодежное поколение.

Никто не смотрел на фашистский символ. Цветы покрыли уже всю площадь мемориала, а люди все шли и шли, и несли цветы, и бережно укладывали их, расправляя веточки и бутоны.

— Пойдем,— еще раз сказал Дитрих,— надо купить цветы.

Двигались медленно, глядя по сторонам. В параллельном ряду девушка в нарядном платье, приседая, клала к могилам белые и красные гвоздики, которые подавал ей юноша, извлекая из огромного букета... Шел совсем дряхлый старик — ему уже не нагнуться с цветком,— то и дело останавливаясь, читая надписи и грустно качая головой. Многие из них на русском языке: «Здесь лежат гордые сердца», «Вы погибли с горячей верой в победу вашей родины», «Но нас будет больше», «Ваша смерть — долг для живущих».

— Смотри,— кивнул Дитрих,— Люсе было меньше, как ему, на сорок лет...

Сергей Александрович обернулся — на обелиске, похожем на раскрытую книгу, слева было написано: «Люся Лобова. 1928—1944» — а справа: «Максим Тарасенко. 1888—1944». Крылов не ответил.

— О чем ты молчишь, Серьежа?

— О том, что ты сказал: ей шестнадцать, ему пятьдесят шесть. Они шли рядом... Спасали родину и мир от фашизма.

Вскоре цепочки людей по призыву из динамиков потянулись по тропкам лесопарка к огромной поляне, где предстоял митинг. Сюда собралось шесть тысяч человек.

— Кто они?

— Все люди,— пожал плечами Дитрих.— Можно не спрашивайт, тут все профессии — чиновники, слесари,

также инженеры и крестьяне. Все люди. Это есть все ряды народного населения западных немцев.

С трибуны говорил пастор Ганс-Иохен Швабедиссен:

— Под ветвями сосен и берез, между цветущими кустами вереска,— он протянул руку в сторону мемориала,— расположены могилы русских солдат. Мы должны говорить от имени тех, кто не успел этого сделать, от имени тех, кто стал жертвой ужасающих фашистских преступлений. Должны выступать против сытого самодовольства людей, не желающих вспоминать о прошлом. Лучшая память погибшим — борьба против сил войны. Но борьба не с оружием в руках, а оружием разума, силой убеждения.

Как изменился мир! Крылов не раз бывал в Западной Германии и всегда встречал к себе самое теплое отношение даже незнакомых людей только потому, что был из Советского Союза. Но то были частные случаи. А тут...

Точно разгадав его мысли, Дитрих сказал:

— Это все есть ваши друзья, Серьежа. Бергер сюда не приходить.

— Бергер?!

На следующее утро Крылов и Грюнер отправились в Фау Фау Эн. Дитрих отбирал документы, где встречалась фамилия Панченко, и переводил текст. Фрау Клюге занималась своими делами, роясь в шкафу, а Генрих, забравшись на верхнюю ступеньку стремянки, что-то искал на стеллаже под самым потолком.

Папка уже подходила к концу, и настроение Крылова портилось. Ясности не было, хотя фамилия «Панченко», как и говорил Грюнер, встречалась часто.

— Видишь, сколько много Панченко,— заметил Дитрих.

— Верно, много, но, как бы это сказать... абстрактно, что ли. Ты читаешь: «В конце августа майор Бергер и бургомистр Панченко посетили такие-то хутора». Но это ни о чем не говорит. Из этого не ясно, предатель Панченко или подпольщик.

Грюнер посмотрел на него с удивлением.

— У тебя есть самый главный документ. «Жесткий допрос не дал результаты... снабжал оружие... главарь банды». Разве мало?

— Не ясно, что это за документ.

— Ясно, совсем ясно, донесение начальника гестапо полковника Тринкера.

— Значит, Тринкер гестаповец?

— Конечно.

— А теперь подумай. Мог ли быть при коменданте-майоре гестаповец в чине полковника?

Грюнер задумался.

— Нет.

— Конечно, нет. Выходит, сначала кто-то из более мелких чинов гестапо донес Тринкеру, а уже тот в Берлин. И хорошо бы поэтому найти первый донос.

— Такой документ нет, Серьежа. Только протокол от допроса, одна страница, наверное, от пожара, видишь, края горели.

— Ты ничего не пропустил? Нет ли данных о том, что стало с Панченко? Жив он или нет?

— Нигде не известно, я совсем внимательно смотрел. Теперь никто не знает.

— Нет! — вырвался у Крылова неожиданно резкий жест.— Один человек знает. Точно знает!

— Кто знает?

— Бергер.

17

В тихом районе Мюнхена, где воздух достаточно свеж, а в густой зелени, обрамляющей редкие особняки, распевают птицы, расположен отель для собак Иоганна Бергера.

Огромный щит на высоком шесте издали гарантирует «любовь и ласку» светящейся симпатичной морде пуделя. Впрочем, эта реклама — единственная дань современности; и литая кружевная ограда с надписью «Hunde Hotel», и само здание, приземистое, темно-вишневое, с башенками и разновысокими окнами в частых переплетах, и ухоженный парк за домом — все обещает самым изнеженным клиентам обслуживание на солидной добропорядочной основе без всякой примеси презренной синтетики и прочей заразы современной эпохи эрзацев.

Начищенный до зеркального блеска «фольксваген» Грюнера остановился у отеля рядом с другими машинами, но, увы, среди них — шикарных, респектабельных — выглядел довольно жалко. Из него вышли Линда с собачкой, Грюнер и Крылов.

В большой гостиной отеля их встретила Эльза Биттер,

средних лет женщина, аккуратно, со вкусом, но неброско одетая. Встретила так, будто только их и ждала.

В подобного рода отеле Крылов оказался впервые. На стенах фотографии прекрасных в своем уродстве собак, подстриженных самым немыслимым образом. Стрижка сделала головы животных круглыми, как шар, или квадратными, даже многоугольными. Причудливую форму обрели хвосты, ноги, корпус. Целую стену занимал застекленный шкаф, заполненный предметами собачьего обихода. Различного рода и размера обувь на шнурках, «молниях», кнопках, попоны, штанишки с бахромой, шортики с золотистыми металлическими пластинками, чепчики и шапочки, множество всевозможных ошейников и поводков — все это лежало на полках, висело в шкафу. У другой стены — кресла, диванчики, пуфики для хорошо воспитанных собак, впрочем, других сюда и не приводят.

Пока Крылов рассматривал гостиную, Грюнер объяснил фрау Биттер, что ему необходимо дня на два определить собаку и хотел бы узнать, в каких условиях она будет находиться.

Изящно присев, Эльза ласково потрепала собачку.

— Главный наш принцип,— разъяснила она,— индивидуальное обслуживание. Собачке мы создаем те условия, к которым она привыкла дома. Нам необходимо лишь знать ее характер, привычки, вкусы. У нас лучшие повара, они приготовят любимое блюдо. Наши ветеринары внимательно наблюдают за их самочувствием.

Эльза мило улыбнулась. Казалось, глаза ее говорили: «Что еще вы можете придумать? Все у нас предусмотрено».

— Сколько это будет стоить? — осведомился Грюнер.

— Общий стол и общий режим — двадцать пять марок в сутки. Надеюсь,— снова обворожительная улыбка,— вы предпочтете индивидуальный уход. К сожалению, сейчас мне трудно назвать точную сумму. В зависимости от услуг, но не более ста марок.

Пока шел этот разговор, Крылов посматривал на двери. Их четыре. Видимо, за одной из них — Бергер. Выйдет ли он? Озабочен и Грюнер. Не собачку же устраивать они пришли. И он спросил:

— Можем ли мы посмотреть вольеры и места прогулок?

— Разумеется. Но наш принцип — не тревожить лишний раз собачек. Надо получить разрешение хозяина. Одну минуточку.— И — воплощенная любезность — она исчезла за дверью.

По короткому коридору вышла на большую, всю в зелени площадку, где служащие в белых халатах прогуливали собак, так похожих на своих собратьев, запечатленных в гостиной отеля господина Иоганна Бергера. Вдали угадывались вольеры.

Эльза приблизилась к высокому забору из камня, покрытому вьющимися растениями. Отворила калитку, которую никак нельзя было предположить здесь, и попала в иной, неожиданный мир. Все было серо и мрачно. Высокие шлакоблочные стены ограждали территорию размером с хоккейное поле. На нем множество сооружений словно для тренировки пожарников — кирпичная стена с зияющими провалами окон, лестница, приставленная к сараю, узкие мостки, щиты, разной высоты заборы шириной в несколько досок. Чуть дальше — водоем.

Справа — затянутые металлической сеткой вольеры. В них нервно перебирали ногами огромные овчарки. Поблизости стояли несколько человек из тех, что были в пивной, и Бергер.

Он рявкнул короткое, как удар, слово, указав куда-то рукой. Распахнулась решетка одного из вольеров, и из него рванулся волкодав. Мгновенно набрав немыслимую скорость, вытянувшись чуть ли не в прямую линию, перемахнул через высокий щит, сверкая оскалом, устремился на человека в специальном костюме, похожем на водолазный. Тот стоял, широко расставив ноги, но ему бы все равно не устоять, не увернись он ловко, точно матадор от быка. И снова прыжок на грудь. Началась борьба.

Эльза приблизилась к хозяину.

— Господин Бергер,— сказала она несмело,— клиенты хотят посмотреть отель.

— Черт бы их побрал! — недовольно буркнул он.— Идите, сейчас.

Вскоре он появился в гостиной. Первый взгляд бросил на собачку, а потом уже на ее хозяйку и Грюнера, а Крылова, стоявшего в стороне, и вовсе не заметил.

— Добрый день, добрый день,— засияла на его лице улыбка.— Хотите посмотреть? Пожалуйста... Фрау Эльза, покажите гостям наш рай.

Готовясь к визиту в отель, как ни ломали голову, не могли придумать, с чего начать разговор с Бергером, как подступиться к нему. Махнув рукой, Крылов наконец сказал: «Поедем, и все. Там видно будет». Ему верилось — этому выродку тоже захочется поговорить. Захочется покуражиться, поиздеваться над русским, торжествуя свою победу на суде. Поиздеваться, конечно, не даст, а покуражиться?.. Черт с ним, любую цену готов уплатить, только бы узнать правду о Панченко.

Когда Бергер появился в гостиной и заговорил, Грюнер вопросительно посмотрел на Сергея Александровича. Не знал, как вести себя — переводить или ждать, пока Крылов сам проявит инициативу. Его взгляд перехватил Бергер.

— O, das sind Sie?![1] — Почти неуловимо в глазах вспыхнула настороженность и тут же погасла, уступив место стойкому благодушию.

— Извините,— вежливо сказал Сергей Александрович,— немецким не владею.

— Немецким трудно завладеть, мой таинственный русский детектив,— двусмысленно заметил Бергер.— Держу пари, вы здесь не случайно... Это уже наша третья встреча. Вы ведь из России?

— Да, из Советского Союза,— подтвердил Крылов.— Журналист Крылов Сергей Александрович. И я действительно здесь не случайно — моим друзьям надо пристроить собачку.

Бергер обернулся, но Эльза уже увела гостей.

— Прекрасный экземпляр, хотя жрет много сладкого.

— Я восхищен вашим русским языком.

— Это не мой язык,— выпалил Бергер и уже мягко, с подчеркнутой иронией добавил: — Значит, приехали из России помочь устроить собачку?

— Нет, приехал по культурной программе — посмотреть ваш водевиль в здании суда.

— И как? Понравился?

— Опытный режиссер ставил.

— Что же вам от меня надо? Собираетесь писать «Репортаж из фашистского логова»? — Слова выплеснулись глухо и жестко.

— Отнюдь. Просто его величество случай привел в ваш

---

[1] О, это вы?!

отель. Впрочем, в силу профессиональной привычки мог бы и побеседовать с вами.

Бергер метнул острый взгляд, но безмятежный вид собеседника ничем не грозил, и, широко улыбнувшись, он развел руками:

— Ну что ж, давно не практиковался. Чашечку кофе?

Бергер распахнул задрапированную дверь, и Крылов очутился в кафе. Всюду висели, стояли, лежали изображения собак — фотографические и фарфоровые, деревянные и бронзовые. Спинки кресел венчались собачьими головками. На лужайке — она хорошо просматривалась сквозь стеклянную стену — тоже собаки, но живые, совершали ритуал прогулки. Иначе не назовешь этот парад выхоленных представителей собачьей аристократии под присмотром белых халатов.

Хозяин испытующе посмотрел на гостя и, видимо довольный произведенным эффектом, указал в дальний, сравнительно пустынный уголок:

— Прошу вас.

Пока они шли между столиками, лоснящиеся бюргеры, экзальтированные старухи и томные дамы, расплываясь в улыбках, приветствовали Иоганна Бергера; это насытило его тщеславие, и, устроившись в кресле, он не глядя бросил кружевной официантке:

— Два кофе, Эрика, два коньяка.

— Хорошее у вас кафе.— Долгожданная фраза прервала паузу.

— Благодарю. Это самое удачное предприятие в моей жизни. Бог подарил мне на склоне лет место, где я могу отдохнуть душой,— среди этих замечательных людей...— Поймав вопросительный взгляд Крылова, пояснил: — Все они заядлые собачники...— И помолчал, пока официантка ставила угощение.— Без преувеличения — все их проблемы замыкаются на благополучии их четвероногих любимцев.— И указал на лужайку. Засопев, достал из кармана большой плоский портсигар.

— Наверное, немало людей согласились бы не иметь иных проблем.

— О! Русский! Свернуть любую тему на политику, разодрать себе душу до крови по любому поводу, да еще отравить этой заразой человечество — вот ваша отличительная черта.

— Что ж, если политика — это забота о завтрашнем дне человечества, а не борьба за господство на костях

другой нации, то стоит и, как вы говорите, разодрать душу.

— Знаете, далекое будущее покажет, кто был прав. Когда глоток воды станет дороже золота, а ваша любимая махорка будет выдаваться по большим праздникам — человечество вам спасибо не скажет!

— К счастью, человечеством в целом движет созидание, а не потребление, иначе общество уже давным-давно пришло бы к тому, что вы только что нарисовали.

— Сдаюсь! — поднял руки и загоготал.— Бегу записываться в коммунисты.— Отхлебнув кофе, увидел царапину на поверхности стола и озабоченно погладил ее пальцами.— И все-таки странные вы люди.— Задумался, устремив тяжелый взгляд на собеседника.— Если бы вас не было на земле!

— Да, решить эту задачу вашему гению с усиками не удалось. И если бы вы, господин Бергер, не были так запрограммированы, то, естественно, задали бы себе вопрос «почему?».

— Давно известно почему: генерал мороз плюс Англия и США были на вашей стороне.

— Не надоело? Вы сами только что ответили почему. Потому что мы странные люди, такие, например, как Панченко.— Крылов вдруг поймал себя на том, что боится ответа.

А Бергер не торопился. Видимо, раздумывал и он, как вести себя.

— Курите, господин Крылов,— раскрыл он портсигар.

— Спасибо, сигары не курю.

— Панченко, говорите,— равнодушно сказал Бергер.— Надежный человек, он и сейчас работает на меня.

Крылов стоически выдержал удар, ничем себя не выдав. Медленно отхлебнул глоток коньяка. Глядя сквозь двери на собачий рай, спокойно, даже безразлично спросил:

— Разве он жив?

— Гм... жив. Размазня он, ваш Панченко, на третьем допросе дух испустил... Жаль, очень жаль. Он заслужил допросов десять.

— Не понимаю.

— Чего вы не понимаете?

— Испустил дух, а потом стал работать на вас?

— Конечно, вы это сами видели. Видели, как на процессе он всю вину взял на себя,— оскалился Бергер.

Крылов закурил. Задумчиво сказал:

— Это был настоящий герой.

Бергер не ответил. Тщательно прицелившись, откусил щипчиками кончик сигары, не торопясь раскурил ее.

— Нет, дело не в нем. Просто подлецом оказался Тринкер. Скажи он мне, что раскрыл банду Панченко, а не рвись втайне от меня к начальнику, чтобы выслужиться, все было бы по-другому. И генеральское звание, и новый пост...— Бергер вдруг умолк, точно спохватившись.— Впрочем,— он отхлебнул глоток кофе,— грех жаловаться, о лучшей жизни трудно мечтать. Как видите,— победно обвел взглядом свой рай,— живу неплохо. Даже участвую, как вы выразились, в спектаклях... Но это был последний. Премьеру мы дали там, у вас. И последующие спектакли проходили у вас. Я ни в чем не могу упрекнуть себя, моя совесть чиста — за доставленную мне неприятность я взыскал дорогую плату, сполна рассчитался с вашими фанатиками, включив их в свои спектакли. Кроме главаря Панченко мы уничтожили целый пласт ваших героев из его шайки и дотла сожгли их жилища. О-о, это было прекрасное зрелище, жаль, вам не довелось его увидеть. Зато насладились последним спектаклем.

У Крылова хватило сил сдержаться.

— Нет, это не последний,— сказал он спокойно.— Последний еще предстоит, такой, как Нюрнберг. А насчет цены вы правы — мы дорого заплатили, чтобы мир увидел вас. Взгляните в зеркало — именно в таком виде вы предстали перед человечеством.

Голова Бергера как бы помимо его воли дернулась, и он увидел свое отображение на зеркальной стене — разъяренный оскал, обезумевшие, налитые кровью глаза. Лицо мгновенно изменилось, и на нем появилась гримаса, должно быть от усилий улыбнуться.

— Еще чашечку кофе?

— Нет, извините, мне пора.— Крылов поднялся, обернулся к официантке.— Рехнунг, битте.

18

Жизнь надломилась. Разве только надломилась? Рухнуло все. Все, к чему стремился, чего достиг за долгие десятилетия. Авторитет, уважение, слава, высокое и устойчивое положение в обществе — все, добытое трудом и талантом, стерто, сметено.

Надо начинать сначала. С первого шага, с первой сту-

пеньки, на которую поднимается человек, вступая в жизнь.

Начинать... Хорошо начинать, когда тебе двадцать и все впереди. А в шестьдесят с запятнанной биографией начинать поздно. В шестьдесят люди уже думают, как достойно завершить. Теперь не получится достойно. Поздно... По вине такого-то оклеветан герой. Это прочтут все. В учетной карточке в графе «Взыскания» появится запись, если, конечно, саму карточку не отправят в архив.

Не надломилась — рухнула жизнь. Из редакции придется уйти... На паровоз? Так нет же теперь паровозов... Куда девать глаза, когда появится в редакционном коридоре, в кабинете главного?

При любой болезни весь организм человека мгновенно мобилизуется на борьбу с недугом. Сам организм вырабатывает противоядие. Это относится не только к физическим болезням. Помимо воли Крылова где-то в глубинных недрах сознания зрели, пробивались иные мысли и возбуждали энергию и желание действовать, бороться, все настойчивее оттесняя на задний план те, что были так безысходно мрачны.

Нет, не за себя бороться — за истину. За попранную истину, за героя растоптанного и раздавленного. Кто это сделал? Кто уже мертвого патриота облачил в отрепье предателя?

Он распутает весь клубок, какими бы тугими узлами его ни затянули, куда бы ни спрятали кончик ниточки. Это станет целью жизни...

К дому он подъезжал, уже имея твердый план действия. Продумал и линию поведения с женой.

В Шереметьеве самолет приземлился рано утром. У стойки таможенного досмотра женщину, стоявшую впереди него, спросили, почему везет так много шарфиков.

— Это сувениры,— ответила она.— Семья, родственники, масса друзей, не могла же я вернуться без подарков.— В ее голосе было недоумение.

Крылов с досадой поморщился. Надо было, конечно, что-нибудь Ольге привезти, хотя ему, понятно, не до подарков... Но разве объяснишь?

В здании аэровокзала обошел несколько ларьков и киосков и, к радости, обнаружил изящную имитацию жемчужной нити, сделанную в Чехословакии.

Он жил у Речного вокзала, и лихой таксист довез его минут за пятнадцать. Ольга еще спала. Он так и думал, что

еще спит. Отпер дверь, поставил чемодан, привычным жестом не глядя повесил плащ, забросил на полку шарф.

— О-оля! — Он направился в спальню.— Петушок пропел давно.

Ольга раскрыла глаза, приподнялась на постели.

— «Какое чудесное жемчужное ожерелье у мадам Крыловой! Как, вы разве не знаете? Это ей муж из ФРГ привез».

— Сережа! — Ольга отбросила одеяло, спрыгнула с постели, обняла его.— Какая прелесть! Как настоящий жемчуг. Недаром ты мне всю ночь снился.

— Нихт ферштейн! Не понимайт руссиш фрау.

Они стояли у зеркала и смеялись.

— Сейчас будем завтракать, посмотри пока почту, там целая гора.

Писем и в самом деле было много — отклики на очерк о Максимчуке, просьбы обиженных, приглашения на различные заседания и вечера. Мельком просмотрев их, пошел в ванную. Ольга уже хлопотала на кухне.

— Ну что тут у вас нового? — спросил, растираясь полотенцем.— Кто женился, кто развелся?.. Кто звонил?

— Твой главный — без тебя жить не может. Герман Тихоныч...

— Трофимович... Не должен был звонить.

— Ну да, Трофимович. Сказал, чтобы по возвращении немедленно явился.

— Не говорил зачем? — входя в кухню, спросил он.

— Нет. Еще Константин твой бесценный звонил. Полчаса донимал, чтобы твой адрес дала. Сумасшедший, откуда я могу знать?

Они сели завтракать, но еда не шла ему в горло. Поковырял немного вилкой, закурил. Ольга настороженно посмотрела на него.

— Ты, часом, не болен? Какой-то ты не такой.

— Такой я, такой. Спать в самолете не умею, ты же знаешь.— За натянутой улыбкой он прятал напряжение.— Оленька, свари кофе покрепче... или вот что — рюмочку коньяка.

— У тебя неприятности? — Она достала темную бутылку и маленькую рюмочку.

— С чего ты взяла?

— По всему вижу. В такое время, например, никто не пьет.— Она остановила на нем долгий взгляд, сказала ров-

ным, почти безразличным голосом: — Может, хватит играть в прятки? С чем ты вернулся?

— С жемчужным колье.— Шутка прозвучала неуместно.— Разве оно тебе не понравилось?

— Понравилось, а вот ты...

— Ну хорошо,— поднялся он.— Соберись с силами, Ольга, и будь умницей. Мне очень нужна твоя поддержка... Панченко не предатель, а герой. Установил точно.

— Та-ак...— Наступила долгая пауза.— Документально подтверждается?

— Документов пока никаких, но убежденность полная.

Сергей Александрович встретился со взглядом, полным удивления и возмущения.

— Так подшей свою убежденность к делу...— Она нервно заходила по комнате.— И что дальше?

Сергей Александрович налил в рюмку коньяк, не торопясь выпил.

— Дальше? Найду, как ты говоришь, документальные подтверждения и выступлю.

— И кто в этом выступлении предстанет клеветником?

— Хватит, Ольга! Неужели ты не понимаешь?..

— Не понимаю! — не дала она договорить.— И как человеку, если он не сумасшедший, понять! У тебя громадный авторитет, только что орден получил, тебе верят, как пророку, и вдруг ты сам на всю страну... И все как в пропасть.— Она говорила, едва сдерживая слезы.— Только-только из долгов вылезли после покупки машины, встали наконец на ноги, а ты опять за свое.— И залилась слезами. Неожиданно быстро пришла в себя, сказала спокойно и твердо: — Сережа, тебя же никто не заставляет писать, ведь никто ничего не знает.

Она смотрела ему в глаза. И он смотрел на нее пристально, не мигая. Прошло всего несколько мгновений, но обоим они показались бесконечно долгими, потому что в эти мгновения в их жизни решалось что-то большое, главное.

— Ты понимаешь, на что идешь? — тихо спросила Ольга.

— Понимаю. Но если гестапо замучило героического человека...

— И что? Ты вернешь ему жизнь? Ведь ничего не изменится.

— Да, не изменится,— возмутился он,— на века герой

останется предателем. Это будет переходить из поколения в поколение. И дети его, и внуки, и правнуки будут потомками предателя. И виной тому будет воинствующее мещанство, стремление любой ценой, даже ценой подлости уберечь свой уютец, свое гнездышко...

Он умолк и тут же снова заговорил. Голос стал мягким, просящим:

— Это же не катастрофа, Ольга. У меня еще есть и руки и голова...

— Нет, головы у тебя нету. Ты болен! У тебя мания величия! Ты возомнил, что можешь искоренить все зло на земле. Ты вечно балансируешь на краю пропасти, лезешь в дела, которые умные люди за версту обходят. Тебе просто везло. Хватит! Остановись! Будь как все люди. Ты даже тряпку паршивую боишься попросить у директора магазина, хотя все это делают.

С какой-то усталостью в голосе Крылов сказал:

— При чем тут магазин, тряпки?.. Впрочем, тряпки для тебя всегда были главными в жизни.

— Не намерена отвечать на провокацию,— спокойно сказала она.— Ничего дурного не вижу в том, что люблю красивые вещи и хочу жить без извержений вулканов. Это моя жизнь, и она у меня одна, другой не будет.

— Однова живем?

— Да, если хочешь. Я никому не приношу вреда. А ты со своими красивыми лозунгами методично изводишь, мучаешь человека, который зависит от тебя материально.

Еще несколько минут назад у Сергея Александровича теплилась надежда, что Ольга поймет его. Теперь рухнуло все.

Похоже, понимала это и Ольга. Она вышла в другую комнату и, закрыв рот платком, разрыдалась.

Прохоров возвратился из ФРГ на три дня позже Крылова. В день отъезда пригласил Грюнера на проводы. Беседа шла оживленно. Юрий Алексеевич то и дело наполнял рюмки добротной русской водкой «на винте», сам готовил бутерброды, толстым слоем накладывая икру. Расспрашивал, как провели они время с Крыловым, где удалось побывать, с кем встретиться. Спрашивал, похоже, для приличия, между прочим, больше делясь собственными впечатлениями. Грюнер охотно рассказывал об отеле

для собак, с возмущением поведал о наглости, с какой Бергер беседовал с Крыловым.

— Вы втроем были? — безразличным тоном спросил Юрий Алексеевич.

— Нет, мы с Линдой поджидать его возле отеля Бергера, он потом говорил для меня подробности.

По приезде в Лучанск, прежде чем отправиться домой в Липань, зашел к Гулыге. Выслушав его, Петр Елизарович заходил по кабинету..

— Выходит, не так прост этот борзописец,— нарушил молчание Прохоров.

Гулыга, ушедший в свои мысли, не уловил слов. До него дошел только звук голоса.

— Что? — остановился он.

— Крылов, говорю, глубоко копает.

Гулыга не ответил. Снова зашагал из угла в угол. Потом уселся в свое кресло на колесиках, корпусом подтянул его к столу, уставился на Прохорова.

— Выходит, пора, Юрий Алексеевич.

— Самое время, пока не поздно.

19

Тяжело было на душе у Крылова, когда он вошел в кабинет главного редактора. Но в глаза это не бросалось. Свежая рубашка, чисто выбрит, внешне спокоен.

Герман Трофимович стоял у открытого окна, безучастно смотрел на тихую, почти безлюдную улицу.

Услышав приветствие, обернулся, сказал тоном, не предвещавшим ничего хорошего:

— Что же это ты, неделя как приехал — и глаз не кажешь?

— В отпуске я, Герман Трофимович, в отпуске.

— Как съездил? На Западе без перемен?

— А у вас? Вы звонили?

— Звонил. Садись.

Указал на стул и сам пошел к своему месту у стола. Достал сигарету и попросил у Крылова спички. Сергей Александрович щелкнул зажигалкой. Прежде чем прикурить, Герман Трофимович внимательно посмотрел на нее, многозначительно взглянул на Крылова.

— Хорошая зажигалка.

Вошел сотрудник с газетной полосой, покосился на Крылова.

— По номеру, Герман Трофимович, можно?

— Через три минуты.— И направился к сейфу. Извлек три конверта с подколотыми письмами.— Садись вон там и почитай,— протянул Крылову письма.— Только молча, без восклицаний.

— Что это?

— Почитай-почитай.

Сергей Александрович отошел к столику в дальнем углу кабинета, уселся, пролистал письма, отыскивая подписи. Одно большое было от Гулыги и два маленьких — от Чепыжина и Хижнякова. Начал с письма Гулыги, предчувствуя недоброе. Ему хотелось побыстрее пробежать это письмо, но читал медленно, произнося про себя каждую фразу:

«Уважаемый товарищ редактор! Нелегко мне было решиться на это письмо, но иначе поступить не мог. Если человек знает о преступлении и не сообщает о нем, хочет он того или нет — становится соучастником преступления. Только эти соображения и побудили меня обратиться к Вам. Я обязан написать Вам тем более потому, что Ваш корреспондент тов. Крылов весьма высоко оценил мои скромные заслуги, и если не сообщить о его более чем недостойных проступках, а речь пойдет именно об этом, значит, принять его выступление как плату, а точнее — взятку за молчание. Совесть не позволяет мне этого.

Итак, по существу. Дней десять тов. Крылов находился в Лучанске и с первого же дня установил интимную связь с некоей Зарудной Валерией Николаевной. С возмущением говорили об этом люди, знавшие, что фактически он проживал не в гостинице, а у нее. Предоставленную ему автомашину для поездок в совхозы и на заводы использовал для загородных прогулок с Зарудной. Однажды, зная, что водитель не обедал, не постеснялся продержать «Волгу» у дома Зарудной несколько часов.

Писать о таких вещах неприятно, стыдно, и ни за что не стал бы пачкать руки, не служи связь с Зарудной объяснением более недостойных действий Крылова. Год тому назад была отвергнута ее политически вредная диссертация, искажавшая наше героическое прошлое, где, в частности, она пыталась возвести в герои предателя Родины Панченко, чьи руки обагрены кровью многих советских людей. Делала это в угоду своему сожителю — сыну предателя.

Я не знаю, с каким заданием редакции тов. Крылов приезжал в Лучанск второй раз, но вот чем он у нас занимался, известно доподлинно. Пользуясь своим высоким положением, вернее, злоупотребляя им, очевидно, под влиянием Зарудной уговаривал людей подтвердить, будто Панченко был патриотом.

Приведу еще факт на первый взгляд настолько мелкий, что и писать о нем неловко, но уж очень выпукло он характеризует моральный и нравственный облик человека.

Перед отъездом из Лучанска тов. Крылов зашел попрощаться и просил прослушать тезисы его статьи. Я усомнился, надо ли, ведь речь там шла обо мне. Однако тов. Крылов возразил — кто же лучше знает вашу биографию, надо проверить, не напутал ли чего. Я согласился. Фактические данные были изложены правильно, о чем и сказал ему. После этого тов. Крылов попросил подарить ему зажигалку, которую взял с моего стола, чтобы прикурить. Откровенно говоря, мне не жаль было этой довольно дорогой вещи, но она была дорога мне как память. Ее подарили западногерманские рабочие в знак уважения к нашей стране, а вручили мне, поскольку я возглавлял нашу делегацию в ФРГ. Я и сообщил ему об этом. Выслушав, тов. Крылов положил зажигалку в карман и, усмехнувшись, сказал: «Ничего, вам еще подарят».

Не стал бы я писать и об этом, не к лицу мне, не соверши тов. Крылов ошибок, носящих политический характер. Имею в виду следующее.

Во время своего пребывания в ФРГ он установил контакты с военным преступником, ярым фашистом Бергером, который в период оккупации был комендантом нашего района. Он чинил жестокие расправы не только над партизанами, но и уничтожал мирное население. С этим палачом тов. Крылов имел по меньшей мере две встречи. Одну — в мюнхенской пивной, откуда начинал свой кровавый путь Гитлер, являющейся и ныне пристанищем недобитых и неофашистов, вторую, наедине, в собственном отеле фашиста. Не знаю содержания их бесед, известно лишь, что вышел от него тов. Крылов изрядно выпивши. Эти встречи происходили не только без санкции советского посольства, но и втайне от него.

Пишу это письмо с большой болью и сочувствием к тов. Крылову, ибо давно знаю его по печати как острого партийного журналиста, да и при личном знакомстве он произвел на меня самое лучшее впечатление, лишь немно-

го омрачившееся злополучной историей с зажигалкой. Другие факты, изложенные выше, мне стали известны в самое последнее время, и у меня не было возможности предостеречь его хотя бы от ошибок, допущенных в Лучанске. Будем надеяться, что он извлечет из них должные уроки и мы вновь увидим на газетных полосах его злободневные, по-настоящему партийные выступления.

С уважением *П. Гулыга.*

Генеральный директор
промышленного объединения
«Луч».

Второе письмо было от Хижнякова. Он сообщал, что всю жизнь с огромным уважением относился к работникам советской печати — людям, несущим правду народу, и его поразило, когда Крылов настоятельно требовал засвидетельствовать письменно, будто кровавый предатель Родины Панченко был патриотом. Он-то устоял перед Крыловым, но могут найтись малоинформированные товарищи, которые под влиянием специального корреспондента и его большого авторитета напишут под его диктовку то, чего он требует.

Чепыжин сообщал, что Крылов, добиваясь письменных подтверждений, будто Панченко не был предателем, пытался ревизовать решения партийных органов и тем самым скомпрометировать их в глазах многих людей.

Герман Трофимович о чем-то говорил с сотрудником, правил полосу, время от времени бросая взгляд на Крылова.

Выражение лица Сергея Александровича менялось самым странным образом. Он был удивлен, возмущен, взбешен и наконец рассмеялся.

— Ну? — сказал редактор, когда сотрудник вышел.— Что это так рассмешило?

Крылов ответил испуганно:

— А сигналы о том, что я совершил убийство, ограбил банк и захватил в самолете заложников, еще не поступали?

— Напрасно иронизируешь, Сергей Александрович,— строго сказал редактор.— Смешного мало, документы серьезные.

— Серьезные... Расчет на нокаут... Молодцы, сволочи!

— Чем это ты так доволен?

— Не верю, что вы верите в это. Они выдают себя с головой. Что я успел узнать? Только нащупал болевую точку — и вдруг такой шквал... Прошу отозвать меня из отпуска и срочно послать в Лучанск.

— Верю или не верю, в Лучанск других придется посылать. А из отпуска отзываю. С сегодняшнего дня... Ну а шквал... Боюсь, нам, вернее тебе, против него не устоять...

— Герман Трофимович! Вы не первый год меня знаете, неужели у вас...

— Потому и поражен, что не первый год знаю... Дай, пожалуйста, прикурить...

Крылов вынул из кармана зажигалку, щелкнул.

— Нет, в руки дай.— Положил на ладонь, как бы взвешивая, покрутил в руках.— Что же мне, не верить, что это заграничная зажигалка? Или что она меньше ста долларов стоит? Где ты ее взял?

— Так он же навязал мне! — разгорячился Крылов.— Сказал — она грош стоит, у него целый ящик таких.

— Что он говорил, не знаю, в чужие ящики не заглядываю, а вот что он написал — ты читал.

Герман Трофимович вызвал секретаршу, велел срочно пригласить секретаря парткома, ни с кем не соединять и никого не пускать в кабинет.

На пятый год работы в редакции Юрия Андреевича Скворцова — ему тогда было двадцать восемь лет — избрали секретарем парткома. И в свои сорок он оставался руководителем партийной организации. И не потому, что не было на это место подходящих людей, напротив, немало авторитетных коммунистов с большими организаторскими способностями вполне могли бы заменить его. Но ни на одном отчетно-выборном собрании просто не возникало другой кандидатуры. Его же собственные просьбы и самоотводы никто во внимание не принимал.

Для всех хорош не будешь — давно известно. А он что же? Для всех хорош? Выходит, для всех, хотя никогда никому не угождал и своими принципами не поступался. Он не походил на встречающийся в литературе да и в жизни тип руководителя. Не было у него металла в голосе, не было категоричных, точно в последней инстанции, суждений. Слушая оппонентов, он искренне стремился абстрагироваться от своей еще не высказанной точки зрения,

согласиться с предлагаемой. Если находил к тому малейшую возможность, соглашался. А уж если душа не принимала, раскрывал ход своих мыслей, и такой убедительностью они отличались, что не принять его оценку событий и поступков людей просто казалось немыслимо.

В противовес Скворцову суждения главного редактора Удалова почти всегда были эмоциональны, категоричны, порой резки, и выводы свои делал, будто не заботясь о том, насколько они обоснованны и убедительны. Взгляды обоих на различные явления, как правило, совпадали, однако выступления Скворцова принимались органично, с удовлетворением, а сказанное — по сути то же самое — Германом Трофимовичем чуть ли не как навязанное.

При всем различии характеров роднило их не только единомыслие по принципиальным вопросам, но и другое, чего не мог не видеть и не ценить коллектив,— чувство справедливости. Правда, и здесь некоторые преимущества оставались за Скворцовым. Если человек провинился, он должен быть наказан — в этом оба были единодушны. А на меру наказания смотрели по-разному. Жестче был главный. Не мирясь ни с какими нарушениями дисциплины, он проявлял лишь в одном вопросе невиданную мягкотелость по отношению к Скворцову.

Еще будучи студентом, Юрий Скворцов увлекался футболом. Играл центральным нападающим в факультетской команде, затем в университетской сборной. К нему присматривались тренеры знаменитых футбольных клубов, от одного из них он получил почетное приглашение. Юрий был тогда на втором курсе, и перед ним открывалась довольно заманчивая перспектива. Он отказался от нее. С годами, хотя сам уже не играл, страсть к футболу не проходила. Не пропускал ни одной международной встречи. Если по графику его дежурство по номеру совпадало с интересной игрой, приходил к главному, моляще смотрел на него: «С Бразилией играем, Герман Трофимович...»

Удалов тоже был неравнодушен к футболу. Ненавидел его. Увлечение людей этой глупейшей, на его взгляд, игрой называл безумием века. Вынужденный все же печатать отчеты о матчах, читал их придирчиво и если встречал фразы, где говорилось о талантливости, творчестве, вдохновении игроков, вычеркивал эти слова с такой яростью, что рвалась бумага.

Недовольно и молча выслушивал просьбы Скворцова, пожимал плечами, но график дежурства менял. Смирился

и с тем, что в дни ответственных игр Скворцов не ходил на заседания редколлегии. Однажды не выдержал. «Не понимаю,— сказал он с возмущением,— как можно увлекаться игрой, требующей интеллекта не более, чем при перетягивании каната». Юрий Андреевич ответил спокойно и серьезно: «Если человек хочет иметь друзей без недостатков, он останется без друзей. Считайте это моим недостатком».

Удалова взорвало, но он смолчал. И к тому были причины. Он чувствовал перед Скворцовым вину, и его терпимость была как бы платой за свою вину. Когда появилось вакантное место заместителя главного, все были уверены — назначат Скворцова. Целесообразность такого назначения не вызывала сомнений и у Германа Трофимовича. Однако тогда пришлось бы избирать нового секретаря парткома. А об этом он даже думать не хотел. Решаются вопросы не главным и его заместителем, а треугольником, где партийный руководитель играет паритетную роль. Поэтому и не выдвинул кандидатуру Скворцова.

Порой Удалова мучила совесть: все-таки задержал он продвижение человека, которое тот вполне заслужил. Искал для себя оправдания — и находил. Все идет своим чередом. Именно он, Удалов, провел Скворцова от стажера факультета журналистики до члена редколлегии и заведующего партийным отделом. Вот скоро на пенсию, и тогда — уж этого он добьется — Скворцова сделают главным. Герман Трофимович искренне так думал, хотя на пенсию всерьез не собирался.

Оба они одинаково хорошо относились к Крылову. Ценили за острое перо, за ясную и четкую жизненную позицию. И не счесть, сколько раз они собирались втроем. Не на официальные совещания и не в застолье, а просто обсудить сложные проблемы редакционной жизни.

И вот они вновь втроем.

Когда вошел Скворцов и, пожав руку Крылову, сел напротив, Герман Трофимович тяжело вздохнул, откинулся на спинку кресла и кивнул Крылову:

— Рассказывай.

Крылов, казалось, собирался с мыслями. Понимал — надо давать объяснения, оправдываться, убеждать. Нужны спокойствие, выдержка, неопровержимые доказательства. Нужно быть очень собранным. А в нем все бушевало. Самые резкие слова готовы были сорваться с

языка и, конечно, выплеснулись бы, но его отвлек Скворцов.

— С письмами я знаком, Сергей,— сказал он безразлично.

Будто волна подкатила к горлу. Как же много дала эта фраза Сергею Александровичу! Даже не фраза, а одно слово. Только одно слово — «Сергей».

Они всегда называли друг друга по имени. Однако за всю их долгую работу в редакции на любой официальной встрече, будь то заседание редколлегии, парткома, летучка или планерка, обращались друг к другу официально — по имени-отчеству или фамилии. А тут куда уж официальней — и вдруг «Сергей». Нет, не бездушные чиновники собрались судить его, а собратья по труду.

И он рассказал все. Не торопясь, без эмоций — только голые факты. Начал с донесения гестапо, рассказал о возникших сомнениях, о встречах с Голубевым, Зарудной, Бергером, о сыне Панченко. Поведал и историю с злополучной зажигалкой. Гулыга и в самом деле сказал ему, что не покупает этих зажигалок, а получает их как сувениры от различных советских экспортно-импортных организаций.

— Как будто бы все,— закончил он.

Наступила долгая, тяжелая пауза. Нарушил молчание Герман Трофимович.

— Верить этим письмам не хочется, но проверять придется,— развел он руками.

— Придется — альтернативы нет,— заметил Юрий Андреевич.— А хочется или не хочется, уж и не столь важно... Тут столько неясных вопросов,— потер он лоб,— и не поймешь, с чего начинать.

— С ясных, Юрий Андреевич,— уверенно сказал главный.— С совершенно ясных — с фактов, которые не отрицает и Крылов. Вся история с Зарудной, лжесвидетельства, попытка ревизовать партийные решения и прочее требуют, конечно, тщательной проверки. Но два фактора, на мой взгляд решающих, ни в какой проверке не нуждаются. Что, например, нам делать с зажигалкой? Пусть все выглядит так, как говорит Крылов. Хорошо, предположим, допускаю. Но то, что вещь дорогая, ясно ребенку. И взята у человека, о котором автор дал восторженный очерк. Это же бесспорно. И как прикажете сей факт расценивать?

— Так, Герман Трофимович...

— Минутку, минутку,— не дал он договорить Крылову.— Это во-первых. Во-вторых, допускаю сомнительную необходимость встречаться с военным преступником, не имея на то задания редакции, более того, перед поездкой я предупреждал его — не ввязываться ни в какие истории. И все-таки допускаю, с трудом, но пусть, понять это как-то можно. А вот вовсе не могу понять, как такой политически зрелый человек не догадался посоветоваться в посольстве. Тебе ли не знать, что в чужой стране посольство — это и Советская власть, и партия, и верховный орган для любого советского гражданина?

— Догадался,— резко сказал Крылов.— Думал об этом, но побоялся — как бы на всякий случай не запретили...

— Не дело говоришь! — оборвал Скворцов.— Думал, но не пошел? Значит, правильно написано «втайне от посольства»?

— Считайте — втайне, считайте как хотите! — Крылов в сердцах швырнул на стол карандаш, который нервно вертел в руках.

— Так мы ни до чего не дойдем, Сергей, давай без истерики,— спокойно сказал Юрий Андреевич.

И снова это «Сергей» охладило Крылова. А главный продолжал наседать:

— Все ли ты рассказал? С чего бы вдруг столь уважаемый человек, как Гулыга, стал придумывать? Чем ты ему насолил? За что он хочет тебе мстить? Давай уж все начистоту.

— Ничем не насолил, и нет причин мстить мне. Это не месть, ему важно вывести меня из какой-то своей игры. А что это за игра — я пока не могу понять, не знаю. Но я напал на какой-то след, и ему надо, чтобы по этому следу не шли.

Скворцов, казалось, пропустил длинную тираду мимо ушей. Неожиданно спросил:

— У тебя с собой зажигалка?

Сергей Александрович с готовностью достал ее.

— Золотая, что ли? — повертел ее в руках Скворцов.

— Платиновая, с бриллиантами внутри,— вырвалось у Крылова.

— Если золотая, на ней должна быть проба,— заметил Герман Трофимович.

Юрий Андреевич внимательно рассматривал зажигалку. Достал носовой платок, тщательно протер.

— Так-так-так...

— Нашел? — нетерпеливо спросил Герман Трофимович.

— Нашел... Нашел, что Гулыге верить нельзя.

— Нет пробы — это еще ничего не значит. Он и не пишет, будто она золотая.

— Так-то оно так, а только верить ему нельзя. Видите,— он провел пальцем по плоскости,— тут была надпись, вот, сохранились едва заметные контуры букв «Экспортлес».

— Ну и что? — пожал плечами главный.— Что от этого меняется?

— Все меняется...

Герман Трофимович вопрошающе посмотрел на него, потом поднялся, категорично сказал:

— Завтра соберем редколлегию и назначим комиссию для проверки фактов.

— Видимо, так,— согласился Юрий Андреевич.— Но достаточно ли этого?

— Две комиссии назначьте, а в них четыре подкомиссии! — не сдержался Крылов.

Юрий Андреевич осуждающе покачал головой. Помолчав, сказал:

— Вот я над чем думаю, Герман Трофимович. Работник такого масштаба, обремененный огромными заботами, можно сказать, государственного значения,— станет ли он проявлять еще и заботу о нравственности приезжего человека, копаясь в интимных связях, следить, как использовалась машина, и прочее?

— Что же ты думаешь, это липа? Не Гулыга писал? — насторожился Удалов.

— Нет, другое думаю. Допускаю: человек кристальной чистоты, не выносит нарушений наших моральных устоев, вот и пишет. Можно бы так сказать. Да вот крючочек один тут цепляется. Вроде совсем пустяковый факт. Надпись на зажигалке сделали западногерманские рабочие, когда дарили ее Гулыге? Или приобрели в Экспортлесе, стерли ее, а потом уже подарили? Выходит, Крылову он говорил правду о происхождении зажигалки, а нам написал...

— Мне это неинтересно,— резко сказал Удалов.— Откуда бы ни появилась у Гулыги зажигалка, вины с Крылова это не снимает.

— Согласен, верно,— подтвердил Скворцов.— А вот

повод не доверять автору письма дает основательный. Более того, не оставляет сомнений в попытке усугубить вину Крылова, ввести нас в заблуждение. Во имя чего?

— Вот я и говорю: комиссия все проверит.

— Комиссии это будет делать неловко, Герман Трофимович. Как выяснить? С ним беседовать? С его подчиненными? Членами делегации, которую он возглавлял? Значит, откровенно выразить ему недоверие, подрывать его авторитет. Пока на это права мы не имеем. Все-таки пишет человек, у которого никаких личных счетов с Крыловым нет.

— Напротив, он должен быть благодарен Крылову.

— И еще одно соображение,— продолжал Юрий Андреевич.— Мы, естественно, не можем принять за истину утверждение сына Панченко, будто его отец являлся организатором партизанского движения в районе, а его заслуги приписал себе Гулыга, но и полностью игнорировать это едва ли правильно. Надо проверить...

— Мы уже два часа сидим здесь запершись, что с полосами — не знаем,— раздражился главный.— Ясно, что письма надо проверить, давно решили. Что еще ты предлагаешь?

Юрий Андреевич ответил спокойно:

— Если суммировать все сказанное, мы вправе предположить, как утверждает Сергей Александрович, что здесь нечто иное, может быть, более серьезное, а не только забота о чистоте нравов. Поэтому и предлагаю — комиссия комиссией, пусть работает, не бросая авансом никакой тени на Гулыгу, а нам запросить Центральный архив партизанского движения о его деятельности во время войны.

— Не возражаю.— Главный нажал кнопку, вызвал Марию Владимировну и, не вдаваясь в объяснения, попросил срочно сделать запрос.

— Я уже давно сделала, только в архив не партизанского движения, а Министерства обороны.— Она виновато улыбнулась.

— Молодец, Маша,— улыбнулся и Герман Трофимович.— Как это ты додумалась?

— Просто думала, анализировала... Много сомнений.

— Ну что ж, полнее будем знать человека. Но и партизан запроси.

20

В кабинете главного редактора собралось человек пятнадцать, в большинстве люди немолодые, хорошо знающие друг друга. Были среди них и друзья Крылова, и просто члены редколлегии, уважающие его, и такие, как Калюжный и заведующий отделом фельетонов Дремов, давно питавший к нему неприязнь.

Заседание редколлегии достигло той критической точки, когда выдержка стала покидать людей и страсти все больше накалялись.

В приемной редактора Верочка перебирала бумаги, тревожно вскидывая глаза на дверь своего шефа, откуда временами доносился шум, неясный гул голосов.

Влетел запыхавшийся Костя.

— Давно начали?

Бросила взгляд на стенные часы, ответила почему-то шепотом:

— Второй час дерутся.

— Черт меня понес на этот митинг,— с досадой махнул он рукой.— Я должен был повидать его раньше их.

Костя приоткрыл дверь, приставив ухо к щели. Услышал резкий, раздраженный голос Дремова: «Надоело разбирать жалобы на Крылова! Чуть не каждое его выступление опровергают!»

— Вот сволочь! — выругался Костя.

— Закрой, мне влетит.

— Подожди,— отмахнулся он.

«Прошу без выкриков» — Костя узнал голос Германа Трофимовича. Вера встала и закрыла дверь.

— Влетит мне, понимаешь?

— Ты можешь зайти туда?

— Только если позовут.

После длинной реплики Дремова поднялся Андреев.

— Нельзя же все валить в кучу. Он разоблачал проходимцев, они и жаловались на него, клеветали. Ведь ни одна жалоба не подтвердилась.

— Какая же аналогия! — вскочил Калюжный.— Не проходимец жалуется, а Гулыга, которого прославил сам Крылов. За это, что ли, он клевещет? Где логика? Нонсенс!

— Потому что подлец! — выпалил Крылов.

И сразу несколько голосов:

— Вы же писали, что он герой!

— Скажу честно,— продолжал Андреев,— мне лично не верится, что Крылов на все это способен. Вдумайтесь: станет ли он в угоду Зарудной толкать людей на лжесвидетельства?

— Так почему они жалуются? Почему пишут? Они же не о себе хлопочут, им-то ничего плохого Крылов не сделал.

Андреев, никак не отреагировав на реплики, продолжал:

— Ничего зазорного не вижу и в том, что корреспондент воспользовался машиной директора.

— Чтобы поехать на квартиру к женщине, а шофер пусть ждет, пока они там будут развлекаться! — съязвил Калюжный.

— Клевета! — стукнул кулаком по столу Крылов.

— Товарищ Крылов! — повысил голос редактор.— И вы, товарищ Калюжный! Невозможно так работать!..

— Вы кончили, Василий Андреевич?

Андреев хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и сел.

— Разрешите все-таки мне,— поднялся Калюжный.

— Вы уже два раза выступали и десять реплик подали. Что еще? — не пряча недовольства, отрезал редактор.

Калюжный не смутился.

— Еще вопросы. Только вопросы.— Он продолжал подчеркнуто мягко: — Были ли вы, Сергей Александрович, ранее знакомы с людьми, которые пригласили вас в Мюнхен, с людьми, проживающими в Баварии, то есть в центре западногерманского неофашизма?

Крылов ответил резко, зло:

— Нет, не был и сейчас не знаю их! Но...

— Нет, нет, не надо комментировать,— прервал Калюжный.— Только «да» или «нет». Ответ меня удовлетворяет, прошу занести в протокол. Еще вопрос.— Такой же мягкий, бесстрастный тон.— Это правда, Сергей Александрович, что вы установили контакты и встречались с фашистским преступником Бергером? И консультировались ли вы по этому поводу с советским посольством?

— Но это же придирка, случайно встретились...— подал кто-то реплику.

— Нет, не случайно! — повысил голос Крылов.— Я сам искал с ним встречи.

— Бо-олван! — обернулся к нему убеленный сединой сосед.

— Все у вас? — нетерпеливо спросил Герман Трофимович.

— Последний вопрос. Последний.— Голос уже не просто мягкий — елейный.— Это правда, Сергей Александрович, вы признаете, что пили с ним, пожимали его руку, обагренную кровью сотен советских людей?

По кабинету прокатился неодобрительный гул.

— Да, пил! — в ярости закричал Крылов.— И к бабам вместе ходили, и в игорный дом, и мои руки тоже в крови! — Он уже задыхался.— Что еще?! Валяйте! Мирбаха убил, рейхстаг поджег! Довольны?!

Поднялся невообразимый шум. Со всех сторон понеслись реплики:

— Сумасшедший!

— Чего он добивается?

Костя ходил по приемной — взад-вперед, взад-вперед.

— Они его заклюют!

— Не думаю,— преградила ему дорогу Верочка.— Не в первый раз.

— Такое в первый раз.

Они стояли у дверей, прислушиваясь. И вдруг наступила тишина, в которой зазвучал голос поднявшегося Скворцова.

— Все противоестественно, товарищи,— начал Юрий Андреевич.— И эта истерика у Крылова, и то, что сегодня мы должны говорить о его поведении. Это один из лучших, надежнейших наших людей. И редколлегия и мы в парткоме всегда могли на него положиться. Мы не можем сбросить со счетов его многолетнюю безупречную работу, не можем не считаться с его авторитетом в коллективе.

— Начинается,— обернулся Калюжный к соседу.

Но Скворцов услышал.

— Да, начинается, товарищ Калюжный. Начинается объективный разбор и прекращается демагогия. Мы не можем исходить из наскоков товарищей Калюжного и Дремова, как и из того, что в запальчивости наговорил здесь Крылов. Факты, приведенные в письмах, требуют самой тщательной проверки, и я не понимаю, почему мы сейчас начали обсуждение. Похоже, нас охватила, к сожалению, кое-где бытующая растерянность, даже страх

перед жалобой, пасквилем, анонимкой. Главный довод товарища Калюжного: пишут же! — под которым подразумевается: нет дыма без огня. Но бывает огонь без дыма и целые дымовые завесы без огня. Да, пишут. Пишут на многих, кто разоблачает зло. Но не рано ли только на этом основании без должной проверки обвинять человека чуть ли не в политических преступлениях? Вспомните, скольких людей за последние годы редакции пришлось защищать от облыжных обвинений, наветов, клеветы. Что же нам, пугаться писем, поднимать крик, уподобляясь паникеру в бою? А товарищ Калюжный с ходу дал бешеные обороты, за ним не глядя устремился товарищ Дремов, готовы включиться в эту гонку да и некоторые другие товарищи. Погодите, друзья. Остыньте, задумайтесь, покарать успеем. Ведь мы же люди. Давайте сначала разберемся, почему пишут. Действительно ли ими руководят высокие нравственные начала или нечто иное.

Негромкий голос Скворцова действовал отрезвляюще.

— К сожалению, некоторые ошибки, в том числе морально-этического характера, товарищ Крылов допустил бесспорно. Имею в виду прежде всего историю с зажигалкой, хотя в письме Гулыги история эта столь же бесспорно подается в искаженном виде...

— Позвольте,— прервал его Калюжный,— вы призываете нас все проверять, а сами авансом, без проверки обвиняете товарища Гулыгу в преднамеренных искажениях.

— Благодарю за поправку, Петр Федорович,— без тени иронии заметил Скворцов.— Я не сказал «преднамеренных», но принимаю такую формулировку, именно преднамеренных искажений. Утверждаю это, ибо сей грустный факт установил точно и в надлежащее время приведу доказательства.

Калюжный смолчал, и, выждав немного, Скворцов продолжал:

— Крылов да и другие наши товарищи не раз встречались на Западе с фашистским охвостьем. Однако каждый раз с ведома или по поручению редакции. На этот раз подобного задания не было. Но товарищ Крылов не мальчик, не начинающий репортер. Мог на подобную встречу идти и по личной инициативе, под свою собственную ответственность. И нам надо выяснить, вызвана ли эта встреча необходимостью, узнать, чем он руководствовался. Все это предстоит проверить, установить и только после этого

судить человека. Надеюсь, товарищи, моя точка зрения ясна. Это не просто моя точка зрения, это элементарная норма поведения, норма нашей жизни...

Костя присел у двери — прижал ухо к замочной скважине. Услышав эти слова, резко поднялся, в упор посмотрел на Верочку.

— Прошу тебя, передай ему.— Вытащил из кармана несколько писем.— Они могут спасти его.

Вера решительно отстранила их.

— Тогда вот,— извлек он пропуск на Московскую Олимпиаду.— В Лужники, в Крылатское, в Олимпийскую деревню — куда хочешь пойдешь.

— Что ты меня за дурочку принимаешь? — обиделась Верочка.— Он же именной, с твоей фотографией...

Костя не смутился.

— Знаешь, сколько лет было Зое Космодемьянской, когда она совершила свой подвиг.

— Ну? — Она не понимала, куда он клонит.

— Меньше, чем тебе сейчас. А ты рискуешь прожить всю жизнь, не совершив ни одного подвига. Зайди и передай Крылову, шепни, что это связано с Панченко. Не выгонят же тебя с работы!

Она колебалась.

Костя схватил с подоконника поднос, поставил на него бутылку, стаканы, сунул ей в руки вместе с письмами.

— Иди! — И распахнул перед ней дверь.

Верочка неуверенно шагнула в кабинет. Когда она вошла, говорил Крылов:

— Не разделяю суровых оценок некоторых моих ошибок и вовсе не считаю ошибкой встречу с Бергером. Но вина моя велика. Куда бо́льшая, чем здесь говорилось,— я ошибся в людях и своей публикацией поддержал преступную ложь.

Вера поставила на стол бутылку, стаканы. На нее косились, но никто ничего не сказал — все внимание было сосредоточено на Крылове. Ей было трудно к нему пробраться, и, беспомощно взглянув в его сторону, она вышла. А Крылов продолжал:

— Уверяю вас, товарищи, что-то очень серьезное кроется за письмами. Какие-то силы хотят вывести меня из строя. Пока они победили. Но, поверьте, я не себя защищаю. Вы можете освободить меня от работы, но я как коммунист буду добиваться истины, и не успокоюсь, пока не

раскопаю нору, на которую наткнулся, пока не выползут наружу те, кто в ней прячется.

В волнении он умолк. Немного успокоившись, твердо сказал:

— К редколлегии у меня одна просьба. Большая просьба. Не создавайте комиссий. Дайте мне возможность самому привести неоспоримые доказательства того, о чем я говорю. А не представлю их, сам положу на стол партийный билет.

Ни на кого больше не глядя, он сел. И в тишине раздался насмешливый голос Калюжного:

— Комиссия уже создана, уже проголосовали.

Большинство присутствовавших сочувствовали Крылову, хотя некоторые его просчеты были очевидны. Люди задумались. Мучительные мысли роились и в голосе Германа Трофимовича. Он не намеревался проводить обсуждение писем, хотел лишь огласить их и создать комиссию. С этого и началось заседание редколлегии. А дискуссия возникла стихийно, сама по себе. В состав комиссии из трех человек вошел и Калюжный. Его кандидатуру первой назвал Дремов. Удалову не хотелось вводить в комиссию Калюжного, но отводить председателя месткома было неловко. Да и не хотелось заводить нового спора. Теперь, наблюдая его поведение, представил, как могут развернуться дальнейшие события. Положим, сделать его председателем никто не даст, но все равно он ляжет костьми, чтобы замарать Крылова. Даже при таких условиях в конце концов истина восторжествует, но какой ценой! Скольких нервов будет стоить!

— Что вы сказали? — неожиданно обернулся он к Калюжному.— Проголосовали? А кто проголосовал?

— Как кто? Мы все, редколлегия. Что вы, Герман Трофимович?

— Ах мы сами? — протянул он, будто только сейчас узнал новость.— Так мы же можем и переголосовать, учитывая новые обстоятельства.

Люди насторожились. К чему клонил редактор, не понял никто. А Калюжный возмутился:

— Какие еще новые? Мы что-то не слышали их.

— Во-первых, рекомендую говорить в единственном числе. Присутствующие не уполномочивали вас выражать их мнения. Что касается лично вас, значит, плохо слушали. Новые обстоятельства — заявление Крылова. Это не тот человек, который легко бросается партийным биле-

том. Заявление серьезное, и я лично склонен поддержать его, ибо верю слову Крылова — честному слову коммуниста. Думаю, пора возродить это уходящее из нашего обихода понятие. Вокруг человека, не сдержавшего слова, должна быть создана и соответствующая атмосфера. Каждый из нас обязан чувствовать: не сдержал слово — значит, в корне подорвал свой авторитет, опозорил себя, вызвал неприязнь и недоверие коллектива. Надо вернуть цену честному слову. Это поможет нам работать, дисциплинирует людей, заставит не бросаться словами, ответственнее относиться к своим действиям. А сейчас что? Дал слово и не выполнил... Ну и не выполнил, и ничего особенного, никто всерьез и не осудит. Нет, надо добиться, чтобы честное слово воспринималось как святое. Нарушение его должно караться как отступление от присяги, как измена... Извините, отвлекся, но за годы работы с Крыловым я убедился: именно так он понимает данное им слово. Потому и верю ему, потому и поддерживаю его просьбу.

Раздался одобрительный гул.

Еще минут десять продолжались споры, пока не пришли к общему решению. Просьбу Крылова удовлетворили, предложив написать объяснение.

Против такого решения голосовали Калюжный и Дремов, но им удалось настоять на втором пункте, сформулированном Калюжным: оплатить Крылову неиспользованный отпуск, от работы временно освободить, предоставив месячный отпуск за свой счет.

Люди покидали кабинет главного редактора, еще о чем-то споря. Крылов понуро шел один. К нему подбежал Костя.

— Сергей Александрович! Я вас уже больше часа дожидаюсь. Мария Владимировна куда-то уехала и просила вас не уходить до ее возвращения... И вот — отдел писем передал вам важные письма.

Крылов не глядя сунул их в карман и направился в свой кабинет. Запер за собой дверь, сел в кресло. Голова шла кругом. С чего начинать? Набить морду Гулыге? Он усмехнулся — то-то будет торжествовать Калюжный... Раздался телефонный звонок. Он приподнял трубку и положил ее на место. Звонок повторился, но он больше не обращал на него внимания. Вскоре раздался стук в дверь. Крылов не ответил. И на второй и на третий, более настойчивый, тоже никак не отозвался. Из-за двери донесся голос Кости:

— Сергей Александрович! Вас срочно просит Мария Владимировна!

Он молча поднялся и пошел к ней. Едва появился в дверях, она сказала:

— Значит, освободили?

— Гм... Освободили. И кто это только придумал: слово, несущее радость... Освободили из-под гнета, от фашизма, из тюрьмы, наконец... Выгнали, Маша. Понимаешь, выгнали. Даже законный отпуск не дали отгулять. Но это еще не нокаут, только нокдаун. Из него нередко еще победителем выходят.

— Боюсь, что нокаут получишь сейчас. Я в архив Министерства обороны ездила. Прочти,— протянула ему бумагу.

Он быстро пробежал ее.

— Вот сюрприз! — Радостно засветились глаза.— Машенька, дорогая! — Схватил за плечи и поцеловал ее.

— Сумасшедший,— оторопела она.— Это ведь ужасно,— показала на бумагу.

— Ничего ты не понимаешь! Умоляю, Машенька, никому ни слова.

— Как же, Сергей? Официальный документ.

— Главному я доложу сам.— И, не дав ей опомниться, выскочил из комнаты.

21

Когда опустел кабинет главного редактора и остались только он и секретарь парткома, Герман Трофимович в волнении распахнул окно.

— Каковы, а? — заговорил он, не обращаясь к Скворцову.— Просто иезуитство левых эсеров.

— Разве вы ждали другого? — спокойно сказал Юрий Андреевич.— Как они поведут себя, было ясно и до заседания редколлегии. Не о них сейчас надо думать, а что нам делать.

— А черт его знает, что делать. Никакой фантаст не придумает того, что преподносит нам жизнь. Кто бы мог подумать... Крылов...

— Это все эмоции, Герман Трофимович...

— А что не эмоции?! — взорвался редактор.— Весь человек — сплошные эмоции, если только он человек, а не бублик... Ну давай без эмоций, давай излагай факты, обобщения, выводы...

— Снова эмоции,— улыбнулся Скворцов.— А если без эмоций, то по закону мы не имели права не создавать комиссии.

— Ин-те-рес-но. Почему же ты на редколлегии не додумался? Ничего не сказал?

— Именно там и додумался. Сознательно шел на это, выслушав «левых эсеров». Был рад вашему предложению — переголосовать. Калюжный не ветки — стволы ломал бы, чтобы опорочить Крылова. А Крылов говорил правду.

— Что это с тобой? — Герман Трофимович направился было к своему столу, но остановился.

— Вдумайтесь,— Скворцов сел поглубже в кресло,— вдумайтесь в его поведение. Всю кашу заварил он сам, начиная с донесения гестапо, о котором, кстати, мог бы и умолчать. Что он стал доказывать? О чем заявил на редколлегии? Выдвинул гибельную для себя версию, будто Панченко — патриот. Это не жест. Человек, достигший высокого положения, признания читателей и во имя истины идущий на то, чтобы все это рухнуло, совершает не просто благородный поступок, а подвиг. Нравственный подвиг. Такой человек не станет, не сможет обманывать.

Герман Трофимович тоже уселся в кресло.

— Да, такой человек обманывать не способен,— согласился он.— Ну а ошибаться? Мы можем застраховать все — от примуса и автомобиля до жизни человека. А вот страхового общества против ошибок еще не создано на планете. И от них не застрахован никто, даже...

В эту минуту в кабинет ворвался Крылов. Торжествующе шлепнул о стол бумагу:

— Вот! Читайте!

Это было письмо из архива Министерства обороны, которое только что он взял у Марии Владимировны. Оба потянулись к нему, и тут же Герман Трофимович приказал:

— Прочти вслух.

И он прочитал:

— «На ваш запрос за номером Р/103 от 16 июля 1980 г. сообщаем, что в период 1941—1945 гг. Гулыга Петр Елизарович, 1920 года рождения, в офицерском составе танковых войск Советской Армии не значится. Рядовой Гулыга Петр Елизарович, 1920 года рождения, проходил воинскую службу в ремонтной мастерской 312-го танкового полка 243-й танковой дивизии с 3 января по июль 1941 г. 28 июля

1941 г. в период передислокации полка рядовой Гулыга П. Е. пропал без вести».

Молча сидели ошеломленные Герман Трофимович и Скворцов. В сильном возбуждении ходил по кабинету Крылов. Юрий Андреевич молча потянулся к столу за письмом, молча прочитал его. А вслед за ним и Удалов, будто не верилось им в услышанное. У обоих еще были живы в памяти героические подвиги, смелые рейды в тыл врага командира танкового взвода капитана Гулыги, ярко описанные Крыловым.

Заговорили, перебивая друг друга. Один за другим возникали и тут же отвергались планы дальнейших действий. Было ясно: вопрос выходит далеко за рамки личного дела Крылова. Дело серьезное, запутанное, и одному с ним не совладать. Назначить комиссию? Но только что решили комиссию не создавать.

Крылов настаивал на своем — напишет подробное объяснение по трем письмам, изложив не только факты бесспорные, в том числе содержание архивного документа министерства, но и свои предположения, которые пока доказать еще не может, и отправится в Лучанск за доказательствами.

— Как частное лицо? — спросил Скворцов.

— А как же еще! — с упреком ответил Сергей Александрович.— От работы же меня отстранили.

— Сделаем так! — Герман Трофимович мягко стукнул ладонями о стол.— Выпишем тебе командировку в Лучанский обком партии. В обком прежде всего и явишься. По их поручениям, если найдут нужным, и будешь действовать... Как, Юрий Андреевич?

— Не возражаю.

Оба понимали: не очень-то законно давать командировку человеку, находящемуся в отпуске, а практически отстраненному от работы, да еще и по личным делам.

Не без внутренней борьбы Крылов решил все же начинать не с обкома. Как же идти в обком с пустыми руками? Правда, Гулыга уже схвачен за руку, никакой он не герой танкист. А все остальное? Дмитрий Панченко человек серьезный, коль твердо обещал, значит, договорился с Зарудной. И еще одно обстоятельство побуждало получше подготовиться, прежде чем идти в обком.

Письма, которые Костя передал Крылову, долго пролежали у него в кармане — забыл о них. Наткнулся случайно, уже перед отъездом в Лучанск. Письма короткие, злые и неаргументированные. Никаких фактов, одни слова.

Зато какие! Первое письмо, от пенсионера Григория Артюхова, содержало просто ругань в адрес Крылова. Автор возмущался, как это корреспондент возвел в герои такого проходимца, как Гулыга. Должно быть, в большой обиде на генерального директора человек, если так поносит его. Справка из архива Министерства обороны и клеветническое письмо в редакцию давали основания согласиться с оценкой Гулыги, которую давал Артюхов. Но ни этого письма, ни справки автор не знает. Следовательно, ему известны другие факты подобного характера, тем более что заканчивалось письмо так: «Пришлите корреспондента, а я расскажу ему, что из себя в действительности представляет Гулыга».

Второе письмо было от директора леспромхоза Забарова из соседнего с Липанским Чевыченского района. Здесь тоже было недовольство статьей Крылова и тоже без конкретных фактов. Только общие слова. Однако впечатляющие. «Если мне прикажут,— писал он,— скажи, что Панченко предатель, или клади голову на плаху, я положу голову на плаху». Какая же убежденность у человека! И разве можно с ним не встретиться?

О своей поездке в Лучанск Крылов никого не предупредил, не сообщил в обком, не попросил заказать номер в гостинице. С большим трудом устроился сам, и не в «Центральной», а в самой захудалой с громким названием «Байкал».

Ранним вечером Валерия Николаевна убирала свою маленькую однокомнатную квартиру, напевая грустную песенку.

Может быть, есть смысл чуть-чуть отвлечься и сказать хоть коротко о Валерии Николаевне, тем более что персонаж она далеко не второстепенный и встретиться нам с нею придется еще не раз.

Родилась она в сорок втором году в горящем Сталинграде. Пришлось переправлять ее на левый берег. Взрывались суда на реке, расплывался по воде горящий мазут, низко пролетали самолеты с крестами на крыльях: бом-

били переправу. Отец прижимал девочку к груди, видимо не отдавая себе отчета, как крохотно это существо. Когда причалили на другой берег, обнаружили — ребенок не дышит. Тут кто-то подсказал, что надо бы по старому народному способу окунуть ребенка головой в воду.

Нынче наука ушла далеко, и новорожденных пускают плавать под водой, а то и роды под водой принимают, да, знать, народная мудрость опережает науку.

Растерянный отец готов был на все. Окунули ребенка в воду, держа за ноги. И девочка ожила. Понесли ее в загс регистрировать, хотели назвать Мариной, но работница загса сказала: «Вы слыхали? Сегодня наша знаменитая летчица Валерия Харченко сбила в небе, под которым родилась ваша девочка, над Сталинградом двух немецких истребителей». И нарекли девочку Валерией.

Зачем вспоминать об этом? Какое значение для характеристики человека имеет факт биографии, относящийся к тому периоду, когда ему от роду было два дня?

Все-таки какая-никакая, а характеристика. Не мог такой знаменательный факт не оказать влияния на формирование человека. А потом, что ведь получается? Получается, что Валерия Николаевна, тогда еще крошка, а ныне тридцативосьмилетняя женщина, на себе испытала ужас тягчайшей войны с фашизмом, которую выдержал наш народ. А это уже существенно для нашего рассказа.

Она окончила исторический факультет университета, студенткой еще вступила в партию, увлекалась общественной работой и вот теперь работает на строгой должности в архиве. Работа, надо сказать, для непосвященных может показаться суховатой: папки решения, постановления... В общем, архив. Но для Валерии Николаевны архив — это целый мир, далеко не познанный, во многом не разгаданный, и умеет она вскрыть и показать его живую суть. Здесь, в архиве, и слезы, и горе, и счастье людей. Здесь наше великое прошлое, и, не познав его, не постичь настоящего.

Не в силах оторваться от архивных папок, Валерия Николаевна часто брала их домой, для нее было увлекательное чтение, захватывавшее сильнее, чем иной роман. Перед ней раскрывались великие баталии и подвиги оди-

ночек, судьбы людей, причины неудач и истоки беспримерных побед. Здесь, в архивных папках, наткнулась она на документ, побудивший задуматься, так ли уж верна версия, будто Иван Саввич Панченко был предателем. И она стала разматывать тугой узелок.

...Она убирала свою маленькую уютную квартирку, когда раздался телефонный звонок. Подошла к аппарату:

— Слушаю.

— Ради бога, не кладите трубку, хотя это опять Крылов. Журналист Крылов Сергей Александрович. Здравствуйте.

— Да нет,— усмехнулась она,— я обещала Дмитрию Ивановичу.

Они условились встретиться на следующий день у неё на службе, прямо с утра. Он пришел к девяти, она уже сидела за своим столом. Крошечная комнатушка, повернуться негде, один стул для посетителя. Аккуратно, стопками разложены папки, книги. Они и на столе, и на окне и на стеллаже, наполовину задернутом легкой портьерой.

Довольно сухо ответив на приветствие, предложила сесть.

— Валерия Николаевна,— сказал он проникновенно,— давайте забудем о нашей первой встрече. Будем считать, что это первая.— И он улыбнулся. Он явно призывал к доверительной, откровенной беседе.

— Давайте к делу.

— Ну что ж, к делу так к делу. Вы защитили диссертацию о партизанском движении в районе...

— К сожалению, не защитила, хотя и подготовила.

— Как?

— Сложный вопрос, не хочется об этом.

Разговор явно не клеился. Помолчав, Сергей Александрович сказал:

— Ну хорошо, все-таки подготовили... Это же научный труд! Масса проверенных деталей, их анализ. Значит, знаете...

Валерия Николаевна, не в силах подавить в себе неприязнь к нему, прервала на полуслове:

— То, что я знаю, вас не устроит.

Крылов сдержался.

— Я не устраиваюсь, Валерия Николаевна. Ищу истину.

— Хочу верить, но, признаться, еще не верю. И вы хорошо знаете почему...

Снова потянулись неловкие минуты. Она раскрыла папку, начала бесстрастно листать, стараясь успокоиться.

Похоже, взял себя в руки и Крылов. Не торопясь достал сигарету, но, окинув взглядом комнатушку, затолкал обратно в пачку.

— Курите, потом проветрю,— сказала миролюбиво Валерия Николаевна, доставая из стола пепельницу.

Он закурил, глубоко затянулся, еще раз...

— Валерия Николаевна, давайте все-таки разберемся. Я уже многое распутал, но остались противоречия. А истина может быть только одна. Одна-единственная! Утвердиться в моем убеждении мешает...— Он замялся.— Как быть с выводами комиссии Прохорова?

— Дальше вы спросите: «Как быть со свидетельствами такого авторитета, как Гулыга?

— Не спрошу. Это подлец и негодяй!

Слова Крылова ошеломили ее. Испуганно и недоверчиво взглянула на него, настороженно спросила:

— Вы это правду...

— Тяжелую, горькую для меня, но правду.

— Это испортит вашу жизнь... Как мою... Мою вот изуродовали,— грустно сказала она.

— Новая загадка!

Она тяжело вздохнула:

— Никаких загадок... Мою диссертацию послали на заключение Гулыге как организатору подполья и партизанского движения в районе. И он написал: язык образный, автор много поработал, но допустил одну ошибку — Панченко, написал, не герой, а предатель. И привел массу «фактов». И расстрелы, и поджоги, и угон людей в Германию...

— Но это же было,— сказал, точно извиняясь.

Она заговорила горячо, убежденно:

— Было, конечно, было, но только после того, как самого Панченко замучили в гестапо. При нем ничего этого не было. Он снабжал партизанские отряды, спасал людей, руководил подпольем, ходил по острию ножа...

— Вот это и надо доказать.

— Я вам дам такие доказательства... такие доказательства...— Она не нашла нужных слов.— Но вы недооцениваете Гулыгу, его связи...— И словно спохватившись, на-

стороженно посмотрела на него, настороженно спросила: — Но вы готовы опровергать свой очерк, опровергать себя?

— Вот вам моя рука,— раскрыл он ладонь, выжидающе глядя на нее.

И она подала ему руку. Это было деловое рукопожатие, только чуть больше, чем надо, длилось оно. Сами они едва ли заметили это. Беседа приняла другой оборот: говорили единомышленники, полностью доверявшие друг другу. И вместе разработали план действий. Решили прежде всего встретиться с членами комиссии Прохорова.

22

В интенсивном движении городского транспорта выделялся красненький «Запорожец». Тем и выделялся, что медленно шел по самому левому ряду, и, ругаясь, водители обходили машину справа.

За рулем, крепко сжимая его, вся в напряжении сидела Валерия Николаевна. Сзади настойчиво сигналила «Волга», требуя дороги.

— Надо все-таки взять правее,— заметил Крылов, сидевший рядом.

Она выбралась наконец из скоростного ряда, с облегчением вздохнула. На лице появилась горькая усмешка.

— Нет, не научусь. Давно бы избавилась, но неловко — мама подарила после смерти отчима...

Они были на окраине города, когда неожиданно для Крылова Валерия Николаевна круто и резко свернула на проселочную дорогу. Раздался свисток милиционера.

— Это нам? — насторожилась она.

— Нам. Повернули со второго ряда и не включили сигнал поворота.

— Ну что, останавливаться или черт с ним?

Крылов обернулся. Стража порядка нигде не было видно.

— Черт с ним,— махнул он рукой.— Где-то далеко от нас.

— Что далеко?

— Не что, а кто. Милиционер.

— Убедились? — вздохнула она.

— Честно говоря, убедился.

В это время выскочил откуда-то мальчишка, стал перебегать дорогу. Он был еще на порядочном расстоянии от них, машина шла медленно, можно бы даже не сбавлять скорость. Но Валерия Николаевна резко ударила по тормозной педали. Крылов успел упереться в панель. Мотор заглох.

— Сколько туда километров? — Сергей Александрович попытался сгладить неловкость, будто и не заметил, что произошло.

— Совсем близко, но вот видите,— обиженно развела она руками.

— Может, я сяду? — робко спросил Крылов.

— Ой, с радостью.

Сергей Александрович был опытным водителем. В конце войны, уже будучи редактором дивизионной газеты, он держал лишнего наборщика, числя его шофером. А за рулем трудяги «ЗИС-5» сидел сам. Да и после войны, даже до того, как обзавелся собственной машиной, не упускал случая порулить. Повернувшись к Валерии Николаевне, спросил:

— Как вам удалось получить копию?

— Дмитрий Иванович дал, а ему — Прохоров. Они же не скрывают своих выводов, даже распространяют их. И люди верят. Новое поколение выросло, никто же ничего не знает... Вон к тем воротам,— показала она рукой.

Крылов затормозил в указанном месте. Поверх низенького забора видны были несколько приземистых зданий барачного типа с маленькими окошками под крышей. Это был совхозный скотный двор.

— Пошли? Я запру машину, а вы за штурмана — ведите!

— Нет уж, эксперимент должен быть чистым. Сами идите, а я посижу. А то еще скажете — под моим влиянием человек говорил.

— Обижаете, начальник,— отшутился Крылов.

— Начальника и спросите. Начальника кормоцеха Храмова. Всякий покажет.

Миновав огромный, как ангар, свинарник, вдоль которого тянулась бесконечная лента транспортера с кормовой массой, Сергей Александрович остановился у конторки с распахнутой дверью. Маленький стол, за которым энергично работал пожилой здоровяк, был покрыт разбро-

санными в беспорядке бумагами, будто их вывалили из корзины.

Представившись, Крылов спросил, что именно в деле Панченко проверял лично он, Храмов — член комиссии Прохорова. Ответ был столь неожиданным, что Сергей Александрович растерялся.

— Ничего я не проверял,— отмахнулся Храмов,— никакого дела Панченко не знаю.

— Но это ваша подпись? — нашелся наконец Крылов, показывая ксерокопию выводов.

— Моя подпись, ну и что?

— Но вы говорите...

— Да, говорю. Никакого Панченко не знаю, ничего не проверял, хотите, могу в том расписаться, давайте бумагу.

Крылов уставился на него.

— Что же, не глядя? Так можно и приговор себе подписать.

— А я и подписываю,— оживился Храмов.— Несколько раз в день подписываю. Вот смотрите,— схватил он пачку накладных, перебирая в руках, выдернул одну из них.— Вот. Видите? За пять тонн расписался, так? А принял? Э-э, то-то и оно. Хрюшка жалобную книгу не потребует, за недолив-недомер не спросит... Или вот,— выдернул он другую бумажку,— горбыль сегодня привезли, расписался за пиловочник, кирпича наверняка на тысячу штук меньше, тоже расписался...

Крылов был совершенно обескуражен. За свою журналистскую жизнь повидал он всякое, но такой откровенности в нечистых делах...

— Вас заставляют?

Храмов вопросительно посмотрел на него:

— Что заставляют?

— Ну... расписываться.

— Кто ж может заставить?! — удивился Храмов.

— Зачем же подписываете такую липу? — чуть ли не закричал он.

— Да вы что? Вчера народились? Не подпишу — слова никто не скажет, только на следующий день уже другой будет подписывать... И заметьте — за матценности. А тут,— с пренебрежением махнул на ксерокопию, которую Крылов все еще держал в руках,— какие-то слухи столетней давности. Да еще начальник подписал. Да я после Прохорова где угодно свой крючок поставлю...

Вид у Крылова был настолько растерянный, что Храмову вдруг стало жаль его. Сочувственно спросил:

— А мужик этот что — ваш родственник?

Накипевшее в Крылове выплеснулось.

— Нет! — сухо и резко сказал он.— Я ревизор.

Слова Крылова привели Храмова в веселое настроение.

— Ну и шутник же вы! Когда ревизор еще кальсоны в чемодан укладывает, я уже знаю, что едет.— И рассмеялся.

К конторке подходили какие-то люди с заявками, счетами, накладными, чего-то требовали, что-то доказывали, и Крылов, оттиснутый ими, смотрел на этого затурканного человека, и мысли его разбегались. Что это? Уверенность в безнаказанности? Бесхозяйственность, возведенная в норму? Или то и другое, вместе взятое? Вот бы в чем разобраться. И написать. Показать такую фигуру и тех, кто за ним стоит. Даже не спросил, кто пришел. Ничего не боятся. Конечно, и Храмову перепадает из доли хрюшек, пиловочника, кирпича... Но не до этого было сейчас Крылову.

В машину он сел молча. Глядя на его удрученный вид, молчала и Валерия Николаевна. Не обращаясь к ней, он сказал:

— Ужасно, просто ужасно.

— Отказался говорить?

— Сказал. Больше чем надо сказал... Одним словом, в работе комиссии не участвовал.

— Затем и привезла вас сюда... Теперь к Сторожеву, совсем близко.

Ехали минут пятнадцать, не проронив ни слова. Остановились у здания сельсовета в центре широко раскинувшегося красивого села. Дома добротные, во многих дворах гаражи. И на этот раз Валерия Николаевна отказалась сопровождать Крылова. К председателю сельсовета Сторожеву он пошел один. Человек этот произвел самое благоприятное впечатление. Ему лет сорок, умное, спокойное лицо. Крылов представился и сразу приступил к делу. Извлек ксерокопию, спросил:

— Этот документ вам знаком?

Сторожев улыбнулся:

— Как видите, там моя подпись, значит, знаком.

— Меня интересует, какие факты в этих выводах установили лично вы. Знакомились ли с проектом документа, выслушали ли других членов комиссии, проверявших другие вопросы?

— Лично я ничего не устанавливал,— сказал Сторожев несколько смущенно.— Товарищ Прохоров прислал машину, просил срочно приехать, и я поехал...

— И что?

— Показал выводы комиссии, попросил подписать. Я внимательно прочитал их...

— И подписали? — не хватило у Крылова терпения дослушать.

— Да нет, говорю ему, вроде неловко, не участвовал я в работе комиссии. А он обиделся: «Кто, говорит, виноват, что не участвовали?» Так приглашения, отвечаю, ни разу не получал. А он и вовсе: «Вот так мы и выполняем партийные задания — сидим и ждем приглашения, а потом свысока людям недоверие выказываем, которые работали, проверяли». Стал я еще раз просматривать выводы, а он вдруг берет их у меня и говорит: «Ну вот что, раз не доверяете, берите мою машину, хотя езды у меня по горло, и езжайте по селам, сами проверяйте, ждать некогда, завтра к утру я должен сдать выводы в райком». И взялся звонить по телефону по своим делам. Подумал я... верно, пять подписей стоит, и сам он подписал, ну и я свою подпись поставил.

Крылов сидел, не глядя на председателя.

— Все точно,— выдохнул он наконец, подводя итог своим мыслям.

— Так и я думаю — точно. Люди все-таки работали.

До Крылова не дошел смысл его слов, да и не слушал он. Кажется, готов был излить свою злость на этом болване, да подумалось: может, не болван он вовсе, а толковый и честный человек, да слишком податливый и стеснительный. Постеснялся противиться натиску Прохорова, доверился подписям. Сколько же вреда приносит вот такая личная честность, а по сути гражданская беспринципность!

Он поднялся и протянул на прощание руку:

— Спасибо.

Быстро направился к выходу.

Сергей Александрович пересказал Валерии Николаевне весь разговор. Выслушав, она сказала:

— Ничего нового, я все это хорошо знала. Важно, что и вы убедились.

В этот день они побывали еще у трех членов комиссии. Двое из них, как и первые два, подписали выводы, никакого понятия о существе дела не имея. А третий... Валерия Николаевна сказала, что с ним будет особенно интересно побеседовать. Это старый, всеми уважаемый учитель сельской школы Станислав Макарович Макаров.

Крылов назвал себя, раскрыл папку с документами и только хотел задать свой стандартный вопрос — что именно он установил лично,— как старик, тяжело вздохнув, заговорил первым:

— Опять? — Он смотрел не на Крылова, а на бумагу.— Но так же нельзя. Я уже десять раз давал объяснения.— Руки у него подрагивали не то от старости, не то от волнения.— Могу повторить только то, что сказал товарищу Прохорову и всем, кто с этой бумагой приходил: подписать не могу.

— Позвольте, разве вы не подписали? — Крылов быстро взглянул на выводы и только сейчас увидел, что против фамилии Макарова подписи не было.— Извините,— растерянно сказал он,— я не обратил внимания.

Станислав Макарович, точно не слыша Крылова, горячо говорил:

— Меня же никто не спросил, могу ли участвовать в работе комиссии или нет. Просто поставили в известность, да и то когда принесли эти выводы. Поймите: мне много лет и нет у меня сил заниматься всем этим...

— Станислав Макарович, дорогой, я совсем по другому поводу...

Но Макаров, ничего не желая слушать, твердил свое:

— А я, извините, никогда не пользовался чужим трудом, не могу я удостоверить то, чего не знаю. Не сомневаюсь, люди это установили, но не я, понимаете?

Крылов уже не перебивал старого учителя, дал ему высказаться до конца. Когда тот умолк, объяснил, зачем приехал. Выводы вызывают сомнения, убедился: люди подписывали их, не зная существа дела,— и ему теперь важно, как Прохоров заставлял подписывать, кто еще приходил с этими выводами.

Станислав Макарович слушал, чуть приоткрыв рот. Потом взмолился:

— Увольте меня, ради бога, от этой истории. Ничего решительно не знаю, не знаю, кто приходил, и не втягивайте меня, старого человека, в это дело. Не могу в нем участвовать ни в каком качестве...

— Нехорошо я все-таки поступила,— сказала Валерия Николаевна, выслушав Крылова.— Я его еще по школе знаю, нашего доброго Макарыча, училась у него. Честный и чистый человек.

— Почему же нехорошо? — не понял Крылов.

— Потому что знала — расстроится. Сознательно пошла на то, чтобы подвергать его новым испытаниям.

— Вы здесь ни при чем. Все равно поехал бы к нему. Я обязательно побеседую с каждым членом комиссии... А на сегодня хватит. Домой, а?

— Как хотите. Могу завтра взять отгул и снова сопровождать вас, благо знаю, кто где живет. А можете на моей таратайке поездить сами.

— Люди неблагодарны,— улыбнулся Крылов.— Машина так преданно служит вам, а вы... Если всерьез, Валерия Николаевна, то я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением. Только знаете, мне обязательно надо в обком, но мне не терпелось встретиться с вами.

— Я польщена.

— Вы меня не так поняли.

— И вы меня не так поняли.

— Хорошо, перейдем на понятный для обоих язык. Мне придется еще разыскать неких Забарова и Артюхова. Вы не знаете таких?

— Нет.

— Не хочется просить машину в обкоме, да и не уверен, что дадут. Поэтому, если не возражаете, действительно воспользуюсь вашей.

— Но не бескорыстно.— Она лукаво взглянула на него.— К членам комиссии вы можете ездить сами, но в одну поездку обязательно возьмите меня. Правда, это не член комиссии, но без меня он вам ничего не скажет. А факты такие... они перевесят свидетельства всех членов комиссии, вместе взятых.

— Хорошенькая корысть! — рассмеялся Крылов.— Да за такое я вам платить должен... Что же за факты?

— Пока секрет. Хочу сюрприз вам сделать.

— Секретов всегда боюсь,— серьезно сказал Сергей Александрович.— Скажут тебе что-нибудь по секрету, а он окажется таким, что о нем кричать надо. Да молчишь, слово дал.

23

Не только двумя сахарными заводами и свекловодческими совхозами славился Липанский район. Свекольные поля занимали едва ли половину его территории, а дальше за небыстрой речкой почти до самого Лучанска тянулись густые, некогда скрывавшие партизан леса с болотами и коричневыми блестками торфяных озер.

На поляну выбежала косуля, раздувая ноздри, испуганно вздрагивая, прислушиваясь к доносившимся с разных сторон крикам загонщиков, топталась на месте, не зная, куда броситься. Крики раздавались сзади, справа и слева — она рванулась вперед через поляну, туда, где виднелся еще покрытый утренним туманом лес.

Две темные фигуры притаились за деревом.

— Ваша, стреляйте, Артем Савельевич! — послышался шепот.

Медленно поднялся ствол ружья.

— Какая красавица! — восхищенно сказал человек и нажал спусковой крючок.

Грохнул выстрел. Косуля упала, забилась в предсмертных судорогах и затихла. Четыре человека с ружьями вышли из лесной тени и собрались возле бездыханного тела животного. Молча осматривали трофей.

— Чистая победа, Артем Савельевич! — нарушил молчание один из охотников.

— Что значит чистая? — спросил тот, к кому были обращены слова.

— Чистая? В боксе это нокаут, в борьбе — на лопатки, на охоте — в голову. Вот так, как вы... Пошли.

Вслед за ним, а это был Петр Елизарович Гулыга, двинулись начальник главка Артем Савельевич Ремизов, директор сахарного завода Юрий Алексеевич Прохоров и секретарь райкома Степан Андреевич Исаев.

Происходило это дней через десять после приезда в Лучанск Крылова.

После удачной охоты отправились в баню, находившуюся поблизости. Петр Елизарович забрался на самый верхний полок, подстелив махровое полотенце, и раньше, чем у других, залоснилось пóтом его уже тучнеющее тело. Чуть ниже тоже на махровой, сложенной вчетверо простыне блаженствовал Артем Савельевич. Внизу рядышком расположились Прохоров и Исаев. В перерывах между смачным кряканьем и ударами веников вели они неторопливый разговор.

— Строители меня подводят,— вздыхал Исаев.— С них как с гуся вода — «объективные причины», а песочить в обкоме будут меня.

— Говори прямо, что нужно,— благодушно откликнулся Ремизов.

— Как всегда: стройматериалы.

— На район дать не могу,— решительно сказал Артем Савельевич,— и так перебрали, другие районы уже в глаза мне тычут...— И, помолчав, добавил:— Разве что объединению? Надеюсь, договоритесь с Петром Елизаровичем?

— Как будет себя вести...— отозвался Гулыга.

Это, разумеется, была шутка, но недаром говорится: в каждой шутке...

И будто сговорившись, все начали хлестать себя вениками, крякая, издавая нечленораздельные звуки восторга. И снова вытянулись на лавках в блаженной истоме.

— Все же, Артем Савельевич,— вздохнул Гулыга,— план Прохорову придется скорректировать.

— Раньше о чем думали? — недовольно ответил Ремизов.— Раньше, когда обязательства давали?

— Обязательства на бумаге, а свекла — она в поле растет. Неграмотная.

— Сколько там получается? — смягчился Ремизов.

— Девяносто три, больше не вытянем. Загрязненность большая, сахаристость низкая,— начал оправдываться Прохоров.

— Загрязненность...— В голосе начальства добродушная насмешливость.— Бандиты, очковтиратели. Нужен, ох как нужен вам добренький дяденька — Артем Савельевич, одним росчерком пера сбросит план процентов на десять, вот вам и премия, и знамя переходящее, и почет.

— Если не скорректировать — все объединение план завалит,— настойчиво продолжал Гулыга.

— И район в целом,— добавил Исаев.

Ремизов неодобрительно взглянул на него, сказал с укором:

— Если бы на план наваливались так дружно, как на меня... Попробую, пишите. Только мотивируйте поумней, не так, как в прошлом году.— И обернулся к Прохорову: — Между прочим, долго я буду жалобы на вас разбирать?

— Недовольные всегда будут, если твердую линию проводить.

— Линия линией, но надо уметь работать с людьми.

— Это вы о чем, Артем Савельевич?

— О Голубеве, например...

Исаев насторожился, разговор начал приобретать неприятный характер.

— Пора окунуться.— Он слез с полка, захватил простыню, вышел.

— А что с Голубевым? — удивился Прохоров.— С ним все в порядке.

— Теперь в порядке...

— Кстати, как там наш щелкопер поживает? Не в курсе, Артем Савельевич? — поинтересовался Гулыга.— Говорят, с работы его выгнали...

— По слухам, в какой-то многотиражке подвизается, жена от него ушла.

— Кто же с таким лопухом жить будет,— откликнулся Прохоров.— Закатилась его звездочка.

— Да-а,— вздохнул Гулыга.— А ведь какую карьеру мог сделать человек.

— Хорошо бы кваском поддать,— перевел разговор на другое Артем Савельевич.

— Бу сделано,— соскользнул с полка Прохоров.

Над каменкой взметнулся ароматный пар, пополз в стороны, повис клубящимся туманом.

— Хорошо у вас.— Артем Савельевич снова взялся за веник.— Отличный денек. И охота удачная, не как в прошлый раз.— И неожиданно с чувством продекламировал: — Роняет лес багряный свой убор...

Пока шла эта мирная беседа, по лесной дороге неслась забрызганная грязью «Нива». Узкая лента изрядно побитого асфальта прорезала старый, густо заросший подлеском бор. Машина свернула на просеку, перегоро-

женную шлагбаумом. Из-за кустов вышел егерь в форменной фуражке, вопросительно взглянул на шофера:

— Путевка есть?

Водитель обернулся в сторону сидевшего сзади пассажира:

— Павел Алексеевич...

Пассажир наклонился вперед, и егерь поспешно снял шапку:

— Виноват, товарищ Хижняков, не признал. Машина вроде ваша, а шофер...— И отпустил веревку шлагбаума.

— Выгнал,— буркнул Хижняков.— Разложился, сукин сын. Ты его, если сунется, не пускай больше... С охоты давно вернулись?

— Часа полтора будет.

Хижняков нетерпеливо ткнул водителя в спину:

— Давай, поехали.

Вскоре стена леса расступилась, и взгляду открылась озерная гладь. На взгорке у самой воды стояла большая рубленая изба. Над высоким крыльцом — побитая ветром и дождями вывеска «Охотхозяйство». За домом стояли четыре черные «Волги». Чуть дальше под навесом Чепыжин свежевал подвешенную за ноги тушу косули. На ступеньках крыльца сидел здоровенный парнюга, чистил шомполом ружье. Он посторонился, пропуская Хижнякова в дом.

— Здорово, Семен. Там? — кивнул на дверь Павел Алексеевич.

— Все четверо.

Хижняков быстро миновал помещение конторы с канцелярской мебелью и развешанными по стенам охотничьими плакатами, вышел в коридор, остановился возле неприметной двери, осторожно приоткрыл ее и заглянул в образовавшуюся щель.

За дверью была большая комната, отделанная с неожиданным для этой избы шиком. Из стереоколонок, укрепленных на покрытой лаком стене из узенькой вагонки, лилась тихая, умиротворяющая музыка. В мягком свете скрытых от глаз светильников на добротных диванах полулежали четыре завернутые в махровые простыни фигуры. В руках пивные кружки. В центре между диванами — стол, густо уставленный бутылками и закусками.

Хижняков знаками стал вызывать Гулыгу в коридор. Петр Елизарович сидел боком к двери и, увлекшись разговором, не замечал его.

— А Любочка ваша, — обратился он к Артему Савельевичу,— произвела на ректора хорошее впечатление. Умница.

— Да?— прищурился Ремизов.— Была бы умницей, не завалилась бы в Москве... Родители избаловали. Сто раз говорил сыну: не давай девчонке поблажек. Да где там — единственная доченька. Вот и результат...

— Не все ли равно, где поступать — в Москве, в Лучанске, очный, заочный... Через год организуем перевод — и что на салазках под гору,— подмигнул Гулыга.

— Спасибо, братцы, очень выручите.

— В единстве наша сила, закон жизни.

— За это стоит и выпить,— предложил Прохоров.

— Пора, пора,— кивнул Гулыга на дверь.

Прохоров быстро встал, распахнул дверь, крикнул:

— Семен!

Тут наконец Гулыга заметил энергично подающего ему знаки Хижнякова.

— Ты что, Павел, заходи.

— На пару слов, Петр Елизарович.

— Да заходи, чего ты? — повторил Гулыга и обернулся к Ремизову: — Опять его совхоз первое место занял.

Артем Савельевич рассмеялся:

— На то он и Хижняков, а ты его начальник.

Но тут вошел Семен — между пальцами у него торчали зажатые веером шампуры с шашлыками,— все взгляды обратились к нему. И только Хижняков продолжал твердить:

— Да на пару же слов, Петр Елизарович.

— Что у тебя стряслось? — недовольно бросил Гулыга.— Пожар? Где горит?

Хижняков вошел, помялся и почему-то шепотом сказал:

— Крылов в Лучанск приехал.

— Кто?— переспросил Исаев.

— Журналист. Тот самый. Крылов Сергей, не помню, как по батюшке.

— Александрович,— подсказал Гулыга.— Точно знаешь?

— Сам видел.

Все переглянулись.

— Ну и пускай себе гуляет,— махнул рукой Гулыга.— Ты-то чего нервничаешь?

— В управлении КГБ был.

— А в обкоме? Не знаешь?

— На обкомовской машине туда приезжал, значит, и в обкоме был.

— Неймется дураку,— зло сказал Гулыга и задумался. Неожиданно рассмеялся весело, беззаботно: — А пошел он... Тудыть его растудыть! В гробу его, в белых тапочках... А ну все к столу!

Расселись, кутаясь в простыни. И Хижняков присел.

— Будем!— лихо поднял стопку Гулыга.

Чокнулись, выпили. Стали разбирать с подноса шашлыки. Но аппетит, похоже, пропал. Настроение было испорчено.

Позже, когда собрались разъезжаться, когда в машину Ремизова погрузили завернутую в пленку тушу косули, ящик с копченой рыбой, банки с соленьями и водители стали заводить двигатели, Исаев остановил направлявшегося к своей «Волге» Гулыгу:

— Петр Елизарович!..

Тот оглянулся. Они были одни, никто не мог их слышать.

— Положа руку на сердце: в этой истории с Панченко все чисто? — Он пристально посмотрел Гулыге в глаза.

Петр Елизарович не отвел взгляда, смотрел на секретаря райкома не моргая.

— На выводах комиссии Прохорова твоя виза стоит.

В его голосе Исаеву почудился вызов.

— Понимаю,— серьезно и задумчиво протянул Исаев.— Это я понимаю. Но ты все же ответь: на тебе ничего нет? Совсем ничего?

Гулыга едва заметно усмехнулся. Чуть ли не весело сказал:

— А вдруг есть?

— Не шути! — Слова прозвучали угрожающе.

Но Гулыга, должно быть, не придал им значения.

— Очень интересно знать, что бы ты в этом случае сделал.— Выждал, глядя на Исаева испытующе, и продолжал: — Не первый год работаем вместе. На моих дрожжах

твое тесто взошло. Теперь по одной реке плывем, одну воду пьем. И авторитет у нас с тобой высокий. А жизнь, Степан Андреевич, на авторитетах держится. Это ты не хуже меня знаешь. Ну, допустим, был за мной грешок сто лет назад... Что же нам с тобой теперь делать? Авторитеты ломать?

Исаев смотрел на него растерянно.

— Шучу, шучу,— сказал Гулыга.— Не бойся — шучу. Ничего за мной нет. Этот Панченко был гадом и жизнь свою как гад ползучий закончил.— Злобно сплюнул.— Вы поезжайте, я тут немного задержусь.— Повернулся и пошел в сторону леса. Шел быстро, не оглядываясь.

Исаев смотрел ему вслед.

Машины разъехались. Только «Волга» Петра Елизаровича оставалась возле дома. Водитель за рулем терпеливо ждал хозяина.

24

Первый секретарь обкома партии Владимир Михайлович Званов встретил Крылова добродушным упреком:

— Мы вас уже пятый день ждем, товарищ Крылов.

Оказалось, Герман Трофимович звонил ему, в общих чертах обрисовал суть дела, просил оказать максимальное содействие.

Приглашающим жестом Званов указал на стул:

— Прошу садиться... Слушаю вас, товарищ Крылов.

Сергей Александрович внимательно посмотрел на секретаря обкома. Была у Крылова привычка: впервые увидев человека, пытаться определить его характер, даже биографию. Потом, хорошо познакомившись, проверял, в чем ошибся, какие черты угадал правильно.

— Может быть, будет короче, если вы ознакомитесь с этой запиской? — И он положил на стол копию своего объяснения.

— Давайте,— согласился Званов. Уселся поудобнее и стал читать.

Сергей Александрович изучающе смотрел на него. Раздражало то, что Званов часто отвлекался — то говорил по телефону, будто не мог сказать секретарше не соединять его, то подписывал какие-то бумаги, судя по всему, не такие уж срочные, а двоим даже дал поручения,

с которыми можно было повременить. Разговаривал с людьми как-то нерешительно, поручения давал словно извиняясь, будто не уверен, согласятся ли их выполнять.

Нет, не понравился Званов. Не то чтобы внешность неприятная, напротив, симпатичный, улыбчивый, добродушный, только не эти качества хотелось в нем видеть. Поставить бы на его место человека с мужественным, волевым лицом, крупного ростом, чтобы и по кабинету ходил, сознавая свое высокое служебное положение, свои огромные возможности и права, действовал бы решительно и быстро. Да, знать, не судьба.

По ходу чтения Званов задавал какие-то вопросы, по мнению Крылова, несущественные, и невеселые мысли лезли в голову. Сумеет ли этот человек разобраться с его делом, где жизнь тугим узлом связала героическое и подлое? Захочет ли? Разоблачение Гулыги и на него тень бросит. Ну пусть не тень, но все-таки в его области проходимец занимает высокий пост...

Закончив с запиской, Званов пригласил к себе председателя партийной комиссии Чугунова.

— Ознакомьтесь с этим документом, Николай Петрович,— протянул он бумагу.— И с автором этого сюрприза,— указал на Крылова.

Пока Чугунов читал, он успел поговорить с несколькими руководителями партийных организаций и предприятий. Когда Чугунов закрыл папку, Званов вызвал секретаршу, мягко сказал:

— Меня нет. Буду через полчаса, минут через сорок.— И обратился к Чугунову: — Заводите персональное дело.

— Да... но... требуется заявление... Потом, товарищ Крылов не у нас на учете.

— Разве? — Он иронически улыбнулся.— А Гулыга? Наш передовой генеральный директор.— И в этих словах Сергею Александровичу послышалась ирония.

— Ясно,— с готовностью сказал Николай Петрович и как бы осекся.— Видимо, начнем с того, что попросим товарища Крылова написать нам официально... Для персонального дела нужен формальный повод.

— Вам виднее. А формальный повод, дорогой Николай Петрович, тут и повод по существу. Разве справка

из архива Министерства обороны не основание для разбирательства? А это? — кивнул Званов на записку Крылова.— Адресовано, правда, не нам, но речь идет о наших людях.— Не дожидаясь ответа, уже другим, официальным тоном сказал: — Давайте лучше обговорим, чем займемся в первую очередь.

Чугунов быстро извлек из кармана блокнот. Владимир Михайлович сидел, думал. Потом очень тихо, как бы про себя:

— Одного не могу понять. Если все так, как здесь написано, почему Дмитрий Панченко не обратился к нам? В другой области живет? Все равно, напиши он в местный партийный орган, нам бы сообщили. А Голубев?.. А Зарудная?.. По всякой чепухе десятки писем люди пишут, а тут?

Сергей Александрович молча пожал плечами.

— Ну ничего, разберемся,— уверенно закончил Званов.

В последнее время Сергею Александровичу так не везло, что и в обком пошел излишне настороженным. Возвращался окрыленным.

Нет, не так прост этот улыбчивый секретарь обкома. Целую программу надиктовал Чугунову: дать задание областному управлению КГБ проверить деятельность Ивана Саввича Панченко в период оккупации, установить, за что он был исключен из партии, через Комитет ветеранов войны и другие организации проверить деятельность Гулыги как командира партизанского отряда, потребовать у Прохорова факты, на основании которых были сделаны выводы его комиссии. Голубева Званов велел пригласить в обком, решил сам с ним поговорить. Предложил побеседовать с Зарудной и Дмитрием Панченко. И все это — прежде чем потребовать объяснения у Гулыги. Казалось, ему, Крылову, уже здесь больше делать нечего. Ехать домой, набраться терпения и ждать. Но этого-то он, собственно, и боялся. Боялся, что Званов, мило попрощавшись с ним, именно так и скажет. Робко попросил разрешения самому встретиться с Забаровым и Артюховым, рассказав о письмах.

— Конечно,— согласился Владимир Михайлович.— И вообще хорошо бы вам здесь задержаться и помочь нам, коль вы эту кашу заварили.

Сергей Александрович и сам не мог бы объяснить почему, но он ничего не сказал в обкоме о своих беседах

и поездках с Зарудной. Что-то мешало. Но, выйдя из обкома, он тут же позвонил ей по автомату. Условились на следующий день отправиться за секретом, о котором «надо кричать».

Выехали из города в отличном настроении. Вспоминая беседы с членами комиссии Прохорова, Сергей Александрович сказал:

— Вы обратили внимание, Валерия Николаевна, как каждого по-своему опутывали! Хитро действовали.

— Не очень хитро,— возразила она,— напролом шли, потому что все сходит с рук. Никого не боятся.

— Почему же вы все молчите?— не сдержался Крылов.— Почему никуда не обращались?

— Да десять раз обращались!

— Куда все-таки мы едем, Валерия Николаевна? Завезете куда-нибудь и бросите.

— Оказывается, вы пугливый...

Несколько минут ехали молча. Сергей Александрович ловко обходил ухабы или мягко переваливал через них, набирая большую скорость там, где позволяла дорога.

— Мне кажется, никогда не научусь ездить так, как вы,— обиженно сказала Валерия Николаевна.

— Поначалу всем так кажется.— Задержал на ней взгляд, упустив из виду дорогу.

Машину сильно тряхнуло, их подбросило вверх и в сторону, Валерию Николаевну прижало к нему, и она никак не могла принять нормальное положение, пока он не помог ей.

— Так и я умею,— насмешливо сказала, усаживаясь наконец поудобнее.

— Чертова дорога, извините, пожалуйста.

— Я тоже всегда дорогу виню...

И оба рассмеялись.

«Запорожец» быстро петлял по проселочной дороге. Крылов любовался: по одну сторону траченный осенью золотисто-багряный лес, по другую — холмы и поля только вспаханные или в ярко-зеленых побегах.

— Уже близко,— нарушила молчание Валерия Николаевна,— видите, во-он деревушка показалась,— вытянула она руку.

— Где? — наклонился он в ее сторону.

— Да вон же,— наклонилась и она.— Неужели не видите?

Ее волосы коснулись его лица, и он на мгновение зажмурился.

— Вижу, теперь вижу.

Ему вдруг стало грустно. Она скользнула взглядом в его сторону, задумалась. До самой деревни ехали молча.

— Теперь куда? — спросил он, когда оказались на широкой улице.

Она объяснила, и вскоре он затормозил у ворот старого, почерневшего от времени дома. Едва вошли во двор, как выскочила навстречу не по годам бойкая старуха, всплеснула руками:

— Боже мий! Валерия Миколавна, дорогая, вот не гадала! — И обернулась к Крылову: — Заходьте, заходьте.

Валерия Николаевна уверенно шла впереди. Миновав кухню, остановилась в большой комнате.

— Вот Иван Саввич,— показала на большой портрет в простой деревянной раме.

— Саввич,— подтвердила старуха.

Крылов с интересом смотрел. Красивые, волнами волосы, могучий лоб. Черные вразлет брови. Добрые и чистые глаза, едва наметившаяся улыбка, тоже чистая, бесхитростная. Может ли быть такой человек предателем? И женщины смотрели на портрет, любуясь, будто впервые увидели.

— В самом деле сюрприз,— оторвался наконец Крылов от портрета.

Валерия Николаевна лукаво улыбнулась:

— Сюрприз еще предстоит...

— Та шо ж я стою,— спохватилась старуха,— сидайте к столу.— Она засуетилась, поправляя скатерть.

— И я хороша, знакомьтесь, пожалуйста. Крылов Сергей Александрович, журналист. А это жена Ивана Саввича, Марфа Григорьевна.

— Рад познакомиться,— подошел к старухе Крылов, протягивая руку.

И она, хотя и подала руку, насторожилась, насупившись, взглянула на него, бесцеремонно отвела в сторону Валерию Николаевну, зашептала:

— Який це Крылов? Тот самый?

— Успокойтесь, Марфа Григорьевна, все будет хорошо. Покажите, пожалуйста, письмо Братченко.

Старуха метнула взгляд на Крылова. Комкая фартук, громко сказала:

— Яке письмо? У меня ниякого листа нема.

— Вы не поняли, письмо секретаря подпольного обкома.

— Ни-ни, не чула, не знаю про такой лист.

Валерия Николаевна выразительно взглянула на Крылова, и он вышел.

Марфа Григорьевна набросилась на Зарудную:

— Шо це вы надумали: забере листа — и поминай як звали.

— Вы верите мне? — Голос Валерии Николаевны прозвучал властно.

Столь же властно ответила старуха:

— Вам вирю, а йому — ни. В руки листа не дам.

— Вот мне и дайте, я только прочту ему. В руки не дам.

Недовольно ворча, Марфа Григорьевна направилась к комоду. Валерия Николаевна открыла дверь, позвала Крылова.

— Садитесь вот здесь,— показала ему на табуретку,— и слушайте.— Аккуратно развернула сложенный вчетверо обветшалый и пожелтевший листок.

Марфа Григорьевна встала поближе к ней, готовая к любым действиям.

— Это записка погибшего впоследствии секретаря подпольного обкома партии Братченко,— пояснила Валерия Николаевна.— Адресована Ивану Саввичу Панченко в ноябре сорок второго года. Он пишет: «Саввич! Заканчивай быстрее со снабжением отряда Гнедого. Через три дня ты должен отправить его. Второе. Не затягивай с назначением нового командира в Бушуевском отряде. Думаю, справится комиссар, но тебе виднее. Жду информации. Братченко».

Крылов в волнении заходил по комнате. Неожиданно резко остановился возле Зарудной.

— Как же вы не сказали мне этого раньше? — Укоризненно покачал головой, протянув руку за письмом. С нестарческой поспешностью Марфа Григорьевна схватила письмо и быстро засеменила в другую комнату.

— Вы должны понять ее, Сергей Александрович,— она ведь под впечатлением вашей статьи.

— Понимаю... Но давайте хоть сфотографируем его.

Валерия Николаевна молча пошла за хозяйкой дома, а Крылов — в машину, где остался фотоаппарат. Он уже успел вернуться, а женщины все еще возбужденно шептались. Наконец появилась Валерия Николаевна с письмом в руках. Следом семенила старуха.

Сняв фотокопию письма, они уехали. На каком-то ухабе машину подбросило.

— Держись! — крикнул он, только сейчас заметив совсем близко еще одну выбоину. — А черт, на том же самом месте.

Для нее не осталось незамеченным, что своим «держись» он как бы перешел на «ты».

— Документ этот Прохорову предъявляли? — попытался снять неловкость Крылов.

— Дмитрий Иванович показывал, а тот высмеял: филькина грамота, говорит, да и та — копия.

— Есть же оригинал.

— Побоялся. Ищи ветра в поле.

— Ну так я сам! Такой ему документ покажу... Глаза на лоб полезут.

— Вы хотите встретиться с Гулыгой?!

— Обязательно. В глаза хочу посмотреть, когда он прочтет. Только бы инфаркт не хватил... Как у него с сердцем, не знаете?

— Хм... с сердцем,— ухмыльнулась она.— Чего-чего, а этого можете не опасаться. Нет у него ни сердца, ни души, ни принципов, ни морали. Только корысть. Только себе и своей камарилье. Они неуязвимы, никакой документ не прошибет.

— Так уж совсем неуязвимы?

— Представьте, так. Гибки, изобретательны, умны...

— Отличные качества.

— Смотря в чьих руках нож — у хирурга или бандита.

Они миновали рытвины и ухабы и теперь ехали по гладкой, хорошо укатанной дороге. После небольшой паузы Крылов сказал:

— Может быть, вы теперь? — И кивнул на руль.— Без практики никогда не научитесь.

— Нет, потом буду тренироваться. Пока мне еще дорога ваша жизнь.

— Пока?

— Ну и придира же вы,— рассмеялась она.— Я ведь не смогу разговаривать, сидя за рулем.

— Ладно, говорите,— шутливо разрешил он.

— Да, мне хочется объяснить, почему неуязвимы. Для своей корысти они приспособили нашу Конституцию, наш гуманизм, даже самое святое — заботу о человеке, о фронтовике. Спекулируя нашими лозунгами, извращая их, нападают, нашими лозунгами защищаются, под теми же лозунгами грабят. Они широко провозглашают: «Один за всех и все за одного». Куда благородней! Но понятие «все» у них ограничивается очень узким кругом. Этот лозунг низвели до круговой поруки.

— Да, но...

— Минутку, минутку,— не дала она себя перебить.— Это нравственные дезертиры. Их не трогает, что делается на предприятиях и в учреждениях, где работают, что происходит в стране или в мире. Они действуют под лозунгом «жизнь дается один раз». Красиво, да? Но вкладывают они в это понятие отнюдь не то, что провозгласил Николай Островский.

— Не через край ли? — прищурился Сергей Александрович.

— Даже не до края.— Она говорила горячо и страстно.— На весь район и дальше, чуть ли не до Москвы, разнесли как подвиг Гульги — якобы в ущерб себе помог ветерану войны капитально отремонтировать дом.

— Чумакову? — живо спросил он.

— Вот видите, даже вы знаете... И в самом деле помог, хотя никак не в ущерб себе — уже через день на его дачном участке было вволю стройматериалов и рабочей силы. Он покупал Чумакова, а не заботился о нем. Слишком много знает Чумаков, и надо было заставить его молчать. И заставили.

— Хорош, значит, и ваш Чумаков.

— Чумаков что? Ему под восемьдесят, а над ним крыша течет. Судите его, а я не могу. Но разве только Чумаков! Они морально растлевают массу людей — лаборантов, весовщиков, сторожей, всех, кого вовлекают в свою орбиту, организуя завышенную загрязненность свеклы и заниженную сахаристость...

После всего, что Крылов узнал о Гульге, он допускал любые преступления с его стороны. Верилось и словам Зарудной. Слушал ее вроде бы с иронией, как бы не веря, побуждая ее полностью излить душу. Когда умолкла, подзадоривал новыми вопросами.

— И никто не видит? — спросил с напускным гневом.

Валерия Николаевна грустно посмотрела на него. Заговорила устало, с какой-то безнадежностью:

— Все видят, и все молчат. Одни потому, что получили как благодеяние то, что давно им положено по закону, вроде Чумакова, вторые — боясь расправы, как Голубев, которого выгнали с работы, прикрываясь лозунгом борьбы с прогулами, хотя человек имел бюллетень, третьи...— И осеклась на полуслове.

— Что третьи?

Валерия Николаевна не ответила.

— Что все-таки третьи?

— Третьи вроде моего бывшего мужа. Мне, говорит, в доме нужна жена, а не донкихот в юбке... Это, заметьте, благополучный мужик так рассуждает, что ж говорить о женах — цепями схватывают мужей, только бы ни во что не ввязывались.

Ударило в сердце. Это же про Ольгу.

25

Сергей Александрович ходил из угла в угол своего маленького номера. Не ходил — метался. Раздирали противоречия, хотя все было ясно. В его руках два документа: справка из архива Министерства обороны и письмо секретаря подпольного обкома партии. Еще многое туманно, еще не до конца все выяснено, но сейчас это уже особого значения не имеет. Два документа полностью разоблачают Гулыгу.

Овладело непреодолимое желание положить их на стол перед Гулыгой. Не ругать, не обвинять — только показать документы. Спокойно положить перед ним два листка — ознакомьтесь, пожалуйста, Петр Елизарович...

Конечно, это была жажда мести. И скажи это кто-нибудь Сергею Александровичу, он бы просто рассердился: при чем здесь месть? Это профессиональная необходимость подвести черту, поставить точку, довести дело до конца. Не исключено также, что припертый к стенке Гулыга выдаст что-нибудь новенькое, еще неизвестное...

Короче говоря, он позвонил Гулыге. Сухо, официально, даже строго. А тот встретил радостно, как старого

приятеля. Будто ничего не случилось, будто не писал он в редакцию своего письма. Охотно согласился на встречу, предложил пообедать вместе или поужинать... Новый «Поплавок» на берегу, рядом красивый большой парк... Ну что ж, согласен и просто в парке, тоже хорошо, подышать свежим воздухом, на воздухе почти не бывает, текучка, дела заели... Даже очень хорошо, совместим приятное с полезным...

— Негодяй!— вырвалось у Крылова, когда он положил трубку.

С берега во всем великолепии открывалась яркая равнина, засиненная дымкой на далеком горизонте. Внизу, прямо под ногами, бесшумно скользили яхты и лодки. В такт музыке, едва доносившейся из зависшего над водой ресторана, покачивались поплавки, и их хозяева неодобрительно провожали глазами тоненькую фигурку на водных лыжах.

В прибрежном парке взлетали качели, прогуливались мамаши с колясками, в тени старых лип стучали костяшками домино.

К уединенной скамье подошли Крылов и Гулыга, только что встретившиеся у входа в парк. Уселись, и началась мирная беседа. Так, по крайней мере, могло показаться со стороны. На коленях у Крылова лежала тонкая папка.

— Давненько мы с вами не виделись, Сергей Александрович.

— Давненько, Петр Елизарович.

— Как дела? Здоровье?

— Отлично.

— Да? А по виду не скажешь.

— Внешность обманчива, это вы хорошо знаете... А как ваша жизнь?

— Как на Марсе — нет жизни, только работа.— Он засмеялся, глядя на Крылова, точно приглашая и его посмеяться.— Зато план опять перевыполнили... В Москву то и дело мотаюсь, то в Совмин, то в Госплан... Общественные дела замучили — совещания, выступления, встречи с трудящимися, отказать нельзя. Устаю.

— Ничего, скоро отдохнете...

— Отдыхать только на пенсии придется, да пока не собираюсь.

— Я не о пенсии.

Гулыга промолчал. Только с недоумением посмотрел

на него. Выжидал, наблюдая, как вертит в руках папку. Папка эта все время приковывала его взгляд, понимал: неспроста принес ее.

Под ноги им подкатился мяч. Подбежал мальчишка:

— Дяденька, ноги...

Гулыга посторонился, паренек нырнул под скамейку, вылез с мячом и убежал.

— Неподходящее место мы выбрали, Сергей Александрович. Действительно, как два пенсионера сидим здесь. Что нам — поговорить негде? — Гулыга кивнул на ресторан.— А? Посидим по-человечески, выпьем по рюмке. Что бы там ни было, какая бы кошка ни пробежала между нами — разберемся. Оба мы с вами фронтовики, вы ведь, помнится, говорили, тоже воевали.

— Воевал.

— По интендантской части, в тылах? — спросил без укора, даже одобрительно.

— Нет, был редактором дивизионной газеты. Но и в тыл приходилось ходить, в немецкий. Только не дошел, тяжелое ранение получил.

— Вот видите,— обрадовался Гулыга.— Значит, оба кровь за родину проливали.

— Нет, за родину — один...

— Вы же только что сказали, что были ранены.

— Я-то был, а вы... В анкетах до сорок шестого года писали: «Ранений и контузий не имею». А спустя год после войны впервые появилось у вас: «тяжело ранен»... Разве что на охоте? Так это не за родину.

— А вы что, теперь моими анкетами заинтересовались?

— Нет, теперь только вспомнил. Смотрел, когда очерк писал, но тогда не зафиксировалось.

— Эх, Сергей Александрович, неблагодарным вы делом занялись,— ничуть не смутился Гулыга.— Не очень-то мы во время войны медицинскими справками запасались. Вы в Музей боевой славы сходите! — повысил он голос и, спохватившись, спокойно закончил:— Там все описано.

— Был, еще весной читал. И в статье своей отметил, из районной газеты взял,— как громили вы на танке врага в его тылу.

— Так в чем же дело?

— Есть одна закавыка. Вы ведь в триста двенадцатом полку были? Танковым взводом командовали?

— Верно.

— А помните, как в сорок первом, в июле полк перебазировался?

Гулыга задумался.

— Напомнить?

— Ну-ну.

Сергей Александрович раскрыл наконец свою папку.

— Вот, почитайте.— И подал ему копию архивной справки Министерства обороны.

— Что, опять донесение гестапо? — сказал насмешливо, шаря по карманам. Достал очки, не торопясь протер платком и начал читать.

Крылов смотрел на него. Ни один мускул на лице не дрогнул. Ни растерянности, ни даже смущения. Только слишком долго читает, а впрочем, наверное, давно прочел, обдумывает. Наконец горько усмехнулся:

— Вы с какого года воевали?

— С сорок первого.

— Значит, знаете, что тогда творилось. В какие архивы, скажите мне, в какие гроссбухи занесено, кто на поле боя заменил убитого командира, а кто из технарей пересел на танк? Какой это, интересно, архивариус мог угнаться за моим танком, проследить, кто где был в той кровавой каше? Как это люди берут на себя такую ответственность, да еще и бумажки выдают? Где эти архивно-бумажные души были, когда мы стояли насмерть?.. А танкистом — верно, недолго я был, но кому это важно, в каком качестве человек истреблял врагов? Важно, что уложил их немало.

Гулыга говорил, все больше возбуждаясь, говорил, казалось, искренне и честно.

—...взрывали мосты, пускали под откос эшелоны... А командир танкового взвода?.. Ну, что ж, подбили, в тылу оказался и с новой силой принялся громить фашистов.

Крылов вдруг понял, что факт, который он считал убийственным, на самом деле не так страшен. Ведь действительно, воевал же человек, в тылу врага воевал, командиром партизанского отряда был.. Однако интуиция, поведение сегодняшнего Гулыги, методы, которыми он действовал, подсказывали, что перед ним крупный, изво-

ротливый негодяй. Тертый калач, его так легко не осилить, не положить на лопатки. Неожиданно даже для самого себя спросил:

— Мне просто любопытно, хотя бы из спортивного интереса: как вы можете в глаза мне смотреть? Как поднялась рука такую клевету обо мне сочинить?

— Хм,— иронически хмыкнул Гулыга.— Интересно... любопытно... клевета...— И вдруг резко, зло:— Не бросайтесь словами, а главное — в душу не лезьте! Не лезьте своим сапогом в чужую душу. Что я вам плохого сделал?! Не стали бы соваться не в свои дела — и сами бы в луже не оказались. А теперь что? Я вам не помощник, сами и выпутывайтесь. И знаете — чего бы еще вы там ни придумали, поверят мне, а не вам... Так что не советую...

Наглость сразила Крылова. Он сидел молча. А Гулыга по-своему понял молчание Крылова. Сменил гнев на милость, добродушно сказал:

— Не тужите, старина. Помните, философ сказал: все проходит.

Совершенно автоматически Крылов поправил:

— Философ не так сказал...

— А плевал я на ваших философов,— прервал его Гулыга.— Опять к чепухе вяжетесь. Мысль-то правильная... Как и все, что я вам говорю.

Крылову хотелось взять реванш.

— И насчет Панченко правильно?

— Этого ублюдка?! — Гулыга уже полностью пришел в себя.— Жаль, сам не добрался до шакала! Вы с Ржановым говорили?

— Говорил.

— Ну и что? Что он сказал?

— То же, что и вы.

— Так чего же вы еще копаетесь! — Гулыга позволил себе повысить тон.

— Чтоб докопаться.— И извлек из папки вторую бумагу.— Ознакомьтесь, Петр Елизарович.

— Давайте-давайте,— презрительно махнул он рукой. Не глядя на нее, поманил пальцем мальчишку, игравшего с мячом, подмигнул ему: — Ну-ка дай пас.

Паренек улыбнулся, ткнул ногой мяч. Гулыга отфутболил его не по годам лихо и совсем по-мальчишески закричал:

— Го-ол! Один ноль в мою пользу.— И многозначи-

тельно посмотрел на Крылова. Неторопливо достал очки и углубился в чтение.

Читал с интересом. И вдруг взорвался смехом. Едва успокоившись, вытер платком глаза.

— Ох, Сергей Алексаныч, Сергей Алексаныч, дорогой же вы мой, хороший. Ну где вы найдете подпольщика, который не уничтожил бы такое письмо, как только прочел? Где такие подпольщики производятся, откройте секрет? И какой же прозорливый историк, какой летописец прятал его столько лет, бережно сохранял для вас?

Неожиданно в голосе его послышались угроза и негодование.

— Чистейшей воды липа! Я вам скажу, кто их производит. Я вам точно скажу: сыночек Панченко. Только он мог такую фальшивку состряпать. Признайтесь — он вам дал?

— Нет, не он.

Гулыга почувствовал неуверенность в голосе Крылова.

— Извините, не верю. Не он — так сестра, не сестра — так мамаша, все равно его рук дело.

Крылов промолчал. Поощренный этим, Гулыга наступал:

— Думаете, раз-два — и задавили Гулыгу? Да я, если что... весь мой отряд... все боевые партизаны, немало их еще осталось... в Москву, единым строем... Да я к самому Антону Алексеевичу не постесняюсь, к Ржанову Федору Максимычу пойду... Нет,— забормотал он как бы самому себе,— Федя в обиду нас не даст... Так что, дорогой товарищ писатель,— неожиданно подобрел он и, приобняв Крылова за плечи, добавил: — Гулыгу, Сергей Александрович, голыми руками не возьмешь.

Пока он говорил, настроение у Сергея Александровича портилось. Убедительно говорил. В самом деле, как мог сохраниться такой документ десятилетиями? И не скажи Гулыга: «Федя в обиду нас не даст...» — кто знает, не поколебался ли бы в своих убеждениях Крылов. Он хорошо помнил разговор с Ржановым. Нет, не те у них отношения, чтобы Гулыга мог его Федей называть. Один раз только и виделись. Значит, шантаж. И он с большим интересом спросил:

— А если не голыми, Петр Елизарович? А? Как вы думаете, если попробовать не голыми?

Едва заметными тропами Гулыга шел по лесу, пробиваясь через заросли. Машину он оставил близ охотхозяйства и, ничего не сказав шоферу, пошел. Это был какой-то другой, незнакомый Петр Гулыга — походка другая, движения, лицо другое, заострившееся, хищное.

Шел, расталкивая кусты, раздвигая ветки. Шел, казалось, без всякой цели, куда ноги несут. Но было место, к которому он стремился, может быть, подсознательно, помимо воли. И чем ближе подходил к нему, тем отчетливее всплывали в памяти те давно отзвучавшие слова и звуки...

Остановился у большого скалистого выступа. За ним виднелась огромная квадратная яма с плоским, поросшим травой дном. И вот уже нет ямы, вместо нее — землянка, а в ней, просторной, с обитыми досками стенами и потолком, идет гульба. Потолок увешан окороками, у стен — ящики, мешки с сахаром, крупой. В углу большой горкой насыпана картошка.

Гуляют парни и девки. Перепоясанный ремнями, с «вальтером» на боку, играет на баяне Гулыга. Молодой, чубатый — залюбуешься. Он поет, и ему подпевают. И песня эта о том, что живет человек на земле один раз и должно у него хватить ума выжить, выжить любой ценой, а там все порастет быльем, и звучат в ушах слова припева: «Все воронки зарастают...»

Вбегает Хижняков, тоже молодой, здоровый, с автоматом и гранатами за поясом, громко кричит:

— Староста с Луговым!

— Не пускать! — командует Гулыга, отбросив нервно всхлипнувший баян, и выскакивает из землянки.

Он пошел навстречу приближающимся Панченко и парню с деревяшкой вместо правой ноги. Еще издали вызывающе бросил:

— Опять агитировать пришел!

Иван Саввич молча посмотрел на него. Потом твердо, с достоинством сказал:

— Я не агитирую, партия призывает.

— Ты партией не козыряй, тебя из партии выгнали.

Панченко переступил с ноги на ногу.

— Уже восстановили, но не обо мне речь. Когда к партизанам уйдешь? Месяц назад говорил — завтра, так завт-

раками и кормишь. Может, и пообедать пора? Или опять скажешь — завтра?

Гулыга насмешливо улыбнулся:

— Не-е, не скажу. Сытого гостя нечего потчевать. Что это я, боевой танкист, капитан, в какой-то отряд пойду! Я сам теперь командир, у меня свой отряд.

Иван Саввич покачал головой:

— Танкистом, может, ты был боевым, а сейчас дезертир. Ты вот кто,— показал на дерево. В стволе, где вырвало осколком дыру, шевелился клубок. Не то червей, не то насекомых.— Мародерствуешь, на народе паразитируешь, вот как они.

Гулыга с ухмылкой посмотрел на него.

— Ну и дальше?

— Дальше? Предупреждаю в последний раз. Срок тебе два дня. Не пойдешь — собственными руками расстреляю.

Подались вперед, приблизились Хижняков, Чепыжин и еще кто-то. Панченко круто повернулся и пошел. За ним, стуча деревяшкой, спешил Луговой...

— Петро!

Петр Елизарович обернулся. Сзади за его спиной стоял Хижняков. Молодой Хижняков, увешанный оружием.

Гулыга зажмурил глаза. Когда он открыл их, Хижняков уже стал сегодняшним, постаревшим.

— Будь ты проклято! — неизвестно в чей адрес выругался Гулыга.— Ты что, шел за мной?

— Ага. Машину твою увидел... Куда это, думаю, его понесло на ночь глядя?.. Смотри,— он указал на большое черное пятно посередине ямы, где когда-то была землянка.— Так и не заросло... Сколько лет прошло.

— Не все воронки зарастают,— задумчиво сказал Гулыга,— не все. Вот в чем беда...

Помолчав, хлопнул по плечу Хижнякова:

— Ничего, зарастут. Мы посеем травку там, где она сама не всходит.

Крылову не терпелось повидаться с Чугуновым. Есть ли новости? Николай Петрович был занят, просил подождать немного.

— Можете пока ознакомиться с объяснением Голубе-

ва... Вот запись его рассказа товарищу Званову.— Он дал Крылову диктофон, сказал, чтобы шел в зал заседаний и прослушал.

В пустом зале он включил аппарат и услышал голос Голубева:

«В начале войны мы попали в окружение. Выходили из него трудно, просачиваясь через лес группами и по одному. Из нашего маленького отряда мало кто уцелел. Блуждал я по лесам, бог знает чем питался, пока не выбрался к большому селу. Весь заросший, в рваной гимнастерке, изодранных штанах, долго высматривал — следил из леса за селом. Ходили там люди, а немцев, похоже, не было. Надо, подумал, до темноты идти, ночью, может, патрули какие ходят. Автомат свой в лесу надежно спрятал и пошел. Только спустился с косогора, у первых хат заметил двух полицаев и юркнул в полуразрушенную трубу под насыпью.

Заметил я их поздновато — увидели меня. «Вылазь! — кричат и грохочут по трубе прикладами.— Вылазь, а то в трубу стрелять будем!» Что оставалось делать — вылезаю.

Повели меня, подталкивая прикладами. Затолкали в какой-то дом, кричат наперебой: «Партизана поймали!» За столом, смотрю, мужик, здоровый, широкоплечий, с огромными ручищами. Справа от него на столе туго скрученная нагайка. За поясом маузер без кобуры. Глянул он зло на меня, а этим паразитам улыбается. «Молодцы, ребята,— говорит и как рявкнет на меня, схватившись за нагайку: — Партизан, сукин сын?» Я молчу, а он опять к ним: «Продолжайте, ребята, обход, а я разберусь, что за птица... Отвечай, сволочь!» И замахнулся на меня нагайкой.

Полицаи ушли, а у меня душа стала закипать. Зубы зажал, но сдерживаюсь, знаю — хуже будет. «Нет, не партизан,— говорю,— а против фашистов воевал, сержантом был».— «Врешь, стерва! — заорал он, и засвистела его нагайка чуть ли не по лицу.— Не сержант ты! Вижу тебя насквозь!» И не выдержал я. Ах ты, думаю, фашистская гадина, мне ли, командиру Красной Армии, перед тобой, продажной шкурой, юлить! И — будь что будет! Да, говорю, не сержант, а старший лейтенант, начальником штаба дивизиона был. И понесло меня, будто разум потерял. Три курса, говорю, Военно-инженерной академии имени Куй-

бышева прошел, не успел кончить, а с фашистами кончим, таких, как ты, вешать будем... Еще что-то рвалось из меня, а он — глазам своим не верю — улыбается, руки ко мне тянет. «Так дорогой же ты мой,— говорит,— ты же мне позарез нужен, у меня же нет таких грамотных, как ты. Вместе будем фашистов вешать».

Опешил я и слова сказать не могу. А потом засомневался. «Как же,— говорю,— если ты против фашистов, первому встречному раскрываешься?» А он опять улыбается: «Чудак ты, парень, ты тут такое наговорил, что впору на виселицу. Значит, ненавидишь их, как и я, а надо будет — и на смерть пойдешь, как же тебе не поверить».

Тут зашли Хижняков и Чепыжин. Тогда я их только первый раз увидел. «Вот,— сказал Хижняков и полез в карман.— По приказу коменданта пришел партбилет сдавать». И протягивает его Ивану Саввичу. «Ах ты гадина! — закричал Панченко и со всего размаху отвесил ему пощечину.— Собственными руками расстреляю!» И схватился за маузер. А Хижнякова и Чепыжина и след простыл. Скрылись они, по хуторам прятались. А месяца за три до освобождения объявились в отряде Гулыги».

Дальше Голубев подробно рассказывал о подпольной работе вместе с Саввичем, и это совпадало с тем, что говорил в гостинице Дмитрий Панченко.

Судя по записи, Званов ни разу не прервал Голубева. Только когда он закончил, спросил: «Как же он мог так безрассудно поступать? Эти-то двое могли на него донести».— «Горячая голова был человек,— ответил Голубев.— Предателей ненавидел люто, больше, чем гитлеровцев. Не раз бывало — не сдерживался. И на рискованные, очень рискованные дела шел. Однажды схватили партизана с наганом. Схватили полицаи, но и немец из комендатуры это видел. Так Саввич что придумал? Допрашивает партизана и говорит ему: «Значит, ты по приказу коменданта отправился сдавать оружие, которое случайно нашел, нес открыто, не прятал его, а полицаи тебя схватили?» Парень поначалу растерялся, а потом быстро заговорил: «Да, да, так и было, никакой я не партизан, нес наган сдавать». Саввич все объяснил немцу, сказал — хорошо знает человека, надежный человек, Советской властью притеснялся, вполне можно верить. Так и спас человека».

Выключив аппарат, Крылов задумался. В ином свете предстали Хижняков и Чепыжин. Но трибунал... Как объяснить приговор военного трибунала?

Уже потом, когда вместе с Чугуновым пошли к Званову, когда рассказали Крылову о первых итогах расследования органов госбезопасности, этот мучительный вопрос возник с новой силой. Было установлено, что Панченко схвачен гестапо вместе с группой подпольщиков в конце сорок второго года. Ни массовых расстрелов, ни угонов людей в Германию при нем не было. В ходе проверки работники обкома партии нашли несколько человек, избежавших гибели только благодаря «ротозейству» бургомистра. Однако трое жителей Липани подробно рассказали, как вели на казнь бургомистра, слышали приговор, где говорилось о его карательных акциях, о личном участии в расстрелах людей. Чем же все это объяснить?

Сергей Александрович рассказал Званову о своей беседе с Ржановым. Сообщил и о последних встречах с Зарудной и Гулыгой. Положил на стол фотокопию письма Братченко, передав, как реагировал на него Гулыга.

Судя по лицу Званова, он не одобрил этих встреч, но смолчал. Долго смотрел на письмо, с грустью сказал:

— Огромного таланта и мужества был человек. Ему бы жить и жить... Проверьте подлинность письма,— протянул его Чугунову.

Тот взял бумагу, повертел в руках.

— Трудно очень, Владимир Михайлович. Никого, кто работал с ним, кто знал бы почерк, в живых не осталось.

Владимир Михайлович поднял на него глаза:

— Это вы серьезно?

Чугунов молчал. А Званов уже другим тоном, как бы извиняясь за свой вопрос, пряча неловкость за недогадливость человека, объяснил:

— Возьмите в партархиве из личного дела Братченко его автобиографию, написанную от руки, и вместе с письмом передайте в институт криминалистики. Эксперты и установят. Кстати, пусть определят, когда оно написано — десятилетия назад или, как утверждает Гулыга, в наши дни.

Сергей Александрович еще раз подумал: «Нет, не так

прост и наивен этот секретарь, как показалось при первой встрече. Вот ведь как повернул вопрос, озадачивший Чугунова. Всю дорогу в обком мучился: может, прав Гулыга? А до чего же просто — проверить подлинность записки экспертизой. Что-то она покажет?»

Эх, не сидеть бы сейчас Крылову в Лучанске, а мчаться в Среднюю Азию, к искусственному озеру, где обосновался любитель-пчеловод и руководитель военно-патриотической работы, Герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке Федор Ильич Зыбин. Тот самый Зыбин, кто, будучи полковником, выводил из окружения свой отряд, кто предал трибуналу бургомистра Панченко и утвердил смертный приговор.

Откуда мог знать об этом Крылов! Откуда он мог знать, что обком партии уже разыскал его и отправил ему письмо.

27

Большой отряд нестройно шел через лес — может, двести человек, а может, и триста. Вперемешку — пехотинцы, танкисты, моряки. Не сразу различить их форму — измятые, с белыми, засохшими разводами пота гимнастерки, жеваные, со следами глины и земли штаны. Кто в сапогах, кто в ботинках, и видно: не по асфальтовым дорогам лежал их путь. Гнулись бойцы под тяжестью противотанковых ружей, натужно тащили тяжелые пулеметы. Не шли — плелись. Плелись и кони, запряженные в повозки с поклажей.

Навстречу отряду, тоже по лесной просеке, выскочили три всадника. На них такая же видавшая виды одежда. Остановились возле командира отряда полковника Федора Ильича Зыбина. Соскочил с коня лихой чубатый парень. По годам уже не парень, лет тридцать пять — по повадкам боек. И по-боевому доложил:

— Товарищ полковник! Село огромное, дворов двести. Немецких гарнизонов нет. Охранение выставил, посты расставил, можно спокойно располагаться.

— Давно ушли из Липани? — спросил полковник.

— Они тут не останавливались. Только комендатура и то километров за пятнадцать отсюда. Здесь только староста да полицаи.

Отряд Зыбина выходил из окружения. Сначала он был немногочисленным. По пути подбирали других окруженцев, но была это не просто толпа отчаявшихся людей. Их вел талантливый кадровый командир, сумевший вселить веру в потерпевших поражение людей, сплотить их, выделить из массы стойких командиров. Нет, это была не толпа. Были и батальоны, и роты, и отделения, была суровая дисциплина, был и военный трибунал, созданный приказом командира.

Особое значение Зыбин придавал разведке. И знал он, командир Зыбин, где сосредоточены значительные силы гитлеровцев, делая большие крюки, обходил их, вел свой отряд без боев, а там, где столкновение оказывалось неизбежным, принимал бой. После каждого боя отряд уменьшался, но вскоре вновь рос, вбирая в себя группы окруженцев.

На ночлег довольно часто останавливались в селах, где не было немецких гарнизонов. Старост и полицаев, если их руки не были в крови, не трогали, а уж если лютовали, не щадил их трибунал.

В Липань отряд пришел перед вечером. Расположились по избам. В одной — командир отряда Зыбин, начальник штаба Кротов и комиссар Бойченко. Поужинав, разложили на столе карту. Отпустили пояса, расстегнули гимнастерки.

— Пробиваться будем вот здесь,— ткнул пальцем Зыбин в карту.

В комнату вошла пожилая женщина.

— Может, еще чайку, не стесняйтесь.

— Куда ж еще?

— Спасибо, мамаша.

— Ну-ну, а то горячий, в печке стоит.— С тем и ушла.

— Какой остался запас патронов на бойца? — спросил Зыбин начальника штаба.

Кротов задумался, подсчитывая в уме, перебирая губами. А комиссар с укоризной:

— Ты все, Федор, о боеприпасах печешься, верно, конечно, без них— труба... А только сегодня последние запасы доедаем, уже из резерва.

— Интересной информацией вы меня снабжаете,— бросил на стол карандаш Зыбин и заходил по комнате.— Я-то этого, конечно, не знаю.— И уже без иронии: — Какие предложения?

— Пройти по домам, другого выхода не вижу,— не задумываясь, ответил Кротов.

— Опять по домам? — вздохнул комиссар.

— Товарищ полковник! — появился на пороге постовой.— Старосту поймали.— Он отступил, пропуская в комнату Панченко.

— Не «поймали», а сам пришел, не убегал,— спокойно и с достоинством поправил вошедший.— Да, староста, бургомистр, можно сказать, Панченко Иван Саввич.

Все трое с интересом посмотрели на него.

— Смелый ты, прихвостень.— Полковник прошелся по комнате.— Или хитрый очень. Что это ты сам в руки даешься?

Смолчал староста. И опять же с достоинством смолчал, не склонив головы.

— Отведите его к Стрельцову, пусть разберется,— приказал Зыбин.

Уже вышли было, когда комиссар крикнул:

— Эй, минутку! Если ты такая важная птица — хозяин района, можешь накормить людей?

— Могу.

Нет, этот предатель положительно чем-то нравился комиссару. То ли привлекательной внешностью, умными глазами, то ли спокойствием и достоинством, с каким держался.

— Нас много. Чем располагаешь?

— Видел, что много. Муки мешков пять могу, пшена, гречки, одного быка... Только при условии, что дадите расписку.

«Что за чертовщина? шутит он или затеял что-то?» — это не сказал, только подумал полковник. А сказал резко:

— Условия буду ставить я! Понял?.. Где все это добро?

— В лесу. Только без меня не найдете.

— А-а,— недоверчиво протянул полковник и обернулся к постовому: — Проводите во двор, а ко мне срочно Стрельцова и Павлова.

И вот он уже их инструктирует:

— Скорее всего ловушка, Стрельцов. Смотри не попадись. Не поддавайся на пчелкин медок, у нее и жальце есть. А ты,— обернулся к Павлову,— пошуруй хоро-

шенько, разузнай, что за зверь. Что жители о нем говорят.

Вскоре из глубокой лощины, густо заросшей деревьями и кустарником, где, кажется, не ступала нога человека, люди Стрельцова вели быка и тащили тяжелые мешки.

Его доклад командиру был для Зыбина неожиданностью. Не верилось, что все так просто. Не поколебал его сомнений и Павлов, доложивший, что ни один житель ничего плохого о старосте не сказал. Тем не менее полковник приказал отправить его под арест.

Когда люди разошлись и остались только командир с комиссаром, Бойченко решительно запротестовал. Как же так, человек добровольно явился, сам предложил продуктов дать, люди хорошо о нем говорят — и под арест.

— А как же ты думал! — рассердился Зыбин.— Бросил нам кость, правда жирную, чтоб надежнее шкуру свою спасти.

— Зачем же Павлова посылал? — прицелился на него взглядом комиссар.

— А что Павлов? Люди напуганы и запуганы, понимают — мы уйдем, а его уберем или нет, не знают. Вот и боятся против него слово сказать. Нет, зря бургомистрами немцы не назначают. А этот — ты ведь тоже доклад Павлова слышал — еще когда из партии был исключен.

— Благородно поступаешь, командир,— с издевкой сказал Бойченко,— с умом действуешь. Продукты взяли, толку от него больше нет, можно и под арест... А перед уходом и шлепнуть на всякий случай — для спокойствия.

— Шлепнуть не шлепнуть, а торопиться выпускать не будем. К утру, может, цену какую за свою шкуру предложит... Утро вечера, как говорится... Давай спать. Зря шлепать не станем, чего ты взъелся.

Около часу ночи постовой разбудил полковника:

— Товарищ командир! Арестованный просится, говорит, наиважнейшее, неотложное дело.

Зыбин сел, потянулся за папиросой, встряхнул головой, сбрасывая остатки сонных бактерий.

— Веди, черт с ним.

Еще с порога Панченко сказал:

— Дело у меня важное, неотложное, но говорить могу только с глазу на глаз.

Полковник взглянул на постового, и тот вышел.

— Вот что, товарищ полковник.— Панченко сел не спрашиваясь.— Не староста я и не бургомистр. А чувствую — затеяли вы против меня недоброе. Как понимаете, предвидеть вашего прихода не мог.— Он взглянул на часы.— Через десять минут начнется подпольное собрание. Пойдемте со мной, сами все увидите.

Полковник молча смотрел на Панченко. Так ничего и не ответив, крикнул постового:

— Отведите арестованного, а ко мне — Стрельцова!

Через несколько минут Зыбин и Панченко шли, пересекая огороды. На некотором расстоянии от них, рассеявшись подковой, двигались автоматчики, человек десять, во главе со Стрельцовым. Шли, не выпуская из виду своего командира и его спутника. А те вошли в одиноко стоявшую, должно быть, брошенную хозяевами избу. Автоматчики безмолвно окружили ее.

Полковник и Панченко прошли через тускло освещенные сени, где сидел какой-то человек, староста распахнул дверь в комнату. Она тоже была слабо освещена, но опытный взгляд Зыбина ничего не упустил. Окна расположены высоко, с улицы не заглянешь, да и занавешены надежно. Вокруг длинного стола — человек двенадцать. Все без оружия. Староста прошел к пустому месту у торца стола, отодвинул стул и указал на него полковнику:

— Прошу садиться.— Потом обратился к собравшимся: — Это командир части, остановившийся у нас. Говорить при нем будем все.— Тон у него был спокойный, уверенный. Видать, знал человек цену своему авторитету. Оглядев собравшихся, продолжал: — На повестке дня сегодня у нас один вопрос — мое устное заявление об освобождении меня от нагрузки старосты.

Люди неодобрительно загудели. Жестом успокоив их, снова заговорил:

— Первая причина. Не выдерживают больше нервы. Вы знаете — снова сорвался, при Чепыжине ударил Хижнякова. Они где-то прячутся и молчать не будут. При первой возможности донесут. Вторая причина. Бергер стал ко мне относиться настороженно, боюсь, учуял что-то.

Снова неодобрительно зашушукались люди.

— Спокойно, товарищи,— поднял он руку.— Это толь-

ко на пользу делу. Берусь правдоподобно обосновать Бергеру свою просьбу об освобождении, подставив кандидатуру, которую сейчас наметим...

— Не получается, Иван Саввич,— поднялся человек с деревянной ногой.— Понимаешь, не получается без тебя. Ты нас всех соединил,— обвел он рукой присутствующих,— ты организовал и отправил отряд Гнедого, а главное — тебя подпольный обком знает и признает. Как же без его ведома!.. А Хижнякова и Чепыжина запросто в расход пустим.

— Как же в расход! Ты что говоришь, Луговой,— с упреком сказал Панченко.— Я только подозреваю, что они меня продадут. Что же, за одно подозрение?

— Тут уважительная причина у Саввича одна...

Зыбин обернулся на старика, коренастого, крепкого и, судя по всему, авторитетного, ибо все умолкли, гул стих.

— Только одна,— повторил он,— как поднять авторитет Саввича у немцев. Только о том и должны мы сейчас толковать. Хижнякова и Чепыжина припугнем, они как рыбы молчать будут. А чтобы полное доверие Саввичу у коменданта... можно и пожертвовать чем. Подумать надо.

Зыбин смотрел на людей, слушал. Нет, не спектакль — подпольщики. Его взгляд остановился на Панченко. Видать, героический человек. Полковника осенило. Он поднялся, заговорил. Его план, достаточно сложный, был призван надежно укрепить в глазах врага веру в бургомистра. Зыбин предложил инсценировать казнь Панченко как верного служаки гитлеровцев. Коменданту, конечно, донесут, а сам Панченко доложит, как удалось избежать казни.

28

Не шантажировал Крылова Петр Елизарович, когда говорил: «Гулыгу голыми руками не возьмешь». Знал, что говорил. Где там голыми — щипцами не ухватишь. И в ступу загонишь, а пестом не попадешь — извернется! Защищенный высотой своего поста, обросший надежными связями, заранее подготовивший сильные аргументы, оправдывающие любые его корыстные дела, имея за спиной немало людей, готовых свидетельствовать в его пользу, он и в самом деле уверенно обходил все рифы.

Два работника обкома партии точно установили: ремонтная мастерская 312-го танкового полка при передислокации сделала короткий привал на опушке леса близ Липани. Во время привала и «пропал» без вести Гулыга. Сверили числа — в тот же день он появился в своем селе, в родном доме.

Никаких сомнений — дезертирство.

Это обвинение обидело, оскорбило Гулыгу — он пришел в благородное негодование. Шутите, что ли! Во время той остановки отошел в лес, для того и останавливались, когда уже возвращался, увидел группу гитлеровцев, довольно многочисленную группу, двигавшуюся параллельно шоссе. Не будь приказа: ни в коем случае не ввязываться в бой,— нашел бы, что делать. Но приказ есть приказ. Пришлось затаиться. А они, как назло, неподалеку от него остановились. Когда пошли дальше, выскочил на шоссе. А от подразделения и след простыл. Попробуй догони! Какое же это дезертирство! Кто видел? Кто может подтвердить такое нелепое обвинение? Будь это дезертирство, и в справке так бы указали, а то видите — пишут: пропал без вести. И тяжелый, неподдельный вздох — сколько их, верных сынов отчизны, пропало без вести! Ну что ж, зачисляйте их в дезертиры, валяйте, пишите, чего уж там церемониться.

Оправданиям Гулыги не верили. Тем более знали — когда полк еще стоял на месте, не раз говорил товарищам: родное село совсем рядом, сбегаю туда, гостинцев притащу. Но мало что не верили. Вы попробуйте докажите! Всякое на войне случалось. И люди уже не могли с уверенностью говорить о его дезертирстве.

Каждую улику он опровергал, выставлял свидетелей, подвластных ему, или таких, что повязал по рукам и ногам незаконно розданными квартирами, должностями, машинами, или связанных с ним общими, далеко не стерильными делами. В его пользу говорили и люди, чье служебное положение и личное благополучие зависели от того, останется ли он на своем высоком посту или будет разоблачен.

Почти два месяца шла проверка. Пятьдесят пять дней настойчивой исследовательской работы представителей обкома, органов безопасности и других организаций. И не было у них помощника более энергичного и цепкого, чем Крылов. Целыми днями и вечерами он просиживал в партийном, государственном, военном и партизанском архи-

вах, перечитал многотиражные газеты военного времени — и гитлеровские и подпольные, выпускавшиеся патриотами Лучанской области,— разыскал рукописную историю 312-го танкового полка. По адресам, выявленным обкомом, летал в разные уголки страны, куда разбросало оставшихся в живых участников событий тех далеких дней в Липани. Самую большую радость доставила встреча с Зыбиным.

Шаг за шагом проступала правда. Давалась она ценою огромных усилий. Гулыга отрицал все. Ему показали выводы экспертизы: письмо, адресованное Панченко, написано и подписано собственноручно секретарем подпольного обкома. Не признал: «Экспертиза буквы разглядывала, а я злодеяния бургомистра своими глазами видел. На свои глаза свидетелей не ставлю. Эксперты тоже не святые, и они ошибаются».

Доводов его не приняли, но ряд обвинений, в обоснованности которых никто не сомневался, Гулыге удалось отвести — нет документальных доказательств.

И настал день, когда Званов назначил заседание бюро обкома с одним вопросом: персональное дело Гулыги П. Е.

Многие лица в зале заседаний были знакомы Крылову, иных видел впервые. Члены бюро сидели за длинным столом, приглашенные — вдоль стен. Задержал взгляд на Зыбине. Впервые он увидел его на пасеке. Застал за любимым занятием — возился в пчельнике, гостей не ждал, на нем мешковато сидел тренировочный костюм. И похож он был на старого пасечника, будто всю жизнь только и занимался пчелами. Но сейчас он в полной военной форме. На груди — Звезда Героя и внушительные ряды орденских планок. Крупное, чуть красноватое лицо, на котором тяготы военной жизни навсегда оставили свой след. Дальше два незнакомых человека, а за ними — Валерия Николаевна. Склонила голову, нервно теребит на коленях платочек. Рядом сам Крылов. Как получилось, что они рядом? Он не стремился к такому соседству, она тем более. Само собой получилось. По другую сторону от Крылова — Голубев, Никита Нилович. Не по себе ему. Трет руки, сидит неспокойно. И понять его можно.

Степан Луговой — одна нога согнута в колене, другая, искусственная, вытянута вперед. Два раза резали эту те-

перь не существующую ногу — один раз по колено, потом чуть не до самого бедра. Рядом другой инвалид войны, Горохов, бывший командир 312-го танкового полка, героического полка, высшей славы достигшего в сражении на Курской дуге. Чуть дальше совсем дряхлый старик с живыми, молодыми глазами — Гаврила Чумаков. Еще дальше Забаров и Артюхов. Так и не удалось встретиться. С ними беседовали представители обкома.

Не в силах сдержать нервного напряжения, ерзал на стуле Прохоров. Ремизов демонстрировал чувство собственного достоинства. Не получалось. Предательский страх то и дело проскальзывал в глазах.

У противоположной стены сидел один Гулыга. Сидел в одиночестве. Лицо спокойное, руки — на толстой папке бумаг.

Первое слово Званов предоставил председателю партийной комиссии Чугунову. Он начал с сути дела — как оно возникло, как велась проверка и что она показала. Из сухих, официальных слов вдруг начал вырисовываться и предстал перед слушателями делец крупного масштаба, вся жизнь которого — сплошной обман.

Затем слово получил Гулыга.

Наступил момент, к которому он тщательно готовился. Готовился не один и даже не столько он, сколько его правая рука, его надежнейший помощник Станислав Арбин, безраздельно преданный Гулыге, без которого тот шагу не делал. Широко эрудированный юрист, опытный адвокат, он занимал в объединении скромную должность юрисконсульта. Обладая гибким умом и феноменальной памятью, он держал в голове множество фактов, цифр, исторических событий, фамилий, биографий людей, номеров телефонов и еще бог знает каких данных, хранил все это на невидимых мозговых полочках, чтобы использовать в нужный момент. Он, казалось, мог выпутаться из самой густосплетенной сети, выгородив злостного нарушителя государственной дисциплины, обвинив при этом невинного, подтасовав факты, извратив истину, умело и тонко вуалируя законом беззаконие. Практически все аморальное, корыстное, что совершал Гулыга, апробировалось Арбиным. Верил ему безгранично, ибо щедро, куда как щедро оплачивал услуги своего юриста.

Когда Гулыгу впервые вызвали в обком партии для объяснений, он не придал этому особого значения, ибо еще в полной мере верил в собственную безнаказанность,— лишь мельком сообщил Арбину о состоявшейся беседе. Но тот своим волчьим нюхом учуял всю серьезность нависшей угрозы.

К черту браваду! Оценить, понять опасность! Но и никакой паники. Только холодный рассудок.

К слову, Арбин поведал ему одну историю, хотя не был убежден, что это не анекдот. Знаменитый русский адвокат Плевако однажды зашел в камеру подзащитного и сказал: «Не беспокойтесь, я неопровержимо докажу, что убийца не вы. Но чтобы мне легче и надежнее было строить защиту, до мельчайших подробностей расскажите, как именно вы совершили убийство».

«С этого и начнем, Петр Елизарович,— предложил Арбин.— Расскажите мне во всех деталях не только то, что удалось узнать обкому, но и до чего они не докопались. Опустите все, что я знаю, и расскажите то, о чем не знаю и я».

Каждая новая встреча в обкоме — а их было четыре — обсуждалась и тщательно анализировалась. Было точно установлено, что именно известно обкому партии, что можно будет опровергнуть, какие факты придется признать, как объяснить их, чем мотивировать.

Заранее были взвешены все обстоятельства дела, все возможные повороты в ходе разбирательства. До деталей продумано, как надо будет вести себя, определена тональность выступления в зависимости от того, о чем в данный момент будет говорить, какие эмоции брать на вооружение. Подверглись обсуждению характеры членов бюро, определены методы воздействия на них. Одних можно разжалобить, других взять раскаянием, третьим вселить веру в него как в человека пусть ошибавшегося, но способного сделать правильные выводы, извлечь уроки из своих ошибок и в дальнейшем еще принести большую пользу обществу.

Выступление Гулыги на бюро обкома партии, его заключительное слово и возможные вопросы и ответы на них написал Арбин. Главная задача Гулыги — не оторваться от текста. Что бы там ни говорили, следовать только тексту. Пусть десять раз будут выворачивать из него

душу — значит, десять раз отвечать одно и то же. Не дать сбить себя. И никаких эмоций, кроме запрограммированных. На всякий случай запомнить генеральное направление: обойти острые углы и выложить свой главный козырь. Без эффектного жеста, но рассказать о своей двухлетней партизанской борьбе, не выпячивая себя лично, и так поймут: ведь командиром отряда был он. Рассказать о своем личном вкладе в дело победы над фашизмом, но опять-таки умело, скромно, как говорят о своих подвигах истинные герои. И как бы между прочим, вроде бы не специально, а к слову, но привести внушительные цифры уничтоженных его отрядом гитлеровцев, их техники, назвать фамилии бывших своих партизан, героически погибших, впечатляюще обрисовать, как пускали под откос вражеские поезда, нет, не он лично, но мельчайшим штришком, никак не выпячивая себя, но все-таки дать понять, что и он там был, а ведь он — командир, значит, поймут: под его руководством свершались эти подвиги. Поди теперь проверь, попробуй!

Точно талантливый режиссер, Арбин отрабатывал с Гулыгой жесты, мимику, голос, выражение глаз.

29

И вот настал момент. Получив слово, Гулыга поднялся, тяжело вздохнул, невидящим взглядом обвел сидящих за столом. Заговорил растерянно, виновато:

— Не знаю, товарищи члены бюро обкома,— оглядел сидящих за столом,— не знаю, с чего начать. Надеюсь, вы понимаете мое состояние, мое волнение и не взыщите, с пониманием отнеситесь к тому, что мое выступление не будет носить стройного характера — слишком тяжелы мои ошибки.

Он умолк, словно собираясь с мыслями, и после короткой паузы продолжал:

— Прежде всего должен выразить свою благодарность областному комитету партии, лично товарищу Званову, товарищу Крылову, всем товарищам, которые раскрыли мне глаза и помогли оценить свои поступки в их истинном неприглядном свете.

Званов поморщился, но не прервал его. От Гулыги не ускользнуло недовольство секретаря обкома. Не смутился — благодарность каждому приятна, если даже не покажет виду.

— И поверьте,— прижал он к груди руку,— я в полной, исчерпывающей мере осознал свои ошибки, каждой клеткой ощутил всю их глубину, и горькое раскаяние, охватившее меня, понимаю, не может смягчить моей вины. Не стану искать оправданий, хотя кое-что и мог бы привести, и лишь надежда, что вы поверите в мою искренность, поддерживает меня сейчас.

Гульга говорил, умело обходя серьезные обвинения, которые ничем не мог объяснить или опровергнуть, иные представлял мелкими, совсем незначащими, словно недоумевая, как можно такие мелочи предъявлять через столько лет. И, перечисляя обвинения, и в самом деле не главные, мимоходом называл и весьма серьезные, будто и они из того же ряда мелких промашек.

Начал с того, что признал обман, подлог в биографии, другие проступки, которые, впрочем, называл лишь ошибками молодости, да и то совершенными из лучших побуждений. Упирал на свою бескорыстность и постепенно свел их на нет, так что перед человеком непосвященным вырастала фигура боевого партизанского командира, правда имевшего некоторые промахи — а у кого их нет,— но честного, верно служившего родине.

В зале стояла напряженная тишина. Гулыга говорил тихо, слова его звучали искренне, в них чувствовались боль и горечь.

— Да,— продолжал он,— мой полк попал в окружение, я выбрался и организовал подполье и партизанский отряд. Важно, что я — не кто иной — создал в районе невыносимые условия для врага. Да, я назвал себя боевым танкистом, капитаном, но это исключительно из патриотических побуждений. Время было тяжелое, наименее стойкие начинали терять ориентиры, и надо было вселить в людей веру, заставить пойти за собой. Вот я и назвал себя командиром танкового взвода. А потом это уже перешло в документы... Сейчас-то я осознал всю порочность своего поведения. Владимир Ильич не раз указывал, что людям надо говорить правду, какой бы невыносимо горькой она ни была. Но в моей тогда молодой, почти мальчишеской голове все представлялось иначе: только бы пошли за мной на святое дело защиты родины. Подумайте, товарищи, не для оправдания говорю, хочу лишь объяснить

свой поступок — разве в то время, когда на каждом шагу нас подстерегала смерть, мог ли я, молодой и горячий, думать о какой-то корысти. Да и никакой корысти не извлек я, кроме той, что люди пошли за мной на смертельные схватки...

Гулыга и Арбин все предусмотрели. Спокойная, без эмоций изложенная информация Чугунова, даже не выводы, а только факты, должна была произвести на членов бюро сильное впечатление, отнюдь не в пользу Гулыги. Ему, быть может, и удастся смягчить, сгладить это впечатление. Но вот, оказывается, не все предвидели. Не зря, ох не зря здесь столько посторонних. Для него-то они не посторонние, может быть, только этот генерал со Звездой Героя, а остальных, односельчан да и других, прискакавших сюда из разных городов, откуда только их выкопали, знал, хорошо знал. Совсем не посторонними они были для него когда-то. И не в качестве зрителей их пригласили. Будут говорить, и им есть что сказать. Значит, другого выхода нет, надо каяться. После каждого отвергаемого им обвинения рефреном звучало его покаяние.

Закончив, он тяжело опустился на стул. Несколько секунд исподлобья обегал глазами зал. Взгляд не задержался на ненавистных ему свидетелях, только чуть-чуть на Голубеве и Чумакове. Как они поведут себя? Пока шла проверка, с каждым из них успел поговорить, объяснил, в каком неприглядном виде предстанут перед бюро, если в третий раз изменят свою точку зрения. И пусть не лелеют надежду, что против них не возбудят персонального дела. Недвусмысленно обещал новые блага, если проявят благоразумие. Не просто им сейчас. Что они скажут?

Зато Прохоров, Ремизов — эти не подведут. С ними он не дипломатничал, не церемонился, сказал как отрубил — если не будут активно защищать его, проявляя при этом инициативу и настойчивость, заложит их, разденет донага, и не удержать им своих партбилетов. А они знают — сказал слово, так на нем хоть дом строй. Крепкое у него слово. Выхода у них нет — будут вытаскивать. А остальные... Появление их на бюро — полная неожиданность. Нет, эти будут топить. Топить живого, безжалостно и злобно.

Раздумья Гулыги прервал Званов:

— Есть ли вопросы, товарищи?

Люди молчали.

— Вы объяснили,— обратился к нему Владимир Михайлович,— что назвали себя танкистом, командиром, чтобы люди пошли за вами, несмотря на вашу молодость.

— Верно,— с готовностью подтвердил Гулыга.

— А мемуары?

— Что мемуары? — насторожился Гулыга.

— Вы описали множество своих подвигов в боях, когда якобы были танкистом. Писали много лет после войны, отнюдь не в молодые годы.

Гулыга в смущении развел руками:

— Это, извините, вопрос не мне... Редакторы приписали... Опыта в этом деле у меня не было, сказали, даже в документальной литературе всегда допускается вымысел, но я все равно резко протестовал. А они — уже все сверстано, правку делать поздно, вы сорвете нам план, большой коллектив рабочих типографии лишится премии и так дальше. Что мне оставалось делать?..

— Нет! — прервал его Званов.— Мы смотрели рукопись, там только стилистическая правка.

Гулыга не знал, что ответить. Стоял молча.

— Еще вопрос, товарищ Гулыга,— нарушил молчание Званов.

— Позвольте, позвольте, разрешите уж ответить,— с обидой развел руки Гулыга.— Видимо, вы смотрели издательский экземпляр. Я знаю, точно знаю, там сохранился мой оригинал, прошу, Владимир Михайлович, послать за ним, пусть все члены бюро убедятся... Просто, если будет дозволено так говорить на бюро обкома, во имя истины я настаиваю на этом.

Всю жизнь Гулыга шел напролом. Шел на неправое дело с открытым забралом, удивительным образом совмещая это с чистыми, невинными глазами и тихим голосом. Шел порою по краю пропасти и не боялся, ибо немыслимый гибрид безграничной наглости и наивных чистых глаз, заслонявших ее, заставлял людей верить ему. Рисковал чудовищно, но не безрассудно. Вот так же, как и сейчас,— а вдруг пошлют за рукописью, пригласят редактора? Что тогда? Нет, с расчетом рисковал. Не пошлют — никто не станет прерывать заседание, никто в данный момент не будет заниматься проверкой, а судьба его решается сейчас. Пусть потом проверяют, найдется выход.

Не все предусмотрел Гулыга, не все учел.

Скептически взглянув на Гулыгу, Званов мягко сказал:

— Зачем же так усиленно настаивать, пожалуйста.— Он взял одну из папок, лежавших перед Чугуновым, раскрыл и показал: — Видите, надпись «Авторский экземпляр». И только стилистическая правка.

— Странно,— забормотал Гулыга.— Какое-то недоразумение... какая-то ошибка...

— Пойдем дальше.— Званов положил папку на место.— В каком полку вы служили и как попали в родное село?

— Я уже говорил,— приободряясь, начал Гулыга.— Служил в триста двенадцатом, это и в архивной справке отмечено. В окружение наш полк попал близ моего села.

— Минутку,— прервал Званов.— Вот документ из архива танковых войск. В нем говорится, что триста двенадцатый полк за всю войну в окружении ни разу не был. Значит, просто сбежали?

— Ничего не понимаю,— пожал плечами Гулыга.— В тыл я попал из окружения.

— Товарищ Гулыга,— не меняя своего мягкого тона, сказал первый секретарь,— призываю вас хотя бы здесь, на бюро обкома, быть искренним. Говорите правду.

— Я правду и говорю.

Званов не ответил на реплику, задал новый вопрос:

— Сколько времени вы командовали партизанским отрядом?

— Больше двух лет,— последовал быстрый ответ.

— По данным органов госбезопасности, совпадающим с архивными материалами штаба партизанского движения республики, боевые действия вы начали за два месяца до освобождения района Советской Армией и они не носили сколько-нибудь заметного характера.

— Ошибка,— мгновенно ответил Гулыга.— Недоразумение, прошу еще раз проверить.

— И последний вопрос. Вы ничего не сказали о подлогах с занижением сахаристости, повышением загрязненности свеклы и корректировке планов, о чем докладывал товарищ Чугунов.

Не пряча смущения, Гулыга сказал:

— Относительно свеклы, видимо, точнее скажет товарищ Прохоров, как я понял товарища Чугунова, это на заводе делалось. Однако и с себя вины не снимаю, обязан был знать все, что делается на заводе. Недоглядел. Что касается корректировки планов, то здесь, очевидно, более компетентен товарищ Ремизов. Как видно из сообщения товарища Чугунова, корректировал планы начальник главка. Но и в этом деле, товарищи, не могу остаться только свидетелем. Планы-то корректировались на сахарных заводах, входящих в объединение, где директор я. Значит, за все, что там происходило, и я в ответе.

Это был серьезный просчет Гулыги. И Прохоров и Ремизов намеревались выводить его из-под удара. Может быть, не столько ради него, сколько в собственных интересах. Теперь его слова поразили обоих. Если он начал с того, что закладывает их, пусть пеняет на себя.

Вопросов было много, и отвечал Гулыга так же, как на последний вопрос Званова,— он-то не виноват, виноваты другие, или его молодость, или неопытность в данном деле, или обстоятельства чуть ли не форсмажорные, но все равно вины с себя не снимает, хотя, сами понимаете, ну абсолютно он здесь ни при чем.

Когда покончили с вопросами, начались выступления. Один за другим поднимались люди, живые участники событий, члены бюро, изобличая Гулыгу во лжи, разоблачая его преступные действия. И понимал, все отчетливее понимал — загнан в угол, откуда не выбраться. Он сидел неподвижно, но лихорадочно билась мысль — должен же быть какой-то выход. И только глаза его бегали, метались, точно пытались найти, увидеть наяву этот выход из любого положения.

Почти все, о чем говорили люди, Крылову было известно. И все-таки из каждого выступления узнавал что-то новое. В частности, удивило выступление Лугового. Обрисовав подпольную деятельность Ивана Саввича, он сказал:

— Что касается Гулыги, тут и моя вина. Я первым распространил версию о нем как о героическом танкисте.

Присутствующие с недоумением обернулись на него. А он продолжал:

— Однажды увидел, как вышел из лесу парень в военной форме с сорванными петлицами и, озираясь, стал спускаться с косогора. Спрятался за куст — наблюдаю. Он

направился к самой крайней избе. Выскочила оттуда женщина, бросилась на шею, обнимает, плачет. Соседи повысунулись, повыскочили, тоже обнимают, так гурьбой и вошли в избу. Постоял я с полчаса — не выходит обратно. Дай, думаю, и я пойду посмотрю, что за человек. А он уже изрядно выпил — на столе закуска, самогон — и рассказывает о том, как его танковый взвод громил фрицев. В последней схватке, увлекшись, углубился далеко в гитлеровское расположение, уничтожил, растоптав гусеницами, много техники, но и его подбили. С трудом удалось выбраться. И вот пробирается, догоняет свой полк. Рассказывал человек так, что гордость за него брала. И завидно стало: он-то найдет свой полк, а я что — без ноги?..

Это и был Петр Гулыга в своем родном селе. Я поскакал к Саввичу, рассказал ему и другим подпольщикам. Все радовались, гордились таким героем из своего села. Потом день за днем проходил, он все собирался идти дальше искать свой полк, но задерживался — мать не пускала, плакала, да и сам не торопился. Так и прошел месяц, а то и больше. Саввич стал сердиться, предложил ему к партизанам идти — как раз отряд Гнедого создавался. Отнекивался, говорил: танкист на танке должен воевать, обязательно найдет свой полк,— а еще через месяц согласился. Согласился, а не пошел...

Подробно рассказал Луговой и как уже открыто Гулыга отказался идти к Гнедому, ссылаясь на то, будто свой отряд создал, а фактически стал привольно жить с дружками в лесу. Саввич, конечно, не допустил бы этого, но тут его схватили гестаповцы.

И еще одно выступление вызвало большой интерес у Крылова. Партизанский отряд Гнедого нарвался на засаду и был почти полностью истреблен. Тяжело контуженный Артюхов прибился к какому-то хутору, там его укрыли и долго выхаживали. Постепенно вернулся к нему слух, но говорить не мог. Тут дошла до него молва, будто в липанских лесах действует партизанский отряд Гулыги. Разыскал тот отряд, было в нем человек десять. Как мог на пальцах объяснил, чего хочет, его и оставили там. Помогал повару, колол дрова, убирал в землянках. Шло время, а он все больше поражался: отряд и не думает воевать — шкуру свою спасают. Стал упрекать их. Поняли его и ему дали понять: если не заткнется — убьют. Тогда он сбежал.

А вскоре Липань освободили советские войска. Вот тут Артюхова чуть не хватил удар. Смотрит, человек тридцать с красными партизанскими ленточками во главе с Гулыгой встречают воинов криками «ура», шапки вверх бросают. Стали бойцы обниматься с партизанами, собрались все вместе. Подбежал поближе к ним и Артюхов. Слышит, капитан спрашивает Гулыгу: «Ваша работа?» — и показывает на разбитые железнодорожные вагоны, видневшиеся на насыпи. «Наша,— улыбнулся Гулыга,— это шестнадцатый по счету, пущенный нами под откос». А вагоны те давно валялись, их еще гитлеровцы разбили, когда наступали.

Бросился Артюхов к капитану — к тому времени уже начал понемногу говорить,— но от волнения и ярости слова сказать не может, только мычит, размахивая руками. «Уведите его,— скомандовал Гулыга, а капитану пояснил: — Рехнулся человек». И увели. Два дня держали взаперти, пока далеко не ушли наши войска добивать врага.

30

Заседание бюро обкома шло бурно. Если во время выступления Гулыги люди молчали, сдерживая свое нарастающее негодование, то сейчас они дали волю словам. То и дело раздавались реплики, даже выкрики, и Званову с трудом удавалось сохранять порядок.

Выступили четырнадцать человек, когда решили прекратить прения.

— Вы хотите еще что-нибудь сказать? — обратился Званов к Гулыге.

Медленно и тяжело поднялся. Невидящим взглядом обвел зал, лишь на секунду задержав его на своих бумагах. Он почти на память выучил свое заключительное слово.

— Трудно, тяжко говорить, товарищи. Некоторые из вас меня неправильно поняли, многое наслоилось на подлинные факты — тяжелые факты моих тяжелых ошибок. Не буду к этому возвращаться. Хочу лишь сказать — какое бы решение вы ни приняли, товарищи члены бюро обкома, какое бы суровое наказание ни вынесли, я приму его безропотно как заслуженное и справедливое возмез-

дие за содеянное мною. Смысл моей дальнейшей жизни будет заключаться в том, что, на какой бы участок вы ни поставили меня, сумею своим трудом, трудом, не знающим ни дня ни ночи, хоть в малой мере искупить свою вину. Десятилетиями накопленный опыт, свои знания, все свои силы и энергию я приложу к тому делу, на которое буду поставлен.

Гулыга говорил теперь не робко, а с большой убежденностью, останавливая взгляд поочередно на членах бюро, словно только к каждому в отдельностьи обращаясь.

— Не словами,— уверенно звучал его голос,— слова мои потеряли силу, а на деле я докажу, что способен извлечь уроки из трагедии в моей жизни и сделать подлинно партийные выводы из всего происшедшего. У меня нет документа, который мог бы положить перед вами в подтверждение моей искренности, но прошу поверить, что мое раскаяние — это не слова, а крик души, сама моя открытая перед вами душа глубоко осознавшего свою вину человека, по-новому глядящего на хорошо известные факты, по-новому, по-партийному оценивающего события, приведшие меня в столь плачевное состояние.

Он умолк. Остался стоять, глядя куда-то вверх.

— Вы кончили? — спросил Званов.

— Да. Кончил,— вздохнул Гулыга.— Хочу лишь просить вас, товарищи, не применять ко мне высшей меры наказания. Жизнь вне рядов партии для меня — политическая смерть. Не казните.

Грузно, точно подкосились ноги, сел.

— Будем подводить итоги,— поднялся Званов.— Кощунственно прозвучала здесь в устах товарища Гулыги ссылка на слова Ленина. Уж если обращаться к Ленину, то следовало бы в первую очередь привести его высказывание, наиболее подходящее для данного случая. Владимир Ильич говорил, что надо...— Он вытащил закладку из книги и прочитал: — «...судить о людях не по тому блестящему мундиру, который они сами себе надели, не по эффектной кличке, которую они сами себе взяли, а по тому, как они поступают и что на самом деле пропагандируют». Следовательно,— продолжал он,— о товарище Гулыге мы будем судить не по блестящему мундиру героического танкиста, который он сам на себя надел, не по высокому званию партизанского командира, которое он сам себе

присвоил, а по тому, как он поступал всю жизнь— обманывал общество — и что пропагандировал и насаждал — моральное растление.

В зале стояла напряженная тишина. Все смотрели на оратора, и только один человек сидел опустив голову, и она дергалась как от ударов, склоняясь все ниже. Никто сейчас не обращал на него внимания. Слушали.

— Пример с Гулыгой,— продолжал Званов,— это убедительная иллюстрация к одному из теоретических положений социализма. Есть ли в нашем социалистическом обществе острые конфликты и столкновения? Да, есть. Но здесь они не носят, как в буржуазном обществе, социальный характер. Это не классовые столкновения, это противопоставление эгоистических, сугубо корыстных интересов отдельных лиц интересам всего общества. Именно с таким примером мы и столкнулись и должны сделать для себя серьезные выводы. Там, где не проявляется настоящей заботы о формировании здорового общественного климата, и создается благоприятная почва для прорастания таких социальных сорняков. К каким только ухищрениям не прибегал Гулыга! Подкуп, взятки, облаченные в самые различные, отнюдь не стандартные, завуалированные формы, лесть, подхалимство, шантаж, незаконная раздача квартир, должностей, машин точно каменной стеной ограждали его от критики и разоблачений, ибо жалобы на него попадали чаще всего к тем, кто пользовался этими незаконными благами. В их архивах, как в тине, тонули тревожные сигналы. К сожалению, причастен к этому оказался и работник обкома, с которым мы уже распрощались и исключили из партии. Только потому, что мы не занимались надлежащим образом формированием здорового общественного климата, в руках Гулыги оказалась, по существу, экономика целого района. Он организовал на первый взгляд неуязвимую систему казнокрадства, втягивал в нее и тем самым разлагал морально множество людей от рабочих до командиров производства. Их служебное и материальное положение в значительной мере зависело от него, его симпатий, благосклонности, капризов и произвола, то есть всего того, что почерпнул этот деятель в прошлом, на чем держался и держится ныне мир воинствующего мещанства. Такие, как Гулыга и его ближайшее окружение, персональные дела которых нам предстоит еще разбирать, особенно опасны,

ибо, как отмечала «Правда», подобные социальные сорняки там, где им удается угнездиться, как моль, дырявят ткань социалистических общественных отношений, и борьба против них должна быть непримиримой, а наказание неотвратимым.

Званов помолчал и после паузы добавил:

— И на нашем сегодняшнем бюро он остался верен себе: ни грана искренности, юлил, изворачивался, бесстыдно извращал истину. Таким, как Гулыга, нет места в партии. Я поддерживаю предложение товарищей — исключить его из партии, передать дело в прокуратуру. Есть другие предложения?

Зал молчал. Званов медленно обвел взглядом стол.

— Нет других предложений? Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы Гулыгу Петра Елизаровича исключить из партии? — Все сидящие за столом подняли руки.— Кто против?.. Нет. Воздержавшиеся?.. Нет. Принято единогласно.

Теперь взгляды людей обратились к Гулыге. Он сидел согнувшись, неподвижно лежали руки на папке с бумагами. В полной тишине прозвучал голос Званова:

— Товарищ Гулыга, прошу сдать партийный билет.

Гулыга вскинул голову как от удара в спину.

— То есть как сдать?

Званов не ответил. Голова Гулыги обреченно опустилась. В зале, где находилось столько людей, стояла противоестественная тишина. Одни смотрели вниз, точно боясь поднять голову, другие как бы украдкой поглядывали на покрасневшее от возбуждения лицо растерянного Гулыги. Он озирался вокруг, и глаза его, полные отчаяния, останавливались то на одном, то на другом, будто моля о помощи. По мере того как он поворачивал голову, те, кто смотрел на него, отводили взгляд.

Люди молчали.

— Но это же чудовищное недоразумение,— проговорил он наконец, едва произнося слова.— Наваждение какое-то...

Поднялся Званов. Несколько секунд молча смотрел на него, сказал спокойно и твердо:

— Еще раз прошу вас сдать партийный билет. Вы видели — решение принято единогласно.— И обернулся в

сторону председателя парткомиссии.— Товарищ Чугунов...

Чугунов подошел к Гулыге, и тот начал медленно доставать из бокового кармана бумажник. Медленно вытаскивал партбилет.

Маленькая книжечка в сафьяновой обложке. Никогда не приходило в голову рассматривать ее. Хранил в служебном сейфе. Когда надо было идти в обком или другие партийные органы, брал с собой не рассматривая, не раскрывая и предъявлял у входа. Платя взносы, тоже не рассматривал ее, секретарь парторганизации сам находил нужную страничку, проставлял сумму заработка за месяц, сумму взносов, расписывался и ставил маленький фиолетовый штампик. Каждый месяц штампик. На каждой страничке двенадцать штампиков. Каждая страничка — год. Год жизни.

Он листал странички. Год за годом перед глазами проходила жизнь. Сколько же секретарей сменилось. Теперь сменят и его. Другой будет генеральным, в его кресло сядет... Еще уголовное дело, ишь чего захотели! Нет, тут не перескочат, забурятся... А с работы снимут, какую-нибудь должностишку кинут с грошовым окладом...

Перевернул еще страничку... Заработки приличные были, а с премиями куда больше. Тоже придумали — из премий взносы брать... А это?.. Да, это за мемуары... внушительная сумма. Правда, не всю сумму получил, пришлось этому щелкоперу платить. Наглец, половину гонорара требовал. За что, спрашивается? Все ему растолковал, рассказал, садись и пиши. Можно сказать, техническая работа... Вот уже чистые странички пошли. Значит, что? Все? Нет, отдавать партбилет нельзя, куда без партбилета? Правда, и беспартийные специалисты получают прилично и взносы не платят... Беспартийные... Что же теперь — беспартийный? Не просто беспартийный — исключенный из партии. Ну нет, этого не будет!

И в гнетущем безмолвии зала в полную силу загремел голос, только что звучавший так беспомощно и жалко. Вскинув голову, уставившись на Званова, Гулыга выкрикнул:

— А вы мне его давали?! — Кровь прилила к лицу, вздулись на шее жилы, заходили желваки. Гневом засвер-

кали глаза.— Вы мне его давали, я спрашиваю?! Я в бою его получил, кровью своей оплатил! Не отдам! Апеллировать буду!

Не вставая, Званов властно сказал:

— Вы положите на стол партбилет немедленно! А апеллировать — ваше право.

31

Через день после заседания бюро обкома Гулыга отправлялся в Москву. Он шел по перрону, высоко подняв голову, ни на кого не глядя, никому не уступая дороги. Шел уверенно, косясь на номера вагонов. Вот и его спальный вагон прямого сообщения.

Не поспевая за ним, с портфелем и чемоданом торопился Хижняков. Чуть позади — Семен, тоже с чемоданом, но поувесистей. Хотя здоровяк парень, а несет, сгибаясь набок.

— Ты что отстаешь? — недовольно обернулся к нему Хижняков.— Видишь?— кивнул на ступившего на подножку Гулыгу.

— А ты что суетишься? — не ускоряя шага, насмешливо ответил Семен.— Сейчас-то какой толк? Все, кранты!

Хижняков остановился.

— Эх, Семен, Семен, молод ты еще, зелен. Гулыгу не знаешь. Ох не знаешь...

Может быть, случайно, но в двухместном купе Гулыга ехал один. Мелькали пристанционные постройки, лесок, сменившийся полем, а вдали — большое село. Обычно, проезжая это место, он не упускал случая заметить невзначай попутчику: «Раньше село было, а теперь поселок. Это благодаря тому, что здесь построен один из моих сахарных заводов».

Теперь он не хочет смотреть туда, резко отвернулся, вышел в коридор. А зря. Поезд проходил близко от Липани, и можно было разглядеть огромное скопление людей на площади. Они собрались вокруг высокого обелиска. Двое молодых ребят водружали на обелиске большой портрет красивого человека — Ивана Саввича Панченко. Обаятельная улыбка, высокий лоб, черные вразлет брови, вьющиеся волосы. Как живые благодарно смотрят на людей его умные, добрые глаза.

Не вытирая обильных слез, улыбается Марфа Григорьевна, вдова Саввича. Не отрывает платка от глаз Зарудная. Смахнул слезу Герой Советского Союза генерал-полковник Зыбин.

В сторонке стоял Сергей Александрович Крылов. Стоял, как солдат, по стойке «смирно», точно отдавая последний долг герою, чувствуя собственную вину перед ним. Нет, он еще не искупил своей вины. Но искупит, обязательно искупит. Как бы ни сложилась дальше его собственная судьба — будет книга о героическом подпольщике.

Валерия Николаевна вытерла наконец глаза, увидела Крылова, обойдя людей, подошла к нему, встала рядом. Он благодарно пожал ей руку.

1983

МОРЯКИ

ПОД ВОДОЙ

Наверно, только о любви написано так много, как о море: романы, повести, сказки, поэмы, песни. Море воспевают народы и эпохи. И эти несовместимые понятия — любовь и море — удивительным образом где-то сходятся, сливаются воедино и одинаково волнуют и будоражат душу.

Воспето море буйное, жестокое, беспощадное, воспето ласковое и нежное, неповторимо сказочной красоты. Оно может, как и любовь, довести человека до отчаяния, погубить, но также дает ему силы, радости, одухотворяет. И какие бы испытания ни несло море людям, они будут тянуться к нему и думать о нем, потому что захватывает оно, как любовь.

Я видел этих людей, которым не жить без моря и без которых нет моря. Видел на боевых и мирных кораблях, на подводных лодках и на морском дне. Об этих людях и пойдет рассказ.

...На базе стояли подводные лодки. Они готовились к выходу на учения.

Когда учения окончились, все вернулись на свою базу, а одна лодка осталась на дне моря, зарывшись винтами и кормой в илистый грунт, оторванная от всего мира.

...На базу подводных лодок я приехал поздно вечером. Здесь было еще спокойно, еще никто ничего не знал. Мне предстояло идти на одной из лодок, чтобы написать о том, как морские охотники выслеживают и топят лодки. Казалось, для этого достаточно побывать на морских охотниках. Но я ходил с ними и, откровенно говоря, мало что понял.

Как только вышли в море, командир показал на карте район, где скрывалась лодка. Район охватывал много квадратных километров. Глубина была большая. Найти там подводную лодку — все равно что иголку в сене.

Наш корабль вел знаменитый командир. Он сказал:

— Иголку в сене легко найти, надо иметь сильные магниты.

— От нашего командира еще ни одна лодка не ушла,— заметил вахтенный сигнальщик.

Корабль то и дело менял курс. Потом выяснилось, что лодка обнаружена, и он велел забросать ее глубинными

бомбами. Это были не настоящие бомбы, а специальные гранаты, имитирующие взрыв глубинных бомб. Но все равно от их разрывов на лодке было жутко. Мне сказали, что иногда от этих взрывов и сотрясений гаснет свет.

Лодка заметалась. Точно привязанный к ней, заметался корабль, забрасывая ее гранатами. Улизнуть лодке не удалось. Она не выдержала и всплыла.

...Вот и все, что я мог сообщить о поединке. Этого было мало... Чтобы написать подробнее, я и отправился на базу подводных лодок. Оказалось, никакая это не база, а просто большое здание. Вахтенный матрос прочитал мой пропуск, долго изучал паспорт, внимательно сличал фотографию с моим лицом. Сложив наконец документы, вернул их мне и сказал:

— Поднимитесь по этому трапу и по левому борту верхней палубы ищите каюту номер двадцать шесть.

Я вспомнил случай, который произошел за несколько дней до этого на одной из улиц Севастополя. Отвечая на мой вопрос, какая-то старушка указала на городскую лестницу, куда большую, чем знаменитая одесская, и добавила:

— А вот поднимитесь по этому трапу, как раз и попадете к памятнику Ленину.

У моряков любая лестница — трап, любой пол, даже в подвале,— палуба, комната — каюта.

Я шел по коридорам и читал надписи: «Каюта № 9», «Каюта № 10», «Камбуз», «Кают-компания»... Командира подводной лодки я не застал. Зато в каюте старпома Игоря Александровича Григоровича все напоминало штаб части, готовящейся к операции. Он ухитрялся одновременно разговаривать по телефону, печатать на машинке и отвечать на вопросы штурмана. Здесь же заместитель командира по политчасти Леонид Васильевич Абрамов говорил какому-то матросу, чтобы тот сам придумал для себя наказание, которое бы подействовало, потому что уже не знает, что с ним делать дальше. Матрос поначалу тоже не знал, а потом неуверенно спросил:

— А может, попробовать один раз не наказывать? Вполне возможно, подействует.

— Можно бы, конечно,— согласился Абрамов,— да по уставу не положено. По уставу всякий проступок должен иметь последствия.

— Так вы же нас учили гибко применять устав, сообразуясь с обстановкой... Вот внушение мне сделали...

В конце концов Абрамов согласился. Когда матрос ушел, замполит рассказал, что это великолепный подводник, который совершенно не переносит, если новички, которых он учит, ошибутся или выполнят задание не с такой быстротой, на какую способен он сам. И вместо того чтобы терпеливо учить людей, начинает на них кричать.

В каюту заходили все новые офицеры. У каждого было дело. Потом пришел командир лодки Ленислав Филиппович Сучков. Он совершенно не был похож на командира подводной лодки.

Может быть, так казалось потому, что еще раньше мне довелось близко познакомиться с другим командиром подводной лодки — Юрием Михайловичем Лисичкиным. Это высокий атлет, штангист, с удивительно волевым лицом. Для скульптора, работающего над портретом морского офицера, Лисичкин просто клад.

Я подумал об этом, когда далеко в море всплыл его подводный корабль. На мостик он поднялся первым, а за ним четверо офицеров и сигнальщик. Они выходили из люка и словно каменели в тот момент, когда поднимали головы. Поэтому позы у них были неестественны: кто-то застыл, не разогнув еще спину, кто-то замер, не успев найти надежной опоры для второй ноги, держась за поручни. Все смотрели в одно место. На горизонте стоял гигантский линкор, раскаленный докрасна. Он не горел, а был именно раскален. Отчетливо виднелись башни, тяжелые строенные стволы главного калибра, широкие трубы. Из одной трубы поднимался дым. Казалось, густые клубы висят над трубой, точно гигантский рыхлый гриб. Края кормы не было. Похоже, что ее отсекло чем-то.

Потрясенные люди стояли на мостике, не в силах скрыть волнения. Никто и не пытался этого сделать. Только Лисичкин стоял спокойно, в полный рост, чуть-чуть расставив ноги, заложив руки за спину.

Впереди лодки волн не было. Они веером расходились сзади от ее винтов. На море стояла тишина. Нигде ни одного корабля. Лодка шла к линкору.

По лицу Лисичкина ничего нельзя было определить. Ни удивления, ни растерянности. И это тоже была не поза, а его естественное состояние. Он первым понял, что произошло. Трудно представить себе явление природы более фантастическое. Багровый шар заходящего солнца на одну треть опустился в море. Верхнюю часть срезали облака. Они падали на середину огненного диска угловаты-

ми клочками, образуя поразительно точный рисунок корабля.

Юрий Михайлович Лисичкин запомнился мне таким, каким он стоял в тот раз на мостике.

...Сучкова трудно было выделить из массы людей. Во-первых, он, как и все его офицеры, был очень молод. Во-вторых, казался стеснительным. Он начал задавать вопросы старпому будто из любопытства, будто пришел на экскурсию и ему все интересно. Голос у него был тихий, и он расспрашивал, как подготовлен выход в море, словно боясь, что его вопросы могут надоесть людям и они не станут отвечать. Потом посмотрел на часы, сказал, что до выхода есть еще время поспать и пусть люди идут в свои кубрики, а через час чтобы явились на лодку.

К причалу я пошел вместе со старпомом. Была ночь. Рядом с нашей лодкой стояла та, на которой потом случилось несчастье. Оттуда доносились голоса, люди готовились к выходу. Мы отошли от стенки первыми. Из бухты были видны далекие огни города. А вблизи один мрак. На волнах качались тусклые огоньки буев. Рейд, закрытый бонами, походил на тихое озеро. У берегов громоздились черные силуэты кораблей. Можно было подумать, что это скалы. Но кое-где горели лампочки, и становилось видно, где корабли и где скалы. Лодка шла бесшумно, осторожно обходя какие-то запретные участки. Может быть, от этого обстановка и казалась напряженной, будто вот-вот должно что-то случиться. На мостике находились командир, старпом, штурман и сигнальщик. Штурвальный поминутно повторял команды старпома.

Откуда-то издалека, из темноты, часто-часто замигал огонек. Нас спрашивали, кто идет, и требовали позывные и номер корабля. Сигнальщик доложил об этом командиру и начал отвечать.

— Отставить! — прогремел голос Сучкова.— Передать только позывные! Ротозеев пусть в другом месте ищут.

Помолчав немного, он добавил:

— По позывным они могут, если захотят, определить и бортовой номер. Зачем же нам его оглашать!

С контрольного поста ответили, что выход разрешен, и маленький буксир развел боны. Путь в море открыт.

Лодка шла тихо, будто ей мешали волны. Какие-то странные волны — очень широкие и пологие. Казалось, что вода расступается, уходит из-под лодки и можно про-

валиться на дно. Потом нас поднимало, должно быть, только для того, чтобы дать разгон, потому что тут же мы неслись вниз. Временами над водой оставался только мостик.

А мне почему-то почудились чайки. Сначала они летели справа, потом одна рванулась на левую сторону, и вся стая бросилась за ней, думая, наверное, что та увидела добычу.

Белокрылую чайку воспели поэты. Поэтам поверили, и она стала символом светлого, невинного. Поэты не правы. Зря воспели чайку. В действительности она злая и мрачная птица. Как коршун, пикирует на рыбу, разоряет гнезда промысловых птиц, питается падалью.

Моряк не любит чаек. Они летят за кораблем, кивают и громко кричат: «Знаем, знаем, знаем...» И кажется, в самом деле они летят вот так уже тысячи лет, и все видели, и знают тайны моря, что случится впереди. И всем своим хищным видом показывают, что ничего хорошего не случится, иначе бы они не летели за кораблем. Летят и жадно высматривают добычу, готовые из-за нее заклевать друг друга.

По преданию, чайки — это души погибших моряков. Поэтому их нельзя убивать. Преданию давно никто не верит, но и все равно в них не стреляют.

Тихая черноморская ночь. Удаляется берег. Давно скрылись огни города. Штурману не на что уже было нацеливать пеленгатор гирокомпаса, и он скрылся в лодке. Командир стоял с правой стороны в своем кожаном реглане, обдаваемый крупными брызгами, и молча смотрел вперед. И все, кто был наверху, молчали и смотрели вперед. Только один сигнальщик все время озирался по сторонам.

Неожиданно море пересек огненный пунктир, точно замедленные трассирующие пули. Это неслись куда-то торпедные катера, то скрываясь в волнах, то выскакивая на гребни. Медленно проплыли вверху цветные огоньки самолетов. А потом ничего не стало видно. Море было чем-то закрыто. Можно было подумать, будто над водой рассеяна цементная пыль. И в этой кромешной тьме одновременно, в одну и ту же секунду, раздались два голоса. Голос командира:

— Почему не докладываете?

И голос сигнальщика:

— Справа по траверзу в десяти кабельтовых четыре корабля.

Я не сразу увидел их. Они шли без огней.

— На боевое задание,— кивнул им вслед старпом в ответ на мой вопрос. И, видно, не надеясь, что я понял его, добавил официальным тоном: — Несут охрану государственных морских рубежей.

Едва они скрылись, как море от края и до края полоснул прожектор. Он описал дугу, осветив огромную территорию. В поле зрения не оказалось ни одного судна. Я никак не мог понять, куда они девались,— не подводные же это лодки.

— А зачем ему освещать наши корабли? — засмеялся командир.— Луч обошел их.

Советские воды Черного моря жили своей жизнью. Где-то на картах расчерчен каждый квадратный метр водной глади, каждый кубический метр до самого дна. Бороздят водную гладь сторожевые катера и охотники, движутся где-то подводные лодки, прислушиваются к шуму в воде умные, чуткие приборы и аппараты. Не пробиться, не протиснуться здесь чужому кораблю. Против своей воли он даст десятки сигналов, которые точно укажут, где он находится, куда и на какой скорости идет и что собой представляет.

Командир лодки, не меняя позы, не поворачиваясь, сказал:

— Приготовиться к погружению.

Он сказал это таким тоном, каким несколько минут назад спрашивал, сколько на румбе. Но все мгновенно пришло в движение, будто случился пожар. Буквально рухнули в люк все, кто стоял на мостике, кроме самого командира. Раздались звонки, сигналы, шум. Задраивались люки между отсеками, опускался перископ, закрывались вентиляционные клапаны, заслонки и заглушки. Проверялись носовые и кормовые торпедные аппараты. Неизвестно откуда неслись резкие, отрывистые голоса, усиленные микрофоном:

— Седьмой отсек готов!

— Второй отсек готов!

— Пятый отсек готов!..

Едва командир спустился вниз, как ему доложили:

— Лодка к погружению готова!

— Начать погружение! — раздалась команда.

Лодка вобрала в себя положенное количество воды и пошла на глубину. Заработали маховики рулей. Часть команды ушла на отдых.

Собственно, никто никуда не уходил. Боевые торпеды были заложены в аппараты, а запасные лежали тут же, в отсеке. Матросы опустили привязанные к стенам узенькие брезентовые койки, которые повисли над торпедами, и улеглись спать. Со стороны казалось, что они лежат прямо на торпедах. Но здесь, можно сказать, еще просторно. В других отсеках теснее.

На лодке негде повернуться. В ней не видно ни стен, ни потолков, ни корпуса. Там, где им положено быть,— маховики, рукоятки, аппараты, люки, краны. В самом центре из люка поднимается перископ, а рядом опять приборы, аппараты. И в этом нагромождении механизмов, между которыми надо протискиваться, приподнимаясь на носки, у крохотного наклонного столика сидит боком к узенькому проходу штурман. Чуть дальше и ниже — гидроакустик, тоже боком к проходу. Когда передвигаешься по лодке, их увидишь не сразу, потому что они словно вписаны в приборы и не выходят за габариты окружающих механизмов. Они — как на детской загадочной картинке. Будто одно целое с лодкой. И вся команда тоже одно целое с лодкой, и все это вместе один организм. Здесь синхронно связаны действия каждого человека и каждого механизма. У них общее дыхание и общий воздух. Если у лодки под водой нет воздуха, она не всплывет и погибнет, как и человек, которому нечем дышать.

Человек здесь виден, точно на войне. Одного похода достаточно, чтобы проявились все его качества. Чувства товарищества и взаимопомощи развиты и обострены настолько, что теряются понятия «я» и «он». Их работа как у группы акробатов под куполом: неточное движение одного — полетят вниз все. Поэтому здесь не может быть отстающего или не выполняющего своих обязанностей. Это мгновенно отразится на всех. Это может застопорить всю жизнь лодки или сорвать боевое задание. Плохая работа в таких условиях воспринялась бы как что-то близкое к предательству. Поэтому она здесь немыслима.

Человек, у которого нет сильной воли и большой физической силы, недостаточно выносливый, с неразвитым чувством товарищества или обретает эти качества, или его списывают с подводного флота. Здесь только отборные люди. Поэтому подводники гордые. Самая обширная и исчерпывающая характеристика таких людей укладывается в одну фразу: «Моряк с подводной лодки».

...Морские охотники искали лодку. Сейчас почти все

зависело от ее гидроакустика Леонида Исакова. Он должен обнаружить охотников раньше, чем они лодку. Он вслушивался в звуки моря и смотрел на маленький экран. На экране билась живая огненная звездочка, в каждую сотую долю секунды меняя свои формы и очертания. В неуловимые для глаза мгновения из ее тела выскакивали и исчезали то крохотные кинжальные острия, будто в коротком замыкании соединились провода, то тупые уголки или волноообразные выступы. Аппарат издавал звуки, похожие на шум неисправного приемника. Ничего не разберет здесь непосвященный человек. Но в этих звуках и искорках для Исакова целый мир. Он ощущает и видит море. Каждый оттенок звука, каждая искорка понятны ему, как телеграфисту азбука Морзе.

Минут пятнадцать Исаков смотрел и слушал спокойно. Потом подался немного вперед, надел наушники, прищурился и застыл. Убедившись, что не ошибся, доложил:

— Слышу шум винтов.

В центральном отсеке насторожились.

— Крейсер и два эсминца идут со скоростью двадцать пять узлов,— рапортовал Исаков.

Тут же был определен курс кораблей.

— Это, должно быть, не за нами,— сказал старпом.

Я внимательно следил за звездочкой и шумами. Все было как и прежде. Так же билась звездочка, такие же звуки издавал аппарат. И в этом клубке звуков, в искорках «короткого замыкания» Исаков находил и выделял крейсеры и эсминцы, вычислял скорость оборотов их винтов. Он досадовал, что я ничего не могу уловить.

— Слышите? — поднимал он вверх палец.— Вот глухой звук, будто перекатывается что-то. Это крейсер. А рядом два позвонче, почаще. Это эсминцы... Ну как же? Их легко отличить, как ход легковой машины от пятитонки... Слышите? Скорость прибавили. Вот и на экране все видно... Каждый корабль имеет характерный звук, какую-то отличительную черту... А иначе как стрелять торпедами? — развел он руками, словно удивляясь.— Корабли ограждения всегда прикрывают главную цель. А мы ее приметим и засечем. Тогда уж и пускай торпеду по главной. Если звук торпеды сольется со звуком корабля «противника», значит, в точку угодили...

Его радостно было слушать. Верилось каждому слову. Тельняшка обтягивала его могучие бицепсы, крупное добродушное лицо словно излучало чистоту и искренность.

Даже малодушый пойдет с ним на любое задание не страшась, потому что его воля и сила передаются окружающим.

Он разговаривал, уступив место своему ученику, и вдруг быстро взялся за наушники.

Какое-то удивительное чутье! Не прошло и трех минут, как появились новые шумы, на этот раз более опасные. На очень большом расстоянии от лодки, но прямо на нее шли три морских охотника. Одна за другой последовали несколько команд. Единый организм людей и корабля пришел в движение. Бешено завертелись маховики рулей, заработали приборы и аппараты. Это заняло секунды.

— Если вы их слышите, значит, и они вас?

— Нет, еще не значит,— сказал старпом.— Во-первых, надо иметь такого гидроакустика, как Исаков, который услышал их в ту долю мгновения, когда возник их первый туманный звук. Во-вторых, надо иметь такого командира, как Ленислав Филиппович, который в эту долю мгновения успел принять решение. В-третьих, надо иметь такой экипаж, который в следующие мгновения выполнил волю командира. Если всем этим обладает «противник», то все равно в первой стычке победили мы, так как у него не было возможности проверить, не ошибся ли он в своих предположениях: наши шумы пронеслись на его приборах как пуля и исчезли, ибо мы успели осуществить сложный маневр. Куда мы делись, им пока неизвестно, но они понимают, что добыча где-то близко.

Так начался поединок. Поединок между подводной лодкой и охотниками за ней. Охотники были опытные, хладнокровные, с современными приборами. Они знали, что имеют дело с сильным «противником» и совершенной техникой. Несколько раз лодку почти настигали, но ей удавалось ускользать. Решили, что известными методами ее не «потопить». Придумали другие методы.

Для того чтобы скрываться от противника, надо знать, где он находится. И вот настал момент, когда люди на лодке потеряли след охотников. Никаких подозрительных шумов не мог обнаружить Исаков. Он слышал, как над нами и недалеко от нас проходили корабли. Но то были другие корабли, не те, что преследовали. «Противник» был на верном пути и удалиться далеко не мог. Не такой он простак. Сучков это понимал. Не исключено, что охотники заглушили двигатели, притаились где-то и ждут, пока лодка сама себя выдаст. Не издавая ни одного звука,

они вслушиваются в подводную жизнь. Каждую минуту можно наскочить на них, постыднейшим образом попасть впросак. Оставаться дальше в таком положении было нельзя. Штурман предложил на несколько секунд всплыть так, чтобы из воды вынырнул только глазок перископа, окинуть горизонты и заодно взять пеленги, то есть определить, где находится лодка. Это был риск, потому что преследователи могли оказаться где-нибудь поблизости.

Подводники все взвесили. Решили идти на риск. Придумали план действий на случай неудачи. Оставался тот же риск, но не безрассудный, а основанный на точном расчете,— риск, вызванный необходимостью. Раздалась команда:

— Приготовиться к всплытию!

Мгновенный аврал и четкий доклад:

— Лодка готова к всплытию.

Замер у рулей боцман Николай Зубарев, застыли неподвижные фигуры у подъемника перископа, у аппаратов. Ждали приказа.

Командир медлил. Он мог еще отменить решение о всплытии. Может быть, последний раз взвешивал все. Он один в ответе за судьбу лодки и людей.

Напряжение росло. Все было как перед боем. Точно во вражеских водах. И вот приказ отдан.

Еще вытеснял воду из балластных цистерн сжатый воздух, еще не поднялся, а только двигался вверх перископ, а командир уже вцепился в него обеими руками, прильнул к окулярам. Одним рывком, не отрывая глаз от перископа, описал им дугу градусов на двести и замер. Все, кто были в центральном отсеке, недвижно уставились на командира, готовые к самым решительным и мгновенным действиям.

Он сказал:

— Вижу. Очень далеко. Точки, а не корабли. Но это они. Расходятся в разные стороны... Что-то задумали.

Командир лодки и командир отряда охотников знали друг друга. Они жили на одной улице, встречались в штабе флота, бывало, вместе встречали праздники. Но сейчас это были непримиримые «противники». Каждому достался нелегкий орешек. Они это тоже знали. И каждый ожидал от «противника» такого, чего в практике еще не было.

Впоследствии мне довелось видеть обоих командиров совсем в другой обстановке. У колоннады исторической Графской пристани, где русский народ некогда встречал

великого флотоводца Нахимова, где рвались победные салюты героев Сапун-горы и Малахова кургана, где в дни праздников гремит могучее матросское «ура!» и, как в старину, состязаются в перетягивании каната богатыри в тельняшках, появился командующий Черноморским флотом.

Красная ковровая дорожка спускалась по широкой лестнице к причалу и обрывалась у белого сверкающего катера. Замер неправдоподобно точной геометрической формы строй почетного караула. Начинался военный парад Советского Черноморского флота.

Приняв рапорт, адмирал поднялся на катер. Во флагах расцвечивания стояли на рейде лучшие корабли флота. Командующий и член Военного совета обходили корабли. Раскатывалось «ура!».

Вслед за катером командующего шла гостевая яхта. Когда катер, забурлив винтами, застопорил ход у строя подводных лодок, я увидел Сучкова. Он стоял на мостике своей лодки в парадной форме, и на палубе выстроился его экипаж. На их лицах была гордость.

Горело на солнце золото офицерских кортиков, точно полоса шлагбаума, перерезали строй руки в белых перчатках, державшие автоматы: один в один стояли подводники. Это не скульптурная группа, не изваяние. Это живая кованая воля и сила. Это — сознание великой миссии защиты Родины.

Катер рванулся дальше и остановился близ морских охотников. На мостике корабля стоял недавний «противник» Сучкова во главе монолитного строя. Матросы спокойные, сильные.

После парада по-иному представился эпизод, происшедший накануне на разделочной базе.

«Разделочная база» — предприятие. Но это не завод рыболовной флотилии. Не разделывают здесь и мясные туши. Это место, где режут корабли. Огромные изношенные корабли, непригодные для жизни.

...Рано утром начальник одного из цехов базы, офицер запаса, увидел на горизонте дымок. Едва обозначились контуры судна, как на быстроходном катере он пошел навстречу. С мостика корабля увидели катер и увидели человека, застывшего у флагштока. Ветер развевал его седые волосы, катер качало, но он стоял неподвижно, заложив руки назад, и не отрываясь смотрел на корабль. Он видел, как бросили якорь и спустили парадный трап.

Медленно поднялся он на палубу. Раздалась команда «смирно!», и командир корабля отдал военный рапорт этому гражданскому человеку, а сотни матросов застыли там, где стояли, и смотрели на него, и он виделся им таким, каким знали его по портретам в дорогих рамках, что висят в кают-компании и в кубриках. Он виделся им весь в орденах и в форме капитана первого ранга, каким был в военные годы, когда командовал этим кораблем.

Медленно и молча обошел он палубу, сопровождаемый офицерами, и поднялся на мостик. Он прошелся взад и вперед, сверху осмотрел корабль и тихо сказал:

— Пошли.

Командир корабля не отдал приказ. Он выпрямился, опустив руки по швам, и молча склонил голову.

— Спасибо! — сказал человек в штатском.

И тут же, усиленный микрофоном, по всему кораблю разнесся его голос:

— По местам стоять, с якоря сниматься!

Сколько раз, идя в бой, он отдавал эту команду с этого мостика. Теперь корабль шел в свой последний путь. И, как в опаленные войной годы, его вел боевой командир. Он пришвартовался к стенке базы с лихостью лейтенанта и мастерством ветерана. Последний причал. Все.

Каждое утро он поднимался на мостик. На корабле разбирали машины, резали стальной корпус. Корабль резали с двух сторон: с носа и с кормы (никто не упрекнул в нарушении технологии). И пришел день, когда остался только мостик, как нефтяная вышка, устремленная ввысь. На ней стоял командир. Как истый моряк, он покидал свой корабль последним.

Немножко грустно было слушать эту историю. Но когда я увидел морской парад и новое поколение военных моряков с их новой техникой в действии, моряков, которые хранят не только портреты, но и боевые традиции морской гвардии, по-иному посмотрел на разделочную базу. Жизнь неумолимо идет вперед, решительно отбрасывая старое и отжившее.

...Наша лодка вернулась «домой». И другие лодки вернулись. Все, кроме одной.

Вот что с ней произошло.

Выполнив задание, она всплыла и направилась на свою базу. Матросы и офицеры были довольны. Во-первых, они «потопили» все, что им приказано было «потопить», а во-вторых, возвращаться на свою базу всегда приятно.

Неожиданно командир получил по радио еще один приказ и велел приготовиться к погружению. Приготовились очень быстро. Тут и готовиться нечего, каждый хорошо знал, что в таких случаях надо делать. Задраили люки, через которые могла проникнуть вода, закрыли шахту подачи воздуха. Специальный сигнал показал, что газовая захлопка закрылась. В действительности она закрылась неплотно. Никто этого не знал. По приказу командира открыли доступ воде в боковые цистерны, чтобы лодка погрузилась. Она действительно стала погружаться, но через шахту подачи воздуха сквозь неплотно закрытую захлопку вода ринулась к дизелям, затопила один отсек. Командир тут же приказал всплывать. Это значило, что надо продуться, то есть пустить в цистерны сжатый воздух, который вытеснит оттуда воду. Но полностью выдуть ее не удалось, так как лодка с затопленным отсеком погружалась под большим углом. Чтобы выровнять ее, затопили еще один отсек, но это не помогло. Так и врезалась она в грунт винтами и кормой.

Было сделано несколько попыток выровнять лодку и всплыть, но безуспешно. Были исчерпаны все возможности, и осталась надежда только на помощь со стороны. Выпустили буй. Он очень похож на детский волчок. Похож по форме и по яркой раскраске в несколько цветов. А диаметр его как у хорошей бочки. Буй привязан к лодке. От него тянется кабель, по концам которого телефоны: один в лодке, другой внутри буя.

Теперь осталось ждать, пока кто-нибудь заметит плавающий на волнах буй, откроет герметическую крышку и поднимет телефонную трубку. Тогда в лодке раздастся звонок. Вот все, что осталось делать экипажу: ждать. Ждать, пока кто-то придет на помощь. И этот «кто-то» должен поторапливаться, потому что воздуха осталось немного и он уже не такой чистый, как надо, а с большим количеством углекислого газа.

Буй качался на волнах, но его не видели: никого поблизости не было.

У подводников нет свободного времени. На лодке всегда много дел. А тут никто не мог придумать, чем заняться. Оставалось только ждать.

Ждать всегда неприятно. Но одно дело, скажем, долго ждать поезда, зная, что он обязательно придет, а другое — может быть, кто-нибудь спасет.

Командир лодки думал о том, как поддержать боевой

дух матросов. Матросы знали, о чем он думает, и старались как-то помочь ему в этом. Люди стали рассказывать всякие веселые истории и, хотя эти истории были всем известны, так как уже не первый год они вместе служили и самое интересное каждый успел давно рассказать, все-таки смеялись, поглядывая на командира: видит ли он, как им весело.

Командир понимал, что все это делается специально для него, и был благодарен им, и тем более ему хотелось что-нибудь сделать для матросов. И он сказал коку так, чтобы все слышали:

— Ну-ка, доставай из аварийного запаса что есть повкусней.

— Эх и попадет нам от интенданта базы за то, что вскрыли аварийный запас,— улыбаясь, заметил замполит.

Матросы тоже улыбались и потирали руки, показывая, что им понятен смысл этой фразы: коль скоро «попадет», значит, они будут спасены и вернутся на свою базу.

Так вели себя люди. А что у них было на душе, сообразить нетрудно. Каждый знал: подняться с затонувшей лодки довольно просто. Ствол, в котором находится торпеда,— это длинная труба большого диаметра, с обеих сторон закрытая крышками. Если вынуть торпеду, в трубку могут влезть несколько человек в водолазном снаряжении. После этого закрывают внутреннюю крышку и открывают трубопроводы, по которым вода ринется в трубу. Внутреннее давление сравняется с забортным, люди откроют верхнюю крышку, выберутся оттуда и всплывут на поверхность. Еще легче выйти из люка, если дифферент небольшой.

Все довольно просто. Но спастись удается редко. Дело в том, что под водой газы, которыми дышит человек, ведут себя не так, как на земле. Даже спасительный кислород на определенной глубине убивает человека. А главное — давление. Если на большой глубине выстрелить из револьвера, пуля не вылетит. Пороховые газы не сумеют преодолеть давление воды.

На глубине ста пятидесяти метров человека сжимает сила в триста тонн. Он не превратится в лепешку и останется невредимым, если в его груди, в сердце, в сосудах, во всем организме будет такое же давление, как и снаружи. Это и понятно. Глубоко под водой банку с консервами раздавит, как под паровым молотом. Но если в ней окажется достаточно большое отверстие, туда мгновенно

ворвется вода, и она будет давить на стенки с такой же силой, как и наружная. Банка останется в целости.

Чтобы человек не погиб, надо уравнять давление в его организме с давлением воды на данной глубине. А вот это уже совсем непросто. Да и всплывать в силу ряда обстоятельств надо не сразу, ибо это смертельно, а в течение нескольких часов, делая длительные остановки под водой. Короче говоря, без помощи водолазов спастись почти немыслимо. И это хорошо знали подводники с лодки, беспомощно торчавшей на дне моря.

Командир, исчерпав все возможности всплыть, твердо решил не выпускать людей, а ждать помощи, ждать, пока их найдут и спустят водолазов.

И водолазы появились. Во главе их был старшина водолазной команды лауреат Государственной премии мичман Николай Иванович Баштовой.

Человек это выдающийся. Впервые я услышал о нем на спасательном судне, которым командовал Никифор Иванович Балин. Я попросил Балина рассказать о работе водолазов.

— Ну что говорить о них...— развел он руками.— Ничего нового сказать не могу. По книгам и кинокартинам широко известно, что водолаз живет в удивительном и чудесном мире. Он видит неповторимо красочное подводное царство: причудливые рифы, удивительные растения, фантастических рыб и животных. Легко, как мячики, перепрыгивают со скалы на скалу почти невесомые в воде люди в скафандрах, как воздушные шары поднимаются со дна моря на высокие палубы затонувших кораблей, спускаются в лабиринты кают и кубриков, отыскивают сокровища, раскрывают тайны. Ведь так вы представляете себе работу водолаза? — улыбнулся он.— Понимаете, у нас часто любят показывать все в голубом свете, увлекаются только романтикой. И металлурги и шахтеры иной раз описываются так, что только диву даешься: как легко, оказывается, варить металл и добывать уголь.

Никифор Иванович вдруг резко встал и заходил по каюте.

— Вы видели фильм «Командир корабля»? Посмотрит такой фильм любитель легкой жизни и скажет: «Вот бы куда устроиться — ни забот и ни труда. Море, гитара, работать не надо... Красота... Не жизнь, а сказка».

Вот так и с водолазами. Только одну сторону жизни описывают — романтическую. Представляют их эдакими

подводными туристами. Почему-то никто не говорит о том, что работа водолаза ежеминутно связана со смертельным риском и очень тяжела физически. Кроме умения ходить под воду, надо овладеть еще добрым десятком специальностей. И не кое-как, а на высокий разряд. Водолаз должен быть очень опытным такелажником. Он должен уметь вязать под водой сложнейшие узлы из стального троса, иначе не поднять ни затонувшего корабля, ни торпеды. Он должен быть квалифицированным сварщиком, ибо под водой производится сложная сварка. Он должен уметь работать молотком и зубилом, напильником и автоматическим инструментом. Он обязан быть опытным минером, иначе подорвется на первой же мине. Трудно даже перечислить все качества, которыми должен обладать водолаз.

Никифор Иванович ходил по каюте и говорил словно сам с собой.

— Ну как рассказывать о водолазе? — снова развел он руками.— Понимаете, это целый мир, это надо видеть. В глубине моря у него много дел вне зависимости от того, начал он выполнять задание или нет. С палубы корабля за ним тянутся сигнальный конец, то есть толстый канат, и воздушный шланг вместе с телефонным кабелем. Водолаз должен внимательно следить, чтобы они не запутались, чтобы не зажало где-нибудь шланг, иначе прекратится подача воздуха. Надо поминутно нажимать головой клапан, вентилировать скафандр, иначе можно отравиться углекислым газом. Но выпустить много воздуха нельзя, потому что вода раздавит. И лишний воздух нельзя держать — водолаза выбросит наверх, как надутый мяч.

Под водой трудно идти. Труднее, чем против очень сильного ветра, потому что плотность воды в семьсот семьдесят пять раз больше плотности воздуха. И еще потому, что велико давление воды. Чем глубже опускается водолаз, тем сильнее сжимает его вода. В скафандре и в организме водолаза по мере погружения тоже повышается давление. Оно уравновешивается. Но равновесие надо точно соблюдать. Если в скафандре окажется лишний воздух, водолаз обретет положительную плавучесть и его выбросит наверх. Но до поверхности он не долетит. Где-то не выдержит и лопнет скафандр, распираемый изнутри воздухом, и человек камнем полетит на дно, потому что на нем несколько пудов груза.

Идти грудью вперед почти невозможно. Водолазы хо-

дят боком. Странное противоречие: человек вместе со скафандром в воде очень легок, но внутри скафандра он скован. Точно свинцовый в воздушном шаре. Об этом никто не пишет. И вообще странно: профессия летчиков-испытателей, например, справедливо овеяна славой. Любой школьник скажет, что это люди непревзойденной отваги, выдержки, воли. Каждый метр отвоеванной высоты на новой машине приносит им заслуженное признание и почет. Имена летчиков-испытателей знает народ.

А что вы слышали о водолазе-испытателе? О таком, например, как Николай Баштовой? Он спускается на глубины, где никогда еще не был человек, спускается в скафандре новой конструкции. Он осваивает и новую конструкцию, и недосягаемые ранее глубины. А ведь морские глубины не терпят вторжения человека. Вечный, непроницаемый, как броня, мрак и леденящий душу холод окутывают его; исполинские силы воды, будто готовый схватиться бетон, сжимают тело и словно выжидают малейшей оплошности, чтобы расплющить это чужеродное тело, перевернуть вниз головой или выбросить на поверхность, разорвав легкие. В его легких не воздух. На таких глубинах воздух задушит человека. И Баштовой дышит газовой смесью, которую придумали ученые, и испытывает на себе эти газы.

Летчик-испытатель стремится достичь новой высоты на новой машине. Для водолаза новая глубина и новая конструкция скафандра только часть дела. На дне моря он должен еще и работать. Принимая на себя гигантские перегрузки, рассчитывая любое движение, чтобы не погибнуть, он должен одновременно выполнить задание, во имя которого спустился. Ведь просто наблюдать морское дно можно без особого риска и неудобств из батисферы или других снарядов, специально для этого созданных. Водолаз не может только наблюдать. Он вступает в борьбу с могущественными силами воды, чтобы отвоевать жизни и богатства, которые притянет морское дно.

Во всех странах, связанных с морем, идет непрерывная борьба за освоение глубин. Каждый отвоеванный у моря метр имеет огромное значение: в интересах науки, для подъема затонувших богатств и прежде всего для спасения людей. Известно немало случаев, когда экипажи подводных лодок, в частности американских, находясь на не освоенной для работы глубине, гибли. Ведь достигнуть определенной глубины еще не значит освоить ее. Сущест-

вует неумолимая зависимость: чем больше глубина, тем меньше времени может находиться там человек. Освоить глубину — значит получить возможность там работать. А если у человека для этого две-три минуты, а потом долгие, изматывающие часы подъема,— какая же это работа?

Опытные водолазы спускаются на такие большие глубины, где могут находиться одну-две минуты, ничего не делая, буквально ни одного движения. А покажется иному, будто хватит сил для того, чтобы сделать несколько шагов, поднять что-либо с грунта,— и потеряет человек сознание. В таком положении едва ли его поднимут живым, ибо подъем должен проходить с многочисленными остановками и длиться до десяти часов.

На иной глубине водолаз может работать в течение нескольких минут, но очень медленно. Сделает два-три резких движения — и тот же результат: потеря сознания.

Работа водолаза,— продолжал свой рассказ Никифор Иванович,— это тот редчайший вид работ, где угроза смерти или тяжелого увечья одинаково реальна как в мирное, так и в военное время. Это люди, для которых вся жизнь — война. Особенно для испытателей морских глубин.

Мне хотелось подробнее расспросить Балина о Баштовом, но пришел вахтенный офицер и сообщил, что получен приказ о начале учений. Надо немедленно выйти в море на спасение «затонувшей» подводной лодки. Балину сообщили координаты места, где обнаружен аварийный буй. Через два часа мы его увидели.

Удивительно красив этот буй. Яркие полосы красного, синего, желтого и белого лака переливались на голубых волнах, и с трудом верилось, что это сигнал страшного бедствия. Уж очень невинный и радостно-праздничный у него вид. А возможно, так казалось потому, что это был сигнал не подлинного бедствия, а учебной тревоги, и лодка, выпустившая буй, могла в любую минуту всплыть самостоятельно.

Вот такой же красивый буй выпустила и та лодка, с которой случилось несчастье. Как только стало известно, что она не вернулась на базу, начались поиски. Низко над морем летали самолеты, бороздили воду быстроходные корабли специального назначения. Аварийный буй обнаружили довольно быстро. К нему устремилось спасательное судно, где старшиной водолазной команды был мичман Николай Иванович Баштовой.

Корабль застопорил близ буя. Шлепнулась о воду шлюпка, в которой уже сидели шесть матросов и лейтенант. Рванули весла. Прыгая на крутых волнах, пошли к бую.

Его не сразу ухватишь. Когда шлюпку поднимало на гребень, он проваливался вниз. Но вот уже накинули на него петлю, прижали к шлюпке, лейтенант открыл крышку и поднял телефонную трубку. На всю лодку раздался сигнал.

Может ли быть для людей, замурованных на дне моря, звук сладостней этого обычного телефонного зуммера! Торжествующее «ура» огласило отсеки и заглушило слова командира, ухватившего телефонную трубку. А в следующий момент все замерло.

— Прежде всего — воздух! — сказал командир.— Даже загрязненного углекислотой воздуха, который у нас остался, хватит не больше чем на два часа. Во-вторых, теплая одежда.

Командир сообщил глубину, на которой лежала лодка, и ее положение на грунте. И эти данные были неутешительными.

Радость людей от того, что лодка найдена, поблекла. Опасность для жизни подводников не только не миновала, а со всей неумолимой очевидностью встала перед спасателями. Самым простым, на первый взгляд, казалось спустить водолазов, застропить лодку и мощными буксирами вырвать ее со дна морского на поверхность. Но так только казалось. Людям под водой осталось дышать два часа. Лодка находилась на такой глубине, где водолазы долго работать не могут. И быстро не могут. Любое движение требовало от них огромного напряжения всех сил. Обстановка на дне моря была неизвестна. Могло встретиться много непредвиденных препятствий. Принять этот план — значило рисковать безрассудно.

Оставался единственный выход: дать людям воздух, теплую одежду и все необходимое для жизни, а потом начинать работы по подъему лодки. Но и подобный план не радовал. Не так просто все это сделать за два часа. Предстояло прежде всего поставить спасательное судно точно над лодкой и закрепить его в открытом море неподвижно. Отдать якоря судно не могло из-за опасности протаранить лодку. Приняли решение: на определенном расстоянии от спасателя сбросить на якорях две швартовые бочки, поставить на якоря два эсминца, расположив их

так, чтобы бочки и эсминцы образовали четыре угла огромного воображаемого прямоугольника, в центре которого находился бы спасатель. Затем подать к ним со спасателя четыре стальных троса — два с кормы и два с носовой части,— натянуть их, чтобы они намертво закрепили спасатель на одном месте, над лодкой. Только после этого можно было спускать водолазов с воздушными шлангами.

Подготовительную работу моряки выполнили с необычайной быстротой. Еще только обсуждался план работ, но по боевой тревоге к месту аварии неслись эсминцы, специальные катера устанавливали на якорях бочки, другие суда тянули к ним со спасателя стальные тросы. В самом начале работ буй подняли на спасатель и сообщали на лодку, что делается наверху.

Как ни быстро работали моряки, но, когда подготовительные работы были закончены, все поняли, что для водолазов осталось слишком мало времени. Все труднее дышать становилось подводникам, все сильнее насыщался воздух углекислым газом. Теперь по приказу командира моряки лежали в отсеках не шевелясь, чтобы не растрачивать силы.

Шансов на спасение оставалось мало. Это понимали и спасатели и подводники. Понимал это и старшина водолазной команды мичман Баштовой. Хотя его люди еще не имели возможности приступить к работе, но состояние у него было такое, будто все моряки вокруг — с эсминцев, с бесчисленных катеров и кораблей, собравшихся у места аварии,— выполнили свой долг и только водолазы сидят без дела. И если погибнут подводники, значит всей своей тяжестью вина ляжет на водолазов.

Он знал: формально никто не станет предъявлять к ним претензий, потому что немыслимо в такой срок подвести воздух на лодку на дне моря, обстановка вокруг которой еще неизвестна. Но от этого легче не было. Он не мог избавиться от ощущения собственной вины. В самом деле, подводники еще живы, и останутся они жить или погибнут, зависит от водолазов.

Грустные мысли прервал командир. Он собрал водолазов и сказал:

— Катера уже потянули тросы к эсминцам и бочкам, скоро начинать вам. Теперь все зависит от вас. На вас смотрит флот, страна.

Он долго еще говорил про это, и от его слов еще горше

становилось на душе. Каждый водолаз и сам видел, что катера уже потянули тросы, и понимал обстановку, и любые слова казались казенными, ненужными.

Баштовой приступил к действиям. Чтобы лучше разобраться в них, надо подробнее рассказать о нем самом.

КРИК ИЗ ГЛУБИНЫ

В матросском клубе девушки танцевали с водолазами. Парни были сильные и широкоплечие. Но и среди них выделялась фигура Николая Баштового. Новая форменка обтягивала грудь. Точно шлифованные лопасти, выпирали на спине косые мышцы. Он стоял у колонны, заложив назад руки, привыкшие вязать морские узлы из корабельных стальных тросов. Брови большие, черные.

— Что ж не танцуете, моряк? — смеясь спросила Верочка, одна из стайки девушек, проходивших мимо Николая.

— Не умею.

Остаток вечера Николай набирался храбрости. Когда стали расходиться, Вера задержалась у зеркала, и Николай ринулся к ней — будь что будет!

На следующий день они пошли в кино. Потом Вера учила его танцевать. После шестой встречи он сказал:

— Ухаживать я не умею, сама видишь. Давай поженимся.

Верочка рассмеялась, хотя шутка ей не понравилась. Потом поняла, что он говорит серьезно, и испугалась.

— Дурехи девки,— укоризненно сказал Николай.— Когда всякие пижоны их обманывают, они млеют, развесив уши, и верят. А если от всей души морской — подвоха ищут.

— Ну как же можно так скоро! — возмутилась она.— А если характерами не сойдемся?

— Про характер это специально для разводов придумывают. Я, например, с личным составом всего корабля сошелся характером. А тебя целая фабрика любит. Что же нам друг перед другом характер выказывать?

Она поверила. Поверила этим ясным глазам. Спустя несколько дней пошли в загс. Служащий просмотрел их документы, записал фамилии в какие-то книги и сказал:

— Вам дается три дня для последних размышлений. Если ничего у вас не изменится, приходите. Оформим законный брак.

Они не знали о таком порядке.

— Вот что,— обрадовалась Верочка,— давай эти три дня не встречаться. Пусть каждый из нас подумает наедине с собой.

Она понимала, что «испытательный срок» ничего не изменит в решении Николая. Мысли у него ясные и простые, все обдумано и крепко, как крепок он сам. События, неожиданно и резко изменившие ее жизнь, пугали, но она верила в хорошее. Полагалась уже не так на себя, как на него. С ним не будет страшно. Но в душе словно царапало что-то: уж очень все молниеносно, прямо перед людьми совестно. И она обрадовалась этим трем дням. Они как бы государственная проверка, после которой можно со спокойной совестью идти в загс.

Условились встретиться на четвертый день в двенадцать часов. Она говорила:

— Если ты передумаешь, ничего не надо объяснять. Просто не приходи. А если меня к двенадцати не будет дома, тоже не ищи и ни о чем не спрашивай.

Николай слушал, улыбаясь.

За пятнадцать минут до назначенного срока три подруги, помогавшие Вере убирать комнату, расцеловали ее и убежали, чтобы не встретиться с Николаем: в этот торжественный момент они должны быть только вдвоем.

Вера была в белом платье. Она посматривала на часы и волновалась. Но ей не хотелось, чтобы он пришел и раньше времени. Пусть ровно в двенадцать. Пусть полностью истечет срок.

На следующий день, смущенная, растерянная, каким-то безразличным тоном сказала подругам:

— Передумал... Это его право... На то и давались три дня.

Она не плакала. Ее успокаивали: человек военный, могли задержать по службе, может быть, завтра придет.

Он не пришел ни завтра, ни на следующий день. Вера решила уехать в Белгород к матери. Пошла в райисполком за какой-то справкой. Долго ходила по незнакомым коридорам. Забрела не на тот этаж. Остановилась, пораженная, увидев на двери надпись: «Депутат Севастопольского горсовета Николай Иванович Баштовой принимает избирателей по личным вопросам в первую среду каждого месяца от 5 до 9 часов вечера».

Не могла оторвать глаз от таблички.

— Сегодня приема нет,— услышала чей-то голос.

— Кто этот Баштовой? — выдохнула она наконец.

— Как — кто? Депутат... Водолаз, член партийного бюро части.

Держась за стены, Вера спустилась вниз.

«Значит, не передумал, а просто не собирался жениться. Иначе не скрыл бы своих чинов и званий. Как же принимает он «по личным вопросам»? Какое право на это имеет?»

Она рассеянно шла, никуда не глядя, и уже у своего дома, завернув за угол, остановилась пораженная. Навстречу ей, качаясь из стороны в сторону и балансируя руками, шел Баштовой, едва удерживая равновесие. Бескозырка была сбита набок, волосы лезли на мутные остекленевшие глаза.

Увидев Верочку, он рванулся к ней и еще издали заплетающимся языком заговорил:

— В-верочка... пон-нимаешь...

С Баштовым поравнялась машина и резко затормозила. Из нее выскочили морской офицер и два матроса с красными повязками на рукавах: военный патруль.

— Вот он, голубчик,— сказал кто-то из них.

Верочка прижалась к стене. Ей слышно было, как Николай пытался доказать, будто он не пьян, она видела, как моряки взяли его под руки и втащили в машину.

Что же случилось с Баштовым?

Почему не пришел он в назначенный час?

Все свои двадцать три года он прожил честно. Еще совсем мальчишкой стал взрослым, потому что шла война. Мужчин в селе не осталось. Он просился на фронт, его не пускали: молод. Но настало время, когда сказали: приходите с вещами.

Николай попал в запасный полк, в роту противотанковых ружей. Мучительно долго текли месяцы учения. И вот наконец полк погрузился в вагоны.

Эшелон приближался к фронту.

На остановках Николай бродил по перронам незнакомых станций, на продпункты шел не торопясь, как бывалый воин. Раненым, возвращающимся домой, безразличным тоном солидно говорил: «Да вот на фронт едем».

На какой-то станции выдали автоматы. Значит, теперь близко. Поезд шел по чужой земле. Все чувства смешались: собственное достоинство, гордость, что-то огромное, захватывающее и где-то, казалось, за пределами соз-

нания,— тревога. Но она заглушалась свершившимся: едет на войну.

Сколько читалось о старых войнах, о подвигах в этой войне. Но то была лишь романтика, далекая от его жизни. Теперь в руках автомат и все реже остановки эшелона. В голове какая-то смесь из книг Толстого и Николая Островского, но все это неотчетливо, неясно. Он не вспоминал произведений, но когда-то прочитанное всплывало как собственные туманные мысли. Это были даже не мысли, а ощущение, будто заполнен он чем-то, все его существо стало другим, и весь он другой. Он знал, что совершит подвиг и этот момент близок.

На прифронтовой станции эшелон загнали в тупик и объявили: война окончилась.

Великое всеобщее ликование захлестнуло его, но к этому радостному чувству примешивалось что-то обидное. Будто прав особых на эту радость не было. Не было его доли в победе. Теперь уже не свершить подвига.

Запасный полк отвели на переформирование. Тех, кто отслужил свое, отправляли домой, а новичков — кого куда. Желающим предоставляли возможность идти в военные училища. В полк приехал капитан-лейтенант, который сообщил, что объявлен набор в водолазную школу. Он никого не агитировал, а просто рассказывал ребятам о жизни водолазов. Ничего подобного Николай никогда не слышал.

На дне морей и океанов и поныне лежит несметное количество кораблей. В течение многих веков они гибли от ураганов и штормов, шли ко дну в результате столкновений, их топили в бесчисленных войнах. Только в Северной Атлантике в мирное время ежегодно сталкивается триста шестьдесят судов. Многие из них тонут вместе с ценностями, находящимися в трюмах. В редких случаях эти богатства удается извлечь из морских пучин. Но чем большие глубины осваивает человек, тем реальнее становятся возможности поднимать затонувшие ценности. Вот почему все страны мира — ученые и практики-водолазы — ведут неустанную борьбу, отвоевывая у моря все новые глубины.

В двадцать первом году, столкнувшись в тумане с другим судном, затонул английский пароход «Иджипт», на борту которого находились золотые слитки стоимостью миллион фунтов стерлингов. Потребовалось почти пятнадцать лет, чтобы поднять золото. И хотя часть его

осталась где-то в морских пучинах, это была немалая победа водолазов. Удалось спасти золотые слитки на два миллиона фунтов стерлингов и с затонувшего английского судна «Ниагара». Подобных примеров единицы. Тысячи кораблей с богатствами лежат на дне моря и ждут своей очереди. В первой мировой войне было потоплено 178 немецких подводных лодок. А надводных кораблей? А потери всех стран в бесчисленых войнах, какие знает мир? Все это тоже богатства, и покоятся они на дне морей и океанов. С незапамятных времен скапливаются там золото, драгоценности, сокровища мирового искусства и древней культуры. И поныне бесчисленные экспедиции на всех широтах и долготах ищут затонувшие сокровища.

Капитан-лейтенант рассказал ребятам, что в Британском музее хранится уникальное произведение античной древности — фриз Парфенона, поднятый с морского дна. В самом начале девятнадцатого века под благовидным предлогом «сохранить в целости» его разобрал на части и вывез из порабощенной турками Греции английский дипломат лорд Элгин. Судно, куда погрузили этот ценнейший груз, по пути в Англию затонуло. Два года изо дня в день уходили под воду люди, нанятые Элгином, пока не подняли все скульптуры, которые и продал лорд Британскому музею.

На протяжении веков в морских пучинах обнаруживаются все новые произведения античного искусства, затонувшие до нашей эры. Спустя столетие после истории с фризом Парфенона, украденным Элгином, греческий охотник за губками Стадиатис обнаружил в тунисских водах близ порта Махдия множество произведений древнего искусства, затонувших более двух тысяч лет назад.

— Вот как пишет об этой находке знаток подводного царства Патрик Прингл,— сказал капитан-лейтенант и прочитал: — «Достигнув грунта, Стадиатис, все мысли которого были сосредоточены на поисках губок, испугался при виде этих, казавшихся живыми предметов: огромных белых лошадей, то вздыбленных, то лежавших на спине вверх копытами; обнаженных мужчин и женщин белого или бронзового цвета, в большинстве случаев наполовину зарывшихся в ил... В панике он дал сигнал подъема».

Богатства, таящиеся на дне морей и океанов, столь фантастически велики, что сейчас трудно даже представить, какую огромную пользу принесут они человечеству, когда люди освоят большие глубины и смогут находиться

там длительное время. А освоение это идет удивительно быстро. Забегая далеко вперед, скажу, что именно за освоение глубин, на которые еще не спускался человек, Николай Баштовой и удостоился впоследствии звания лауреата Государственной премии.

Совсем недавно казалось немыслимым бурить морское дно и извлекать оттуда нефть. Сейчас этот процесс широко освоен не только у нас, но и в других странах. Люди научились на дне моря плавить металл, воздвигать сложные сооружения, пользоваться там новейшими достижениями техники. Водолазы взрывают под водой стальные входы в кладовые затонувших судов, переборки, палубы, открывая путь к сокровищам. Подводные фото- и киносъемки, подводное телевидение служат не только для удовлетворения эстетических потребностей человека, но и широко используются в аварийно-спасательной службе.

Рассказы морского офицера из водолазной школы открыли перед Николаем Баштовым, имевшим всего четырехклассное образование, и удивительный мир обитателей морей. Оказывается, вопреки множеству описанных в книгах случаев, передаваемых из уст в уста, акула не нападает на человека. Схватка между ними может произойти лишь в том случае, если нападет человек.

Легендой оказалось и все, что Николай знал о страшных осьминогах. Кому из ребят не известно, что осьминог захватывает свою жертву огромными щупальцами, тысячами сосков присасывается к ней и держит, пока не вытянет всю кровь. Вот это как раз и оказалось легендой. Тысячи сосков у осьминога только для того, чтобы удерживаться на отвесных подводных скалах или камнях. И он тоже не нападает на человека, если его не трогать. Бывали случаи, когда осьминог захватывал водолаза, но достаточно было ударить животное между глаз, и беспомощно поникали его щупальца.

Как правило, морские хищники смертельно боятся пузырьков воздуха, выскакивающих из-под шлема водолаза при выдохе. Завидев пузырьки, хищники обращаются в бегство. В худшем случае они могут с опаской наблюдать со стороны, не подплывая к водолазу. Конечно, могут быть, да они и известны, случаи из ряда вон выходящие, когда хищник ведет себя по-другому, но это лишь редчайшие в мире исключения.

Особый интерес у Баштового вызвал рассказ о том, как действуют люди-торпеды. Это не самурайские смертники,

обреченные на гибель вместе со своей торпедой, а водолазы. Еще в первую мировую войну итальянцы Паолуччи и Розетти создали торпеду с двумя отделяемыми магнитными минами замедленного действия. На специальный катер они погрузили свой аппарат, пересекли Адриатическое море и ночью высадились на воду близ югославского порта Пула. Усевшись верхом на торпеду, направились в гавань к австрийскому линкору. И аппарат и диверсанты двигались под водой. На поверхности оставались только головы людей. Диверсанты были одеты в резиновые костюмы с воздушными карманами, и это давало возможность не только без усилий держаться на воде, но и легко управляться с торпедой. Они имели возможность выпустить из карманов воздух или вновь заполнить их, в зависимости от того, надо ли им укрыться под водой или всплыть на поверхность.

На пути к линкору Паолуччи и Розетти встретили массу препятствий. Они перетаскивали свою торпеду через боны и заградительные сети, она тонула, но они извлекали ее со дна и снова двигались к цели. Достигнув линкора, поставили дистанционный взрыватель на полчаса, чтобы за это время уйти в безопасное место, и приложили магнитные мины к днищу судна. Уйти, однако, им не удалось, так как было уже светло и их заметили. Но это не помешало взрыву, который произошел в назначенное время и вывел из строя боевой корабль.

Опыт Паолуччи и Розетти был значительно шире применен во второй мировой войне. Обычно во всех портах ставятся бесчисленные заграждения, которые надежно закрывают вход для вражеского подводного и надводного флота. Закрыть путь небольшой торпеде, сопровождаемой диверсантами, едва ли возможно. Они легко проделывают отверстия в заградительных сетях, без каких-либо усилий обходят мины и другие препятствия, губительные для кораблей. Это обстоятельство и позволило им совершать ряд крупных подводных диверсий во второй мировой войне.

Окончательно Баштовой решил идти в водолазное училище, когда услышал историю «Черного принца».

17 декабря 1923 года по инициативе Ф. Э. Дзержинского была создана «Экспедиция подводных работ особого назначения на Черном море»,— сокращенно — ЭПРОН. Первая поставленная перед ней задача сводилась к тому, чтобы отыскать на дне моря «Черного принца» и, если там

действительно есть золото, извлечь его из морских глубин.

Что же это за «черный принц», о котором ходило немало легенд? Это судно, и отнюдь не мифическое. Во время Крымской войны, как известно, против России выступили Англия, Франция, Турция и Сардиния. На стороне коалиции был еще ряд стран, открыто не участвовавших в войне. Объединенные силы противника устремились к главной военно-морской базе русских — Севастополю. Защитников города было неизмеримо меньше, чем вражеских войск, но севастопольцы удерживали город триста сорок девять дней. Врагу они оставили развалины, да и то находившиеся под обстрелом с северной стороны Севастопольской бухты, куда отошли русские.

В этой войне Россия имела только парусный флот, а противники — моторный. После многомесячной осады русские моряки решили затопить свои корабли, чтобы они не достались врагу. 11 сентября 1854 года корабли были затоплены так, что полностью закрыли для врага вход в Севастопольскую бухту. Вражеский флот вынужден был базироваться в Балаклаве. В начале ноября, не по-крымски в тот год холодном, туда начали подходить многочисленные вражеские суда со снаряжением, боеприпасами и обмундированием. Среди них были американские транспорты и корабли объединенных сил противника.

Спустя две недели о судьбе этих судов сообщала вся мировая печать. «Лионский курьер» писал: «4 ноября на рассвете буря началась проливным дождем при жестоком ветре, который быстро превратился в ураган. К 9 часам после некоторого затишья ветер внезапно перебросило к западу с невообразимой силой и яростью. Вся масса кораблей, загнанная к северу, стремительно понеслась к скалам, где ей угрожало совершенное разрушение.

В Балаклаве восемь больших английских транспортов погибло с людьми и грузом, их разбило об исполинские скалы, окружающие внешний рейд. Ни один из них не мог войти в тесный ход гавани при такой бурной погоде».

Английское адмиралтейство сообщило названия кораблей, нашедших гибель на подходах к Севастополю. Среди них было названо и паровое судно «Принц».

Это оказались только первые ласточки. Со второго по четырнадцатое ноября у Балаклавской бухты затонуло более тридцати вражеских судов. Особенно большой потерей для врага был пароход «Принц», которому еще в те времена в России дали название «Черный принц».

Из многочисленных сообщений печати и официальных данных стало известно, что на борту этого парохода, кроме теплого обмундирования, находилось большое количество золотых денег, предназначенных для выплаты жалованья войскам за длительное время.

Водолазам объединенных сил противника не удалось найти «Черного принца». Почти семьдесят лет спустя, когда задача неизмеримо усложнилась, за это дело взялись и успешно решили его советские водолазы. В том месте, где затонул «Черный принц», глубина доходила до ста двадцати метров. Но судно зацепилось за выступ подводной скалы в шестидесяти метрах от морского дна и застряло там. Водолазы подняли с него ряд деталей, свидетельствовавших, что это действительно «Черный принц». Возможно, золото высыпалось из многочисленных пробоин, полученных судном при катастрофе, и за долгие десятилетия монеты занесло илом и камнями, может быть, покрылись они ракушечником таким толстым слоем, что потеряли всякую форму, но так или иначе время свершило свое дело: найти золото не удалось.

Но работа водолазов принесла неоценимую пользу. С морского дна было поднято много металла и ценных материалов, в которых остро нуждалась страна.

История «Черного принца» на этом не закончилась. Японские официальные органы заявили, что они берутся извлечь золото с «Черного принца» и готовы для этого снарядить собственную экспедицию, оснащенную передовой по тому времени водолазной техникой. Советское правительство приняло предложение, и был заключен контракт, по которому японцы обязались:

1. Оплатить советской стороне все расходы ЭПРОНа, нашедшего судно.

2. Обучить советских водолазов новой технике подводных работ.

3. Передать советской стороне половину золота, которое удастся поднять.

4. Все работы проводить под полным контролем советской стороны.

Японцы выполнили все свои обязательства. Они затратили много времени, сил и средств и золото нашли: семь монет. Спустя много месяцев после начала работ, убедившись в их бесплодности, водолазы прекратили дальнейшие поиски.

Рассказав историю «Черного принца», морской офицер

добавил, что первые самостоятельные спуски молодые водолазы совершают на это судно.

Вместе с группой ребят Николай Баштовой сменил солдатскую форму на тельняшку и морской бушлат.

Учился водолазному делу. На дне моря узнал, что такое война. Он увидел затопленные, изуродованные линкоры, крейсеры, подводные лодки, самолеты, катера, транспорты. Увидел тысячи и тысячи неразорвавшихся бомб, торпед, снарядов. Наших и немецких. Морские мины лежали на грунте, плавали на разных глубинах, на поверхности.

В фантастическом хаосе послевоенного морского дна были свои улицы, переулки, площади, тупики. Были баррикады из якорей, цепей, тросов, обломков.

Черноморские порты и курортные пляжи таили опасность. Водолазам предстояло освободить от пут, оставленных войной, советское побережье Черного моря.

На первое серьезное задание Баштовой пошел с сознанием важности предстоящей операции. На грунте лежала немецкая подводная лодка. Надо было осмотреть ее, определить, в каком положении она находится, насколько занесена илом, какие имеет повреждения. Одним словом, доложить с исчерпывающей ясностью и полнотой обстановку на грунте.

На палубе раздалась команда:

— Водолазу Баштовому приготовиться.

Он надел шерстяное трико, свитер и вязаную шапочку, с трудом влез, как в мешок с узкой горловиной, в огромный водолазный костюм из толстой резиновой ткани. Натянул штанины, встал, прижав руки по швам и четыре матроса с четырех сторон взялись за горловину, толстую, как протектор автомобильной покрышки. Под команду сильными рывками растягивали ее, поднимая вверх, пока не перетащили через плечи. Теперь он оказался по самую шею в просторном костюме и легко просунул руки в рукава. На плечи положили медную манишку, а сверху почти пудовый круглый шлем и прижали его тремя болтами. На груди и на спине закрепили грузы, всунули его ноги в свинцовые галоши, тоже в пуд каждая, затянули ремни, закрутили иллюминатор, привязали нож и фонарь.

— Как слышимость? — раздался в шлеме гулкий голос, похожий на эхо.

— Хорошая.

— Проверьте воздух!

— Хорош! — сказал Баштовой, и это слово через автоматически действующий телефон разнеслось по палубе.

— Приготовиться к спуску! — звучит новая команда.

И вот он уже под водой.

Погода стояла ясная, солнечная, глубина сравнительно небольшая, видимость отличная. Вскоре он сообщил наверх:

— Подо мной метрах в шести лодка.

Он внимательно смотрел на нее и вдруг заметил, что на мостик из люка поднялся человек, должно быть командир. Вслед за ним вылезло человек десять матросов. Открылись крышки торпедных аппаратов, заработали винты, лодка стала медленно подниматься.

Взволнованно, заплетающимся языком он передавал наверх все, что видел. Но на палубе никто не удивился этому невероятному сообщению.

Дело в том, что при повышенном давлении газы, которыми дышит человек, ведут себя предательски. Кислород на глубине более двадцати метров отравляет организм. На большой глубине вдох кислорода может быть смертельным. В лучшем случае человек теряет сознание, а потом долго бьется в судорогах. Кислородное отравление наступает мгновенно, и водолаз не успевает что-либо сделать, не успевает даже сообщить наверх о несчастье. Поэтому величайшая ответственность лежит на человеке, сидящем с наушниками у пульта. Он обязан непрерывно поддерживать связь с водолазом, чтобы уловить момент, когда с тем что-то случится.

Азот под давлением превращается в сильнейшее наркотическое средство. Водолаз, отравленный азотом, поет, что-то бормочет... Перед ним возникают миражи. И он сообщает наверх, будто видит на дне моря дымящиеся домны, эскадры, ведущие бой, и другие небылицы. Водолаз не понимает, в каком состоянии находится. Его охватывает веселье, он становится удивительно легкомысленным и может совершить самый безрассудный поступок. Бывали случаи, что человек в легководолазном снаряжении выплевывал загубник, через который дышал, и через несколько минут умирал.

Услышав странный доклад Баштового, водолазный специалист, наклонившись к самому микрофону, сказал:

— Не беспокойтесь, лодка пройдет мимо.

Он велел поднять Баштового на пять метров и спросил, как тот себя чувствует. Николай ответил, что самочувст-

вие отличное, что видит лежащую на грунте лодку, облепленную ракушками и водорослями, и не понимает, почему прекратили спуск. И этот его ответ был понятен. Как только человека поднимут из сферы, где азот действует отравляюще, он приходит в нормальное состояние. Он не помнит, что с ним происходило.

Так получилось и на этот раз. Трижды спускали Николая к лодке, и трижды возникал перед ним мираж. Спуски пришлось отменить.

Было еще два подобных случая, но с течением времени организм привык к глубинам и галлюцинации прекратились.

Задания, которые он выполнял, становились все сложнее.

На глубине более восьмидесяти метров близ водной спортивной станции и пляжа пионерского лагеря нашли мину. Обыкновенную морскую мину, которая может разорвать стальную броню большого корабля. Баштовому велели приготовить ее к подъему, чтобы потом отбуксировать эту опасную штуку от людного места.

Водную станцию и пляж временно закрыли. Кое-кто был недоволен. «Куда смотрят люди,— говорили они,— и как допускают, что до сих пор на пляже мины».

Те, кто так говорил, были неправы. Они просто не знали, что такое морская мина. Обнаружить в воде металл легко. Но металла много. На дне остались железные и стальные части затопленных кораблей не только времен второй мировой войны, но и периода прошлых войн. Осталось много обломков, якорей, цепей. И приборы будут все время показывать присутствие металла. Значит, приборами мину не найдешь. Ее легко уничтожает тральщик. Заденет мину тралом — вот и конец ей.

Так может быть. Но не всегда. Есть мина хитрее и умнее. Ее аппаратная часть недаром напоминает внутренности мощного радиоприемника. Там столько цветных проводков, что в них сам черт ногу сломит. И не зря их понацепляли. Через них идет ток к приборам срочности и кратности. Скажем, установили срок взрыва год — и раньше не взорвется. И трал не поможет. А когда истечет срок, начнет действовать прибор кратности. Пройдет, скажем, тральщик раз пять, все дно переворошит, можно бы считать район свободным от мин, а у мины, оказывается, кратность — одиннадцать. Значит, еще пять кораблей

пройдут над ней невредимыми, а одиннадцатый она взорвет.

Как же искать мины? Пройти со щупом каждый квадратный метр морского дна на протяжении тысяч километров? Да и то не всегда найдешь. Морское дно не бетонная дорожка. Там, где сегодня яма, завтра может оказаться бугор, а под ним — мина.

Баштовому приказали приготовить мину к буксировке. Пока она лежала на палубе или в трюме какого-то корабля, ее свинцовые рога были покрыты стальными предохранительными колпаками. В маленькой открытой коробочке на ее теле поршенек с пружинкой прижимал кусочек сахару. Обыкновенного, какой кладут в чай. Когда мину сбросили в воду, сахар растаял. Поршенек уперся в кнопку, привел в действие весь предохранительный механизм — и стальные колпаки прыгнули в разные стороны. Остались чувствительные и податливые свинцовые рога. Ткнутся они во что-нибудь — и сломаются внутри них тончайшие стеклянные колбочки. Все. Взрыв.

Мина послушна. Но только тому, кто ее снаряжает. Захотят — она будет плавать на поверхности. Могут заставить ее встать на любой глубине или лечь на грунт.

Мина Баштового лежала на грунте. Значит, так хотели те, кто бросил ее туда.

И вот теперь с ней надо что-то делать. Подходить со стальным или железным инструментом нельзя. Она может быть магнитной. Не успеешь прикоснуться, как возбудится магнитное поле — и взрыв.

На Баштовом был антимагнитный костюм. Это еще не означало, что можно смело подходить к мине. Она могла быть звуковой. Стукнешь случайно чем-нибудь о камень или заденешь ее свинцовой галошей — наверняка взрыв.

Баштовой приблизился к мине бесшумно, подождал, пока осел ил. И все равно видны были только ее очертания. На глубине ведь темно. Свой мощный фонарь он не взял. Ни к чему. Мина может быть световой. Она не вынесет даже тусклого лучика и взорвется.

Едва прикасаясь к металлу, ощупал всю поверхность и обнаружил крохотный экранчик. Так и есть — световая. Начни поднимать ее, она, не дойдя немного до поверхности, где-то в верхних слоях воды, восприняв свет, бабахнет, и все.

Баштовому спустили с водолазного судна специальный

состав, и он замазал экран. Подождал немного и для верности покрыл его вторым слоем. Только тогда потребовал фонарь.

Мина глубоко сидела в грунте, и, что таила скрытая часть, было неизвестно. Стало ясно лишь, что кольцо, которое для того и делается, чтобы за него зацепить трос, находится снизу. Он долго разрывал руками грунт и убедился, что никакие новые неприятности его не ждут. Оставалось застропить мину мягким канатом, завязать этот шар так, чтобы канат не сдвинулся и не коснулся рогов, когда рванут мину вверх. Баштовой и это сделал. Второй конец короткого каната прикрепил к резиновому ненадутому понтону, который лежал пока на грунте в нескольких метрах от мины. Когда все было сделано, Баштового подняли на палубу.

Медленно стали накачивать воздух. Уже, казалось, понтон надут, но мина держала его. Компрессор гнал воздух. Понтон набрал максимальную мощность и вырвал ее из грунта.

Понтон плавал на воде, а под ним висела мина. И снова Баштовому пришлось идти к ней. Он проверил стропку, привязал к понтону трос от буксирного катера. Все. Теперь водолазу здесь уже нечего делать. Мину уволокут на буксире куда-нибудь подальше, и минеры что-то с ней сделают. Может быть, взорвут, а возможно, вытащат на пустынный берег и разберут.

Баштовой научился работать с минами. Он знал: морская мина, как и противопехотная,— всегда тайна. Только в пять тысяч раз больше ее взрывная сила; только ощупывать ее надо во мраке, бесшумно; только ложась возле нее, чтобы ощупать низ, надо не забывать, что тебя может перевернуть вверх ногами; только работать надо скованными, онемевшими руками, в громоздком костюме, увешанном грузами, и не забывать вовремя прибавить или убавить дыхательной смеси, чтобы не задушило и не выбросило наверх.

Баштовой поднимал корабли, бомбы, торпеды. По цвету воды научился определять глубину, на которой находится. Он мог передвигаться в нескольких сантиметрах от грунта, не ступая на него, чтобы не потревожить ил. На дне моря провел несколько тысяч часов, исходил немало километров: Феодосия, Керчь, Поти, Ялта, Сухуми, Батуми, Севастополь... Он узнал все глубины, рифы, профили грунта. Он знал теперь морское дно как соб-

ственный поселок. Он стал непревзойденным мастером морских глубин.

Вот тогда-то Николай и решил жениться на Верочке. За день до назначенной встречи ему предстоял спуск под воду, а следующие два дня были свободными. Он знал, что не опоздает и ровно в двенадцать приедет к ней.

Под водой ему предстояло найти и обследовать затопленный теплоход «Серов». В том месте, где его спустили, корабля не оказалось. Куда идти — неизвестно. Он искал долго. Срок пребывания на грунте кончался. Ему не хотелось возвращаться ни с чем. Сам не зная почему повернулся и пошел в другом направлении. Вскоре показалось, будто с той стороны, куда он двигался, нависла огромная тень. Пошел быстрее, хотя сил оставалось мало.

Водолазы не переносят под водой ни тени, ни звука. Это, как правило, связано с неприятностями. Это значит, что появилось что-то постороннее, и водолаз будет нервничать и настороженно искать, пока не найдет источник звука или тени.

Озираясь, Баштовой двигался навстречу тени. Неожиданно выросла перед ним громада, и он отчетливо увидел надпись: «Серов».

Теперь, казалось, можно подниматься. Но он попросил разрешения влезть на палубу затонувшего судна и закрепить там конец, чтобы для других водолазов это была направляющая прямо на «Серова».

Он прибавил в скафандр воздуху. Ровно столько, чтобы стать невесомым и легко всплыть. Прибавишь чуть-чуть больше — выбросит наверх.

Всплывая на палубу, следил, чтобы ноги на миг не оказались выше уровня головы. Это почти всегда смертельно: воздух устремится в штанины, грузы на спине и груди потянут вниз и его перевернет вверх ногами. Он успеет сообщить о несчастье на корабль, но быстро поднять его не смогут: это наверняка смерть. Чем больше давление, тем больше газов растворяется в тканях и крови. Если быстро поднять человека, газы в виде шариков рванутся из организма, как из открытой бутылки шампанского. Но выхода у них нет. Они закупорят, разорвут кровеносные сосуды.

Он благополучно взобрался на палубу «Серова», очень торопливо, но накрепко привязал стальной тросик к какому-то поручню и потерял сознание.

Очнулся от сильного звука. Это радист, наклонившись

к микрофону, кричал: «Баштовой, Баштовой, почему не отвечаете? Что случилось?»

Николай спокойно сказал:

— Ничего не случилось. Готов к подъему.

Во время подъема еще раз на короткое время терял сознание. Это был результат перегрузки от быстрых и резких движений.

На палубе его положили в декомпрессионную камеру на сутки. Она похожа на барокамеру, какой пользуются летчики. Но там сильно разреженный воздух. Там устанавливают давление ниже атмосферного, какое было на большой высоте, и постепенно сводят к нормальному. Здесь, наоборот, сначала воздух сжимают до такого давления, какое испытывал водолаз на самой большой глубине, а потом на протяжении многих часов снижают до атмосферного.

Баштовой решил, что не опоздает к Верочке. Когда истек срок пребывания в камере, врач осмотрел его и велел остаться еще на двенадцать часов. Протесты Николая не помогли.

Как же ему теперь быть?

Баштовой сбежал с судна. Решил повидаться с Верой и тут же вернуться. Но по дороге начался приступ кессонной болезни. Это профессиональная болезнь водолазов, являющаяся результатом больших перегрузок под водой. Она доставляет человеку мучительную боль в костях, а внешне он становится похожим на пьяного. Его качает из стороны в сторону, и говорит он заплетающимся языком. В таком состоянии его и увидела Верочка возле своего дома.

В военной комендатуре, куда доставили Николая, недоразумение быстро выяснилось, и его отвезли в госпиталь. Оттуда и получила от него записку Вера, за два часа до отправления поезда, на котором собиралась уехать из Севастополя.

Они поженились.

Николай вернулся к работе. Принимал участие в подъеме крейсера «Червона Украина», крупных судов «Грузия», «Абхазия» и других. Он мастерски владел электрическим и пневматическим инструментом, техникой сварки и резки металлов под водой, знал все виды подъемных и глубинных работ. Он перешел в высшую категорию, стал водолазом-испытателем.

Когда затонула подводная лодка и жизнь людей ока-

залась под угрозой, на их спасение прежде всего направили судно, где старшиной водолазной команды был Баштовой. Он же исполнял обязанности секретаря партийной организации. Перед тем как пустить под воду своих людей, он никакого инструктажа им не дал, не сказал напутственного слова. Сказал одну фразу:

— Углекислота на лодке приближается к трем процентам.

А что им говорить еще! Под воду пошли мастера глубин, такие же, как и сам Баштовой. Каждый из них за свою жизнь провел на дне морей и океанов не одну тысячу часов и смерть знал в лицо. Какие же им слова говорить, какие давать инструкции! Они знали: три процента углекислоты в воздухе — это смертельная граница. Значит, люди вот-вот начнут задыхаться.

Водолаз Анатолий Шведов нашел на дне лодку, постучал по корпусу, чтобы экипаж знал: водолазы действуют. Быстро закрепил направляющий тросик, по которому прямо к лодке спустилась группа водолазов с массивными шлангами подачи и отсоса воздуха. Открыли лючки и заглушки, соединили с лодкой шланги, сообщили наверх: готово!

Заработали насосы, надулись шланги. Ринулся в лодку могучий поток свежего воздуха. Со свистом втягивались в другой шланг отравленные газы и вылетали на поверхность.

Это была первая, решающая победа. Это — жизнь. Лодка находилась в таком положении, что стало ясно: для подъема потребуется много времени. Обстановка осложнялась начавшимся ветром.

На лодку передали по телефону команду: извлечь торпеды из аппаратов, закрыть внутренние крышки и открыть наружные.

В специальных, герметически закупоренных пеналах водолазы опустили в торпедные аппараты горячее какао, спирт, необходимые продукты и теплое белье. По их команде из лодки закрыли наружные крышки и открыли внутренние. В лодку хлынула вода, увлекая за собой пеналы.

Теперь можно было спокойно готовиться к подъему лодки. Правда, спокойствие относительное, так как ветер усилился. В двенадцать тридцать ночи страшным порывом оборвало воздушные шланги и телефонный кабель от буя. Связь с лодкой прекратилась. Но это была не катастро-

фа: экипаж подводного корабля имел теперь все необходимое для длительного пребывания на грунте. В районе спасательных работ появились крейсеры и встали, как волноломы, образовав искусственную бухту. Водолазы снова пошли на грунт, снова подвели шланги, восстановили связь. Они работали безостановочно, сменяя друг друга, пока могучие буксиры не вырвали лодку на поверхность.

Через несколько дней разыгралась трагедия, которую никто не мог предусмотреть.

Утром Николай ушел на свой корабль, сказав Вере и шустрому Сашке, что вернется на следующий день. Не знали они, жена и сын, что не вернется он ни завтра, ни через неделю, ни через месяц.

Баштовому предстоял спуск на очень большую глубину. Находиться в воде надо было не меньше шести часов. Он одевался на палубе, весь мокрый от нестерпимого солнца. Надел две пары толстого шерстяного белья, сверху меховой жилет и длиннющие меховые чулки. Матросы помогли натянуть тяжелый костюм глубоководника.

Он шагнул на специальную раму, сел на отведенное для него место. По другую сторону рамы сел второй водолаз — Сергей Рыков.

На раме укреплен колокол. В нем и произошла катастрофа. По форме колокол похож на вертикально поставленную, удлиненную железную бочку, у которой открывающееся внутрь дно, а наверху высокий купол. Когда раму опустят, вода под купол не попадает, хотя крышка внизу будет открытой. Останется воздушная подушка, как остается она в перевернутом вверх дном стакане, если опустить его в воду.

Выполнив задание на дне моря, водолазы сядут на свои места на раме, и начнется подъем. На определенной глубине они поднырнут под колокол, влезут в него, упрутся ногами в железный обруч, на который ляжет крышка, когда ее закроют. С пульта управления, приняв сообщение водолазов о том, что они находятся в колоколе, начнут подавать туда воздух, который вытеснит воду. Тогда водолазы закроют крышку, встанут на нее, открутят друг на друге иллюминаторы, отпустят болты и снимут шлемы. Уже там, на глубине начнется декомпрессия. По мере подъема давление будут снижать. На корабле колокол

подгонят и прижмут к декомпрессионной камере. Откроются внутрь крышки колокола и камеры, и водолазы перейдут в нее, не выходя на палубу.

А пока Баштовой и Рыков сидят на раме.

Раздается команда:

— Приготовиться к спуску!

Взвиваются на мачте флаги: «Под водой люди». Искрится вода на солнце. Море тихое, спокойное, ясное. Только вечные чайки кричат и бьются за жалкие крохи, выброшенные за борт коком. Ухватив добычу, глотая на лету, несутся прочь, а кому не досталось, кружатся, парят, будто просят: дайте, дайте, дайте...

Подрагивая, скользит стрелка на пульте. Глубина 10 метров, 20... 30... 50... Вода обжимает тело. Как резиновыми бинтами, схватило у щиколоток, обтянуло икры, колени. Тугим корсетом стянуло живот, ребра. Каждые десять метров давление увеличивается на одну атмосферу. И на столько же повышается давление воздуха в водолазном костюме, в легких, во всем организме.

По мере погружения Баштовой то и дело слышит:

— Самочувствие?

— Отличное.

Дрожит стрелка: 60... 70... 80... Море сжимает тело водолаза. Не отрывая глаз, следят за давлением у пульта.

...90... 100... 120...

— Самочувствие?

— Хорошее.

...130... 140... 150... Давление в груди Баштового шестнадцать атмосфер. Больше, чем в самом мощном паровозном котле. Такое же давление растворенных газов в крови, в тканях, в сердце.

Вода сжимает тело Баштового с силой в 288 тонн. Стоящий на палубе у пульта искусственно создает в организме Баштового такую же силу противодействия.

Уже не дрожит, уже трепещет стрелка.

Ниже... ниже... ниже...

— Видимость?

— Метр.

Ниже... ниже... ниже...

— Стоп! Стою на грунте.

Разрешение получено, можно приступать к работе. Баштовой подходит к Рыкову, водолазы обмениваются рукопожатием, о чем-то говорят.

Я наблюдал, как разговаривают водолазы на дне моря. Удивительно трогательное зрелище. На дне моря ведь все не так. Человек видит окружающее точно под мутным увеличительным стеклом. Предметы кажутся ближе и больше, чем в действительности. Сравнительно крупную рыбу новичок может принять за акулу. А слышит человек не ушами, а костями. Если водолаз работает молотком, звуки ударов будут слышны стоящему рядом, независимо от того, открыты у него уши или он их накрепко заткнет. Если водолаз будет изо всех сил кричать что-либо на ухо своему напарнику, тот все равно ничего не услышит. Но достаточно им коснуться друг друга шлемами, как звук начнет передаваться, точно электрический ток по проводам.

Когда смотришь, как, прижавшись шлемами, стоят на дне моря водолазы, кажется, будто нежно склонились друг к другу и ласкаются какие-то существа с другой планеты, еще не научившиеся целоваться.

Пожелав друг другу удачи, водолазы приступили к делу. Николай пошел, а Сергей остался на месте. Он обеспечивающий. Он будет держать шланг Баштового, окажет помощь, если что-либо случится.

Николай шагнул в ледяной непроницаемый мрак. Вода бетонного цвета на расстоянии вытянутой руки превращается в железную броню. Будто замурованный. Ни рыб, ни водорослей, ни сказочных красот. Ничего. Небытие.

Баштовой идет. Он очень легок, водолаз, в воде. Вместе с пятипудовым грузом на груди и спине, вместе с галошами он весит не больше четырех-пяти килограммов. Едва оттолкнувшись от грунта, он подпрыгнет на один-два метра. Но уже не бинтами, а гипсом схвачено, сдавлено, сковано тело. Каждая мышца отдельно перебинтована. На большой глубине можно идти со скоростью не больше трехсот метров в час. Но целый час двигаться никто не сможет, не хватит сил.

Баштовой благополучно выполнил задание. Время пребывания под водой истекло, силы иссякли. Он получил приказ подниматься.

Он двигался к раме, стараясь не сделать резкого движения. Возле рамы услышал удар и подумал, что у него начались галлюцинации. Сергея Рыкова на раме не было. В ту же минуту раздался приказ сверху:

— Немедленно проверьте, что с Рыковым. Он не отвечает.

Разбросав руки, лежал близ колокола Сергей. Сил у Баштового прибавилось, он рванул вверх товарища и, когда лица их сблизились, увидел, что во рту у Сергея нет загубника, и понял, что это значит. Николай поднял Сергея так, чтобы голова вошла под колокол, заполненный газовой смесью, и влез туда сам. Теперь Сергею было чем дышать. Но он не вздохнул, не пошевелился.

Баштовой не знал, сколько времени Сергей лежал без загубника, не знал, держит он мертвое тело или человека, но понимал, что его надо держать в таком положении долго, пока не поднимут наверх.

Надо держать его вот так, как сейчас, или немного приподнять, но опускать нельзя ни на сантиметр, потому что вода доходит до груди, а маски нет и, если еще жив человек, он захлебнется.

Предупредив Баштового, сверху начали подъем. Рама двигалась так же медленно, как обычно, и она будет делать такие же бесконечные остановки — только при этих условиях растворенные в организме газы постепенно выйдут через кровь и легкие и не изувечат человека.

Сверху передали совсем ненужные слова ободрения и печальные слова о том, что, пока он на большой глубине, помощи оказать не смогут. Николай знал это сам. На палубе оставались только молодые водолазы, не освоившие еще глубоководного снаряжения, и спускать их сюда — значит просто убивать людей.

Баштовой встал поудобнее, упершись спиной, привалил к себе Сергея так, чтобы его тяжесть приходилась не только на руки, но и на грудь и живот. И когда он выбрал эту удобную позу и прикидывал, как переменит ее, когда замлеют руки, Сергей вздрогнул и изо всех сил ударил Николая свинцовой галошей и головой. Голова стукнулась о колокол, а удар галошей пришелся по кости ниже колена. И хотя этот удар был смягчен одеждой, все равно у Николая затуманилось в голове, он осел и хрипло выдохнул:

— За что?

Это был не то стон, не то глухой крик, но усиленный микрофоном, он разнесся по палубе. Матросы слышали удар о колокол и слышали Баштового, и каждый окаменел на том месте, где стоял. Только телефонист у пульта каким-то не своим голосом кричал:

— Баштовой! Баштовой! Что случилось?

В ответ снова раздался глухой удар, потом частые удары, бормотание, возня.

Хотя в голове у Баштового затуманилось, он все же успел подумать, что нельзя выпускать Сергея, потому что тот может захлебнуться, и даже обязательно захлебнется. А удары сыпались один за другим, и, озлобившись, он приподнялся и сдавил своими железными руками Сергея, и тот перестал вырываться.

— Отвечайте же, Баштовой! Отвечайте! — надрывался телефонист.

— Да замолчи ты! Он в судорогах бьется.

Все поняли, что Рыков отравился кислородом. Понял и Николай. А руки уже ослабли, и Сергей снова стал бить головой и ногами. Изо рта у него шла пена. Николай не мог перехватить рук и взяться поудобнее, потому что вода плескалась у самого подбородка и боязно было уронить человека. Опираться на правую ногу он не мог и не знал, перебита она или нет. Зато головой ему удалось прижать голову Сергея к колоколу. Но когда он почувствовал удар в живот и левое колено, должно быть, съежился, потому что голова Сергея вырвалась.

— Вот проклятый! — выругался Николай и все же встал на правую ногу, так как левое колено совсем отнялось.

Он уже не мог защищаться, и только старался не упасть и не дать Сергею захлебнуться, и все бормотал:

— Не бей... Не бей по голове... Ну, не бей же...

Это бормотание, усиленное микрофоном и специальным устройством для увеличения разборчивости слов и очищения их от посторонних шумов, было отчетливо слышно наверху.

Рвануть бы лебедку на бешеные обороты, выхватить из глубины людей на эту солнечную палубу, на этот широкий морской простор, располосовать одежду, дать им живительный воздух!.. Но он смертелен.

Несется по палубе гул из морской пучины. Солнце в зените. Плещутся на мачте яркие флаги: не приближаться, под водой люди. Море голубое, нежное...

Матросы не могут смотреть на море. Те, кто послабее, уходят вниз, в кубрики, чтобы ничего не слышать. Они молчат и не смотрят друг на друга. И хотя их много и они все вместе, невыносимое одиночество охватывает каждого, и нет сил оставаться в кубрике. Они бредут наверх,

а те, кто был на палубе, спускаются и движутся бесшумно, как немые, как тени. Было мучительно сознавать, что вот на глазах у всех здесь, под кораблем, погибают два человека, а целый экипаж здоровых ребят ничего не может сделать.

Молодые водолазы, не знавшие глубин, подходили к командиру, просили: «Опустите под воду». Он даже не благодарил их за мужество. Это не мужество, а самоубийство.

Посередине юта стояли офицеры.

Командир поднял голову, вопросительно посмотрел на врача.

— Такую нагрузку на глубине человеческий организм выдержать не может,— ответил врач.— Баштовой обязательно потеряет сознание.

Взгляд передвинулся на заместителя по политчасти.

— Могут погибнуть оба,— ответил тот.

Были сказаны четыре короткие фразы: четыре офицера доложили свое мнение. Оно было общим. Никто не произнес страшных слов, но все знали: погибнут оба.

Командир медлил. Будь это не Баштовой, не так мучили бы сомнения. Баштовой находит выходы из самых безнадежных положений. Когда несколько лет назад на большой глубине перевернуло вверх ногами водолаза, гибель казалась неминуемой. Рядом находился Баштовой. Его вес в воде не превышал пяти килограммов. Чтобы поставить водолаза в нормальное положение, требовалось усилие в триста пятьдесят килограммов. Баштовой придумал поразительное инженерное решение для спасения товарища и выполнил его. В безнадежном, казалось, положении был и другой водолаз, потерявший сознание на большой глубине. И здесь Баштовой, рискуя собой, выручил товарища. Казалось, Баштовой все может. Поэтому так трудно было командиру решать вопрос о Рыкове. Но ведь и Баштового надо когда-то пощадить. Сам он умеет удивительно бережно относиться к людям.

Однажды исключали из партии немолодого офицера, начальника склада. Были приведены, казалось, исчерпывающие доказательства его вины. Против исключения был один человек — Баштовой. Он кому-то писал, куда-то звонил, с кем-то встречался.

Член партийной комиссии мичман Николай Иванович Баштовой докладывал.

Слушали капитаны всех рангов, слушали адмиралы.

И всем стало ясно, как изощренно и утонченно обыватели оклеветали офицера.

Как депутат Севастопольского горсовета Баштовой зашел однажды в пещеры, где после войны жили люди.

— Депутат? — неприязненно спросила какая-то старуха.— Вот шею какую нарастил. Небось в депутатской квартире живешь. А мои сыны на фронте погибли, а их детей вы в пещере держите.

— Не виноват я, что не погиб на фронте,— только и ответил Баштовой.

Как объяснить этой убитой горем женщине, что всего три процента жилищ осталось в городе после войны, что сам он живет в крохотной каморке, снимая ее в частном доме.

А спустя некоторое время прямо с заседания исполкома бежал через весь город Баштовой, бежал к пещерам, чтобы скорее сообщить женщине: «Дали!»

...Командиру было трудно принять решение. А репродуктор вдруг замолк. Не слышно стало ударов, но не отвечал и Баштовой. Усилия телефониста ни к чему не приводили. И, словно забыв, что находится на военном корабле и несет службу и рядом стоят командиры, он взмолился:

— Отзовись, Колька! Ну что же ты? Ребята просят.

Баштовой отозвался. Никто не разобрал слов. Что-то прохрипело в микрофоне и умолкло. И тогда к аппарату подошел командир. То ли по четкой, не по обстановке походке, то ли внутренним чутьем матросы все поняли. И без приказа замерли на своих местах по стойке «смирно».

— Мичман Баштовой! — сказал командир.— Немедленно переходите на раму и занимайте свое место!

Баштовой не отвечал. Далеко по правому борту шел белый сверкающий теплоход «Россия», и оттуда неслась записанная на пленку песня Градова. Неслись по морю звонкие, радостные голоса:

Город на вольном просторе,
Город отваги морской,
Город, влюбленный в Черное море,—
Севастополь родной.

...Сергей затих и неподвижно лежал на руках Николая. И это был первый в жизни Баштового случай, когда он уже не надеялся на свои могучие руки. Это не его руки, он их не чувствует, и упадет сейчас Сергей, и захлебнется.

И это было все равно что бросить его в пропасть. Вынести такое Николай не мог. И в последний раз точно судорогами свело мышцы, он приподнял Сергея, опустился на корточки, заняв всю нижнюю часть колокола, и посадил товарища себе на плечи.

— Мичман Баштовой! — зазвенел голос командира.

Но ничего уже не слышал мичман. Посадив на себя Сергея, он лишился последних сил и потерял сознание.

Медленно вращался барабан, наматывая стальные тросы. Медленно поднималась рама, неся на себе два неподвижных тела.

Солнце садилось. Ласкалось о борт бирюзовое море. Неслась песня с теплохода «Россия». «Дайте, дайте, дайте»,— кричали чайки и как безумные уносились прочь.

В квартире Баштового готовились к семейному празднику. Верочка убрала обе комнаты, кухню и балкон и удивилась, когда Сашка с таинственным видом заявил, чтобы к тумбочке отца она не подходила. Мама выпытала, что там отец приготовил для нее подарок. Она обрадовалась, но стало досадно, почему сама она не догадалась сделать подарок мужу. Николай заслужил. Полгода после родов она лежала в постели. Он сам кормил и купал Сашку, сам делал Вере уколы. Университет марксизма-ленинизма не бросил. Ему, как секретарю комсомольской организации, было это не к лицу. Поэтому занимался ночью в те часы, когда Сашка не плакал, или на корабле в свободное от спусков время. И все это еще можно было понять. Но вспоминая тот далекий уже вечер, когда они услышали по радио, что Николай удостоен звания лауреата Государственной премии, она и теперь чувствовала неловкость.

Николаю хотелось в тот вечер сделать для нее что-нибудь хорошее, но было поздно, и даже подарок он не мог купить. Когда все легли и она заснула, Николай бесшумно поднялся, вышел на кухню, поставил на газовую плиту бак с водой. Потом собрал в кладовке белье, приготовленное для большой стирки, и начал стирать. Он стирал смешные Сашкины трусишки, и большие пододеяльники, и ее серое платье, и скатерти. Белое он стирал отдельно и то, что надо было подсинить, подсинил, а что положено было крахмалить, крахмалил. Когда все закончил, было уже светло, и он развесил белье во дворе. Ему надо было уходить в море, и он не стал будить ее,

а оставил записку и в конце написал, чтобы постаралась проследить за бельем, а то пересохнет и трудно будет гладить.

Она читала записку, и ей хотелось плакать. Когда он вернулся, она ругала его, потому что ей было стыдно: соседи видели, как он, лауреат Государственной премии, вешал белье, и смеялись. Он слушал ее улыбаясь, а потом сказал: «Смеяться люди перестанут. Даже над смешным один раз смеются».

Вера решила во что бы то ни стало сделать сегодня Николаю сюрприз. Ей пришла в голову блестящая идея, она развеселилась и, схватив Сашку, закружилась по комнате.

...Когда у Баштового все поплыло перед глазами, он понял: теряет сознание. У него промелькнуло в голове, что своим огромным скорченным телом он загородил выход и Сергею некуда будет падать. И уже потом, когда очнулся Сергей, когда поднялись они так, что стало возможно спустить к ним молодых водолазов, он пришел в себя.

Час сорок восемь минут Баштовой боролся с Рыковым, удерживая его на руках. Срок подъема для вынесенной Баштовым нагрузки был фантастически велик. Но этот срок сильно сократили, он длился девять с половиной часов. Пока шел подъем, Николай сидел на своем месте, а рядом на раме стояли два молодых водолаза и поддерживали его в те минуты, когда он снова терял сознание и начинал бредить.

На палубе его раздели, положили в декомпрессионную камеру, где установили такое же давление, какое было на самой большой глубине. Сорок восемь часов давление снижали, пока не довели до нормального.

За все это время он выпил два стакана чаю и съел несколько сухарей. В камере возле него находился врач, а у маленького окошка все время толпились матросы, чтобы он их видел. И самых веселых посылали в камеру, чтобы они говорили ему что-нибудь смешное.

Когда открыли люк, он не дал себя нести. Он встал на палубе, широко расставив немного согнутые в коленях ноги, и долго нацеливался, чтобы шагнуть, как это делает ребенок, впервые в жизни поставленный на пол. И он пошел, качаясь, рывками, и плотной подковой двигались матросы, протянув к нему руки, чтобы поддержать,

когда будет падать. Так добрался он до своей койки и заснул.

В четыре часа ночи Баштовой проснулся. Ему хотелось есть. Он сел, достал из тумбочки плитку шоколада, развернул и тяжело грохнулся на пол. У него отнялись руки и ноги. Кессонная болезнь началась.

Его подхватили и снова уложили в камеру. Здесь, под давлением, все ожило, но, будто взявшись за ступни, кто-то вывертывал ноги в разные стороны, а руки заламывал назад. Он знал, что это кессонная болезнь, что боль пройдет, поэтому терпел. Она действительно начала стихать и вскоре прошла.

Через сутки открыли люк и Николая увезли в госпиталь. Там вместе с Сергеем Рыковым лечились они долго.

С Баштовым я познакомился в Высшем военно-морском училище. Он теперь учит здесь молодежь.

Много раз я наблюдал, как он спускается под воду или снаряжает на спуск курсантов. Он рассказывает им, что и как надо делать, или экзаменует их. И глаза, и его лицо при этом такие же, как по вечерам, когда разговаривает с Сашкой, проверяя уроки или отвечая на его важные мальчишеские вопросы. Руководитель Баштового контр-адмирал Самарин сказал мне, что Баштовой — гордость Высшего военно-морского училища.

Когда думаешь о Баштовом, легче жить. Ведь таких, как он, много. Просто они скромные и их не сразу замечают.

В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ

Министр морского флота рассказал поразительную историю. Океанский теплоход коммунистического труда «Солнечногорск» подходил в густом тумане к берегам Австралии. На внешнем рейде Сиднея стояли американские, английские, норвежские и другие суда. Сплошной, непроницаемый туман не давал им возможности войти в порт.

Капитан «Солнечногорска» Дмитрий Васильевич Кнаб решил не бросать якорь, а идти к пирсу. Это не был красивый жест или необдуманный, рискованный шаг. Советский теплоход, оснащенный самой современной аппаратурой, с опытнейшими штурманами на борту вполне мог справиться с подобной задачей.

О намерении капитана узнали в порту. К месту, куда должен был подойти теплоход, бросились люди. С причалов, пристаней, складов шли докеры, грузчики, портовые рабочие. Им было интересно посмотреть, как все это произойдет. Собралась большая толпа. Сквозь мутную толщу тумана была видна приближающаяся громада. И когда судно подошло совсем близко и матросы Саша Киш и Володя Скрыпник готовились бросать концы, произошло непостижимое: как по волшебному мановению туман рассеялся. Засветило солнце, будто и в помине никакого тумана не было. И люди увидели белый, сверкающий пароход и полыхающее красное знамя на мачте. Тут же кто-то перевел это длинное слово «Солнечногорск», и все заговорили о том, что советский теплоход привез с собой солнце.

Началось паломничество. Каждый день, с утра и до позднего вечера, вереницы людей двигались к теплоходу. Они осторожно ступали по коврам длинных коридоров грузового судна, заглядывали в жилые помещения, поражаясь тому, что каждый матрос имеет отдельную каюту, поднимались в салоны для отдыха и чем больше осматривали судно, тем больше верили, что этот корабль привез в их страну солнце.

Но, возможно, они только так говорили. Вряд ли многие из тысяч посетивших теплоход могли всерьез принять версию о том, будто солнце привез корабль. Скорее всего им виделась озаренная солнцем страна, откуда пришел этот корабль. Скорее всего так и было, потому что, уходя, люди останавливались у большого портрета Ленина и подолгу смотрели...

Мне предстояло совершить несколько рейсов в далекие страны, и рассказ министра помог решить вопрос, на каком судне идти: на «Солнечногорске».

В Одессу я прибыл в день отхода «Солнечногорска» на Кубу. Каждый раз, когда попадаешь в этот удивительный город, видишь его по-новому. И каждый раз, на каждом шагу — неповторимая атмосфера Одессы. Я сошел с троллейбуса на углу улицы Ленина и Дерибасовской. Продавщица пирожков громко выхваляла свой товар, убеждая прохожих, что даже родная мама и любимая жена не испекут таких вкусных. Подбежала парочка. Юноша взял два пирожка, и, хотя ел он быстро, его спутница поторапливала: «Скорее, опаздываем». Проглотив последний кусок, вытерев бумажкой пальцы, он

бросил ее под дерево, и они уже было пошли, когда раздался голос старичка, стоявшего рядом:

— Э-э, извините, молодой человек, вам эта бумажка больше не понадобится? — спросил он чрезвычайно заинтересованно и с надеждой в голосе.

— Н-нет,— ответил тот с недоумением.

— Большое спасибо,— обрадовался старичок.— Значит, я спокойно могу поднять ее и бросить в урну.— При этих словах он шагнул к дереву.

Надо было видеть, с какой поспешностью и каким смущением рванулся парень за злосчастной бумажкой.

А как можно пройти без улыбки мимо надписи, которую я видел в рыбном магазине № 18 на той же Дерибасовской. Это было длинное полотнище, протянутое от одной стены к другой, с крупными буквами:

«Если вам здесь что-либо не понравилось, сообщите об этом нам. Если вас хорошо обслужили и все пришлось по вкусу, расскажите об этом своим друзьям и знакомым».

А вот пример товарищества, братства одесситов. Хоронили трагически погибшего шофера такси. За гробом шли родные и близкие. На одной из улиц к процессии присоединился товарищ погибшего, тоже шофер такси. Пассажиров у него не было, но он включил счетчик. Потом подъехала вторая машина, третья, десятая... И вот уже бесконечная колонна с шахматными квадратиками заполнила улицу, и, хотя в каждой машине находился только шофер, не было видно ни одного зеленого огонька. Шоферы ехали в такси с включенными счетчиками, за свой счет.

Достигнув того места, где погиб их товарищ, они давали длинный сигнал, и это звучало как салют, как прощание.

Одесса... И встают в памяти корифеи культуры, науки, мастера революции. Одесса... Это Пушкин, Гоголь, Щепкин, Мицкевич, Горький, Леся Украинка. Это Менделеев, Пирогов, Сеченов, Мечников, Филатов. Это Дмитрий Ульянов, Землячка, Воровский, Ярославский, Котовский...

Это город станкостроителей и машиностроителей, тяжелого портового оборудования и химии, строительной, пищевой и легкой промышленности. Это порт, где сходятся мировые торговые пути. Он отложил отпечаток

на всю жизнь города, и редкая семья не связана с морским флотом или с моряками.

Более половины внешнеторгового морского оборота страны падает на Черноморский флот, главным образом на Одессу. Это больше, чем перевозят остальные тринадцать пароходств, вместе взятых, с такими портами, как Ленинград, Таллин, Владивосток... С высоты Приморского бульвара виден весь Одесский порт. Он где-то далеко-далеко внизу, и кажется, невообразимый хаос охватил огромную территорию, кишащую машинами, тепловозами, тягачами. Будто запустили тысячи механизмов и потеряли над ними власть, и они взбесились и бросаются из стороны в сторону и мечутся, едва не сшибая друг друга, и кричат на разные голоса, и зазывают, и плачут, пока не найдут, наконец, выхода и как безумные не умчатся по улицам или по сверкающим нитям железных дорог. И только бесчисленные краны, как исполинские птицы, набрасываются на добычу и клюют и терзают ее, мотая клювами, и кормят своих белых, с раздутыми животами детенышей. А те заглатывают и заглатывают пищу, и она исчезает в их ненасытном чреве, и они не закрывают свои черные пасти, а только покачиваются на волнах, словно требуя: «Еще, еще, еще...»

Ходить по порту страшно. Немыслимое движение в воздухе, на земле, на воде. Штабеля, горы грузов. Стальные клешни «пауков» сгребают и захватывают чугунные чушки, присасываются могучие магниты к тяжелым металлическим конструкциям, зарываются в уголь многотонные ковши, толстые сети захлестывают десятки мешков, цепляются крюки за перепоясанные ящики. И вот уже дрожат, трепещут натянутые стальные тросы и угрожающе несутся в воздухе тракторы, механизмы, фермы, тюки. А под ними кричат локомотивы, звонят автокары, ревут тягачи, гудят самосвалы. И, в первую минуту ошеломленный, вдруг видишь, что это не хаос звуков и движения, не безумная пляска механизмов, а подчиненная воле человека могучая и победная симфония труда. И ты уже захвачен ею, уже весь в ее власти и, как зачарованный, стоишь не в силах оторваться от этой величественной картины.

На теплоход «Солнечногорск» я пришел вечером. Белый, сверкающий в огнях, вытянутый, как эсминец, всем корпусом устремленный вперед, он, казалось, не мог долго стоять на месте. Потому и схватили его стальными

тросами, стреножили канатами. Но еще два часа, и освободится от пут красавец теплоход. Он пойдет через моря, проливы, каналы, вырвется на океанский простор и, совершив трансатлантический переход, ошвартуется у причалов сказочной Гаванны. И снова пересечет Атлантику, чтобы отдать концы у берегов многострадальной Африки.

Четыре месяца мне жить на этом теплоходе. Каждое судно имеет свой характер, свои особенности. Даже корабли, построенные на одном заводе по одному и тому же проекту, плавающие в одних и тех же водах, живущие по единому морскому уставу, имеют свой, отличный друг от друга уклад жизни, свой особый, непохожий на другие, почерк, свои традиции. И как бы ни были похожи они, нет двух одинаковых судов, как и не бывает двух одинаковых людей.

В долгом и дальнем плавании я хорошо узнаю экипаж судна, каждый его трюм и отсек. Это будет мой дом, мой коллектив, моя семья. А пока все чужое. Кто-то бежит по шлюпочной палубе, кто-то отдает команды, кто-то требует: «Проверьте, наконец, твиндек четвертого!» Молча стоят, облокотившись на леера, парень и девушка. То ли грустно им расставаться, то ли поссорились и не найдут теперь слов, чтобы успокоить друг друга перед долгой разлукой. Почему-то и самому становится грустно, и я тороплюсь к трапу.

Вахтенный помощник показал отведенную мне каюту. Тогда я еще не знал, что это Толя Ерисов, четвертый штурман и комсомольский секретарь. А то, что он хороший парень, было видно сразу. Его лицо показалось знакомым. Но мало ли таких ребят, высоких, сильных, добродушных, которые стесняются и своей силы и своего роста. Только спустя недели две мы установили, что встречались с ним на одном из крейсеров, где он проходил службу еще до окончания Высшего мореходного училища.

Каюта оказалась просторной. Письменный стол, диван, гардероб, красивый умывальник с большим зеркалом, затянутая тяжелыми портьерами кровать. Как я увидел позже, такие же каюты у каждого члена экипажа. Впрочем, не у каждого. Каюта старшего механика Станислава Леонтьева состояла из рабочего кабинета, гостиной, спальни и ванной комнаты. Прямая телефонная связь с машиной и ходовым мостиком, общий судовой телефон и гибкий шланг переговорной трубы над постелью. Если

что-либо случится ночью, старшему механику доложат в ту же секунду. В каютах старпома, первого и второго помощников, второго механика по две комнаты со всеми удобствами. А такую, как у меня, с коврами на полу и картинами на стенах имел каждый матрос. Кроме удобных больших кают с кондиционированным воздухом, настольными и надкроватными лампами, в распоряжении экипажа несколько ванных комнат, музыкальный салон, красный уголок, помещение, где демонстрируются кинофильмы.

За время стоянок в шестнадцати иностранных портах я побывал на западногерманских, американских, английских и других судах капиталистических стран и ни на одном не видел таких хороших условий для матросов и машинной команды.

И это очень правильно, что у нас созданы условия. Моряки дальнего плавания проводят на судне не меньше девяти месяцев в году. Оторванные от земли, от дома и родных, ежеминутно готовые к любым неожиданностям, они несут свою нелегкую вахту у накаленных котлов, в грохоте дизелей, на ходовых мостиках, преодолевая непогоду, то и дело вступая в борьбу со стихией. Так пусть же хоть отдых, который может прерваться по всякому капризу природы, проходит в хороших условиях.

Едва ли найдется другая массовая профессия, которая требовала бы от человека такой суммы качеств и данных, какие необходимы моряку. Прежде всего у него должен быть гибкий ум, мгновенная реакция, способность в доли минуты принять решение, единственно правильное для создавшейся обстановки, ибо иное может привести к гибели.

Моряк должен быть физически сильным, обязательно с сильной волей. Многомесячные трансокеанские переходы в машине, на палубе, на мостике не туристская прогулка. Это предельные перегрузки не только во время стихийных бедствий. Перегрузки — это швартовка в забитых судами портах, когда рвутся из рук стальные тросы, это ремонт в океане вышедших вдруг из строя накаленных котлов, это спуск под воду на любых широтах, если случится что-то с рулем, это проводка в узких каналах при встречном движении судов в местах бурных течений и противотечений. Это постоянные ночные вахты и до боли в глазах и суставах напряжение штурманов и капи-

тана, ведущих судно в сплошном тумане темной ночи.

Моряк должен быть общительным, компанейским, открытым, обязательно верным товарищем. Человека насупившегося, мрачного трудно терпеть даже в течение семи часов на службе. А выносить его круглыми сутками, неделями, месяцами на работе, в быту, на вахте немыслимо.

Кроме знания дела, которое непосредственно поручено моряку, он должен владеть многими профессиями. Обязательно такелажник, обязательно слесарь, обязательно маляр, обязательно пожарник и еще десяток «обязательно».

Дальний поход требует безоговорочного воинского порядка и воинской дисциплины. Но экипаж — это гражданский коллектив с профсоюзной и всеми общественными организациями. Здесь вместо армейского приказа чаще можно услышать: «будьте добры», «пожалуйста», «прошу вас». Но сознание моряка должно быть так высоко, чтобы выполнять эти просьбы с быстротой и точностью военного приказа.

Моряки — это люди политически зрелые, с высокой культурой. В иностранных портах они проводят больше времени, чем в советских. Они должны вести себя достойно и просто, должны уметь отличить подлинное искусство от сверкающей мишуры, увидеть за ширмой блестящих витрин жизнь народа, должны распознать провокацию, если их пытаются спровоцировать. Трудовые люди капиталистического мира, лишенные правдивой информации о Советском Союзе, судят о нем по поведению моряков.

У моряка не бывает ощущения, что рабочий день окончен: море полно неожиданностей. Долгими месяцами он не бывает дома, и нередко после затянувшегося на шесть или восемь месяцев рейса маленькие дети не узнают своих отцов.

Обо всем этом я подумал, когда рассматривал отличную матросскую каюту. Матрос, конечно, достоин ее иметь.

Наскоро разложив в каюте вещи, я поднялся на шлюпочную палубу. Наверху у трапа стоял паренек лет пяти. Вид у него был истого моряка во время качки. Расставив ноги, чуть-чуть ссутулившись и глубоко засунув руки в карманы, он взглянул на меня и сурово спросил:

— Ты кто такой?

Я не знал, что ответить.

— Да вот...— неуверенно начал я,— хочу ехать на этом корабле.

Зачем я так сказал? Прищурив глаза и не меняя позы, он посмотрел на меня снизу вверх и с чувством глубокого пренебрежения заметил:

— На кораблях не ездят, а ходят. Ясно?

Я промолчал. Он еще раз взглянул на меня, уже без пренебрежения, а покровительственно, как смотрят на человека неграмотного, темного, и добавил:

— И потом это не корабль, а судно, теплоход. Корабль — это если он военный. Ясно?

— Ясно,— ответил я виновато.

Букву «р» мой собеседник выговаривал чисто, но раскатисто, точно ему хотелось подчеркнуть, выделить это слово «коррррабль».

Неожиданно, догоняя друг друга, выскочили из-за надстройки две девчонки чуть постарше моего нового знакомого, и он властно крикнул:

— Галка! Почему с вахты ушла?!

Испугавшись, они бросились обратно. Паренек последовал было за ними, но я остановил его:

— Как тебя зовут?

— Сашка.

— А кто твой папа?

— Старррпом,— бросил он уже на ходу.— Пойду вахты прррроверррю...

Ему было явно неинтересно со мной. Он увидел, что имеет дело не с моряком, а значит, с человеком второго сорта и нечего тут с ним попусту терять время.

В его глазах я полностью себя скомпрометировал. Конечно, я знал, что на кораблях не ездят, а ходят, но подумал, что он не поймет такого выражения.

Как часто, не доверяя детям, думая, что они не поймут нас, стараясь подделаться под их тон, мы попадаем впросак. Эту истину я тоже хорошо знал и все-таки не решился говорить с ребенком на равных началах. Вот и преподал этот ребенок мне урок. Это был действительно мой первый урок на торговом флоте, потому что второе замечание Сашки я принял к сведению. Хотя, строго говоря, любое судно можно назвать кораблем, но так уж повелось на флоте, что кораблями действительно называют только военные суда.

Мне было жаль, что Сашка ушел, и я отправился смотреть, как грузят теплоход.

На одесских причалах лежат грузы, адресованные десяткам стран. И особое, почетное место среди них занимает Куба. Станки и машины для Кубы. Грузовики и тракторы для Кубы. Нефть и продовольствие для Кубы. Погрузку на Кубу ведут лучшие бригады, суда, идущие на Кубу, швартуются вне очереди, снабжаются вне очереди, грузятся вне очереди.

Вскоре раздалась команда: «Закрыть трюмы!» Кто-то повернул рукоятку на пульте, и поползли на трюмах многотонные железные плиты, надежно прикрывая груз. Загудели моторы, и дрогнули устремленные ввысь стальные стрелы. Они медленно опускались, пока не легли в отведенные для них гнезда.

Судно готовилось к отходу. Длинный ряд кают. И в каждой своя жизнь, своя судьба. С грузовыми документами пробежал озабоченный второй помощник капитана Николай Александрович Бочаров. Кроме штурманской работы и вахты, кроме командного поста на корме во время швартовок и отходов на нем лежит ответственность за погрузку и выгрузку в наших и иностранных портах. Он должен уметь так расположить груз, чтобы судно не потеряло остойчивости, ибо это чревато опасными последствиями. Надо так установить хрупкую аппаратуру, чтобы на нее не распространялась вибрация от машин и винта. Надо так распределить груз между трюмами, чтобы судно встало в то единственно правильное положение, при котором максимально используются его ходовые качества.

И хорошо, если груз — это, скажем, сто десять тысяч мешков сахару. Погрузить их в трюмы — дело не хитрое. Ну, а когда в один рейс приходится брать станки, стальные конструкции, верблюдов, каучук и руду, тогда плохо. Вот тогда намучаешься с погрузкой.

Любая оплошность второго помощника ведет к серьезным, подчас тяжелым последствиям. Он должен в совершенстве знать характер взаимоотношений с грузополучателем и фрахтователем, правильно решать вопросы со стивидорами, суперкарго и десятком других иностранных агентов. Должен знать множество документов, все эти коносаменты, чартеры, таймшиты, нотисы...

Надо все предусмотреть и многое подготовить в своем порту, потому что в иностранном будет поздно. Там не упустят малейшего повода, чтобы взыскать штраф или дополнительную оплату. Надо знать международное

морское право, внешнеторговые операции, обычаи портов. В зависимости от опыта второй помощник может принести экономию в валюте или убытки. Правда, над ним зоркий глаз капитана, которого не проведешь, но все-таки многое зависит от второго штурмана.

...Судно готовилось к отходу. Носился где-то по палубам второй помощник. Одиноко сидели в его каюте провожающие: жена Алла Николаевна и шестилетний Игорек с длинными льняными волосами. И никак не могла она втолковать сыну, почему не приходит отец. «Галкин папа пришел, значит, должен прийти и наш». Логика железная, и как выходить из положения, неизвестно. И вообще неизвестно, что делать. Теплоход скоро отойдет, а так ни одного вопроса и не решили. Правда, на три дня судно уходило под погрузку в Туапсе, а с работы ее не отпустили, но и четырех дней, что он стоял в Одессе, могло бы хватить. Но с этой проклятой погрузкой, которая идет круглыми сутками, и все это время, и днем и ночью, он бегает по своим трюмам, так толком и не поговорили. Если бы не Игорек, еще можно было бы выбрать часок-другой, но стоило появиться Николаю, как Игорек полностью завладевал им, и слова не вставишь. Не лишать же их обоих удовольствия побыть вместе.

И вот теперь неизвестно, когда же брать отпуск? По плану судно должно вернуться с Кубы через полтора месяца. Но еще ни разу не было по плану. То его по дороге зафрахтуют в Африку, то еще куда-нибудь. Никто заранее не знает, когда же оно будет дома, когда получит отпуск Николай. А на работе уже составляют график отпусков, и тянуть с этим больше нельзя, и что говорить, она не знает. Вот так же не решили многих домашних дел. На душе у Аллы Николаевны грустно, тоскливо, но нельзя, чтобы это увидел Николай. Пусть спокойно уходит в плавание.

...Я иду мимо длинного ряда кают. Разные в них люди, и все-таки много общего в судьбах моряков. У открытой двери мальчик пяти-шести лет. Красивый, как на картинке. Большие черные выразительные глаза, большой лоб, изумительные вьющиеся волосы. Очень искренне, как бы удивленно спрашивает:

— Вы не видели моего папу? Никак не пойму, где мой папа.

— Миша, иди в каюту, сколько раз тебе говорить? — доносится из-за двери женский голос.

По тону матери Миша понимает, что пока это распоряжение можно еще не выполнять. Совершенно неожиданно он заявляет:

— Я знаю сто английских слов. Я учу иностранный язык. Гуд монинг, хау ду ю ду, уот тайм из ыт, май тыче, э тейбл, э бук...

— Миша! — грозно раздается из каюты.

Вот на это уже надо реагировать. Дело может обернуться плохо. И он быстро исчезает за дверью.

Это сын старшего механика Станислава Григорьевича Леонтьева. Стармех на судне занимает особое и весьма солидное положение. Если капитанский мостик — мозг и нервная система теплохода, то машинное отделение — сердце и кровеносные сосуды. Даст перебои сердце, они немедленно отразятся в мозгу.

Место стармеха в кают-компании напротив капитана постоянно и неприкосновенно. И хотя он подчинен капитану, но на нем вся полнота ответственности за состояние машин и механизмов. И если, скажем, потребуется ему в океане остановить судно, он спросит на то разрешение капитана, но прятаться за капитанскую спину не сможет да и не станет. Машинное отделение современного судна — это завод в миниатюре, со своей электростанцией, сотнями двигателей и механизмов, и управляет этим заводом стармех.

В прежние времена, чтобы выбиться в стармехи, надо было прослужить не один десяток лет. Вот почему исстари повелось, что стармеха называют «дедушкой». Так по традиции называют его и сейчас. Не за глаза и не в узком кругу друзей, а повседневно, даже на партийных или профсоюзных собраниях. К этому все привыкли, как и к слову «дракон», означающему «боцман». И никакому боцману не придет в голову обидеться, потому что это слово давно потеряло на флоте свое истинное значение, когда точно характеризовало боцмана — сатрапа и держиморду. Оно осталось как традиция и звучит сейчас, как это ни парадоксально, ласкательно.

Станислав Григорьевич — опытный инженер, бывалый стармех, но совершенно не похож на дедушку. Откровенно говоря, он не похож даже на Станислава Григорьевича. Просто Слава, и уж в крайнем случае — Станислав. На вид ему лет двадцать семь, даже меньше, хотя в действительности уже за тридцать.

Добрый, благожелательный, спокойный и уравнове-

шенный, он внес свой дух во всю жизнь машинной команды. Даже в сложные, критические минуты никто не кричит, не шумит, не горячится. Его большое преимущество в том, что он умеет все делать сам. Не только произвести необходимый расчет, но и, взяв молоток, ключ, напильник или другой инструмент, показать, как надо делать.

С тех пор как Леонтьев стал стармехом, он ни разу не видел, как судно уходит из Одессы, и ни разу не помахал рукой жене и сыну. Он не видит, как приближается теплоход к чужим красивым портам, как швартуется и как отходит. Не видел он Босфора, хотя идет по нему десятки раз, не видит узких каналов. В эти ответственные часы он стоит, обливаясь потом, в машине у реверсов, принимает и выполняет команды с мостика. И даже сейчас, когда судно только готовится к отходу, не может выбрать минутки, чтобы забежать в каюту и посидеть в кругу семьи.

В первые же часы пребывания на судне я познакомился и с отцом Сашки, Борисом Михайловичем Куликовым.

Есть старый, классический анекдот. По палубе идет капитан в сопровождении большой группы командиров. Увидев окурок, испуганно говорит: «Скорее уберите, а то заметит старпом, и вам несдобровать, и мне достанется». Анекдот довольно точно характеризует положение старпома на судне. Это полный хозяин. Он первый и прямой заместитель капитана. Обязанности его чрезвычайно разнообразны, но одинаково ответственны. Он главный штурман и вместе с тем главный снабженец. При хорошем старпоме команда всегда хорошо питается. В административном отношении ему подчинен весь экипаж, и он отвечает за состояние и внешний вид судна. Он является ответственным представителем в сношениях с властями иностранных портов.

Борис Михайлович опытный старпом. Капитан, находясь на мостике, доверяет ему швартовку и снятие судна с якорей, и за весь рейс я не слышал, чтобы он поправил команды Куликова, ясные, своевременные, разумные. Он хороший штурман, быстро определяющийся по звездам, по едва уловимым ориентирам.

Его умение не свалилось с неба. Он отлично окончил среднюю школу, отлично — Высшее мореходное училище. Был хорошим матросом, прошел все стадии от четвертого штурмана до старшего. И, странное дело, при всем

своем опыте и серьезности задач, которые ему приходится решать, он очень напоминает Сашку. Именно не Сашка похож на него, а он на Сашку. И не только внешне. Осталось в нем что-то совсем юношеское, наивное. Влюбленный в море, в романтику морской службы, он по-детски радуется своему счастью жить в море и словно рисуется под моряка. Невысокого роста, он как будто нарочно, как и Сашка, чуть-чуть сутулится, стоит, расставив ноги, глубоко запрятав руки в карманы. Спускаясь или поднимаясь по крутому трапу, никогда не возьмется за поручни. Разговаривая, скептически щурит глаза, и его фигура, и лицо, и эти прищуренные глаза говорят, будто все в жизни он испытал и изведал, и прошел все штормы и тайфуны, и видывал налеты пиратов и нападения морских чудовищ. И все до смерти надоело ему, и ничего нового уже не увидит, и ничто больше не удивит его, не обрадует и не огорчит. И он наперед знает, чем кончится все, что началось, и как повернутся события, и, когда люди спорят об этом, он только молча щурится и едва уловимо скептически покачивает головой. Одним словом, старый морской волк. Но вдруг против воли улыбнется, хотя морскому волку улыбаться не пристало, и невольная мальчишеская улыбка выдаст его с головой, еще недавно задорного и задиристого комсомольца, а ныне члена партии, любознательного, пытливого, ищущего. Выдают его и глаза, живые, веселые, и, забыв, что он морской волк, берет Боря гитару, и звучит на палубе его приятный тенор. И выдает его фотоаппарат, кинокамера и набор красок, которые уж совсем противопоказаны морскому волку, но это не мешает ему делать хорошие снимки во всех портах мира и снимать кинофильмы и рисовать. И кто знает, кем бы он был, не захвати его накрепко море, потому что рисунки, совсем не дилетантские, не любительские, полны глубокого смысла и силы. А то вдруг обидится, услышав, как новичок, еще не видавший своей страны, исходит в восторге от Сиднейского моста, и хотя мост этот и самому Куликову нравится, ответит с напускной суровостью:

Я плевал
на Сиднейский мост
и строй!
Другая любовь
мне дадена.

Мне каждый булыжник
моей мостовой
Дороже, чем эта
громадина!

Есть у него и заветная тетрадь стихов, которые он прячет от всех. Может быть, и видел ее только третий помощник Борис Мишин, его друг и соратник, человек большого роста, атлетического телосложения, спортсмен-разрядник. Свободное время они проводят вместе. В иностранных портах ходят вдвоем. Рядом с Мишиным совсем маленьким кажется Куликов, и накрепко к ним привилось: «Боря Большой и Боря Маленький». Так и зовут их на судне. И даже жены так называют, хотя характеры у женщин совсем разные. Леночка, жена Бори Маленького, экспансивная, подвижная, откровенно веселая. Даже вот по этому эпизоду, происшедшему прошлой весной, можно судить о ней.

Из дальнего рейса «Солнечногорск» вернулся в Одессу ночью. Судно встало на рейде, сплошь покрытом битым льдом. Море было неспокойно. С досадой ждали жены моряков, пока дадут распоряжение швартоваться. А Леночка, мать двоих детей, худенькая, в легком платьице, на каком-то боте добралась до теплохода и, обдаваемая ледяными брызгами, по штормтрапу вскарабкалась на борт. Мокрая, вся в слезах, предстала перед совершенно оторопевшим Борей.

Жена Бори Большого, Валя, младше Леночки. Но вид у нее степенный, солидный, какой и подобает иметь врачу. Еще совсем недавно она работала на «Солнечногорске», пользовалась огромным уважением всего экипажа, но вот поженились они, и пришлось оставить судно: муж и жена, даже не находясь в служебной зависимости друг от друга, не имеют права работать на одном судне. Может, это и правильно: пусть все моряки будут в одинаковых условиях.

...Длинные коридоры «Солнечногорска». Каюты... каюты...

Я вышел на палубу в момент, когда поднялись на борт таможенные и пограничные власти. Встал у трапа солдат в фуражке с зеленым околышком. Никто больше не войдет на судно, уходящее в заграничное плавание. Сейчас начнется проверка документов.

И тут раздалась команда: «Внимание! Лиц, не идущих в рейс, просим оставить судно! Повторяю...»

Команда звучала из репродукторов на корме, на баке, в столовой, в каютах, во всех уголках океанского теплохода.

К кому были обращены эти слова? К Алле Николаевне, к Леночке и Вале, ко всем женщинам и детям, провожающим своих мужей и отцов в далекий и никому не известно в какой долгий и благополучный ли рейс. И было что-то обидное в этой сухой вокзальной фразе, будто не четвертый штурман и комсомольский секретарь Толя Ерисов обращается к своей собственной жене и к женам товарищей, каждую из которых хорошо знает, а кто-то очень казенный за зарплату предупреждает провожающих, которых он впервые увидел и никогда больше не увидит. Что-то холодное, чужое, официальное, как нотариус, было в этих словах.

Какие они «лица»? Нежные, многотерпеливые, героические жены моряков. Какие они «лица»? Выслушав предупреждение, они направились к трапу, и их мужья уже не могли сойти с ними вниз. Рассеявшись по причалу вдоль всего судна, улыбались, махая платочками, время от времени заслоняя ими лицо, чтобы никто не увидел, как подрагивают губы. А по судну уже пронеслась новая команда: «Всем членам экипажа войти в свои каюты». И, в последний раз махнув рукой, моряки разошлись по каютам, чтобы пограничники могли проверить документы. А провожающие остались стоять, и они еще долго будут смотреть на судно и, когда оно отойдет, будут смотреть вслед, пока не скроются мачты в морской мгле.

Молча побредут домой, каждая думая о своем, и мысли их будут перебегать от только что ушедшего теплохода к собственной работе и домашним заботам, к детям, которых всю жизнь должны воспитывать сами, хотя имеют хороших мужей. А потом, читая сообщение о разыгравшемся где-то шторме, побегут к диспетчеру, чтобы проверить, что с теплоходом, и пошлют тревожные радиограммы, и, просыпаясь каждое утро, будут думать, как там в океане, и расспрашивать таких же, как сами, не слышно ли, когда вернутся, потому что ходить к диспетчеру уже стыдно, да и отбивается он от них, как черт от ладана, потому что кораблей сотни, моряков тысячи, а он один. И когда придет, наконец, радостная весть «Прибываем такого-то» и выяснится вдруг, что не в Одессу, а в Николаев, они, выпросив на несколько дней отпуск за свой счет, хотя не так уж велик этот счет, бросят все,

даже намоченное для стирки белье, заберут из школы детей и помчатся в порт прибытия, потому что судно может погрузиться там и, не заходя домой, снова уйти на месяцы. А надо хоть повидаться, поговорить, может быть, решить наконец нерешенные вопросы, надо, чтобы дети не отвыкли от отцов.

И как часто, приехав в Николаев, узнают, что судно переадресовано в Туапсе или Новороссийск, и снова мчатся они на вокзалы, пристани, остановки дальних автобусов, только бы поспеть к приходу судна.

Мучительно долго тянутся дни, пока ждет морячка мужа, и, как безумные, несутся они во время стоянки дома. И вот уже эти слова: «Лица... оставить судно». Я слышал их на «Солнечногорске», на «Физике Вавилове», на других судах. А как хорошо бы вместо этого сказать: «Дорогие товарищи...», и перечислить всех, кто провожает, по имени, и сказать им, чтоб не скучали, не беспокоились, что настало время отхода, и пусть они будут уверены, что весь экипаж заботится о каждом, и никто не останется в беде, и пожелать им самим самого хорошего.

Ну, пусть нельзя всех перечислить, хотя это займет несколько минут, пусть другие слова, но обязательно теплые, человеческие, которые в это время на душе. Почему мы стесняемся этих теплых, ласковых слов? Ведь мы лучше, добрее, чем делаем вид. Мы просто привыкли и не думаем об этом. Ненужная, ничем не оправданная грубость, а то и угроза на каждом шагу встречаются в нашем быту. Каждый москвич, например, не раз слышал в метро: «Поезд дальше не пойдет. Освободите вагоны». Ну, зачем это «освободите вагоны»? Это же грубо, оскорбительно. Коль скоро поезд дальше не идет, никто же и не останется в вагонах.

Или вот — на всех станциях, узлах, разъездах, полустанках вы увидите надпись: «Хождение по путям строго воспрещается. За нарушение штраф». Но ведь за всю историю существования советских железных дорог, по официальной справке Министерства путей сообщения, за хождение по путям не взыскана ни одна копейка штрафа. Нет даже квитанций для получения подобного штрафа, нет людей, уполномоченных взыскивать его. Зачем же эта угроза? Давно прошла денежная реформа, но и до сих пор на многих станциях висят эти оскорбительные таблички с астрономическими суммами штрафа. И мне показа-

лись естественными при этом слова иностранного журналиста, спросившего: «Какая сумма идет в бюджет государства от штрафов на железных дорогах?»

Обернитесь вокруг, и вы на каждом шагу увидите подобную «официальную» грубость и в отношениях друг к другу, которая идет не от души, а по старой, закоренелой привычке, по глупейшей нашей стеснительности говорить друг другу теплые, ласковые слова. А присмотритесь: чем мягче и человечнее указания начальника, тем с большей душой они выполняются.

Мы порой не отдаем себе отчета в том, как много могут сделать добрые слова. Это неправда, будто «хороших слов он (или она) не понимает». Хорошие слова всякий поймет. Недавно, например, я наблюдал следующую картинку. На «Физике Вавилове» мы привезли в Сингапур цемент. Когда все мешки были выгружены, в трюмах осталась цементная пыль. Почти в сорокаградусную жару в сплошном цементном тумане мокрые от пота малайские женщины собирали эту пыль. Мы не могли им помочь, не могли вмешиваться в распоряжения покупателя, пославшего их. Когда все было закончено, мы отдали концы, и буксир потащил судно, усталые грузчики, и эти женщины, и водители, стоя на причале и не глядя на нас, приводили себя в порядок. И в это время, усиленный мегафоном, по всему причалу раздался голос с капитанского мостика. Советское судно выражало благодарность всем, кто обслуживал его, кто так или иначе оказал нам свое внимание. И люди со всего причала, и те, кто был на судне и кто не был, повернулись в нашу сторону и долго махали нам руками.

Простые, человеческие слова! А ведь они оставили на причале не одного нового друга нашей Родины!

Ночь. Огненные глазницы прожекторов освещают Одесский порт. Звучат команды. И вот уже последнее: «Поднять трап!.. Отдать все концы!»

Капитан Кнаб ходит по мостику, курит. Курить Дмитрий Васильевич не умеет, потому что человек он некурящий. Неумело сосет сигарету, отгоняя руками дым, который лезет в глаза, неумело выпускает его изо рта, будто дует на горячую воду. Но каждый раз, когда судно швартуется или отходит, он неизменно достает сигарету.

Швартовка, особенно в плохую погоду, требует

мастерства. Это ответственный, напряженный момент. Но ведь Дмитрий Васильевич опытный капитан дальнего плавания и эту операцию выполнял сотни и сотни раз. Почему же он нервничает?

Больше сорока лет плавает Кнаб. Его знают едва ли не во всех гаванях мира. В десятках портов Индии, Японии, Африки, Малайи, в Сингапуре, на Сахалине, где мне довелось побывать уже без Кнаба, о нем неизменно заходил разговор, и, вспоминая его, люди просили передавать ему самые горячие приветы.

Во время войны он тоже был на капитанском мостике. Его корабль забрасывали бомбами, поливали пулеметами, топили. Окровавленного, его сбрасывало за борт, но он снова взбирался на капитанский мостик и снова высаживал десанты во вражьи расположения.

Сын пароходного кочегара, он начал свою морскую жизнь с камбузника — подсобного рабочего на камбузе, а к моменту описываемого рейса получил звание «Лучшего капитана Министерства морского флота».

Веселый одессит, остроумный и добрый, он совсем не похож на традиционного сухого капитана. С ним очень легко работать людям. Поэтому они его любят.

Он ходит по мостику и курит. Судно отрывается от стенки. Есть что-то особенное для моряка в швартовке Это как бы экзамен для того, кто стоит на мостике. В океане, случись ошибка, никто, кроме узкого круга, ее не увидит. Швартовка — на глазах у всех. Тот, кто красиво швартуется и красиво отходит от причала, доставляет моряку эстетическое удовольствие. И моряки ревниво смотрят, как швартуются суда.

...Далеко позади остались огни Одессы. Скрылись родные берега, ушел в сторону Змеиный остров. Впереди Босфор.

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем...

Босфор! Одно из красивейших мест в мире. На этот раз мы подходим к нему ночью.

«Тах-тах-тах, я — уйжр, тах-тах-тах, я — уйжр»,— несется в эфире. Это заместитель секретаря комсомольской организации Слава Стан посылает в Стамбул позывные «Солнечногорска», чтобы предупредить о нашем подходе. На передней мачте взвивается турецкий флаг. Таков закон: кроме своего, национального, суда должны

поднять государственный флаг той страны, в чьих водах находятся.

Закончив вахту, Слава спускается в свою каюту. Настроение у него неважное. Нехорошо получилось с Лорой. Он не знает с чего начать. На письменном столе лежит незаконченный план комсомольской работы, а уже в Дарданеллах будет бюро, на котором план должен утверждаться. Нетронутыми стоят на книжной полке учебники, хотя он дал себе слово уж в этом-то рейсе взяться за подготовку к экзаменам в Высшее мореходное училище. Не движется и с английским, а запаса слов едва хватает, чтобы объясниться с людьми в иностранных портах. На подходах к Средиземному морю начнется октябрьский праздничный концерт, и уже пора идти на репетицию джаза...

Слава трет лоб и думает, за что взяться. Решает: прежде всего послать праздничную телеграмму Лоре. Надо написать какие-то хорошие слова, надо придумать такие слова, чтобы она видела, что у него на душе. Она опять провожала его только до ворот порта. Дальше не пустили. Вход на причал и на судно разрешен только женам. Даже сестру или брата не пустят: порт — это погранзона. Туда пускают по документам. А какие документы у Лоры. Взять бы справку, что такая-то является невестой такого-то моряка. Но кто же выдаст подобную справку! И кто только додумался до таких порядков!

Ну, в самом деле, почему, скажем, перед отходом на Кубу, перед трудным плаванием через моря, проливы, Атлантику, где моряков ждут штормы, где каждый день — это тяжелый, героический труд, почему этим людям не дать хоть со своими любимыми проститься по-человечески? А моряки танкеров находятся еще в худших условиях.

Нехороший осадок остался у Славы от прощания с Лорой. Ему больно за нее. Она стеснялась, а ему хотелось поцеловать ее, и они торопливо зашли в какой-то подъезд. И, как назло, кто-то открыл двери...

Время уже было на исходе. Судно стояло на первом причале, это от ворот порта не меньше километра. Пришлось бежать, чтобы не опаздывать. Ведь грузовое судно не экспресс Москва — Сочи. Сюда нельзя явиться за несколько минут до отхода.

Больше трех часов стоял в порту теплоход после того, как прибежал на него запыхавшийся Слава. Обидно.

Мог провести это время с Лорой. Вот уже год, с тех пор как судно стало ходить на Кубу, они не могут пожениться. В своем порту, в Одессе, теплоход бывает редко. Возвращаясь из прошлого рейса, думал — теперь уж обязательно распишутся, ведь все у них давно решено. В загсе их приняли хорошо, сделали пометки в каких-то книгах и велели прийти через неделю. Ну что же они, шутят, что ли? Ведь через три дня теплоход уйдет в Новороссийск, а оттуда опять на Кубу.

Им объяснили, что не имеют права регистрировать сразу, таков порядок. Пусть пойдут в райсовет, возможно, для них сделают исключение. В райсовете оказался неприемный день. Это было в субботу, значит, тем более — завтрашний день пропадал. Так и не удалось расписаться. И опять прощались у ворот порта.

Она, конечно, все понимает. Рейсы на Кубу нельзя задерживать. С кубинских рейсов и в отпуск проситься неудобно. Ждет Куба советские пароходы. Это ее надежда, ее вера в нас. Каждое советское судно на Кубе — это материальное выражение и чувства преданности миллионов советских людей героическому острову Свободы. Ведь каждому моряку «Солнечногорска» благодарно пожимал руку Рауль Кастро, с которым они подружились уже в первый свой приход на Кубу. Он бывал у них несколько раз, и на судне много его фотографий вместе с экипажем. Там очень горячо сейчас, на Кубе. Так как же можно проситься в такой момент в отпуск.

Конечно, Лора все понимает. Она понимает, что значит моряк дальнего плавания. Он ведь на флоте уже три года, с двадцати лет. Сам-то он давно привык к походной жизни. И не только потому, что прадед его был моряком, и дед был моряком, и отец моряк. Он сам уже десятки раз пересекал моря и океаны, побывал в Австралии, Италии, Индонезии, Японии, Франции, Вьетнаме, и десятках других стран. Только на Кубу ходил восемь раз. Но вот привыкнет ли Лора к такой жизни?

Теплоход входил в Босфор. Любоваться проливом ему было некогда, да и насмотрелся он уже на красоты этих мест. Отправив Лоре радиограмму, пошел на репетицию джаза.

На капитанский мостик я поднялся вместе с Толей Ерисовым, который заступал на штурманскую вахту. Было очень темно. На берегу замелькал световой телеграф: «Кто и откуда идет?»

Это спрашивали нас. Постукивая пальцем по кнопке, Толя начал отвечать. Полетели в ночь огненные точки и тире, складываясь в английские слова:

«Я «Солнечногорск». Союз Советских Социалистических Республик».

Ночью на капитанском мостике полумрак. Освещаются изнутри только циферблаты бесчисленных приборов да экран локатора. Толя стоял на обычной ходовой вахте и не мог, конечно, думать, что кто-то смотрит на него. Но, называя себя, называя Родину, он подтянулся, будто встал по команде «смирно».

Это не жест. Это безотчетное действие. Это внутренний импульс, какое-то движение души. Это гордость за Родину. Гордость за то, что тебе доверено говорить от ее имени.

Босфор и Дарданеллы — это выход из Черного моря на все водные просторы мира. Это и вход в порты СССР, Болгарии, Румынии. Эти ворота находятся в руках турок. Они контролируют здесь движение мирового флота.

Проверяя нас, ударили в судно два прожектора с обоих берегов. Проводили лучами от форштевня к корме, осветили воду вокруг нас, верхушки мачт и погасли. Справа и слева тарахтели рыбацкие баркасы, уходящие в море.

Вдали показались огоньки: два красных, зеленый, белый. Это лоцманский катер, вышедший нам навстречу. Лоцманская служба — лицо порта. Круто развернувшись, катер лихо причалил к нашему борту. Турецкий матрос схватил спущенный конец, и тучный, далеко не молодой турок, прижимаясь всем телом к трапу, начал медленно карабкаться вверх.

Трудно быть лоцманом в такие годы.

Его проводили на мостик. Он смотрел вперед, разговаривал с капитаном на английском языке, время от времени отдавая команды. Его интересовало, что мы везем, какой мощности двигатели и многое другое, не относящееся к лоцманской службе. Дмитрий Васильевич охотно отвечал. Секретов у нас не было.

К нам приближался катер карантинных властей. Прежде чем пустить судно в Босфор, турецкие власти должны проверить, нет ли на борту больных, всем ли сделаны необходимые прививки, в порядке ли медицинские книжки каждого члена экипажа.

Мы уменьшили скорость до самой малой. Матросы

спустили белый штормтрап, осветили его сильной, как прожектор, лампой. Старпом Боря Куликов с кожаной папкой медицинских документов буквально скатился по трапу. Будто провели палкой по штакетам палисадника: та-та-та-та... Будто внизу не пучина, а усыпанная песком дорожка. Еще не пристроился к нам катер турецких властей, а старпом висел уже на последней балясине.

И то ли позабавиться решил над ним турок за штурвалом, то ли человек оказался невысокой квалификации, но катер никак не мог к нам пристроиться, и старпом висел над водой.

— Доиграется Боря,— сердился Дмитрий Васильевич, наблюдая эту картину.— Сколько раз ему говорил: пока не подойдет катер, не спускайся. Устанут ведь руки, сорвется...

Вскоре катер приблизился к борту, Куликов спрыгнул на суденышко и исчез в его чреве. Спустя несколько минут снова появился и поднялся на палубу. Все в порядке.

Лоцман то и дело оборачивался к старшему рулевому Боре Шустрову.

— Помалу лева,— говорил он на ломаном русском языке.

— Помалу лево! — лихо отвечал Боря.

Капитан будто и не следил за этими командами. Просто стоял и отхлебывал из чашечки маленькими глотками черный кофе. Перед турком тоже стояла чашка, и он тоже пил маленькими, редкими глотками вперемежку между командами.

— Еще помалу лева,— сказал турок. Но не успел Боря повторить команду, как раздался тихий и властный голос Кнаба:

— Так держать, лево не ходить!

— Есть так держать, лево не ходить! — весело кричит Боря, и в его голосе слышится: «Съел, господин лоцман? Капитан лучше знает».

И действительно, капитан Кнаб знает Босфор не хуже турецкого лоцмана. И вся полнота ответственности, что бы ни случилось, лежит на нем. Лоцман только советчик. И кто бы ни был на судне, обязан выполнять волю капитана. В управлении судном он наделен неограниченными правами и несет всю меру ответственности за свои действия. Но проходить Босфор без лоцмана фактически запрещено. И не без оснований. Недаром

Босфор — кладбище многих кораблей. Вот и сейчас мы поравнялись с черными бесформенными силуэтами. Это остатки югославского и греческого танкеров, которые столкнулись здесь и сгорели. Они горели больше трех недель, и с трепетом обходили суда этот пылающий остров.

Пролив похож на извилистую реку, то широкую, то узкую, с изрезанными берегами и бесконечными поворотами. Чтобы пройти Босфор, надо знать все его капризы и странности, причуды правого берега, европейского, и левого, азиатского. Течение на поверхности идет из Черного моря в Мраморное, а на глубине уже десяти метров — из Мраморного в Черное. Судно с большой осадкой испытывает на себе эти противотечения. По центру вода идет в одном направлении, по берегам — в противоположном. В многочисленных бухтах сплошные круговороты: у европейского берега по часовой стрелке, у азиатского — против часовой стрелки. Когда дует сильный ветер, поверхностное течение вдруг меняет свое направление на 180 градусов и устремляется в обратную сторону. Но и это все непостоянно и капризно. Нет, недаром здесь столкнулись Европа и Азия. Каждый материк стремится показать свой характер, и терзают они воды Босфора как хотят, стараясь перехитрить друг друга. Идешь по Босфору — смотри и смотри. А то развернет судно и бросит на берег, как это не раз бывало, а берегов здесь почти нет, они застроены зданиями, и ни одно из них не выдержит удара.

И капитан Кнаб смотрит. Смотрит вперед, слушает лоцмана и поступает, как находит нужным.

Мы идем посередине пролива. Почти повсюду крутые берега освещены. Полуразрушенные форты, батареи, крепости. Все здесь напоминает былые битвы. Богатая растительность, старинные развалины замков и дворцов, белые сверкающие здания и виллы, утопающие в садах,— все перепуталось. А над всем этим господствуют минареты. Они возвышаются над платанами и замками, над виллами и дворцами, узкие, стремительные, точно ракеты, готовые взвиться в космос. Когда-то служители культа взбирались на башни и оттуда зазывали молельщиков. Теперь на помощь пришла техника. Стоит на верхушке репродуктор и кричит. Проносятся сверкающие современные автомобили мимо огромного здания, окруженного двойной стеной, очень высокой и мощной. Это

бывший султанский гарем. Между стенами бегали тигры, надежно охраняя султанских жен.

Из-за поворота неожиданно выплывает скала, на которой остатки древнего жертвенника. Пролив то и дело пересекают большие и громоздкие катера-шаркеты с людьми, машинами, грузами. Это скоростные паромы, главное средство сообщения между берегами. Личные купальни, сверкающие яхты, огненная реклама не вписываются в общий ландшафт седой старины. Вдоль правого берега — асфальтированная дорога. Мчатся «кадиллаки», «бьюики», обгоняя ишака, нагруженного так, что из-под тюков виднеются только тоненькие ноги животного. То на левом берегу, то на правом улицы упираются в пролив. Десятки зданий стоят у самой воды, точно на сваях. Из открытого окна какой-то турок ловит на удочку рыбу. Наверное, ловится, если сидит человек. Здорово устроился.

Миновали остатки старого Генуэзского замка, развалины форта. Показался красивый парк и белое двухэтажное здание с верандой и флагштоком. Это дом нашего посольства. И на чужих берегах повеяло чем-то родным и близким.

Пролив тянется почти тридцать километров — шестнадцать миль. Идем медленно, то и дело меняя курс, повторяя изгибы берегов. Миновали бывший султанский дворец, султанскую виллу и вышли к Стамбулу. Это и есть древняя Византия, бывшая столица, а ныне крупнейший в Турции порт, военно-морская база и промышленный центр, раскинувшийся на берегах бухты Золотой Рог. Сверкают огненные контуры винных бутылок над ресторанами, гудит порт, насупившись, стоят темные силуэты военных кораблей.

— Стоп, машина! — командует капитан.

Мерцают на темной воде огоньки катера, вышедшего за лоцманом. Вахтенный штурман Борис Мишин провожает его до штормтрапа.

— Полный вперед!

И вот уже позади Стамбул. Мы пересекли спокойное, точно озеро в тихую погоду, Мраморное море и у самого входа в Дарданеллы встретились с эсминцем.

Шестьдесят миль шли мы через Дарданеллы. Как и по Босфору, здесь проходят мировые торговые пути черноморских стран, также важен пролив и в стратегическом

отношении. Но по внешнему виду эти проливы несравнимы.

На Босфоре живут и развлекаются те, у кого много денег. Там их виллы, особняки, яхты, увеселительные дома. В маленьких домиках или в комнатах, снятых у владельцев, живут тё, кто обслуживает богатых.

В Дарданеллах — голь и беднота. И природа там убогая и нищая. С капитанского мостика хорошо видны берега. Они то удаляются так, что надо брать бинокль, то почти совсем сходятся. Тоскливая, однообразная картина, унылый пейзаж. Голые возвышенности лишь кое-где покрыты маквисом или чахлой сосной. Время от времени проплывают у подножия виноградники и оливковые деревья.

На Босфоре земля очень дорогая, но там застроен каждый ее клочок. Босфор — это несколько населенных пунктов, слившихся друг с другом в один город, и, хотя каждый живет под своим названием, между ними нет и метра свободной площади. В Дарданеллах земля дешевле, а огромные ее массивы пустуют.

Миновали город Дарданеллы, который называют здесь Чанаккале. Невзрачный, серый. Это самый большой населенный пункт в проливе. Остальные селения совсем жалкие. В каждом одна-две, а то и три мечети. Множество ветряных мельниц. В большинстве покосившихся, кривых, с суковатыми перекладинами на крыльях. Трудно верится, что это типичный пейзаж сегодняшней Турции. И еще одно типично: межи. Низенькие, выложенные из камня, чуть повыше — из кривых кольев или просто узенькая перепаханная полоска. А то вдруг выплывет огромный орошаемый массив без межей. Это земли тех, кто живет на Босфоре.

Как и там, в Дарданеллах встретишь седую старину, а то и далекую-далекую древность. На холмистом плато близ города Кемер я видел развалины источенного долгими веками амфитеатра. Время от времени попадаются и совсем новые военные казармы.

Неожиданно показалась живописная группа платановых деревьев. Кто-то сказал:

— А вот и санаторий имени Алика.

Алик Лопатин — моряк «Солнечногорска». Ему двадцать два года. Тихий, мечтательный, выглядит совсем юным. Плавает давно, побывал во многих странах. Он ведет дневник каждого рейса. Ведет для себя и пишет

все подряд. «...Нос корабля поднимало на высоту двухэтажного дома, а потом бросало вниз, и полсудна скрывалось под водой. Когда шторм утих, смотрели кино «Девчата». Вечером дочитал Станюковича».

Как и положено ударнику коммунистического труда, Алик отлично работает. Он электрик. А в свободное время шефствует над ларьком без продавца. Там большой выбор. Спортивные товары, всякие тренировочные костюмы, тапочки, парфюмерия и богатый выбор сувениров, которые моряки дарят своим зарубежным друзьям. Оборот у него не меньший, чем в подобном ларьке на земле. Он сам ездит на базы за товарами, сам ведет учет и отчетность, с той лишь разницей, что денег не получает. Их удерживают у моряков из зарплаты по записям Алика. И зарплаты за работу в ларьке тоже не получает. Это его общественная работа. К слову, есть на судне такой же ларек и табачно-продуктовый, которым ведает на тех же общественных началах Женя Острожнюк. В его холодильниках всегда есть боржоми, а уж только это одно трудно переоценить в условиях тропиков и жарких стран. Запасается он и конфетами, печеньем и другими вкусными вещами.

Самый большой ящик письменного стола Алика занят фотографиями, это тоже своего рода дневник. Вот кусочек жизни капиталистического города. Нет, автор снимка не ходил, подобно некоторым буржуазным корреспондентам в нашей стране, искать мусорные ямы и выдавать их за подлинную жизнь. Снимок сделан в центре города. Стоит у светофора шикарная машина, а совсем рядом — рикша. В его коляске — двое. У него сухие, точно перевитые веревками, жилистые ноги. Слиплись от пота волосы. Он смотрит на светофор, всем корпусом наклонившись вперед, готовый рвануться еще до того, как тронется с места автомобиль, тоже дожидающийся зеленого света.

В одном из рейсов Алик сфотографировал живописную группу платанов на Дарданеллах и, вздохнув, сказал:

— Эх, было бы это у нас, построили бы здесь такой санаторий...

С тех пор это место и называют «Санаторий имени Алика».

Близ «санатория» у подводной скалы Харман нам повстречалась большая рыбацкая шхуна. Потемневшая от времени, с бортами, истертыми канатами, будто их грызло

огромное животное, скрипящая и закопченная, она тащилась, задыхаясь и отплевываясь сгустками черного дыма. Люди на палубе, полуголые или в лохмотьях, смотрели на нас уныло и безнадежно. Обгоняя их, мы шли совсем рядом, и я видел их лица. Большие белые птицы, похожие на чаек, но не чайки, летели над ними и что-то кричали и печально кивали головами на длинных шеях. От этого становилось еще тоскливее. И тут из какой-то бухты вырвалась сверкающая лаком и медью яхта. Она перерезала нам путь у самого форштевня, недопустимо близко от него и умчалась вперед. Ее палуба была уставлена легкой и яркой мебелью, как в современном кафе, и затянута тентом с замысловатыми рисунками всех цветов радуги. С яхты неслась музыка, где смешался визг, грохот, скрежет, сквозь который с трудом пробивался такт какого-то танца. Это веселилась «золотая» молодежь.

Дарданеллы вывели нас в Эгейское море. Миллионы лет назад здесь была суша. Но она опустилась, оставив на поверхности тысячи островов. Это Греческий архипелаг. Мы прошли мимо знаменитого острова Тенедос, где некогда базировался русский флот под командованием вице-адмирала Синявина, блокировавший Дарданеллы. Миновали и остров Парос, где также сражались русские моряки. Обогнув Пелопоннес, вышли в Средиземное море.

В этом районе, где скрещиваются десятки мировых торговых путей, можно встретить суда под любыми флагами. И здесь, в нейтральных водах, точно на большой дороге, обосновался Шестой американский военный флот. Здесь не одна база НАТО. Здесь место непрекращающихся военных маневров. С воздуха, на воде и под водой выслеживают добычу хищники, пришедшие сюда с другого полушария. Карта Средиземноморского бассейна испещрена красными надписями: «Плавание всех судов запрещено», «Район стрельб», «Минное поле», «Место сброса снарядов» и многими подобными предупреждениями.

Американцы разметили и приспособили для военных нужд Средиземное море, как свою вотчину, и создали в этих красивейших в мире, то голубых, то синих, водах нервозную, напряженную обстановку. Я не раз проходил здесь, и не было случая, чтобы не рыскали вокруг подводные лодки и военные корабли под американским флагом, чтобы не ревели над головой бомбардировщики с

теми же опознавательными знаками. Так было и в тот рейс.

Перед вечером мы шли мимо итальянских берегов через Мальтийский пролив, отделяющий Мальту от Сицилии. Впередсмотрящий матрос Николай Лисой первым заметил далекий силуэт. Вскоре уже можно было отложить бинокль. Огромный авианосец со звездно-полосатым флагом на мачте, тяжелый и не колеблемый волнами, точно черный остров, шел встречным курсом. Его сопровождали две подводные лодки и два эсминца.

Мы везли на Кубу металлоконструкции. Недалеко от нас шел финский пароход с лесом. Чуть дальше — шведский танкер. В поле зрения были болгарское и польское торговые суда. Море было спокойным и красивым. Обычная картина мирной морской жизни. И в центр ее вползало распластавшееся больше чем на гектар отвратительное американское чудовище. Неожиданно вырвалось из подводной лодки облако, похожее на пар. Военные корабли быстро развернулись и полным ходом пошли назад. А облако стало оседать и расширяться. Оно ползло во все стороны, и тревожно смотрели на него в бинокли с капитанских мостиков торговых кораблей. Замедлили ход финны и шведы.

— Обычная бандитская выходка! — сказал капитан Кнаб.— Так держать! — И он спустился вниз, где начинался праздничный вечер, посвященный годовщине Октября.

В кают-компании и в прилегающем к ней музыкальном салоне все напоминало обстановку готовящегося молодежного бала. Матросы, мотористы, электрики в модных костюмах и белых сорочках с накрахмаленными воротниками, работницы с камбуза в нарядных платьях, музыка, какая-то особая, предпраздничная атмосфера. Первый помощник капитана Николай Иванович Кабанов сделал короткий доклад, зачитали приказ капитана, а потом начался концерт. Это был концерт самодеятельности, какой можно услышать в хорошем клубе с обширной программой, большой выдумкой и подлинным юмором.

Где-то рядом в ночных водах рыскали подводные лодки и эсминцы, всматривалась в ночь палубная вахта, зорко следили за экранами локаторов на капитанском мостике. Теплоход коммунистического труда шел на Кубу и праздновал великую годовщину своей Родины.

Утром был туман. Потом он рассеялся, и прямо по курсу далеко впереди мы увидели исполинскую скалу. Это Гибралтар. Английская военно-морская база. Издали казалось, что это остров. Всматриваюсь в бинокль и вижу справа тонкую полоску асфальта, соединяющего подножие скалы с испанским берегом. Кажется, пойдет волна и накроет эту полосу. Слева берега Марокко и город Сеута. Здесь проходит граница Европы и Африки. Здесь кончается Средиземное море и начинается Атлантический океан.

Подходим ближе, и странным кажется склон Гибралтара, обращенный к нам. Посередине, от вершины и почти до подножия идет гигантская ровная полоса без выступов и камней, будто наклонили посадочную площадку аэродрома. Да, полное впечатление летного поля, наклоненного градусов на шестьдесят. Этот склон и в самом деле выровнен и покрыт не то бетоном, не то цементом на площади не меньше двадцати гектаров. Эта гладкая полоса, не доходя до моря метров пятьдесят, упирается в бассейн.

В Гибралтаре нет воды. Ее возят из других стран. А наклонную плоскость и бассейн соорудили для сбора дождевой воды. Сооружение оригинальное. Говорят, даже роса, стекающая в бассейн, пополняет здесь водные ресурсы.

В скалах то тут, то там торчат орудийные стволы разных калибров. Стоят орудия и открыто на площадках. Они похожи на танки. Внизу много гротов.

— Это базы подводных лодок,— замечает Алик.

Очень скоро мы убедились, как велико подземное хозяйство Гибралтара.

На самом высоком выступе скалы, на самой его высокой точке — мачта. От нее идет антенна к стоящей далеко внизу гигантской ажурной мачте, похожей на телевизионную. Очень большая антенна. Мощная.

Для пополнения некоторых судовых запасов капитан Кнаб решил зайти в Гибралтар. Получили по радио разрешение местных властей и подняли флаг: «Мне нужен лоцман».

Мы обогнули скалу и увидели идущий к нам на полной скорости катер с надписью «Pilot», что значит «Лоцман».

— Стоп, машина!

Катер лихо подкатывается к борту, и высокий седой человек поднимается на капитанский мостик.

— Малый вперед!

Мы входим в бухту.

Обменявшись с капитаном несколькими деловыми фразами, лоцман спрашивает:

— Вы будете здесь снабжаться?

— Да кое-что возьму.

— Пожалуйста, я вас очень прошу.— И он достал из бумажника карточку с крупной надписью:

«Компания Давлана. Андери, капитан Франс и сын».

Дальше были перечислены наименования запасных частей к судовым двигателям, наименования приборов, различных деталей и многое другое, вплоть до флагов всего мира.

Лоцман говорит, что будет в высшей степени признателен, если капитан закупит необходимые товары именно у этой фирмы. Как старый английский капитан и специалист, он гарантирует высокое качество товаров и подтверждает солидность фирмы.

Фирма, надо сказать, довольно ловкая. Лоцманов, то есть первых, кто ступает на борт иностранных пароходов, она сделала своими коммивояжерами.

Старый лоцман выполнял эту несвойственную ему роль довольно неуверенно, как бы стесняясь. И было чего стесняться. Никогда раньше английский лоцман, состоящий на государственной службе, особенно на таком крупном перекрестке мировых путей, как Гибралтар, не стал бы заниматься подобной коммерцией. Впрочем, едва ли стоит судить его строго. Словно оправдываясь, он сказал:

— Очень трудно жить только на жалованье.

— Стоп машина! Отдать правый якорь!

Боцман Вася Журавлев отпускает на брашпиле стопорную рукоятку, и с грохотом рушится в воду могучий якорь. Схваченное цепью спереди, судно разворачивается кормой по течению и замирает. Мы встали на рейде. А у судна уже несколько катеров: полиция, агент, шипшандлер, врач.

Убедились, что среди нас нет чумных или прокаженных, проверили судовую роль, куда занесен каждый член экипажа, покурили советские сигареты, выпили по рюмке русской водки и ушли на берег.

Мы спустили моторный бот и отправились в город. Боря Большой и Боря Маленький, стармех Слава Леон-

тьев, начальник радиостанции Лев Вестель и я составили первую группу.

Веселый полицейский у проходной проверил пропуска, поставил «галочки» против наших фамилий, которые уже успели занести в какие-то книги, и, громко расхохотавшись, предупредил:

— Смотрите не напивайтесь!

Я не понял, что привело его в такой восторг. Боря Большой объяснил мне:

— С таким же успехом он мог сказать: «Смотрите не опрокиньте в воду Гибралтар». Ни в одном порту мира наши моряки не пьют.

За воротами порта шумно и людно. Я не думал, что в скалах Гибралтара увижу такой город. Есть тут и старинные здания и крепость с разводными мостами у входа, есть и современные дома — сверхмодерн.

Скалы создали для архитекторов большие трудности, но и открыли широкие возможности для их фантазии. Дома то возвышаются один над одним, будто исполинские ступени, то идут рядом, выдвинувшись из скал только фасадом. Кажется, раздвинулась гора и выполз дом, чтобы на ночь снова спрятаться в ее чреве. То и дело у зданий искусственные бассейны, красивые водоемы. Яркие и легкие строения на пляжах и в личных купальнях. Шикарные гостиницы с лоджиями похожи на наши первоклассные санатории в Крыму или на Кавказе.

Во всем этом городе, созданном в скалах, отличные, хорошо асфальтированные дороги. Много такси, еще больше извозчиков, старинных английских кебов, тяжелых, неповоротливых, покрытых брезентовыми навесами, с медными фонарями и торчащими на козлах длинными кнутами, которые вполне сошли бы для удилища. Но торчат они в вертикальном положении, поэтому напоминают автомобильные антенны.

Ближе к порту, у склона, обращенного к океану, много четырехэтажных домов, очень простых, явно дешевых, сборных, но они красивые, потому что со вкусом раскрашены. Повсюду балконы, балкончики, какие-то решетки из палочек, и все это в ярких красках, удачно подобранных, радующих глаз. Общую картину портит лишь изобилие белья, вывешенного на балконах и между ними. Такими домами, совершенно стандартными, застроена правая сторона улицы, ведущей к аэродрому. А по левой стороне — бараки, серые, низенькие, с фанерками вместо

выбитых стекол, с облезлой и заплатанной рубероидом крышей. И каждый жилец здесь виден по тому, что у него под окном. Есть и запыленный цветничок или огородик, но чаще всего — кучи хлама, домашнего скарба. Можно бы сжечь этот хлам, да, видно, руки не поднимаются, авось пригодится.

Бараки ограждены жиденькими некрашеными заборчиками, и отстоят они от окон на три-четыре метра. На веревках, протянутых от заборов к баракам, сушится белье. А рядом — автомобили. Собственно говоря, эти машины даже неловко называть автомобилями, настолько они старые, помятые и облезлые. Но именно поэтому они вписываются в барачный пейзаж и не выглядят здесь чужеродным телом. Ездить на этих машинах, должно быть, рискованно, но по всему видно, что владельцы привыкли к ним и пользуются довольно широко. Совсем нехвастливо, естественно прозвучали слова очень сухонькой старушки, которая, стоя на своем ветхом, покосившемся и почерневшем от времени крыльце, кричала соседке:

— Поедем на моей машине, ты свою не заводи.

У крыльца действительно стояла машина, маленькая, как инвалидная коляска, и такая помятая, будто она долго катилась кувырком с высокой горы, а потом два года стояла под всеми дождями и ветрами.

А у соседнего барака, такого же, как и все остальные, мы увидели совсем новую малолитражку. Должно быть, повезло человеку и сделал он какой-то бизнес. Он был тут же, у своей машины. Весь его вид соответствовал виду бараков — потертые, непонятного цвета штаны, такая же рубаха и некогда шикарный суконный жилет. Он натирал белой чистой тряпкой и без того сверкающий кузов и все время поглядывал на прохожих, стараясь сделать индифферентный вид: ничего особенного в этой машине нет, я всю жизнь на таких езжу.

Но счастье распирало его, оно пробивалось сквозь маску безразличия, и Лева Вестель не выдержал:

— Вери гуд!— И мы заулыбались, подтверждая, что действительно «вери гуд».

И владелец машины расплылся в улыбке. Казалось, не было для него большей радости, чем услышать эти слова. И тут же, спохватившись, он принял солидную позу и внушительно сказал:

— О йес!

Улица, по которой мы шли, упиралась в аэродром. Он не огражден, на нем нет никаких строений. Это та самая полоса асфальта, которую мы видели с моря. Она и соединяет Гибралтар с Испанией. Чтобы попасть в Испанию, надо пересечь эту взлетную площадку. По ней и идет пешеходная и автомобильная дорога. Собственно, никакой дороги нет. Есть место, где разрешено проходить через аэродром. Два полицейских регулируют движение. Встречного потока нет. Транспорт и людей пропускают то в одну сторону, то в другую. А движение большое. Автомобили, извозчики, пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты. Это испанцы, живущие у себя на родине и работающие в Гибралтаре, это домашние хозяйки, спешащие на английский рынок из Испании, это туристы из других стран.

Мы тоже пошли через аэродром к испанской границе. По ту сторону его — две будки в нескольких метрах друг от друга. У одной — английские пограничники, у другой — испанские. На пропуска они едва взглядывают. Иные даже документы не берут в руки, а только отвечают на приветствие проходящих людей.

Близ будок начинается испанский населенный пункт. Как там живут, я не знаю, ничего не было видно. Я бы постоял на этой границе подольше, присмотрелся бы к тому, что делается вокруг, но было неудобно. Пришлось уходить.

Снова пересекли аэродром и направились к центральной улице. Она не шире тротуара любого нашего проспекта. Но на ней, как и на всякой порядочной улице, тоже два тротуара. Местами по ним могут ходить двое рядом, но чаще всего не разойдутся и двое встречных.

Это торговая улица, и все до единого здания на ней магазины. Большое движение транспорта. Я с завистью смотрел, как пешеходы, водители, извозчики любезно уступали друг другу дорогу. Собственно говоря, только при таких условиях здесь и возможно движение транспорта.

Гибралтар — один из центров мирового туризма. Эта торговая улица — для туристов. Местное население сюда не ходит. А туристы здесь со всех концов мира. Идешь, обгоняя группы гуляющих людей, и будто вращаешь рукоятку коротковолнового приемника: английский, французский, шведский, японский, арабский и многие другие языки услышишь на протяжении одного квартала.

В музей мы пошли вдвоем с Вестелем. Остальные наши спутники сказали, что там нечего делать. Они оказались правы. Десятка три экспонатов старинного оружия, портреты королей, королев и их наместников в Гибралтаре, чучела нескольких птиц и животных, образцы монет разных времен, довольно убогие дары морского дна и еще что-то в этом роде — вот и весь музей, занимающий мрачное каменное здание в центре города.

Когда мы возвращались домой, с аэродрома поднялся бомбардировщик. Мы переглянулись: ни один самолет за время нашего пребывания в городе не опускался. На аэродроме машин не было. Откуда же самолет?

Не успели мы пожать плечами, как взвился второй, потом третий, и пошли один за другим с равными короткими интервалами. Я насчитал двадцать штук, а потом надоело.

Наш бот уже подошел к судну, а в воздухе все еще ревели бомбардировщики, поднявшиеся из подземных ангаров.

Пока в океане тихо, можно спокойно работать в каюте, зная, что ни одно событие не пройдет мимо. Хотя репродуктор у меня выключен и тихая музыка доносится откуда-то издалека, но отключить принудительно трансляцию невозможно, если даже захочешь. Время от времени раздается шипение, и настораживаешься.

— Внимание,— раздается голос вахтенного штурмана,— сегодня ночью судовые часы будут переведены на час назад.

Такие сообщения мы слышим в океане каждый день. К приходу в Гавану разница с московским временем достигнет восьми часов.

Есть сообщения, к которым привыкли. В каждую субботу оповещают экипаж:

— Сегодня в шестнадцать часов (или в семнадцать) будет выдаваться постельное белье.

Есть такие, что за рейс услышишь только один раз:

— Внимание! Пересекаем тропик Рака!

А сообщение это кое-что значит. Во-первых, с этого момента начинается подача в каюты холодного воздуха, а жара стоит такая, что ждут его, как манну небесную. Во-вторых, начнут выдавать тропическое вино. Разведенное с водой, оно отлично утоляет жажду. В-третьих, пройден уже большой путь.

Бывают сообщения менее приятные и совсем неожиданные:

— Объявляется учебная тревога! Пожар в районе четвертого трюма.

И несутся десятки людей в разные стороны, каждый в точно определенное для него место. Бегут люди, на ходу надевая спасательные пояса, хватая шланги, аварийные движки, и опять-таки каждый точно знает, что ему делать. И едва успевают потушить «пожар», как несется по судну новое сообщение:

— Человек за бортом!

Шлепаются о воду мотоботы, гребут матросы на шлюпках, запускает свой детский смешной змей Вестель. Тончайший медный тросик, на котором поднимается змей, служит антенной аварийной радиостанции.

Четыре дня мы шли по спокойным водам Атлантики. А потом началась мертвая зыбь. Двое суток выматывало душу. Впереди горизонт был близким и ясным, позади — далеким и расплывчатым, но, куда ни глянь, ни одного белого гребня.

Мертвая зыбь! Значит, где-то вздыбился, взбесился и бьется в шторме океан. Мертвая зыбь — это окраина шторма. Мы обходили штормовую зону, но мертвой зыби не миновать. Иначе на тысячу миль надо отклоняться от курса.

Мертвая зыбь — это на первый взгляд тихие и безобидные волны. Они пологие, без острых гребней, на пятьдесят, а то и сто метров отстоят друг от друга. Поэтому кажутся невысокими. В действительности достигают десяти метров. Водяные возвышенности, низменности движутся на судно всей своей миллионотонной массой, и физически ощутимой становится исполинская сила океана. Взобравшись на вершину, судно устремляется вниз, и кажется — неминуемо врежется в водяную гряду. Но она подбрасывает наш теплоход весом около двадцати тысяч тонн, как пустую коробку. На вершине нос теплохода словно повисает на мгновение в воздухе, и судно всей своей массой рушится вниз, задирая корму. На то же мгновение освобожденный от нагрузки винт начинает вращаться с большой скоростью, и, не контролируй его умный автомат, снижающий эту скорость, винт вращался бы, как буксующее колесо автомобиля.

Пока теплоход несется вниз, он словно натыкается на валуны и ухабы с обеих сторон и валится то на правый

борт, то на левый, и мечется из стороны в сторону стрелка кренометра. А мертвая зыбь крутит и вертит наше судно, будто играя им, швыряет с боку на бок и вверх и вниз, и не знаешь, в какую секунду и куда тебя бросит.

Любителям острых ощущений такой аттракцион в течение нескольких минут может доставить удовольствие. Через час человека начинает мутить. Через сутки — это уже пытка. Ведь неправда, будто «морским волкам» качка нипочем. Конечно, бывалые моряки переносят ее легче новичков, но влияет она на всякий организм.

К исходу вторых суток штормовая зона расширилась, и стало совсем худо. А жизнь на судне продолжалась в соответствии с новой обстановкой. Повар Александр Ефремович Иванченко, привязав к плите надраенные кастрюли и жаровни, готовил обед. Трудно было понять, как человек удерживает равновесие. Он резал капусту, свеклу, клал в борщ все, что положено, и сокрушался:

— Если шторм усилится, останемся без первого: сготовить я, конечно, сготовлю, а вот съесть не удастся, не удержится борщ в тарелках.

Цирковой эквилибрист выполняет свой номер, стоя на твердой почве, да и то в течение нескольких минут. Иванченко занимался эквилибристикой, балансируя на рвущемся из-под ног полу у раскаленной плиты, подбрасываемый то вверх, то в стороны в течение всего дня. Как это удавалось ему, я не мог постичь, хотя смотрел на его работу. Уж достанется мне от моряков за это слово — «пол»!

Утром шторм затих. Мы нашли на палубе залетевшую сюда стайку летучих рыб. Должно быть, «приземлились» они ночью, а подняться так и не смогли: неподходящей оказалась взлетная площадка. Несколько штук отнесли на камбуз, а две самые большие моторист Стас Овадовский препарировал формалином, чтобы в сохранности довезти сыну. Возобновились прерванные соревнования по настольному теннису. Боря Большой, с разгромным счетом победив своего начальника Борю Маленького, обеспечил себе первое место. Мы еще обсуждали это событие, когда из всех репродукторов раздался голос вахтенного штурмана Николая Бочарова:

— Внимание! Встречным курсом прямо по носу — самолет!

Широко распластавшись, очень низко над водой летел бомбардировщик. С нарастающим ревом неслась на судно огромная машина с сигарообразными наростами под крыльями, оставляя на воде большую тень. Мне показалось,что я уже видел этот самолет. И действительно, точно такие машины поднимались с аэродрома в Гибралтаре. Но этот был не с Гибралтара: от пролива мы ушли уже больше чем на четыре тысячи километров. Этот пришел с другой военной базы.

Пролетев на бреющем полете вдоль судна над самыми мачтами, полоснув своей тенью по палубам, самолет развернулся и, заглушая ревом шум винтов, снова ринулся на теплоход. Все увидели его номер: К-13152. Это был американский «нептун». Облетая нас то по правому борту, то по левому, перерезáл нам путь перед самым носом, залетал с кормы, бесновался вокруг судна или, провоцируя экипаж, взмывал и пикировал, будто готовился сбросить бомбы. Летчик водил по кораблю каким-то аппаратом, и трудно было понять, полыхнет оттуда пламя или просто он фотографирует чужое судно в нейтральных водах.

В прозрачной штурманской рубке бомбардировщика детина в рыжем надутом скафандре крутил ручку, направляя на нас трубу. И руки, и ноги, и туловище были похожи на колбасы, перетянутые веревками. Человек этот казался ненастоящим, он скорее походил на робота. Такие же фигуры сидели в кабине и у самого хвоста и тоже чем-то нацеливались на судно. Откуда бы ни заходил бомбардировщик, мы видели эти отвратительные рыжие колбасы, этих роботов, наводящих на нас свои трубы. И каждый раз, когда он надвигался на судно, мы видели направленные на нас и готовые сорваться со своих гнезд восемь тонких ракет под крыльями.

Он пролетел над нами двадцать один раз. Это было в Атлантическом океане на 26°31′ северной широты и 59°47′ западной долготы, то есть за 1500 километров от Кубы.

Экипаж «Солнечногорска», совершавший свой тринадцатый рейс на остров Свободы, не один раз испытал на себе облеты американских бомбардировщиков. Но никогда еще они не забирались так далеко в океан и никогда так долго не бесновались над судном.

Через сорок минут после того, как скрылся самолет, на горизонте опять появилась черная точка. Она увеличивалась с необычайной быстротой, и вскоре без бинокля

можно было увидеть американскую летающую лодку № 5490. И все началось сначала. Противное, с огромным уродливым брюхом воющее чудовище снова бесновалось над судном.

Весь день до самой темноты американские самолеты не оставляли нас в покое. На мостике находились капитан Кнаб, его помощник по политической части Кабанов и вахтенные. Экипаж коммунистического труда шел своим курсом. Шел на Кубу.

В пять часов утра я смотрел, как старпом Борис Куликов определял местонахождение корабля по звездам. Мы приближались к Багамским островам. Небо закрыли тучи, было совсем темно, но старпом отыскал все же бледные контуры Сириуса и, показав направление, передал мне прибор. В это мгновение что-то ударило в глаза, ослепило, оглушило. С ревом и грохотом над нами пронесся самолет. У самых мачт он включил мощные прожекторы, и они ударили по затемненному судну, где не спала только вахта. Яркие лучи вонзились в иллюминаторы. Вскочили с постелей моряки, не понимая, что произошло.

Это был очередной американский «нептун». Развернувшись, он погасил прожекторы. Теперь были видны его бортовые огни. Он снова приближался к судну.

Капитан Кнаб приказал вахтенному матросу Шустрову:

— Если еще раз ослепит, отвечай!

Шустров бросился на верхний мостик, сорвал брезент с огромного прожектора. Снова яркий свет полоснул по глазам, и в ту же секунду Шустров нажал кнопку. Схлестнулись два огненных луча, затрепетала в воздухе серебряная машина, рванулась вверх и в сторону, погасив свои прожекторы. Отчетливо был виден номер А-141416.

Медленно расходились по каютам люди, высыпавшие на палубы.

— Сволочь! — сказал кто-то.— Не дал поспать.

Когда рассвело, этот бомбардировщик снова появился над нами. И он проделал все провокационные номера, хорошо знакомые экипажу по предыдущим облетам.

Миновав старый Багамский пролив, мы вошли в территориальные воды Кубы. Взвился на мачте флаг героического острова Свободы. С нетерпением ожидала команда встречи с кубинскими друзьями, которых обрела

в предыдущих рейсах. Началась генеральная уборка судна. Моряки крахмалили сорочки, утюжили брюки.

Поздно вечером я зашел в радиорубку, чтобы передать в редакцию сообщение об облетах американской авиации «Солнечногорска». На вахте был начальник радиостанции Лев Вестель.

Радистом он стал в школьные годы. Нельзя сказать, что в школе он просто увлекался радио. Это была любовь, которой он отдавал жизнь.

Парень не знал ни ребячьих игр, ни спортивных соревнований, ни школьных вечеров. Всякую свободную минуту проводил в сарае, где укрывался от посторонних глаз и чувствовал себя в родной стихии. На стенах и под крышей тянулись провода, в ящичках лежали радиодетали, вернее медяшки, железки, поломанные выключатели и розетки, кусочки фибры. Он паял, пилил, перестраивал свой приемник, полностью сделанный собственными руками, без конца переделывал схему. Приемник был бесформенным, некрасивым. Он принимал весь мир.

Школьные занятия, какие-то домашние дела, уроки — все казалось десятистепенным, несущественным, потусторонним. День проходил в предвкушении ночи. Когда все укладывались спать, он спешил в свой сарай, устраивался поудобнее, надевал наушники, трепетно включал приемник. В такие минуты он забывал все на свете. Перед ним открывался мир, необъятный, таинственный, захватывающий. И не было ничего в жизни, кроме этого мира, зовущего, бесконечно далекого, который можно ощутить, сделать близким.

Долгими, невыносимо долгими часами вращал он рукоятку на сотые доли градуса, будто кончиками нервов на пальцах воспринимал звук и искал, как пушинку во Вселенной, искал таких же одержимых, как сам, коротковолновиков. Он терял счет времени, и уже не было аппарата и радиста, они сливались в единый организм, и казалось, не маленьким аппаратом ловит он волны, несущиеся в мировом эфире, а сам он где-то в этих немыслимых волнах парит над земным шаром, возбужденный до экстаза.

Это был экстаз охотника, опытного, азартного, который еще не видит добычи, еще не напал на след, но всем своим существом уже осязает ее. И он устремляется куда-то в чащу, влекомый неудержимой силой интуиции,

безотчетно веря ей, углубляется все дальше, пока не наткнется на чуть примятые стебельки, которые ничего не скажут непосвященному, но заставят сладостно сжаться сердце охотника. Теперь-то он не упустит след.

Вестель охотился в эфире, находил едва уловимые звуки, шел по следу, и они становились все отчетливее, яснее, пока не превращались в слова чужих и далеких языков. Он находил их в Австралии, Новой Зеландии, на островах с неведомыми названиями, в далеких тропических странах. Он очищал эти голоса от посторонних шумов, делал их громкими и чистыми и включался в чужую речь, чтобы установить связь и дать свои позывные.

И не было предела счастью, когда заполнял очередную карточку с позывными нового неведомого друга и, точно знамя победы, вонзал в географическую карту крошечный флажок. Потом при свете маленькой лампочки долго смотрел на замысловатое название чужого и далекого города, чтобы назавтра, едва дождавшись открытия библиотеки, найти его в энциклопедии и узнать все, что о нем известно.

Одну за другой завоевывал он части света, самые глубинные их районы. Усеяна была флажками карта, и казалось, нет на ней больше свободного места. Но снова и снова, как в безумной охоте, носился он по волнам Вселенной.

Редко перед кем из ребят не вставал вопрос: какую дорогу выбрать в жизни? Вестель об этом не думал. В руках у него уже была профессия, которую он не поменял бы ни на какую другую. В пятнадцать лет стал радистом высокой квалификации на торговом флоте, хотя пошел туда только для прохождения практики, как студент техникума. Какая там практика! Известны позывные, известны часы выхода на связь, в специальной радиорубке — отличная заводская аппаратура. Не работа, а счастье.

Здесь впервые проверил свои силы по формальным показателям: сто двадцать пять букв в минуту русского алфавита или сто — иностранного. Такую норму может дать только высококвалифицированный радист.

Теперь он изучал мир не по радиоволнам. Он увидел многие страны, десятки иностранных портов, куда заходило его судно.

В восемнадцать лет Вестель стал начальником радиостанции ледокола «Добрыня Никитич».

Бухта Провидения, залив Трех крестов, мыс Шмидта, весь Северный морской путь, весь Восточный сектор Арктики успел он исколесить, когда произошло событие, изменившее жизнь народов. К тому времени он был начальником радиостанции товаропассажирского парохода «Сахалин», отправившегося в полугодовой рейс из Владивостока. Предстояло во многих местах сменить зимовщиков, оставить на зимовках продукты, оборудование, одежду.

На очередной радиовахте Вестель услышал: началась война. Ничего в этом рейсе не изменила война. Была она где-то далеко и как-то не воспринималась реально. Казалось, будто не успеют еще вернуться во Владивосток, как разобьют врага, и конечно же не придет она в эти далекие дали. Но война затянулась. И хотя не в виде открытых боев, но весьма ощутимо пришла и на Дальний Восток.

Многие суда, в том числе и «Сахалин», взяли курс к берегам Соединенных Штатов. Там предстояло брать оборудование, продовольствие, материалы. Путь лежал через пролив Лаперуза или Цусимский пролив. Эти воды хотя и являлись международными, их незаконно контролировала самурайская Япония. Японский военно-морской флот постоянно находился в этих проливах и регистрировал каждое судно, идущее в США.

Милитаристская Япония готовилась вступить в войну против Советского Союза. Она ждала лишь нашего поражения под Сталинградом, чтобы обрушить на нас всю свою военную мощь. Но пока мы не были в состоянии войны с ней, она ставила нам препятствия коварные, прибегала к методам жестоким и пиратским.

В очередной рейс «Сахалин» отправился через Цусимский пролив, который был на виду у японского военного флота. Поэтому суда, идущие через Цусиму, не вызывали особых подозрений у японцев. И именно поэтому капитан решил избрать такой маршрут.

«Сахалин» прошел между двумя самурайскими крейсерами, откуда неотрывно наблюдали за ним в бинокли. Потом встретили еще несколько военных катеров, но ни один из них не останавливал советский пароход и никто никаких вопросов не задал.

Конечно, экипаж был доволен, но все знали, что не-

приятности впереди. По пути в США, как правило, наши корабли не подвергались нападениям. Главное — обратный путь. Главное — доставить из США груз. Это знали и японцы.

К тому времени они одержали на Тихом океане ряд побед над флотами Соединенных Штатов и Англии. Самураи захватили Филиппины, Сингапур, Пенанг, многие острова и военные базы своих противников. Самураи наносили внезапные и весьма чувствительные удары, такие, как в Пирл-Харборе или Сингапуре, и это придавало им смелости и наглости. Готовясь к нападению на Советский Союз, одерживая победы над флотом союзников, они едва сдерживались при виде наших судов, беспрепятственно следующих в США. Советские моряки, проходя мимо самурайских кораблей, в полной мере ощущали это предельное напряжение.

В ту пору наши корабли ходили в Сиэтл, Портланд, Сан-Франциско, в Олимпию и Такому, в другие порты США.

«Сахалин» благополучно прошел большой путь и благополучно ошвартовался у одного из причалов Сан-Франциско. Первое, что бросилось в глаза Вестелю и всему экипажу,— это множество японцев, сновавших в порту. Они рассматривали советское судно, фотографировали его, а когда началась погрузка, бесцеремонно достали свои блокноты. Точно судовые тальманы, стояли они на пирсе и считали каждый тюк, каждый подъем крана.

Капитан «Сахалина» выразил протест портовым властям, но это ни к чему не привело. Капитан порта, веселый толстяк, ответил, что эти японцы — граждане США, а то, чем они занимаются и что записывают в свои блокноты,— дело их личное. И поскольку Америка — страна свободная, никто не может запретить им делать то, что им хочется. Понять такую «свободу» советские люди не могли, потому что каждому было ясно: японцы занимаются шпионажем и конечно же передадут на свои военные корабли все данные о грузах, принятых на борт «Сахалина».

Капитан судна связался с другими советскими моряками, находившимися в портах США, и выяснилось, что японцы свободно ходят по всем причалам и пирсам, наблюдают за каждым советским судном и знают, чем грузятся пароходы, вплоть до того, какими материалами и как загружен каждый трюм.

Знать, не очень заботились американские торговцы, чтобы их грузы дошли по назначению.

В американских портах мы получали и суда, переданные Советскому Союзу по ленд-лизу. Специальных команд за ними не посылали. С каждого советского судна, приходившего в США, выделялось по пять — семь человек, из которых и формировались экипажи на новые суда. Вместе с группой моряков «Сахалина», назначенной на одно из таких судов, пошел и Вестель. Пошел, чтобы помочь товарищам проверить аппаратуру и вернуться на свое судно.

Когда они увидели «новое» судно, у них буквально опустились руки. Запущенное, грязное, ржавое, оно простояло, видимо, не один год без действия. Оно казалось совершенно непригодным к эксплуатации. Чтобы хоть немного привести его в порядок, дать возможность дотащить эту рухлядь до своего порта, пришлось вызвать сюда полный состав экипажей двух советских кораблей, стоявших в порту. Целыми сутками работали люди, пока удалось привести механизмы в действие.

Погрузка на «Сахалине» закончилась, и он тронулся в обратный рейс. Настроение у людей было тяжелое. Понимали: нелегко будет пробиться к Владивостоку.

Часть экипажа осталась на «новом» судне. Остался там и второй радист. В нормальных условиях плавания Вестель справился бы с работой и один. Ведь вахту надо нести не круглосуточно, а в строго определенное и не такое уж большое время, в зависимости от зоны, где находится судно. Фактически она велась только в так называемые часы выхода на связь, то есть в то строго фиксированное время, когда судно передает в свой порт ежесуточные данные о пройденном пути, своем местонахождении и другие подобного рода сведения.

Ограничиться такой вахтой на «Сахалине» было нельзя. Фактически ее предстояло вести круглые сутки. И вот почему.

Самураи делали все, чтобы задержать груз, идущий из США в СССР. Формальный повод для придирок был всегда один: поскольку США находятся в состоянии войны с Японией, она не может допустить какой бы то ни было транспортировки американского оружия. А по имеющимся якобы у нее данным, именно это советское судно и везет оружие.

Под этим предлогом самураи останавливали советские

суда и, опечатав радиостанцию, уводили их в свои порты. Случалось так, что радист не успеет сообщить советским властям о происшедшем — и судно исчезает бесследно. Сутками его вызывали Владивосток и другие радиостанции, но ответа не получали. И хотя люди догадывались, куда оно девалось, предъявить претензию японцам было трудно. Если же радисту удавалось своевременно сообщить о том, что пароход задержали японцы, при каких обстоятельствах это произошло и свои координаты, положение значительно облегчалось. В Японию по дипломатическим каналам немедленно посылали ноту протеста, и, как бы не вертелись самураи, им приходилось, извинившись за недоразумение, отпускать советское судно.

Это обстоятельство и заставляло радистов нести круглосуточную вахту. Это было необходимо еще и потому, что в дни, полные тревог, в любую минуту могло прийти распоряжение изменить маршрут или сообщение о грозящей впереди опасности, или, наконец, указание, как вести себя в предстоящей сложной обстановке.

«Сахалин» держал курс на Владивосток. Благополучно миновали пролив Унимак и американскую военно-морскую базу Акутан близ Дейч-Харбора. В первую половину пути Вестель еще позволял себе и нормально отдыхать, и питаться, как все, в кают-компании. А потом наступило трудное время.

Надо находиться на вахте день и ночь. Но как может человек дежурить круглые сутки, несколько суток подряд, пока не прибудут в свой порт.

Человек все может. Вестель сидел на своем рабочем месте, не снимая наушников, не раздеваясь. Нельзя сказать, будто он совсем не спал, но это был странный сон, сквозь который радист слушал эфир. Стоило появиться малейшим помехам, как он улавливал их, схватывался, немедленно устранял. В бесчисленном количестве точек-тире, непрерывным потоком барабанивших в наушниках, он сквозь сон различал те, что касались его. В забытьи находился час-полтора, потом делал разминку и снова был бодрым часов пять-шесть. Его часто вызывал Владивосток — и в заранее назначенное время, и в неурочное, и он тут же отвечал. Пищу теперь ему приносили в радиорубку.

Так дошли до пролива Лаперуза, где встретили японский эскадренный миноносец. «Сахалин» был еще далеко

от военного судна, когда оттуда начали сигналить прожектором. Вестель знал, что сигнал принимают на ходовом мостике, но огни были видны и ему, и он тоже всматривался в них. Пока это было только мигание, только знак «Сахалину» о том, что его вызывают, требующий ответных огней как подтверждение, что «Сахалин» слушает.

— Не отвечать! — скомандовал капитан, и этот приказ донесся до Вестеля сквозь открытый иллюминатор, выходивший на левое крыло мостика. Прибежал вахтенный матрос и передал распоряжение капитана немедленно связаться с Владивостоком и передать туда все, что будет происходить дальше. Но Вестель и без того уже начал вызывать свой порт.

На эсминце взвились флаги: «Застопорить ход». Прожектор продолжал мигать, и теперь вспышки были то мгновенными, то чуть замедленными, и это уже не просто вспышки, а огненные слова, повторяющие приказ: «Застопорить ход».

«Сахалин» продолжал идти своим курсом, не снижая скорости. Капитан и штурманы, выбрав места, откуда их не могли видеть японцы, смотрели в бинокли на эсминец. Самураи тоже смотрели в бинокли, но открыто, облокотившись о планшир.

Флаги поползли вниз, и тут же взвился новый сигнал: «В случае неповиновения открываю огонь». Этот же сигнал просветофорили прожектором.

Вестель звал Владивосток, но ответа не получал. Без конца повторял позывные, и будто в глухую стену.

Самураи навели на «Сахалин» орудия. Грянул выстрел. Не долетев до судна, снаряд разорвался метрах в ста от него.

— Что передали во Владивосток? — это спрашивает вахтенный штурман по поручению капитана.

Есть ли чувство более страшное, чем ощущение собственной беспомощности, когда знаешь, как предотвратить гибель или катастрофу, и не можешь этого сделать! Вестель звал Владивосток, Находку, Сахалин. Взывал ко всем советским и иностранным судам, к береговым станциям, прося ответа. Никто не отвечал. Он переходил на другие волны, вмешивался в чужие разговоры, но его не слышали.

Раздался второй выстрел. Теперь — перелет, но тоже метрах в ста от судна. Значит, не случайны эти недолеты-перелеты. Они точно рассчитаны: два предупредитель-

ных удара, третий — в цель. И этот третий будет нанесен через несколько секунд.

Вестель не слышал приказа капитана. Он услышал и почувствовал, как судно перестало вибрировать, как умолк мерный гул двигателей. Оборвалась бурлящая дорожка за кормой: перестал вращаться винт. Резко упала и продолжала снижаться скорость.

Самураи все видели. Шлепнулась о воду их шлюпка, в которой находилось человек двадцать вооруженных матросов и несколько офицеров. По приказу с эсминца на «Сахалине» спустили трап.

Не отрывая руки от телеграфного ключа, выстукивая позывные советских портов, Вестель наблюдал эту картину, глядя в иллюминатор. Он страдал, чувствуя на себе вину. Раньше других понял, в каком страшном положении они оказались: если не связаться со своими — значит, судно может исчезнуть бесследно. Его уведут в глубь Японии, разгрузят, перекрасят и пустят в эксплуатацию на внутренних линиях. А экипаж... Кто знает, что сделают с экипажем!

Надежды связаться с Владивостоком уже не осталось. Через несколько минут самураи захватят радиорубку.

Фактически никакой вины Вестеля не было. Он проявил и настойчивость, и изобретательность, пытаясь вызвать ответ какой угодно живой души. И ему ответили. Ответил шведский корабль, обещавший передать советским властям принятое с «Сахалина» сообщение. Разговор со шведами состоялся в тот момент, когда самураи поднимались на советское судно. Один за другим они перемахивали через борт и прыгали на палубу.

Связь, установленная со шведами, не радовала Вестеля. Странный какой-то разговор. Подозрительный. Какая гарантия в том, что они передадут его сообщение? И кто может поручиться, что они действительно шведы, а не японцы, решившие обмануть бдительность советского радиста? Скорее всего дело обстоит именно так. Станут ли шведы, занимающие нейтралитет в войне, вмешиваться в какие-то дела судов воюющих стран? Едва ли. А если это японцы, совсем плохо. Значит, им известно, что «Сахалин» не смог связаться с берегом и никто не знает о случившемся. Через одну-две минуты они ворвутся в радиорубку и опечатают ее.

В эти последние минуты перед их вторжением он чувствовал всю меру тяжести, какая легла на его плечи,

и всю неотвратимость катастрофы. Ни капитан, ни штурманы, ни один человек из членов экипажа товаро-пассажирского судна не могли противостоять вооруженной самурайщине в открытом море. Только он один мог позвать на помощь Родину. Но она не слышит его голос. Как объяснить это потом людям?

Ему не хватает всего двадцати минут. Через двадцать минут по расписанию он должен выйти на связь. Должен настроить свой приемник на определенную волну — и его вызовет Владивосток. Но уже слышен топот множества ног. Это самураи поднимаются на мостик. Они думают сейчас о нем. Вернее, не о нем, а о том, что прежде всего надо опечатать его радиорубку. А спустя двадцать минут оператор Владивостока начнет нервничать. Он не получит ответа от «Сахалина». Сначала будет сердиться, возмущаться, почему судовой радист опаздывает с выходом на связь. Потом поймет: что-то случилось.

Продолжая вызывать судно, доложит начальнику связи, а тот — начальнику пароходства. Начнутся поиски. Запросят другие советские суда, не известно ли им что-либо о «Сахалине». Еще раз проверят погоду, какое было волнение на море, силу ветра. Еще раз убедятся, что никаких штормов не было и не стихийное бедствие постигло судно.

В порту, в пароходстве, в обкоме партии, отложив другие важные дела, будут обсуждать случившееся. И останется только один выход: обратиться к японцам. Их генеральный консул выразит искреннее сожаление по поводу случившегося, выразит надежду и уверенность, что все кончится благополучно, и пообещает немедленно принять все возможные меры, чтобы найти советское судно. И уже на следующий день сообщит, что японские власти дали указание всем торговым, промысловым и военным судам империи, находившимся на трассе или близ трассы движения «Сахалина», проверить, нет ли каких-либо данных о советском пароходе. И сообщит, что, к величайшему сожалению, гражданский и военный флоты империи, тщательно обследовав воды и берега в районах, где они находились, не обнаружили следов советского парохода или других данных, которые бы позволили судить или сделать предположение о его местонахождении. На лице его будет неподдельная скорбь, а слова соболезнования прозвучат искренне и трогательно.

В своей жизни радиста, начиная с мальчишеских лет,

Вестелю много раз приходилось вызывать различные станции, которые не отвечали. Надо иметь немалую силу воли, чтобы долгими часами посылать в эфир позывные и, не получая ответа, не терять терпения и надежды, а еще с большим упорством искать связи. Надо посылать позывные, когда уже немеют пальцы и опускаются руки, когда туманится голова и хочется грохнуть об пол всю эту аппаратуру. Надо не терять самообладания и добиться ответа через любые вспомогательные пути, когда кажется, что полностью исчерпал возможности и совесть перед товарищами чиста.

Сколько раз случалось, когда его настойчивость и воля приводили к победе. Но теперь надеяться не на что. Товарищи поверят, что он испробовал все мыслимые и немыслимые способы связаться с берегом и не его вина в поражении.

Так будут считать и говорить все. Но сам он простить себе этого не сможет. И забыть не сможет. Сотни раз потом проверит самым придирчивым образом, так ли поступал, как надо, действительно ли исчерпал все возможности, в сотый раз убедится: действовал правильно. А на душе останется тяжелый камень.

Самураи поднимались на мостик, когда, осененный новой идеей, Вестель вскочил. Задраил иллюминатор металлической крышкой, захлопнул и запер тяжелую стальную дверь, которую закрывают во время больших штормов или в других случаях, когда надо преградить доступ воды в радиорубку.

В дверь громко застучали. Вестель не отвечал. Он снова припал к телеграфному ключу. Пусть стучат. Ему надо продержаться двадцать минут, а потом пусть делают с ним все, что хотят. Впрочем, не так уж все. Если Владивосток будет знать о случившемся, побоятся. Всего двадцать минут. Даже меньше — восемнадцать. Взломать стальную дверь не так просто. Пока им удастся это сделать, пройдет не меньше получаса. Этого вполне достаточно.

В дверь грохотали так, что дрожала аппаратура. Он слышал крики, возмущенные голоса. Он сидел и посылал позывные: Владивосток... Находка... Может быть, ответят раньше назначенного времени.

Раздался телефонный звонок. Он решил не поднимать трубки, потом передумал: возможно, звонят свои из укромного местечка, куда самураи еще не проникли.

— Слушаю.

Грохот в дверь прекратился.

— Приказываю немедленно открыть двери!

Это говорил капитан. Приказу капитана надо подчиняться. Приказу капитана он привык подчиняться безоговорочно. Но капитана ли это приказ? Может быть, это только его голос, а воля не его?

Нет, и голос не его, чужой, хотя говорит он. Говорит под дулом пистолета.

— Я отдыхаю,— сказал Вестель,— прошу позвонить попозже.— И он защелкнул на рычаге трубку.

Откуда пришел в голову такой нелепый ответ? Мог бы придумать что-нибудь правдоподобнее. Да, собственно, какое это имеет значение? Важно тянуть время и звать берег. И он звал:

— Я — уэрдебе, я — уэрдебе, вызываю шаэрэм, вызываю шаэрэм, отвечайте шаэрэм. Ну, что же вы молчите, шаэрэм.

Он словно забыл, что находится на вахте и должен пользоваться словами, не выходящими за пределы официальной служебной инструкции.

Снова раздался телефонный звонок. Резкий, длинный.

Он не поднял трубки. Даже успокоился. Это было странное спокойствие. На душе стало пусто и горько. Теперь он действительно сделал все возможное, и осталось только ждать. Автоматически продолжал вызывать советские порты, но не было того нетерпения, с каким он ждал ответа еще несколько минут назад.

Снова грохотали в дверь, но это уже другие удары. Размеренные и звонкие. Ему отчетливо представилось, что происходит за дверью: один держит массивное зубило на длинной деревянной рукоятке, второй бьет кувалдой. Они сбивают заклепки с дверных петель. Им потребуется минут восемь-десять. До выхода на связь по расписанию — четырнадцать минут. Вполне успеют.

Он выстукивал позывные Находки, когда его прервали. Владивосток запрашивал, почему раньше времени просит связь.

Он успел передать свои координаты и все, что происходит на судне, до мельчайших подробностей. Все, начиная с момента получения первого сигнала самураев. Закончив с этим делом, выключил аппаратуру и открыл дверь. Вестель был в состоянии прострации. На него кричали, ему угрожали, а он стоял и глупо улыбался. Не специально, не для того чтобы показать свое пренеб-

режение к самурям, а помимо воли. Они видели это Они понимали, что советским властям передана исчерпывающая информация о положении на судне. И все-таки самураи повели «Сахалин» в свой порт. Они держали пароход три дня, требуя признания капитана в том, будто на дне трюмов — оружие. Протесты советского консула заставили их отпустить судно.

Это первое соприкосновение Вестеля с войной. Потом было хуже. Суда, на которых он плавал, подвергались и торпедным атакам, и бомбежкам, и ударам подводных лодок. Он был тяжело ранен, но выжил. Лет десять преподавал в техникуме. Все это далеко позади. Теперь Вестель — начальник радиостанции крупнейшего пассажирского лайнера «Иван Франко». А познакомился я с ним на «Солнечногорске» в том рейсе на Кубу, о котором шла речь выше. Я попросил его передать в Москву мою корреспонденцию об облетах американских бомбардировщиков.

В радиорубке столько всяких аппаратов, а на них такое бесчисленное количество ручек, кнопок, стрелок, делений, что диву даешься, как это люди разбираются, что к чему. Не представляю себе человека в радиорубке медлительного, тучного или даже просто полного. Возможно, мне так кажется потому, что эталон радиста для меня Вестель. Сразу же вспоминается знаменитый Кренкель. И не только по созвучию фамилий. Вестель — ас-коротковолновик. Едва ли не с каждым уголком планеты, где есть коротковолновики, он сумел установить связь.

Как всегда, в радиорубке громко и жалобно пищала морзянка, и неслись точки-тире, обгоняя друг друга, будто боясь, что их остановят. А им действительно мешали какие-то посторонние звуки, грубо разрывали их ниточку, но они снова пробивались, тоненькие, жалобные, беспомощные, как цыплята: пи-пии, пи-пи-пи-пии... Одновременно гудел какой-то аппарат, рядом постукивало, а то вдруг разозлится что-то страшное, злое и зарычит, заскрежещет так, что невольно бросаешь взгляд в иллюминатор на неспокойный океан. Но Вестель покрутит какие-то ручки, и снова только: пи, пи-пи, пи-пии...

Он принимал на пишущую машинку радиограммы, и они вылетали, как с конвейера: в каретку была так заложена пачка бланков, что когда кончался один, начинался второй. Время от времени, не снимая наушников

и не прекращая печатать, прислушивался к морзянке другого приемника — не касается ли передача его? Тут же подстраивал какую-то аппаратуру и разговаривал со мной. Он успел, не отрываясь от своих дел, предложить мне место, немыслимой скороговоркой выпалить: «черезпятьминутосвобожусь», достать из стола и передать мне радиограмму о приближающемся шторме.

И голова и все его тело двигались, но без напряжения, а весело, даже лихо. Я знал, откуда такая легкость. Она имеет те же корни, что и легкость в движениях корифеев балета или мастеров спорта, за которой стоят годы упорнейших тренировок, постоянного совершенствования.

ЭТО ОШИБКА, МАРИЯ...

Вскоре после моего прихода в радиорубку произошла история, о которой мне хотелось сразу же рассказать. Но все осложнялось тем, что ни начала ее, ни конца я не знал. Мне стала известна только одна деталь. Поразительная деталь в истории отношений двух, должно быть, любящих людей.

Забегая вперед скажу, что полгода я настойчиво искал их. Хотелось узнать хоть какие-нибудь подробности. Но все оказалось тщетным. Оставался один выход: писать рассказ. Придумать начало и конец или хотя бы только начало. Мог бы получиться интересный рассказ. Так я и решил поступить. Но чем больше вдумывался в существо единственно известной мне детали, тем более вся эта история казалась чем-то неприкосновенным, хрупким, что ли. Казалось, любой домысел мог разрушить что-то очень красивое, созданное жизнью. Поэтому я решил рассказать только то, что знаю. Пусть читатели сами нарисуют себе картину, какой она им представится.

Все в мире подсчитано. Сколько километров до Луны, сколько рыбы в море, сколько кораблей в сутки сталкиваются. Например, только в Северной Атлантике ежегодно происходит более трехсот столкновений. Конечно же подсчитали и сколько судов одновременно находятся в плавании. Я не знаю этой цифры. Но достоверно, что все они одновременно ведут радиопереговоры: между собою и с береговыми станциями. В это же время говорят по радио сотни стран, разделенных морями и океанами. И величайший хаос звуковых волн царит над водными просторами.

Как пробиться через эпицентр этого хаоса с Атлантического океана в далекую Москву?

Очень просто. Никакого хаоса нет.

Весь мировой эфир поделен. Поделены волны, зоны, пояса, время. Поделены буквы латинского алфавита, их комбинации дали возможность присвоить отдельные позывные миллионам радиостанций, каждому суденышку. И все позывные раций, связанных с морем, позывные каждого судна занесены в книгу, набранную мельчайшим шрифтом, и любой радист без труда может найти их.

Но как все же пробиться со своим разговором?

Представьте себе густой дождь. И представьте невозможное: струйки его идут не сверху вниз, а горизонтально. Так вот, очень схематично, сугубо условно, каждая струйка — это радиоканал. И на концах ее разговаривают радисты. И радистов таких может уместиться миллионы и миллионы. Но все больше в мире появляется радиостанций и все гуще струйки. То и дело одна надвигается на другую, и мастерство, чтобы ни к одной не прикоснуться. Но подключиться можно к любой.

Слушать, о чем говорит мир, интересно. Вот знакомый мне теплоход «Лениногорск» просит разрешения войти в канадский порт Монреаль. Тронулся караван судов через Суэцкий канал. Среди них три парохода из Одессы. Закончил разгрузку чугуна в Японии «Ленинский комсомол» и просится домой, но ему дают распоряжение следовать в Джакарту...

Чисто служебных, «морских» разговоров не так уж много. Моря и океаны полны пассажирскими судами. И редкий пассажир откажет себе в удовольствии послать весточку родным или друзьям из Атлантики, Тихого, Индийского океанов или из далеких тропических стран. Ни на минуту не отрываютя от коммерческой жизни «деловые люди» капиталистического мира. Акции, биржи, сделки, проценты, валюта, цены — все в эфире. Идут радиограммы, длинные, короткие, остроумные, нежные, грубые, унизительные, властные. Летят в эфире слова. Днем и ночью, медленно и с бешеной скоростью записываемые с одной пленки на другую. Заполнен, забит эфир звуками.

Но наступает минута, нет, секунда, одна и та же секунда для мирового водного пространства, когда все обрывается. На полуслове умолкают судовые и береговые радиостанции всего мира. Прекращаются передачи «сроч-

ных», «сверхсрочных», «молний», «особо важных». Прерываются сводки о надвигающихся штормах и вспыхнувшей эпидемии, распоряжения пароходных компаний и диспетчеров об изменении маршрутов кораблей, и, случись даже государственный переворот, сообщение об этом прервут на полуслове. Наступают минуты молчания. Они наступают с пятнадцатой до восемнадцатой и с сорок пятой до сорок восьмой минуты каждого часа. Сорок восемь раз в сутки с перерывами в полчаса длится трехминутное молчание.

На циферблатах часов в радиорубках два ярко-красных сектора от центра к окружности пересекают эти минуты: остановить передачу! И все судовые и береговые радисты мира ловят одну струйку, настраиваются на одну волну: 500 килогерц. И вслушиваются. Никто не имеет права проронить звук. Никто, кроме судна, терпящего бедствие. В эфир можно выйти только с единственным словом «SOS».

Для того и замолкает весь морской мир, чтобы услышать этот одинокий сигнал бедствия, если он раздастся. Поистине братский закон моряков всех стран. И суровой ответственности подвергнется судно, которое нарушит его. Десятки, а то и сотни раций засекут, запишут, запеленгуют нарушителя, осмелившегося заговорить или не прервать передачу, когда приходят минуты молчания.

В тот вечер, о котором идет рассказ, Вестель закончил передавать мою корреспонденцию в двадцать три сорок. Через пять минут начались минуты молчания. Все звуки замерли одновременно. Недаром крупнейшие мировые державы регулярно передают для судов очень точное время. Недаром на судах под двойными стеклянными колпаками хранятся специальные морские часы: шум в аппаратах прекратился, будто повернули выключатель.

Три минуты мы вслушивались в эфир. Ни звука. В двадцать три сорок восемь рубка заполнилась шумом так же вдруг, словно открыли где-то кран: минуты молчания кончились. По международным законам радиовахта на судне нашего класса в поясе, где мы находились, заканчивалась в двадцать четыре часа. После минут молчания Вестелю фактически уже делать было нечего. Он слушал на всякий случай морзянку и объяснял мне устройство автоаларма.

Умный прибор. Когда радист кончает вахту, он обязан

переключить на автоаларм антенну и привести прибор в действие. Если раздастся где-то сигнал тревоги — двенадцать тире, автоаларм сработает, и загрохочут звонки громкого боя в каютах капитана, начальника рации, в штурманской и радиорубке. Они будут звенеть до тех пор, пока не прибежит к аппарату радист и не узнает, где с кем беда. Такого же типа прибор имеется в штурманской. Если бедствие будет терпеть наше судно, а радист по каким-либо причинам не сможет занять своего рабочего места, вахтенному штурману потребуется меньше минуты, чтобы разбить стекло и привести прибор в действие. Немедленно полетят в эфир двенадцать тревожных тире, а за ними «SOS», наши позывные и координаты.

Мы разговаривали с Вестелем, и он время от времени повертывал ручку настройки, успевал точки, тире превращать в английские слова и переводить их на русский. Чего только люди не посылают в эфир!

«...Этот брак с нищенкой компрометирует нас, если ты не откажешься, лишаю тебя наследства...», «...до сих пор не собраны членские взносы общества пожарников тчк проведите разъяснительную работу среди экипажа за стопроцентный охват результатах сообщите...», «...бродяги, которых вы насовали вместо матросов, разбежались порту Джорджтаун, капитан все время пьян, набираю новую команду...», «Кики не выносит качки, ветеринара на судне нет, вынуждены сойти Сеуте консультации, дальнейшее сообщим...», «Имею сведения: цветные матросы свободно ходят палубам. Возвращении домой я вас выгоню. Немедленно оградите корму, как было при мне...»

Кстати, в Сингапуре, когда я находился на турбоходе «Физик Вавилов», мы стояли рядом с амстердамским судном. Самый край кормы был огражден металлической сеткой, за которой сидели малайцы. По одежде можно было понять, что это матросы и моряки машинной команды.

Вестель навел порядок на своем столе, и мы уже собирались разойтись по каютам, когда он, взглянув на часы, сказал:

— Скоро минуты молчания. Послушаем?

И вот все смолкло. Откуда-то из донных глубин судна доносился к нам на седьмой «этаж» мерный гул могучих двигателей. Бились о борт покатые массивы мертвой зыби Атлантики. Молчал эфир.

Так прошло минуты полторы. Может, потому, что мы уже не думали что-нибудь услышать, барабанным боем показался писк ворвавшейся морзянки. Нет, это не были двенадцать тире, предвещавших сигнал «SOS». Отчетливые, никем не заглушаемые, неслись точки-тире, складываясь в английские слова, которые быстро записывал Вестель. Почерк у него немыслимый. Какие-то крючки, а не буквы. Если добавить к этому, что знания английского языка у меня школьные, станет ясно, почему я не мог разобрать ни одного слова. А он, вслушиваясь, перестал вдруг писать, хотя отчетливо бились в эфире точки-тире. Предупреждающе поднял палец, чтобы я не заговорил.

Передача оборвалась, и радиорубка заполнилась обычным шумом: минуты молчания кончились. Вестель, наконец, перевел мне посланные в мир слова:

«Это ошибка, Мария, ты слышишь меня, Мария, это ошибка, я люблю тебя».

Какое-то время мы молчали, если не считать слова «да-а», которое оба поочередно произнесли несколько раз. Потом стали рассуждать.

Прежде всего установили, что говорил радист. Во-вторых, потому, что фраза была передана трижды (вот почему Вестель не все время вел запись), как передают радисты все позывные и вызовы. Во-вторых, потому, что радист никого не допустил бы к аппарату вообще, а в минуты молчания тем более. Несомненно, на судне или на береговой радиостанции находилась и неизвестная нам Мария. Иначе бессмысленны были бы призывы к ней в минуты молчания: ни своих позывных, ни адресата он не передал. Значит, рассчитывал на то, что Мария обязательно в этот момент у аппарата. Решили мы, что любовь радиста очень большая, настоящая. Он ведь знал, такой проступок, как нарушение минут молчания в своих личных интересах, повлечет суровое наказание, дисквалификацию, а может быть, и суд. Только во имя настоящей любви человек мог пойти на это.

Стало ясно и то, что произошла ошибка столь серьезная, которая могла заставить Марию немедленно совершить что-то непоправимое, может быть, самое страшное. Иначе радист мог бы все объяснить ей при встрече или нашел бы другой способ объясниться, а не идти на такое грубейшее нарушение международного закона.

Нам не удалось установить, какой стране принадлежала рация, передавшая эту фразу. Имя Мария широко

распространено во многих странах. А то, что передана она была на английском языке, еще ни о чем не говорило. Ведь это международный язык моряков. Все радиопереговоры они и ведут на английском.

Мы еще долго строили всякие предположения. И я решил обязательно узнать эту историю. Тогда мне все представлялось просто. Есть специальный орган, которому обязательно сообщат о нарушителе. Хотя очень редко, но бывают случаи, что на каком-нибудь судне то ли увлекутся передачей, то ли люди, не имея навыка, забудут о минутах молчания и не вовремя прервут радиограмму. Это не только обижает всех радистов, но оскорбляет их. В этом видят они какое-то ущемление своей профессиональной гордости и немедленно сообщают о «браконьере».

С тех пор прошло почти полгода. И ни один человек из сотен или тысяч, кто слышал эту фразу, не сообщил о радисте-нарушителе. Возможно, не успели запеленговать. А может быть... Может быть, не считали это нарушением и приняли как сигнал бедствия. Ведь гибла любовь.

К Гаване мы подходили ночью. Ее еще не было видно, и не было еще белесого зарева — предвестника всякого большого порта. Далеко-далеко впереди между звездами вспыхнула красная огненная полоса. На капитанском мостике все схватились за бинокли. Стало видно, что это не полоса, а слова: «Патриа о муэрте!» Буквы были большие и неспокойные. Они как бы трепетали. Не сами буквы, а что-то внутри них. Бились кроваво-красные искорки в звездном небе, образуя эту фразу: «Родина или смерть!»

Я много раз читал в газетах или слышал эти слова, и они перестали восприниматься в полную их великую силу. Здесь я их ощутил впервые. Здесь они звучали как набат. Должно быть, потому, что вокруг них были звезды, а под ними океан, казалось, что они висят над всем миром: «Родина или смерть!»

Мы молча смотрели на трепетные буквы, и они вдруг погасли. В ту же секунду совсем рядом, на той же межзвездной высоте вспыхнуло: «Венсеремос!»

Теперь буквы не трепетали, не бились, а стояли неколебимо, будто высеченные из камня. Не думалось, что кто-то соорудил такое. Надписи воспринимались как созданное природой, как окружающие их звезды. Казалось,

судно идет к какой-то сказочной, неприступной крепости.

Прошло полчаса, и вот уже перед глазами вся ночная Гавана. Светятся контуры небоскребов и купол Капитолия, бегут по гранитной набережной автомобили. Красные, зеленые, оранжевые огни реклам то вспыхивают, то гаснут, будто дышит исполинское тело города. И над всем городом те волнующие слова, что мы увидели в океане далеко от небоскребов, на которых они горят. В огнях «Гавана-либре» — «Свободная Гавана», одна из лучших гостиниц мира, где предусмотрено все, что может понадобиться человеку. Светятся огромные окна «Гавана-либре», бывшей «Гавана-Хилтон», как предупреждение мистеру Хилтону, что в его фирменные бланки лучших гостиниц мира «от берега до берега» надо внести поправки, ибо этого берега ему уже не видать.

Круто разворачиваясь, входим в закрытую бухту. Город остается справа, а слева — старинная крепость, преграждающая путь к причалам. Под нами, где-то на большой глубине, ниже океанского дна, пересекает залив широкая автострада, с бензоколонками и пунктами обслуживания автомашин, идущая на восток от Гаваны. Все это мы еще увидим. А пока перед глазами порт. Он хорошо освещен, но машинально чего-то ищешь, чего-то не хватает. Оказывается, ни на одном из бесчисленных причалов нет кранов. Как-то непривычно. Значит, и в самом деле кубинская рабочая сила обходилась дешевле, чем механизация.

Мы бросили якорь на рейде, когда было уже светло. У всех причалов стояли суда, тесно было и на рейде. Греческие, английские, болгарские, немецкие пароходы разгружали лес, машины, оборудование. У элеватора зернососы вытягивали зерно из трюмов норвежского «Трояна». Три танкера под флагами трех стран сливали нефть в специальной гавани. Флаги десятков государств трепетали на мачтах. Но больше всего было наших, красных флагов. Это суда из Одессы, Таллина, Ленинграда, Владивостока...

Зря американцы объявили Кубе экономическую блокаду. Вон, оказывается, сколько судов и товаров нашлось, кроме американских.

Впрочем, встал под разгрузку и американский пароход «Африкан пайлот», прибывший с Флориды.

Он стоял у причала Терминаль Маритима, обращая на себя внимание тем, что на нем не было национального

флага. Американскому капитану Альфреду Боэруму его хозяева запретили поднимать флаг США, и вместо него на мачте повисло полотнище с эмблемой добровольного общества «Красный Крест».

Вообще-то говоря, это незаконно. По морским правилам ни одно судно не имеет права скрывать, кому оно принадлежит. И не всякое судно станет прятать свою национальную принадлежность. Наши, например, гордятся советским флагом. Как-то танкеру «Славгород» предложили в Венесуэле опустить советский стяг, так как у них там беспорядки, а этот красный цвет, видите ли, оказывает нежелательное воздействие на портовых рабочих.

Капитан «Славгорода» с негодованием отверг недостойное предложение. Танкер ушел с внешнего рейда, не разгрузившись, но флага не опустил. И едва ли от этого выиграли те, кому ненавистны наши серп и молот. Докеры все равно узнали всю эту историю, и она вызвала у них глубокое возмущение.

А вот американцы сами спрятали свой звездно-полосатый государственный флаг и заменили его эмблемой добровольного общества. История мореплавания знает не один случай, когда судно скрывало свою принадлежность, но все эти случаи относились к пиратским судам. В общем, как бы там ни было, пароход «Африкан пайлот» был американским, и привез он на Кубу американские товары. Это были медикаменты, сырье для изготовления медицинских препаратов, продукты детского питания и медицинское оборудование стоимостью в десять миллионов долларов. Одновременно в аэропорт Сан-Антонио прибыли американские самолеты с аналогичными грузами.

Как отметил в одной из своих речей Фидель Кастро, это был первый случай в истории, когда империалистов заставили платить за агрессию. Это была расплата за разгромленных и пленных наемников, которых высадили на Плайя-Хироне, чтобы задушить революцию. Только за двух главарей заплатили миллион долларов — по пятьсот тысяч за каждого. За остальных по сто, пятьдесят и двадцать пять тысяч.

К приходу в Гавану экипаж «Солнечногорска» готовился особенно тщательно, так как ждал многих посетителей. Еще до этого четырежды побывал на судне Рауль Кастро. Он приходил именно в гости, как ходят к доб-

рым друзьям, вместе с женой и своими близкими. Почти у каждого члена экипажа были свои знакомые, были и общие друзья всей команды, которые сами приходили на судно и охотно, настойчиво приглашали ребят к себе.

Эта дружба проявлялась не только в совместных экскурсиях или за чашкой кофе. Никого не удивило и казалось естественным, что директор народного имения «Луис Энрике де ла Пас» Артур Агулера прислал письмо с просьбой помочь с ремонтом машины, в которой плохо еще разбираются его люди. И столь же естественным было, что стармех Станислав Леонтьев и токарь Юра Ерастов сделали все необходимое. Начальник радиостанции Лев Вестель помог в монтаже и настройке аппаратуры агентства Пренса Латина. Не раз экипаж помогал крестьянам рубить сахарный тростник, моряки участвовали в воскресниках, в молодежных походах, в спортивных соревнованиях. И довольно успешно. Под горячие аплодисменты стадиона президент республики Освальдо Дортикос вручил футбольной команде «Солнечногорска» хрустальный кубок за победу в розыгрыше первенства любительских команд Гаваны.

Короче говоря, мы ждали гостей и сами готовились побывать у них.

«Солнечногорск» должен был зайти в три кубинских порта, находящихся в разных концах острова, и в каждом из них вести разгрузку и погрузку, а затем подготовиться к рейсу в Африку. Таким образом, предстояло довольно длительное пребывание на Кубе, и появилась возможность одному из членов экипажа и мне совершить путешествие по стране на машине.

Капитан Кнаб решил, что я поеду вместе с Вестелем. К нам присоединились весельчак и удивительно остроумный сотрудник интерклуба Орландо и переводчик из нашего посольства Юра, московский студент, приехавший в Гавану на практику.

У нас обширная программа. Мы побываем в Матансасе, в Санта-Клара, Сантьяго-де-Куба, Сьенфуэгосе, Мансанильо и других городах, посмотрим Плайя-Хирон, Плайя-Ларга. Но первая остановка в Барадеро. Это один из лучших пляжей мира. Это место, где прожигали жизнь американские миллионеры и миллиардеры. Это небольшой полуостров с купальнями из голубого, розового, синего мрамора и сказочно-белым песком, с вил-

лами и замками. И все осталось нетронутым. И голубой мрамор, и виллы, и замки. Но все передано профсоюзам.

Наш «кадиллак» шел со скоростью 140—160 километров. Слева — горы и пальмы, справа — океан. Пальмы не такие, к каким мы привыкли в наших парках в Крыму или на Кавказе. Здесь пальмовый лес, и, как положено в лесу, деревья были большие, маленькие, разных пород и видов. Королевские пальмы со стволами, похожими на железобетонные столбы, кокосовые пальмы, веерные, тонкие и высокие, приземистые, тенистые. Были здесь пальмы грустные, наивные, энергичные — вообще удивительные.

Вдоль всех дорог — реклама. Мы проехали по шоссейным дорогам Кубы около четырех тысяч километров, и не было такого километра, где бы не встретили рекламных щитов, плакатов, призывов.

И первое, что бросается в глаза,— это слово «революция». Оно приобрело здесь особое значение. «Это построила революция»,— показывают кубинцы на новые предприятия, жилые городки, дороги, школы. «Его послала туда революция»,— говорят они о человеке, назначенном на большой государственный пост. «Революция им поможет»,— сказал Орландо о людях, потерпевших стихийное бедствие. «Революция не разрешит», «Революция одобрит», «Революция потребует ответа...». Революция — что-то одушевленное, живое, безгранично родное и всесильное.

И на всех дорогах Кубы господствует это слово. Вот красочный плакат: «Вноси деньги в сберегательную кассу. Этим ты поможешь революции». Чуть дальше: «Революции нужны здоровые, сильные люди! Занимайся физкультурой». И рядом: «Работай честно, хорошо, и революция тебя всегда поддержит».

К слову говоря, и эти призывы и простая реклама на Кубе очень конкретны, убедительны. Хорошо бы в этом отношении поучиться нам у кубинцев. На Кубе всякое обращение к людям до предела мотивировано. На гаванской обувной фабрике я видел полотнище: «Не стой сложа руки, тысячи детей не имеют ботинок». На кофейной фабрике: «Если ты сегодня не выполнил план, завтра кто-нибудь из нас останется без утренней чашки кофе».

Почти весь путь от Гаваны до Барадеро идет по берегу океана. По этой дороге ездили американские буржуи. Один за другим мелькают на берегу ресторанчики, бары, таверны с экзотическими названиями: «Голубая

улыбка», «Ласки моря», «Горячие собаки». Это идиоматическое выражение, означающее у американцев «сосиски», на испанском, как объяснил нам Юра, звучит буквально: «горячие собаки».

Наш спутник Орландо старается говорить только по-русски, но язык он знает очень плохо. Юра помогает ему, и если вдруг подскажет слово, которое уже знает Орландо, тот обижается, как ребенок. Ему очень понравилось слово «кошмар», и он старается как можно чаще употреблять его.

— В Санта-Мария было три пляжа, кошмар,— говорит он,— места хватало всем американцам. Теперь построили еще три, стало шесть, но в воскресенье туда не пробиться. Очень хорошо! Кошмарр!

Барадеро — один из лучших пляжей в мире, занимающий полуостров на берегу Атлантического океана. Белый песок, ракушки самых фантастических форм и раскрасок, бирюзовые воды, сказочные деревья в цветах. Это было любимым местом развлечений могущественной монополистической династии США — Дюпонов. На скале у самого океана они воздвигли замок.

Дюпоны — люди большого бизнеса. Но они не брезгуют ничем. Построили на полуострове, до которого два-три часа езды из Гаваны, более трехсот вилл, ярких, фешенебельных. Триста вилл, и нет двух хоть сколько-нибудь похожих одна на другую. Дюпоны сдавали виллы в аренду. Три тысячи долларов в месяц за каждую. Это так, попутно, между химической продукцией, авиационными моторами, ракетами, атомными бомбами, от которых идут главные миллиарды.

На десятки километров тянулись американские пляжи на кубинской земле. Они начинались у Санта-Мария, в семнадцати километрах от Гаваны, и вдоль них шли фешенебельные рестораны, гостиницы, казино, утопающие в тропической зелени, личные владения Батисты и летние резиденции американских миллионеров и миллиардеров, построенные в сверхсовременном стиле, соединяющем в себе комфорт с первозданной природой острова.

Все было крепко и незыблемо. Захватить в самолет автомобиль последней марки, слетать менее чем в полчаса на Кубу, провести несколько дней на пляжах, в игорных домах Барадеро — что может быть проще и приятнее!

Сверкали огни ночных пляжей, игорных и публичных домов. До утра — джазы, оркестры, фейерверки. До утра горели фонари, подсвечивая деревья и кусты. До утра бесновались шоу, рестораны, маскарады. Все было крепко и устойчиво! Билась на пляжах огненная реклама: «Нет в мире более сильных страстей, чем на Кубе! Нигде в мире не умеют так организовать страсть, как в Барадеро! Если вы уже всем пресытились и вкусили все сладости жизни и вам уже все надоело, идите в лучший уголок Барадеро «Страсть креолки», и вы познаете еще не изведанные наслаждения».

Пляжи тянулись до самого замка Дюпонов под названием «Ксанаду», сооруженного на скале, удаленного от шумных мест, единственного здания, где вместо легкости, современной архитектуры тяжелые монументальные глыбы, и весь он словно символ устойчивости, могущества владельцев, их власти на Кубе, вечной, как черное дерево, которым он облицован.

Мы стоим и смотрим на замок Дюпонов, отданный кубинским профсоюзам революцией. Тяжелые цепи свисают с каменных столбов ограды со стороны океана. Рядом с нами — группа экскурсантов с гаванской сигарной фабрики, среди которых старый рабочий Рамон Росье. Он говорит:

— Я всю жизнь прожил на Кубе, но не видел ее. Я приехал сюда, как и вы, точно иностранный турист. Барадеро было ограждено от нас сильнее, чем колючим забором, сильнее, чем крепость.

— Не пускали сюда?

— Пускали,— неожиданно рассмеялся Рамон.— Иди куда хочешь. Никто не задержит. Нас только смущали маленькие надписи на дверях ресторанов: «Стоимость входа — пять долларов». Понимаете? А сегодня,— и он снова рассмеялся радостно и наивно, как ребенок,— сегодня я позавтракал за полтора песо.

С веранды, устроенной на крыше замка, мы осматривали местность вокруг. Отсюда далеко видны и океан, и горы, и виллы. Но замок стоит особняком на необозримой огражденной территории. Огражден и огромный массив непроходимого, как джунгли, леса. Это личный заповедник Дюпонов. Ограждены примыкающие к нему бесчисленные парки, где кактусы высотой с двухэтажный дом, где растут фантастического размера королевские пальмы и причудливые деревья, у которых ствол будто

немыслимое сплетение осьминогов, красивых в своем уродстве и образующих крону, под которой легко могут укрыться полсотни автомобилей.

Далеко в лесу видна поляна, где пасется скот. Большие белые птицы облепили деревья. Такие же птицы — на спинах коров. В лесу много возвышенностей, где трава подстрижена, как у нас в парках, где растут деревья с сиреневыми, голубыми, молочно-белыми листьями, чередующиеся с зарослями тропических деревьев, и кажется, неудержимая фантазия гения создала эту красоту.

И всем этим владел один человек: Ирэне Дюпон, глава династии, контролирующей капитал в шестнадцать миллиардов долларов.

Он проводил в Ксанаду большую часть года. Он чувствовал себя в полной безопасности: скала, на которой воздвигнут замок, может выдержать любые штормы и ураганы. Он наблюдал за собственностью Дюпонов на Кубе. Они владели здесь не только виллами. Заводы, табачные фабрики, сахарные плантации, гостиницы, ночные клубы, десятки крупных предприятий, построенных кубинцами на кубинской земле, принадлежали Дюпонам.

Вместе с пятьюстами концернами и предприятиями, захваченными американцами на Кубе, революция национализировала и награбленное Дюпонами.

Вот почему они снова рвутся на Кубу. Президент компании Дюпонов муж дочери Ирэне — Коуфорд Гринуолт не может смириться с потерями. Дюпоны не знали потерь. Они привыкли умножать капиталы.

Сто лет назад Пьер Самюэль Дюпон де Нимур основал пороховую компанию. Сто лет Дюпоны были монополистами по производству пороха. Когда появилось химическое оружие, они захватили монополию и в этой области. Вторая мировая война принесла им еще не виданные ранее барыши. С появлением атомного оружия Дюпоны бросают свои капиталы в новое «перспективное» дело и захватывают ключевые позиции в производстве оружия массового истребления людей.

Вся жизнь, весь фантастический бизнес Дюпонов — это война. На войну начала работать в прошлом веке фирма «Дюпон де Нимур энд компани», на войну работает и теперь.

Дюпоны рвутся на Кубу. Они широко распространяют версию о своей безобидности и мирных устремлениях.

Основное занятие Ирэне Дюпона якобы филантропия. Руководитель «Дженерал моторс» Генри Фрэнсис Дюпон выдает себя за садовода-любителя. Уильям Дюпон, один из воротил компании, увлекается будто бы только верховой ездой.

Невинные увлечения влекут, мол, их на Кубу. И на эти «увлечения» они не жалеют средств... На доллары американских магнатов было нанято около двух тысяч диверсантов, высадившихся на Плайя-Хирон. Те же банки внесли выкуп за пленных наемников.

Дюпонам очень хочется снова в замок Ксанаду. Но мало ли чего им еще хочется! Хозяева теперь — профсоюзы.

Здесь профсоюзные школы и детские здравницы, санатории, дома отдыха. Здесь готовились юноши и девушки, которые уходили в горы Сьерра-Маэстра и другие районы страны, чтобы ликвидировать неграмотность сельского населения.

Горят, переливаются огни на пляжах Барадеро. Тысячи и тысячи кубинцев приезжают сюда из Гаваны и других городов, чтобы провести выходной день. Это их пляжи, их отели, их виллы, и никогда не вернется сюда Ирэне Дюпон.

Порты мирового значения при большом их различии и своеобразии имеют много общего. И прежде всего в характере грузов. В любом из них встретишь машины, оборудование, продовольствие и многое другое. Но есть порты, резко отличающиеся от всех остальных. В Касабланке, например, мы видели привычные грузы, но над всем господствовали апельсины. Большие, яркие, вкусные. Железобетонные навесы, бесконечные, как ангары, были заполнены апельсинами. Вереницы тягачей с прицепами размером в двухосную платформу, на которой вмещалось по тысяче ящиков с апельсинами, двигались по всем пирсам. Аромат апельсинов царил над портом. Цвет апельсинов забивал все остальные цвета.

В Сингапуре главный груз — каучук. И по всей многокилометровой причальной линии днем и ночью сбрасывают с грузовиков стокилограммовые тюки каучука, и они прыгают как мячи, и портовые рабочие ловко цепляются за них крюками и в конце концов направляют в расстеленные сети, чтобы поднять потом на палубы судов.

А Куба — это сахар. Кубинские причалы Атлантики

и Карибского моря заполнены мешками с сахаром. Главный груз в Мансанильо — тоже сахар. Поэтому непривычной показалась здесь погрузка рыбы. А отправляют ее ежедневно из рыбацкого поселка, находящегося поблизости.

Рыбный промысел на Кубе не получил большого распространения, но здесь, в Мансанильо, он развит издавна. И поселку рыбаков много-много лет. По пути туда нам и рассказали о нем и о трагедии старого рыбака Антонио Сааведры Муньеса.

Сааведра знал, что такое море, и знал толк в рыбе, потому что отец его был рыбак, и дед рыбак, и прадед тоже. Еще совсем мальчишкой Антонио научился распознавать, когда будет шторм, и уже разбирался во всех течениях и ветрах. Он знал, какую наживку любит меч-рыба и какая нужна макрели, умел ловить летающих рыб, лангуст и ставить парус. И еще в те годы он мечтал о собственной лодке. Возможно, он сам выдумал себе такую мечту, а может быть, воспринял у отца, потому что эта мечта передавалась из поколения в поколение и разговоров о собственной лодке было немало. Он не расставался со своей мечтой и после женитьбы, а когда пошли дети и первые трое оказались сыновьями, твердо решил, что лодка у него будет. Но пока он, как и все рыбаки поселка, брал ее у Энрике Фарадады.

Фарадада во всем шел рыбакам навстречу. Он охотно давал им свои моторные лодки, а если надо, то и снасти, и вообще полностью снабжал их. Денег за аренду не брал. Это просто бесчеловечно, объяснял он людям: вернется рыбак с моря, ничего не поймав, а деньги, выходит, все равно плати. Поэтому он брал с улова. Одну треть улова.

Некоторые роптали, говорили, не бывает, чтобы так уж совсем с пустыми руками возвращались, и уж пусть бы лучше брал определенную сумму. Ведь каждому выпадало счастье хоть раз в месяц прийти с богатым уловом. Но Фарадада на это не соглашался. Чтобы обеспечить рыбаков снастями, он держал специальные мастерские. Тут и стальные тросики делали, и гарпуны, и крючки ковали для тех, кто ходил на большую рыбу. Снабжал он и сетями, и за все это тоже брал с улова, и только за потерю или порчу имущества получал деньгами. На все заранее была определена цена. Каждый знал, сколько придется платить за потерянный гарпун, за побитый руль

или поврежденный борт. Фарадада никогда не требовал, чтобы платили немедленно. Нет у человека денег — заплатит потом, когда будет возможность. Пусть только распишется, чтобы не забыть, сколько должен.

Если рыбак возвращался с небольшим уловом, который необходим на пропитание семьи, Фарадада не требовал даже своей трети, а плюсовал к долгу. И проценты в этом случае тоже насчитывал не деньгами, а рыбой. Из-за этой его доброты люди никак не могли вылезти из долгов, потому что терпеть убытки хозяин не мог и проценты набегали большие.

Поскольку у рыбаков не было собственных рефрижераторов, а в тропиках рыба больше двух часов не выдержит и испортится, он соглашался откупать у них и остальные две трети улова. Цены устанавливал такие, которые ему казались справедливыми. И если кто был недоволен, он не настаивал, а говорил: пусть продают сами, по какой хотят цене. Правда, лодки, чтобы отвезти рыбу в другой город, он не давал, пусть скажут спасибо за то, что дает их для промысла, а по суше без холодильника рыбу не повезешь.

Антонио Сааведра, как и другие рыбаки, был в большом долгу у Фарадады, хотя снасти у него были собственные и в аренду он брал только лодку. Он мечтал поймать рыбу килограммов на двести или хотя бы на сто и сразу поправить свои дела. Он долгими часами просиживал в море, опустив крючки с тяжелой лесой на разные глубины, но счастье шло мимо. Сааведра хорошо понимал, что за большой рыбой надо уходить далеко в море, а для этого нужна совсем другая лодка и другой мотор. И он удовлетворялся тем, что ловил сетями мелкую рыбу.

Обычно в море он брал с собой старших сыновей — Фернандо и Хуана. Родольфо был еще мал, а Хильда, Вирхен и Эвора совсем крошки. Мануэла едва управлялась с ними.

Случай, о котором идет речь, произошел в сентябре, когда особенно хорошо ловится рыба. Антонио проснулся не в четыре утра, как обычно, а раньше. Его разбудил говор в соседнем доме. Хотя дома рыбаков были сделаны не из пальмовых листьев, а из сигарных ящиков, стояли они тесно друг к другу, и достаточно было подняться одной семье, как просыпались соседи. И так шло дальше по всему поселку.

Антонио чувствовал, что еще рано, но и нежиться

в постели, когда другие собираются в море, уже не мог. Он разбудил Фернандо и Хуана, а Мануэла приготовила им по чашке кофе и дала на дорогу хлеба да еще соли, чтобы было с чем есть тунца, если он попадется.

Надо было уже идти, но Фернандо все клевал носом, и лицо его было красновато. Мануэла думала, что это от сна, но, случайно прикоснувшись к нему, поняла, какой сильный жар у парня. Пришлось оставить его дома.

Спускаясь к морю, упал и сильно поранил ногу старший сын, Хуан. Было, конечно, темно, но не первый же раз он ходит по этой тропке и знает каждый бугорок на ней. Мог бы быть повнимательнее. Просто спал на ходу, хотя и не признается. У людей дети как дети, а тут просто беда. Парню уже двенадцать лет и не может, не покалечившись, пройти к морю. Пришлось вернуть его домой.

Движок на этот раз завелся хорошо, но не успел рыбак отойти и мили, как мотор неожиданно фыркнул и заглох. Антонио долго возился с ним и никак не мог наладить, и все больше проклинал Фарададу, который каждый раз приваривает какие-то заплаты, вместо того чтобы давно заменить эту рухлядь...

Мотор завелся, когда стало совсем светло. Словно желая искупить вину, он заработал вдруг удивительно чисто. Море было спокойным, и Антонио держал большую скорость. Он заметил рассеянные по морю лодки других рыбаков, которые успели закинуть снасти. Надо было и ему остановиться или сильно снизить скорость, но движок работал отлично, и жаль было его останавливать. Уже позади остались рыбаки, уже скрылись из глаз, а он, словно в азарте, шел дальше. Но это был не азарт. Последние месяцы ему ужасно не везло. Он привозил жалкие крохи и все дальше залезал в долги. Ему хотелось попытать счастья. Он видел, что шторма не будет, а движок так хорошо работает, и день очень хороший, и чутье подсказывало ему, что будет удача. И все получилось, как он предчувствовал. Правда, такого гиганта, о каком мечтал, поймать не удалось, но к заходу солнца почти половина лодки была заполнена крупной рыбой — по пять, десять и даже двадцать килограммов.

По пути к берегу дважды останавливался движок, но ничто не могло теперь расстроить Антонио, потому что он понимал, какое везет богатство, и счастье туманило ему голову. Он не хотел сейчас думать о том, как распорядится своими деньгами, чтобы вволю поговорить об этом

с Мануэлой и прежде всего послушать, что думает она. Но отвязаться от своих мыслей не мог. Они лезли в голову, и он уже видел всех своих шестерых детей в новых платьицах и новых штанах и Мануэлу в новых туфлях, потому что ей совсем нечего надеть на ноги.

К пирсу он причалил довольно поздно, все лодки успели стать на прикол, и никого из рыбаков не было. При свете фонаря он увидел не только приемщика, но и самого Фарададу, и Антонио тяжело вздохнул при мысли, что каждую третью рыбу придется отдать ему, и еще не известно, как он заплатит за остальные.

— Вот сколько ты привез! — обрадованно встретил его Фарадада.— Хотя лодку задержал больше положенного и придется немного добавить за аренду, но зато и тебе будет причитаться, наверное, целых десять песо.

Антонио рассмеялся.

— Это тебе еще не видно, Фарадада,— сказал он,— ты спустись, посмотри.

Фарадада и в самом деле подошел к лодке, которую Антонио уже успел подтянуть на волне к берегу.

— Да, я не ошибся,— сказал Фарадада,— ты сегодня заработал десять песо.

Антонио понял, что тот не шутит.

— Как же десять? — тихо спросил он.

— А вот как! — подбежал приемщик и начал быстро отбрасывать к носу наиболее крупную рыбу.— Вот эту за аренду, эти малышки,— он швырнул еще две рыбины килограммов по пять,— за задержку, а остаток не стоит и десяти.

— Ну нет! — вырвалось у Антонио.— За десять я не отдам, если она даже сгниет. Я продам ее кому угодно за сто пятьдесят песо.

Фарадада расхохотался, и еще громче рассмеялся приемщик, чтобы хозяин видел и слышал его смех. А Антонио совсем вышел из себя.

— Я забираю свою рыбу! Сейчас принесу мешки и заберу что останется после твоего грабежа.

— Забираешь! — заревел Фарадада.— Ты заберешь ее после того, как вернешь весь долг.— И он быстро пошел вверх по тропке. За ним последовал приемщик.

Антонио беспомощно посмотрел по сторонам. С высоких мостков наблюдал за ним сторож. По пирсу расхаживал полицейский.

Лицо у Антонио задергалось не то от судороги,

не то от усилий, чтобы не заплакать. И вдруг он закричал:

— Эй, бери свою рыбу, вот она! — и он швырнул в воду две рыбины.— Бери скорее, а то уплывет,— швырнул он еще две.

Антонио в ярости бросал за борт рыбу, выбивая ее ногами, выплескивал руками и истерически кричал:

— Вот тебе аренда, вот тебе долг, вот тебе проценты!

Фарадада и все, кто был поблизости, пораженные, смотрели на него, потом приемщик бросился вниз, но у самой лодки Антонио залепил ему в лицо рыбой, захохотал каким-то диким смехом и свалился с лодки. Рыбы в ней почти не осталось.

...Мы подъезжали к Мансанильо. Эту историю рассказал нам в машине председатель рыболовецкого кооператива имени Андреса Лусара Нуньес Мартинес, участник боев в горах Сьера-Маэстра.

— Что же стало с Антонио?

— У него было нервное потрясение. Больше месяца болел, и его семье помогали все рыбаки. Выздоровление совпало с победой революции. Об остальном он расскажет сам,— улыбнулся Нуньес,— мы прежде всего заедем к нему.

За каким-то поворотом, как Черное море из Байдарских ворот, вырос перед нами поселок. Неправдоподобно красивый. Более пятисот домиков, ярко раскрашенных, великолепно спланированных, в цветах, пальмах, раскинулись на берегу моря. Это и был поселок рыбаков кооператива имени Андреса Лусара. Мы проехали по широким асфальтированным улицам, мимо домиков, сделанных из сборного тонкого железобетона, раскрашенных с большим вкусом, осмотрели легкое и изящное здание клуба рыбаков, миновали универмаг и остановились возле жилища Антонио Сааведры. Хозяин вышел навстречу. Это был старый рыбак, высокий и крепкий, с лицом, которое знало и ветры и море.

В его квартире четыре комнаты, кухня, душ, все удобства. Жена Антонио Мануэла бросилась к плите готовить кофе.

— Что же мне рассказать о своей жизни,— пожал плечами старик в ответ на наш вопрос.— Как я жил раньше, вы, говорите, знаете, а как сейчас, сами видите. Наш поселок был рядом, его снесли на мусор, ценности он не представлял. Каждая семья рыбака имеет вот такой дом. Это мы заработали сами, нам помогли только

строить. У меня хороший моторный бот, и я на нем бригадир. А всего в бригаде восемь человек.

— А в кооперативе у нас восемьсот человек,— перебил его Нуньес.

— Да, восемьсот,— подтвердил старик.— И механик есть на боте, и снасти есть. ...Пойдемте в море, сами увидите. Далеко теперь ходим, бот хороший.

Мануэла угостила нас очень крепким и вкусным кофе, пригласила пообедать, подождать прихода детей. Но мы торопились. По дороге на судоверфь, находившуюся близ этого поселка, Нуньес сказал:

— Понимаете, как будет драться кубинский народ, если посягнут на наш новый строй!

Мы ответили, что понимаем.

В народное имение «Сентраль де Люсиа» нам предстояло лететь на самолете с гаванского аэродрома имени Хосе Марти. По дороге на аэродром — большой транспарант: «Во все, что делал Хосе Марти, он вкладывал душу. Поэтому в каждом деле осталась частичка его души».

Шесть часов утра. Готовятся к взлету в разные концы острова и в другие страны несколько машин. Наша третья очередь, ждать минут сорок. Осматривая здание аэропорта, забрели в зал, где собирались пассажиры, отправляющиеся в Мексику. Большинство из них гусанос, то есть черви. Как известно, это название накрепко привилось к врагам кубинской революции.

Куба никого не задерживала. Хочешь покинуть страну — на все четыре стороны. И ползли гусанос.

Мальчишка лет пятнадцати ходит по залу и громко кричит:

— Покупайте сигары! Это ваша последняя возможность покурить гаванские сигары.

Гусанос не покупают у него сигар. Да по всему видно, что он и не рассчитывает найти здесь покупателей. Просто хочется парню поиздеваться над ними, и у него отличный повод. Он предлагает свой товар весело, лихо, с издевкой. Он доверительно подмигивает им:

— Если у кого нет денег, могу угостить!

Пожилой милисиано укоризненно качает головой:

— Ну зачем это?

А гусанос уже едва сдерживаются. Они ненавидят и этого парня и милисиано, что покровительственно заступился за них, злятся на весь мир, на то, что навсегда покидают Гавану. Сказочную, великолепную, веселую.

Они ходят по залу, стараясь сделать высокомерный вид, будто все, что делается вокруг, им не интересно. Но все это только «будто». Они искоса озираются, и вырвется вдруг тяжелый вздох или метнется ненавидящий взгляд на оживленную группу простых, ну совсем не примечательных ребят, торопящихся на взлетное поле, или расширятся глаза, когда подрулит к зданию советский воздушный лайнер.

И как бы ни маскировали свои лица гусанос, видно: ох как не хочется им покидать Гавану, как бесит их все, что здесь делается, как бессильны они в своей страшной классовой злобе.

Мы приземлились на одном из аэродромов, километрах в тридцати от имения. Наш переводчик на этот раз — Нельсон Мартос, парень лет семнадцати.

— Я — ростовчанин,— говорит он серьезно и неожиданно громко смеется.— Год учился, работая на Ростсельмаше.

Он недавно вернулся из Советского Союза и ждет назначения на работу. Ждет, пока идет за него борьба между организациями. Переводчиков не хватает. Он горд тем, что говорит по-русски. Вообще люди, знающие русский язык, в особом почете. Ими очень дорожат, они очень нужны острову Свободы. Они работают дни и ночи, работают самозабвенно. С простыми смертными, то есть теми, кто не знает русского языка, разговаривают добродушно-покровительственно.

— Помню, бывало,— небрежно замечает Нельсон,— когда я еще не знал русского языка, наговоришься за день с советскими товарищами так, что к вечеру руки болят,— и он сам весело смеется своей шутке.

Председатель народного имения Энрико Родон похож на плакатного ковбоя. На нем сомбреро, под которым, кажется, можно спрятать автомобиль. На боку — огромный кольт. Но в Энрико нет и грана рисовки. Человек с лицом крестьянина, он и в самом деле всю жизнь работает на земле и знает в ней толк. Он работал в этом же хозяйстве, когда оно принадлежало Армандо Каминьо Миланесу. Родон оказался отличным организатором, человеком неиссякаемой энергии, сумевшим в короткий срок превысить уровень производства, который был при Каминьо.

— А где сейчас этот Каминьо?

— Организовал контрреволюционную банду. Но поймали его, и суд, наверное, уже был.

По возвращении в Гавану мне дали разрешение посетить тюрьму, где Каминьо отбывал наказание.

У въезда в город Матансас стоит огромное здание. Эта казарма и тюрьма под названием «Гойкурия» была одной из опор батистовского режима. Теперь здание реконструировано и превращено в школьный центр. На шоссейной дороге знак: Zona esckolar — школьная зона. Такими знаками усеяны сегодня все дороги Кубы. И военные казармы, превращенные в школы, тоже не исключение. Только в тех местах, где мне довелось побывать, я насчитал шесть таких чудесных превращений. Это и понятно. После революции множество тюремных зданий оказалось пустыми, и их переделали в школы.

Но вот мы там, где сидят враги революции. Перед нами Армандо Каминьо Миланес. Бывший миллионер, бывший латифундист, бывший владелец домов и магазинов в Гаване. По образованию — юрист. Вся семья на свободе. Жена уехала в США, сын работает на Кубе. Активную контрреволюционную деятельность начал в тот день, когда на двери одного из своих гаванских магазинов увидел бумажку, приклеенную так, что, открывая дверь, обязательно разорвешь ее. Но там было написано:

«Это печать. Владельца данной недвижимости просим зайти в городское управление в течение 72 часов с документами, подтверждающими принадлежность недвижимости. В случае, если печать будет нарушена, виновник ответит по законам революции».

Не только тысячи гектаров земли, которыми он владел в провинции Орьенте, но и его огромные магазины в Гаване были национализированы. И он начал активную борьбу против нового строя.

Он смотрит испытующе, стараясь понять, с кем имеет дело. На вопросы отвечает неторопливо, пространно.

— Дело, видите ли, в том, что мне жалко землю. Нет, не для себя, много ли мне надо! Жалко, что погибнет земля, которая кормит народ.

— Почему же она погибнет?

— Потому что сельскохозяйственные рабочие, которые распоряжаются моей землей, не справятся с таким большим делом. Для этого надо иметь специальное образование.

— Да, но вы призывали к свержению строя. И не только призывали.

— Правильно. Но именно для того, чтобы не оскудела земля.

— Именно для того вы и пытались организовать поджог сахарного тростника?

Молчит.

Сверкает, переливается красками камень на большом перстне.

Совсем по-другому повел себя молодой Карлос Мануэль Распал Суарес. Медленно переступил порог, глядя в пол. Остановился. Исподлобья покосил глазами в стороны и вдруг резко поднял голову, снова осмотрелся, будто не веря, что в помещении нет кубинцев. Его щуплая фигурка как-то дернулась, он быстро подошел к столу, зашептал.

— Вы из ООН, да? Вы пришли помочь нам, да?

— Извините, пока вопросы будем задавать мы.

Сын миллионера, он был на последнем курсе химического факультета, когда пришла революция. Его не выгнали из института. Нормально продолжались занятия. Это учебное заведение при старом режиме содержалось на средства католической верхушки, и руководил им падре Келлэ, наиболее злобный представитель реакции и американский агент. В подведомственное ему учебное заведение принимал только лиц, из которых можно было сделать себе подобных. Отец Карлоса — Хосе Суарес,— как и Каминьо, имел тысячи гектаров земли в провинции Орьенте и крупные продуктовые магазины в Гаване. Келлэ решил, что на сына такого человека можно положиться.

Карлос Суарес ездил на автомобилях только последней моды, купался только на самых модных пляжах, прожигал ночи в модных притонах, в игорных и публичных домах. На учение времени не оставалось, но его беспрепятственно переводили с одного курса на другой. Именно он понадобился падре Келлэ, когда пришло сверхсекретное сообщение из США.

Карлос Суарес оказался подходящей кандидатурой еще и потому, что его специальностью являлось взрывное дело. Теперь целыми днями, а порой и ночами он просиживал в лаборатории. Падре Келлэ хвалил его: «Настоящий человек науки. Его, как и меня, не интересует политика. Пусть в стране что-то происходит, но

это не должно мешать учению. Прилежные студенты должны учиться».

И Карлос Суарес учился. Он не только учился, но и прилежно выполнял задания своего настоятеля: готовил различного рода взрывчатки. Главное, чтобы в малом их объеме вмещалась большая взрывная сила. У Карлоса было два помощника. Они лучше его были подготовлены, лучше знали химию, но руководил он.

Однажды в лабораторию зашел Келлэ.

— А вы все со своими колбами дни и ночи? — сочувственно сказал он.— Прошлись бы хоть в кино.

— Сегодня? — вскочил Суарес.

— Да.

Трое пошли в крупнейший кинотеатр Гаваны. На Кубе, как и в некоторых других странах, вход в зрительный зал открыт в течение всего сеанса. Перерывов между сеансами нет. Пришел человек к концу картины, посмотрит конец, а потом начало. И пока идет фильм, все время мелькают в затемненном зале фонарики — это ищут свободные места новые зрители или покидают зал те, кто отсмотрел свое.

С последнего сеанса уходят все одновременно.

Суарес и его два дружка пошли в кино перед вечером. Они хронометрировали фильм. Засекли, что герой дает пощечину героине за пять минут до окончания картины. Ушли в свою лабораторию и снова вернулись в кино перед окончанием последнего сеанса.

Это было в воскресенье, и, несмотря на позднее время, народу собралось много. Один из дружков Суареса, Педро, зашел в зрительный зал, второй стал дефилировать по улице, а Карлос с чемоданчиком остался у входа, близ вторых дверей, где обычно стоит контролер. Сейчас его не было, так как кончался последний сеанс.

Как только на экране раздалась пощечина, Педро быстро покинул зал и прошел мимо Карлоса. Они понимающе обменялись взглядами. Отойдя в сторонку, Суарес раскрыл чемодан и высыпал порошок в толстую колбу с жидкостью. Он будет плавиться восемь минут. Когда растворится полностью, последует взрыв.

Суарес положил колбу в ящик, куда контролер бросает разорванные входные билеты, и быстро вышел на улицу. Трое приятелей не торопясь пересекли людный проспект и скрылись в боковой улочке.

Взрыв был слышен далеко. Он изуродовал стены,

пробил в потолке большое отверстие. Но, видно, плохо учился Суарес, подвел своего падре: взрыв произошел не через восемь минут, как рассчитывали убийцы, а спустя двадцать три минуты, то есть когда в кинотеатре не осталось ни одного человека.

Все это было за три дня до высадки американских наемников на Плайя-Хирон. Падре Келлэ получил указание в течение этих дней совершать террористические акты, взрывы, поджоги, чтобы посеять в стране ужас и панику. Это, как думали хозяева Келлэ, облегчит высадку десанта.

Падре ретиво выполнял задание. Действовал его лучший ученик Распал Суарес: взрывал рельсы на железных дорогах, взрывал перекрестки шоссе, бросал бомбы в магазины.

И вот он в тюрьме. Гуманный суд кубинского народа не вынес ему смертного приговора. И слизняку опять захотелось в игорные и публичные дома. Он ерзает на стуле, поминутно озираясь, вертя головой, похожей на дыню, и быстро-быстро шепчет, боясь, что войдут кубинцы и он не успеет чего-то сказать.

Оказывается, он боролся против «незаконного строя», против своих врагов. Ему бы только побыстрее выбраться отсюда, и он снова будет бороться. Так он говорил.

По-видимому, он дурак.

— Если бы взрыв в кинотеатре произошел точно по вашим расчетам, вы убили бы не своих врагов, а десятки случайных зрителей? Так?

Молчит.

По нашим вопросам начинает соображать, что перед ним не те, кого бы он хотел здесь видеть. Как вести себя дальше, не знает. И вдруг оживляется, униженно просит закурить.

В карманах у меня три пачки сигарет: «Краснопресненские», кубинские «Дорадос» и купленные в Гибралтаре турецкие. Я даю ему последние. Жадно впивается глазами в пачку. Не успев прикурить, спрашивает:

— Вы из Турции?

— Извините, мы еще не исчерпали своих вопросов.

И тут происходит совсем неожиданное. Он начинает хныкать. Хныкать, что-то бормоча, вот-вот расплачется. Переводчик Юра с недоумением смотрит на меня.

— Что он бормочет?— спрашиваю.

Юра улыбается:

— Говорит: «Я больше не буду».

Прошу переспросить, думая, что переводчик ошибся. Переводчик спрашивает. Нет, так и говорит: «Я больше не буду».

Омерзительно.

В Гавану мы вернулись перед вечером. На рейде у бесчисленных причалов стояли торговые суда десятков стран. Трепетали на мачтах советские, английские, польские, норвежские флаги.

Темнело. Загорались огни реклам. Ласково плескался океан у бесконечной набережной. Откуда-то доносились звуки бурной, неудержимой, искрящейся «Пачанги», любимого танца кубинцев.

Большой сюрприз ждал нас в городе Тринидаде. Некогда здесь шли бои между коренными индейскими племенами и испанскими завоевателями. В течение нескольких веков город был известен как центр многочисленных религиозных культов, куда на праздники стекались молельщики со всего острова. Здесь не было промышленности, не развивалось сельское хозяйство.

Мы осматривали исторические места, старинные церкви, остатки крепостных стен. С нами был директор местной библиотеки Трухильо. Он рассказывал историю Тринидада, резко отличающегося от городов Кубы.

Весь остров Свободы бурлит. В Сантьяго, в Санта-Клара, Сьенфуэгосе, в Гуантанамо, в десятке других населенных пунктов, где мне довелось побывать, не говоря уже о Гаване, люди живут бурной жизнью первых лет революции. Только к глубокой ночи затихает движение транспорта, и остаются неоновые огни кафе и реклам да вооруженные девушки и юноши, патрулирующие улицы.

В Тринидаде даже днем пустынно, будто забыт он всеми.

— Революция еще не успела изменить облик нашего города,— говорит, как бы извиняясь, Трухильо.— Очень много дел у революции, понимаете?

Мы бродили по узеньким улочкам, где булыжная мостовая, местами поросшая травою, идет с наклоном от домов к осевой линии, точно желоб. Смотрели на старинные здания с зарешеченными окнами, высотою в два-три человеческих роста, с балконами, опоясывающи-

ми стены и похожими на театральные ярусы. Трухильо объяснял, какому старинному роду или секте принадлежало то или иное здание, рассказывал, что вот этот пустой и запущенный замок построен в 1743 году, а вот эта церковь — в 1514 году.

Трухильо на вид было лет двадцать пять, он ничем не выделялся среди других кубинцев. И если бы не окликнул его приятель, вышедший из магазина, мы, наверное, так и не узнали бы его удивительной истории. Трухильо согласился пообедать с нами, и мы отправились в ранчо, находившееся на высокой горе, откуда виден весь город. Здесь было прохладно, потому что ранчо, построенное в виде огромного амбара с крышей из пальмовых листьев, не имело стен. Просто огромный навес, с перекрытиями из бревен и лаг, окрашенных в цвет меда.

Мы ели лангуст, сладкий картофель и юку, и Трухильо рассказывал свою историю.

Его мать в эпоху тирании, как здесь называют период господства Батисты и ему подобных, была связана с революционным движением. Два года находилась в подполье. Выйдя замуж за Пабло Трухильо, она отказалась принять его фамилию: Трухильо был известен в Латинской Америке как угнетатель народа. Конечно, Пабло ничего общего с ним не имел, он служил на военном корабле, но все-таки принять его фамилию она не могла. Так и осталась она Сайес. Офелия Сайес.

Пабло почти все время находился в море. В те редкие дни, когда приходил корабль, он тоже не сидел дома. Начистив и без того блестящие пуговицы на своем мундире, смазав бриолином волосы и тщательно причесавшись, он долго и со всех сторон осматривал себя в зеркало и отправлялся гулять. Возвращался домой перед выходом корабля в море.

Он искренне не понимал, за что его упрекает жена. Что же, он в конце концов не мужчина? Да неужели такой бравый моряк, как он, после всех штормов и бурь не имеет права посидеть с друзьями в ночном кабачке? Да понимает ли она, о чем говорит?

Офелия смирилась. Одного только никак не могла принять: Пабло щеголял своей фамилией. Эту ненавистную ей фамилию выгравировал на медной дощечке и прибил к двери. Он не упускал случая, чтобы, завидев сквозь окно приятеля, не закричать на всю улицу:

— Эй, чико[1], что же ты проходишь мимо дома Трухильо!

К месту и не к месту он называл себя, и ей это становилось невмоготу. За этой фамилией Офелии представлялся не Пабло. Какой он Трухильо? Перед ней возникал облик ненавистного народу сатрапа.

С тех пор как Офелия стала ждать ребенка, мысли ее отвлеклись. Она думала только о сыне. Ей хотелось, чтобы это был сын. Ей так этого хотелось, что она в конце концов перестала сомневаться: будет сын. Она ощущала его, живого, под своим сердцем и, когда толчки ребенка были сильными, радовалась, потому что девчонка не станет так грубить. Значит, сын.

Офелия ждала сына и забросила все дела, и ее уже не раздражал вертящийся перед зеркалом Пабло, потому что она ждала сына.

Однажды Пабло разбудил ее на рассвете. Он вернулся после двухдневной гулянки, настроение у него было хорошее, и ему хотелось еще с кем-нибудь поговорить. Но друзья разошлись, пришлось будить Офелию. Пока она готовила ему кофе, он рассказывал смешную историю и очень смеялся. Потом, лукаво подмигнув и легонечко ткнув ее пальцем в живот, захихикав, спросил:

— Ну, как поживает мой маленький Трухильо?

У Офелии подкосились ноги. Держась за стены, побрела в постель. С этого дня ей стало трудно. Она ведь действительно носит в себе Трухильо. Она родит Трухильо. В свое время она отказалась от фамилии мужа, сейчас может уйти от него совсем, остаться одной или снова выйти замуж и взять себе другую фамилию. Она все это может. Но изменить фамилию ребенка нельзя. Он не может выбрать себе другого отца. Он обречен быть Трухильо. Это было невыносимо.

По ночам Офелия не спала. Плакала. Плакала от бессилия. Толчки под сердцем становились сильнее, но они не радовали. Не рано ли показывает характер этот маленький Трухильо?

Она понимала, что рассуждает глупо: ребенок ни в чем не виноват. И все-таки прежней любви к нему уже не было. Это зависело теперь не от нее.

Офелия была мужественная и сильная. У нее хватило

---

[1] Ч и к о — мальчик, парень; широко распространено как обращение *(исп.)*.

воли перестать плакать. Где-то бродила мысль — избавиться от ребенка. Но было поздно.

Она решила обязательно что-нибудь придумать. Она придумала. Придумала в одну из ночей, когда лежала с открытыми глазами и прислушивалась к жизни сына. Какие-то туманные мысли проплывали в голове, и за одну из них, еще неясную, едва уловимую, она уцепилась, и боялась пошелохнуться, чтобы не стряхнуть эту мысль, и старалась сосредоточиться, чтобы она не растаяла.

Изменить фамилию невозможно. Это уже совершенно ясно. Но имя она имеет право дать любое. Надо дать сыну такое яркое имя, чтобы рядом с ним фамилия казалась жалкой и ничтожной, чтобы рядом с именем фамилия просто не воспринималась, чтобы на нее никто не мог обратить внимания. Надо придумать такое поразительное имя, такое огненное и сверкающее, чтобы оно затмило и ослепило эту подлую фамилию.

И когда она так решила, у нее стало легко на душе. Ей нравилось имя Дельгадо и Санчес, красиво звучало Кристобал в честь Колумба, но все это не то. Она задержалась на Спартаке и Муции Сцевола, но и они не подходили.

Замкнувшись в себе в течение последних месяцев, она теперь ощутила острую необходимость общения с людьми.

Вместе с тремя товарищами Офелия сидела в доме шорника, лучшего мастера седел, и слушала его горячие слова. Человек энергичный и смелый, он в ответ на репрессии требовал немедленно организовать стачку шорников и башмачников, к которой, он уверен, присоединятся рабочие сахарных заводов. Он говорил убежденно и страстно, ссылался на опыт России. И Офелия вдруг вскрикнула и схватилась за сердце. Люди бросились к ней, расспрашивая, что случилось, но она ничего не могла ответить. И только жена шорника догадалась, что это предродовые схватки. Офелия подтвердила это, но не дала себя провожать, а сама тихонько побрела домой.

Она сказала людям неправду. Это были не схватки. Просто шорник произнес слово, которое пронзило ее, как молнией, потому что это было то слово, которое она так долго искала. Это было то имя, то единственное в мире имя, которое она даст сыну, потому что оно искрилось, и сверкало, и, как солнце, озаряло мир: Ленин!

Так она назовет своего сына.

Она шла домой, и счастье туманило ей глаза, и она ни с кем не хотела делить свое счастье и, торжествуя, несла его в себе.

Роды прошли хорошо, и родился сын, и она наперед знала, что все так и будет, потому что не может быть иначе, если должен родиться человек, который будет носить имя Ленин.

Когда Офелия настолько окрепла, что могла встать с постели, она, как и положено, пошла к судье зарегистрировать ребенка. Возможно, судья был таким темным и диким, что не слышал имени «Ленин» или мысли его где-то витали, потому что он был очень рассеян, но так или иначе он не задал Офелии никаких вопросов и выдал ей документ о том, что у нее родился мальчик, которому дано имя «Ленин».

Спустя полгода надо было крестить сына. У Офелии было нехорошее предчувствие, но нельзя же откладывать такого дела. Она пошла в самую лучшую церковь, в Сантисима Тринидад, и повела с собой родных и близких, и крестного отца, и крестную мать. Она смотрела на высокого молодого священника, который готовился к процедуре, и молила бога, чтобы это уже скорее закончилось. Ну, сколько надо времени, чтобы он окунул палец в сосуд с ароматным маслом, и поставил этим масленым пальцем крестики на лбу и на темени ее сына, и поднес бы к его рту эту крошечную серебряную ложечку с солью, и окропил его водою, и надел на него крестик на цветной ленточке? На это надо не больше трех-четырех минут, и все это сейчас кончится, и она понесет сына домой.

Она так рассуждала, стараясь заглушить другие мысли, но все равно они лезли в голову со всех сторон, и она никак не могла отбиться от этих страшных мыслей. Потом Офелия увидела, что он закончил приготовления, увидела, как зашевелились его губы, и услышала его слова:

— Как нарекли ребенка?

Она подумала, что кто-нибудь ответит. Но все родственники молчали. Молчали крестный отец и крестная мать.

— Ленин.

Офелии казалось, будто громко произнесла это слово. Так громко, что у нее пересохло в горле. Но, возможно, ей показалось. Вполне возможно, она только прошептала это слово, ибо священник уставился на нее, точно ожидая

ответа, точно он не слышал. Он смотрел на нее, ничего больше не говоря и не приступая к процедуре, и она не знала, что ей теперь делать. Он стоял и смотрел, а она никак не могла придумать, что бы ему такое сказать. Ничего не придумывалось. Не было сил смотреть в эти немигающие, направленные на нее глаза, и она опустила голову.

Тогда он шагнул к ней, сделал шаг и еще один. Ей видны были его большие, ступающие ботинки из-под широкой сутаны. Офелия услышала его твердый голос и его медленно произносимые, каждое в отдельности, слова:

— Что ты сказала?

Офелия подняла голову. Она увидела священника, высокого и грозного, и по обе стороны от него святых в позолоченных рамах с усталыми глазами.

Человек в черной сутане возвышался над ней и стоял не шевелясь, как статуя, и властным взглядом требовал ответа. Святые тоже смотрели на нее и тоже ждали, что она скажет. И хотя они были в позолоченных рамах, она увидела, в какие рубища они одеты, как измучены, какая тоска и обреченность в их взорах. И она вдруг вспомнила этих затравленных людей, вспомнила, что встречала их каждый день в зарослях сахарного тростника, на кофейных плантациях, на сигарной фабрике. Она видела их каждый день в своей родной деревне, в Тринидаде, в Мансанильо. Она видела их, оборванных, загнанных, злых, у бесчисленных причалов Кубы, близ белых, сверкающих пароходов. И она поняла, что этот человек в черной сутане заковал их в свои позолоченные рамы, чтобы они не могли проронить ни одного слова. И они молчат, и смотрят на нее, и ждут этого слова от нее.

— Ленин!

Нет, теперь это был не шепот. Слово вырвалось, поднялось до самого купола, понеслось под церковными сводами, перекатываясь между колоннами. Еще не умолкло гулкое эхо, когда Офелия услышала другой голос:

— Вон! Вон из храма!

Люди бросились к выходу, и уже в дверях Офелию догнали громыхающие слова:

— К варварам! В Россию вези крестить своего выродка!

Через три дня ребенок заболел. Мать Офелии говорила: она знала, так будет, не может жить некрещеный.

Навалились на Офелию родственники. Она снова пошла в церковь, в самую маленькую и бедную, и когда ее спросили, как нарекли мальчика, ответила «Кристобал».

А в документах, в государственных документах государственного судьи так и осталось: Ленин.

Может быть, не понимала Офелия, на что шла, может быть, не знала, что ждет ее впереди, какие испытания и кары падут на ее голову. Может быть. Но, возможно, далеко-далеко смотрела эта простая женщина с порабощенных Антильских островов и отчетливо представляла себе всю силу оружия, оказавшегося в ее руках.

Пабло произвели в офицеры, и у него уже совсем не оставалось времени для дома. Мать воспитывала сына сама. Когда он начал говорить, Офелия научила его четко и правильно произносить свое имя.

Мальчик рос здоровым и сильным. Офелия не спускала с него глаз. Стоило ребенку уйти со двора, как она выбегала вслед и через всю улицу кричала:

— Ле-нин!

Порою, забыв, что ребенок сидит дома, она бегала чуть ли не по всему городу и звала его, как раз в то время, когда люди шли с работы. А те смотрели на нее, и улыбались, и объясняли друг другу, что так зовут ее сына. И если кто-нибудь спрашивал, что это за странное имя, наперебой объясняли, кто такой Ленин. Но находились люди, которые не могли с первого раза понять, кто же такой Ленин, и снова спрашивали, и каждый рассказывал все, что знал о Ленине. И каждому было интересно остановить мальчишку, которого зовут Ленин, и спросить, как его зовут. А стоило остановиться одному, как подходили другие, и снова начинались разговоры о Ленине и о России.

Ему не было еще шести лет, когда он спросил мать, почему он не такой, как все. Почему каждый взрослый обязательно погладит его по голове, одного из целой кучи ребят, почему угощают его конфетами, почему велят мальчишкам не обижать его, почему вообще ни один человек не пройдет мимо, чтобы не сказать ему ласкового слова?

В тот раз Офелия долго и серьезно говорила с сыном. Говорила о Ленине. И он понял, почему должен быть самым справедливым и самым правдивым.

Когда мальчику исполнилось семь лет, мать повела его в школу. Но директор уже все знал о нем и сказал, что с таким именем принять не может.

По дороге домой Офелия плакала и не прятала своих слез, и каждому, кто ее спрашивал, рассказывала о своей беде.

В тот же день возле школы собралась толпа. Люди требовали директора и кричали, что нет такого закона, чтобы не принимать в школу ребенка, если директору не нравится его имя.

Кончилось все это плохо. Полиция разогнала толпу. А на следующий день Офелия вместе с сыном исчезла. Никто не знал, куда они девались. Весь город жил этим событием, и все говорили о Ленине и требовали, чтобы полиция выпустила его.

В действительности ни Офелия, ни ее сын не были арестованы. Просто к ней заходил полицейский инспектор и сказал, возможно, с мальчиком произойдет какой-нибудь несчастный случай и, может быть, поэтому ей лучше, не поднимая шума, оставить город.

— Какой же несчастный случай может произойти с моим сыном? — разволновалась Офелия.

— Да всякое может случиться,— пожал плечами инспектор.— Под машину может попасть, свалиться со скалы или случайная пуля заденет. Разве не бывает такого?

Офелия хорошо знала батистовскую полицию. Это не пустые угрозы. Речь шла о ее сыне, который был не просто ее сыном, а символом мечты о лучшей жизни. Она поблагодарила инспектора за то, что он так заботливо отнесся к ее сыну. Она охотно последует доброму совету.

В ту же ночь Офелия уехала в другой город к родственникам. Полиция хотела, чтобы она не поднимала шума. Ну что ж! О своем отъезде она не сказала ни одному человеку. Пусть теперь сама полиция ответит людям, куда девался Ленин.

На новом месте уже через неделю прошел слух о Ленине. Каждому хотелось посмотреть на человека, который носит такое имя. И люди собирались во дворе, где поселилась Офелия, но она говорила, что зря они приходят, потому что ее сын совершенно не похож на настоящего Ленина и ничего общего с ним не имеет. Для большей убедительности показывала маленький портрет В. И. Ленина, и этот портрет переходил из рук в руки. Чтобы уж окончательно развеять сомнения относительно ее сына, она рассказывала, каким великим человеком был Ленин и как много он сделал для народа.

Люди слушали и завидовали этому народу, у которого был Ленин, и мечтали о Ленине для себя. А потом передавали своим знакомым, что вон в том дворе живет интересный парень и стоит сходить на него посмотреть.

В один из вечеров, когда происходила подобная беседа, какой-то старик, который всегда был чем-нибудь недоволен, усомнился в ее словах. Не может быть, чтобы один человек, если он не бог, отдал всю землю крестьянам.

Офелия объяснила — он не один это сделал, он только научил людей, что надо делать. И опять старик был недоволен, так как давно известно, что надо делать. Надо отнять землю у латифундистов и отнять сахарные заводы, но это возможно, если за такое дело возьмутся все сразу, а не один человек.

Офелия не стала больше спорить со стариком, тем более что во дворе появились какие-то подозрительные люди и все быстро разошлись.

За домом началась слежка. Приходил полицейский и проверял, действительно ли ее сына зовут Ленин и есть ли об этом документы.

Разговоры во дворе пришлось прекратить. Теперь она довольствовалась тем, что рассказывала о Ленине рубщикам сахарного тростника прямо в поле и вообще где придется. Но и это продолжалось недолго. Кольцо слежки за ней сжималось, и когда она убедилась, что полиция ее уже не отпустит, скрылась. Так к концу августа 1957 года она оказалась в Сьенфуэгосе.

Первого сентября возле ее дома остановились пять юношей и начали звать Ленина. Он поднялся, но Офелия задержала его. На улице скандировали:

— Ле-нин! Ле-нин! Ле-нин!

Молча сидели в комнате мать и сын. Вокруг дома стал собираться народ. Налетела полиция. Ребята объяснили, что Ленин — это имя их товарища и они зовут его играть в бейсбол.

Полицейские не поверили. Они ворвались в дом, потребовали документы. Они не поверили документам и по тащили парня в участок. Один конвоир шел впереди него, второй сзади. До участка оставалось немного, когда раздались одновременно два выстрела. Передний полицейский упал, задний, схватившись за плечо, побежал.

Ленин исчез бесследно. На ноги была поставлена вся полиция. Четыре дня шли повальные обыски, арестовы-

вали каждого подозрительного, но найти Ленина не могли. Его прятали совсем незнакомые, чужие люди, по внутренним дворам переводили из дома в дом, охраняли его сон.

Пятого сентября началось восстание моряков, к которому присоединился весь город. К двенадцати часам дня было захвачено полицейское управление, телеграф, радиостанция. Но вскоре появилась батистовская авиация, на улицы ворвались танки и войска. Восстание было подавлено.

Офелия Сайес говорит, что это восстание не связано с ее сыном. Восстание готовилось революционной организацией «Движение 26 июля», названной так в честь исторического нападения Фиделя Кастро на казармы «Монкада». Руководил восстанием Хосе Дианисиас Сан Роман. Конечно, не инцидент с сыном Офелии явился поводом для восстания. Но и для нее и для сына это были незабываемые дни.

Им пришлось снова переехать в другое место. Так они путешествовали из одного населенного пункта в другой, и всюду Офелия объясняла, что ее сын никакого отношения к настоящему Ленину не имеет, и объясняла, каким был Ленин. Так продолжалось до революции. Теперь они спокойно живут в Тринидаде.

Выслушав эту поразительную историю, мы снова пошли в город, так как Трухильо считал, что еще не все показал нам. Мы бродили по Тринидаду, и хотя наш гид извинялся за то, что революция еще не успела изменить облик города, новое мы видели на каждом шагу. Новую табачную фабрику, новый швейный цех, новое строительство. И почти все, кого мы встречали в этом маленьком тихом городке, радостно приветствовали нашего гида или так же, как его друг, вышедший из магазина, кричали:

— Буэнос диас[1], Ленин! Как самочувствие?

— Я буду рад, если вы мне напишете,— сказал он нам на прощание.— Адрес легко запомнить: Куба, Тринидад, городская библиотека. А фамилию можно и не писать,— улыбнулся он.— Меня все по имени знают.

Фиделя Кастро я видел на Кубе несколько раз. Но особенно запомнились две встречи. Одна из них — на приеме в загородной резиденции советского посла. На аллеях и

[1] Буэнос диас — добрый день *(исп.)*.

лужайках большого парка оживленно беседовали гости. В одной из групп был чемпион мира Юрий Власов. Это образованный и удивительно обаятельный человек. Очень остроумен, находчив и чуть ли не по-детски застенчив. Он стеснялся и своей силы и популярности, старался оставаться незамеченным.

Но вот появился Фидель Кастро. Хозяева и гости приветствовали его. И хотя это был официальный прием, сразу же установилась такая непринужденная и теплая обстановка, какая возможна только в кругу самых близких друзей.

Фиделю Кастро представили Юрия Власова. Черный, красиво сшитый костюм скрывал могучие бицепсы чемпиона мира. Очки, похожие на пенсне, нежные черты лица дали повод Фиделю Кастро для шутки. Широко улыбаясь и постукивая Власова по груди, деланно-недоверчиво Фидель говорил:

— Вот это чемпион мира? Вот это самый сильный человек в мире?

Юра растерянно и как бы беспомощно посмотрел по сторонам, потом вдруг присел и тут же выпрямился, с непостижимой легкостью, казалось, только одними пальцами высоко над головой поднял Фиделя.

— Верю, верю, только опустите! — взмолился Фидель, и Юра так же бережно поставил его на землю.

Лишь в обстановке абсолютной непринужденности, дружеской и сердечной, и был возможен подобный эпизод.

...Предстоял военный парад в честь национального праздника. Со всех улиц и переулков Гаваны люди шли к площади Хосе Марти. Это не были организованные шествия, колонны встречались редко. Шли семьями, компаниями друзей, случайными группами и в одиночку. Город заполнили грузовики с крестьянами из близлежащих деревень. Солнце жгло, поэтому над всеми машинами были сооружены навесы из пальмовых листьев.

Площадь Хосе Марти большая. Больше, чем наша Красная площадь. Ее пересекает широченная магистраль — авенида. Вдоль обеих сторон авениды тянулись цепочки милисиано, которые стояли лицом к магистрали, а позади них — сотни тысяч людей. И всю площадь заполнил народ, пришедший на военный парад.

Два часа шли по магистрали войска и военная техника свободной Кубы. Все, кто был на параде, видели, что у

страны есть кому и есть чем защищать завоевания революции.

Потом парад окончился, и магистраль опустела. На трибунах, где мы находились, появился Че Гевара. Он приветствовал гостей. Остановился возле группы советских людей и, протягивая руки, сказал:

— Драстье! — Он улыбался искренне и радостно. Так здороваются близкие.

К микрофону подошла женщина, и над площадью раздался ее голос:

— Товарищи милисиано, пропустите народ ближе к трибуне, будет говорить Фидель.

Будто волны хлынули на только что опустевшую магистраль. Вперед устремилось много тысяч людей. Не было ни рядов, ни колонн. Казалось, мог произойти несчастный случай. Но ничего плохого не случилось. Просто на огромной территории не осталось и метра свободной площади.

На трибуну поднялся Фидель Кастро. Говорить он начал не скоро. Сотни тысяч кричали «Фидель!» и какие-то слова приветствий. Улучив момент, Фидель, наклонившись к самому микрофону, крикнул:

— Товарищи!

И настала вдруг тишина, точно на огромном пространстве никого, кроме самого оратора, не было. Он обратился к рабочим, крестьянам, интеллигенции.

— Империалисты,— сказал он,— заявляют, будто я сгоняю вас сюда силой...

Дальше уже ничего не мог сказать. Люди свистели, кричали, проклинали. Гудела площадь от гнева. Это была бурлящая ненависть к врагам, и вырвалась она из груди народа, как извержение вулкана.

Интересная деталь: во время карибского кризиса в Гаване и других городах мгновенно возникли большие очереди. Не за хлебом или мылом. За оружием. Как невиданное оскорбление воспринимали глубокие старики и юнцы отказ в оружии и добывали его всеми правдами и неправдами.

Фидель Кастро продолжал свою речь. Он говорил так выразительно, от всей души и всей душой, что, казалось, можно обойтись без переводчика.

Когда речь шла о достижениях, в нем была такая чистая радость, такая торжествующая гордость, что это приводило в восторг. Когда он говорил о врагах, в нем

с той же силой и физически ощутимой яростью проявлялась ненависть, и она с удесятеренной силой передавалась народу. Когда он говорил об ошибающихся, в его голосе были боль и сожаление.

В свои слова он вкладывает больше чем их словарное значение. В его устах «империализм» выражал и ненависть, и презрение, и веру в победу народа, и превосходство нового строя. Уже только произнося эти слова, он пригвождал к позорному столбу империалистов. Все это в его интонации, мимике, жестах: неожиданных, искренних.

Сразу после парада я отправился в порт Нуевитас. Длинный пирс, два железнодорожных состава с сахаром, два узких, как пригородный перрон, причала. У одного из них — «Солнечногорск», у другого — «Полтава». Погрузка идет так быстро, будто смотришь ленту ускоренной киносъемки. Лоснятся коричневые влажные спины, мелькают красные, серые, синие шорты и шапочки. Взмывают и падают в трюмы связки по десять мешков. Их разносят по твиндеку и небрежным поворотом плеча сбрасывают со спины, и с удивительной точностью они ложатся в определенное для каждого место. И вот уже в шести трюмах «Солнечногорска» — сто десять тысяч мешков. Это пять тяжеловесных составов.

И снова знакомые команды:

— Опустить стрелы!

Тепло прощаемся с кубинцами.

— Поднять трап!

Все. Широко разворачиваясь, теплоход коммунистического труда уходит в далекий путь.

К океану ведет сильно изрезанный канал длиною в десять миль, изобилующий крутыми поворотами, мелями, узкостями. По обоим берегам густые мангровые заросли. Надо идти малым ходом. Но чем меньше ход, тем менее управляемо судно. Чтобы океанскому теплоходу повернуть на малом ходу, требуется огромная площадь, а не узкий канал. И кубинский лоцман отдает команду: «Полный вперед!»

Теплоход быстро набирает скорость, а впереди крутой изгиб. Кажется, уже никакая сила не погасит инерции, и он врежется в берег, если даже отработать назад. Но в какой-то момент раздается новая команда: «Право на борт», и теплоход разворачивается почти под прямым углом. Это высокое мастерство лоцмана. Надо уметь уло-

вить этот момент, эту единственную секунду, раньше которой или позже любая команда уже не спасла бы от аварии.

Долго петляет теплоход по каналу, пока не выходит к маяку. Дальше — открытый океан. Подходит катерок за лоцманом. Я передаю письмо для кубинских друзей.

Аста ла виста, Куба! До свидания, Куба!

— Полный вперед! — командует капитан Кнаб.

Какое-то странное состояние. Грустно. Впереди — Багамские острова, Гаити. Со школьных лет, с уроков географии остались неразрывны Куба и Гаити, Анти, Антильские и Багамские острова. И вместе с ними остался мотив модной тогда песенки:

Куда же вы ушли, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов!

Мы покидаем Антильские острова. Всплывают в памяти встречи, города, дороги. Все сумбурно, без связи одного с другим... Замок Ирэне Дюпона... «Это ваша последняя возможность закурить гаванскую сигару...» Рыбаки Мансанильо, Антонио Сааведра...

Антильские острова... Далекие, таинственные, манящие...

СОРОК МИНУТ ОГНЯ

На следующий день после выхода из Кубы в Атлантическом океане я встретил знакомый мне танкер «Лиски». Он шел к катастрофе. Никто не мог этого предвидеть, и люди радовались, потому что танкер держал путь к родным берегам. Он был белый и длинный. Почти четверть километра. Издали судно походило на ракету. Мешала только единственная надстройка на корме.

Задолго до этой встречи я был на «Лиски» в нашем порту. Любому посетителю танкера обязательно дают сопровождающего — для предупреждения возможной оплошности. Обстановка здесь как в пороховом погребе. Был солнечный день, и сквозь открытые люки в пустых танках отчетливо были видны пары и газы не то нефти, не то бензина. Сизые, густые, они медленно клубились, таинственно передвигались, точно исполинская амеба нащупывала искорку, хотя бы такую, как тлеющая табачная крошка. Этого вполне достаточно для взрыва и самовоспламенения.

Сеть пожарных рукавов и труб оплетала танкер. Их длина исчислялась многими километрами. В специальных помещениях стояли сотни и сотни черных баллонов, похожих на снаряды гаубиц. Баллоны соединены между собою тончайшими трубками и представляют одну мощную систему. В них — противопожарные средства под давлением 150 атмосфер.

На всех палубах, надстройках, в коридорах лежали изготовленные к бою брандспойты на бесконечных рукавах. Сверкали лаком расчехленные лафетные стволы. В боевую готовность были приведены системы паротушения и пенотушения.

От солнечных лучей может нагреться палуба, и тогда взрыв газов, воспламенение станет неизбежным. Поэтому в солнечную погоду или в районе тропиков приводят в действие систему орошения, и вся главная палуба омывается водой.

Иной мир в служебных и жилых помещениях надстройки.

Пластик, красное дерево, хром и никель, телевизоры последних моделей в красных уголках и клубе, бассейны для купания и выложенные метлахской плиткой ванные комнаты для матросов, новейшее навигационное оборудование, автоматическое управление — все, что создала передовая конструкторская мысль современного кораблестроения, было на «Лиски».

Пересекая Атлантику, танкер шел в Туапсе. В чужом порту он опустошил свои восемнадцать нефтяных бассейнов, выбросив точно мониторами больше тридцати тысяч тонн нефти за одни сутки.

С океана все члены экипажа дали радиограммы домой: «Прибываем Туапсе четырнадцатого». Такое же сообщение получила жена первого помощника капитана врач Варвара Николаевна Трегубенко. Она, как и жены других моряков танкера, живет в Одессе. Но в Одессу танкер не зайдет. В Туапсе его напоят нефтью до отвала, и он отправится к берегам Японии.

Взяв на три дня отпуск за свой счет, Варвара Николаевна поехала на аэродром. Здесь встретилась с женой старшего механика Токаревой и ее шестилетней дочерью Иришей, женой начальника радиостанции Галиной Невечеря с обоими детьми — Сережей и Леной и другими женщинами и детьми, тоже спешившими к приходу «Лиски».

Самолет доставил их в Адлер, там пересели на автобус до Сочи, а оттуда на электричке приехали в Туапсе.

...«Лиски» приближался к родному порту. Теперь уже никто из встречавших не беспокоился о судьбе своих близких. Беспокоятся, когда провожают, когда судно уходит в рейс. Когда томительно тянутся дни, недели, месяцы. Когда узнают, что танкер после разгрузки в чужом порту идет не домой, а в новое далекое плавание и никому не известно, когда вернется.

Город жил своей обычной жизнью, не зная о нависшей над ним опасности. В порту и на судах шла обычная работа. Шла она, незаметная и предательская, в трубопроводе нефтепирса. Изо дня в день, постепенно и неумолимо нарастали пирофорные отложения в трубах. И воздух, чистый, живительный воздух, становился источником смерти: пирофорные отложения в присутствии воздуха самовоспламеняются и неизбежно ведут к взрыву.

Накапливались на внутренних стенках труб смолистые вещества, механические примеси, продукты коррозии. Эта смесь при определенных условиях тоже способна воспламениться.

Шли в трубопроводе простые и страшные химические процессы. Неотвратимо и медленно, точно ожидая «Лиски» и момента, когда женщины и дети поднимутся на борт, когда, увлеченный встречей, потеряет бдительность экипаж.

«Лиски» подходил к пирсу. Отдали правый якорь, вытравив семь с половиной смычек, то есть около двухсот метров якорь-цепи. С бака и кормы подали по пять концов. Наступили самые мучительные минуты. Судно уже у причала, уже спущен трап, по которому сбежал лоцман — единственный человек, имеющий право в эту минуту покинуть судно. Поднялись на борт пограничные власти, таможенники, представители пароходства. И никто больше: судно пришло из-за границы, должны быть проверены документы прибывших и произведен таможенный досмотр.

Это долгая процедура. Пока судно швартовалось, встречающие искали глазами своих. Радостно кричали дети, махали цветами и платками женщины, подходя к самому борту. А многие стояли в сторонке. Их родные и близкие на вахте, где-то в чреве судна, в машинном отделении или еще где-то там, и никогда не могут они, как вот

эти счастливчики, высыпавшие на палубу, поприветствовать встречающих в момент прихода судна.

Когда власти поднялись на борт, моряки с палубы ушли в каюты. Таков порядок. При досмотре из каюты выходить не положено.

А семьи теперь долго будут бродить взад-вперед, ожидая, пока «откроют границу». У каждой женщины — чемоданчик, корзинка или просто сверток. Почти на всех судах питание изобильное и вкусное, но по старой традиции каждая женщина приготовила для мужа самое любимое.

И вот все формальности закончены. Бегут вверх по трапу жены и дети. Но далеко не всех встречают мужья и отцы: слишком много неотложных дел у экипажа в первые минуты после прихода. Да и не только в первые минуты. Сразу же должна начаться погрузка, а ведь к ней надо хорошо подготовиться. И люди осматривали и проверяли танки, закрывали и пломбировали кингстоны, тщательно вели заземление. Нефть на судно гонят с такой скоростью, что от трения в рукавах заряд статического электричества может дать искру. Поэтому заземляли резервуары, цистерны, трубы, воронки, шланги. И отложить эту работу, чтобы побыть с семьей, нельзя.

Группа матросов начала приемку продуктов питания. Моряки машинного отделения готовились к профилактическому ремонту, выписывали запасные части, получали горючее и смазочные материалы. Распределялись скопившиеся на берегу за время рейса газеты и журналы. Последние уточнения вносились в рейсовый отчет, который надо немедленно сдать в пароходство. И хотя этих отчетов никто обычно не читает, если не было чрезвычайных происшествий, но строго следят за тем, чтобы отчеты представлялись точно к сроку. Поднялась на борт, как это бывает почти всегда, какая-то проверочная комиссия.

В первый же день на судно подали четыре могучих рукава, запустили компрессоры, и потоки нефти ринулись в танки. Нефть гнали и остаток дня и всю ночь.

Второй день стоянки был легче. Часть экипажа отправилась в город, многие отдыхали в каютах вместе с семьями. На постах оставалась лишь вахта да второй помощник капитана Георгий Любич, отвечающий за грузовые операции.

К шести вечера были заполнены почти все бортовые

танки и часть центральных — двадцать одна тысяча тонн. Оставалось догрузить одиннадцать, когда случилось несчастье.

По официальным документам все это началось так.

«Я, капитан порта Туапсе Корсак Н. П., на основании материалов, представленных капитанами судов, опроса всех лиц, причастных к пожару на нефтепирсе, и заключения экспертизы, установил:

14 апреля на внешний рейд порта Туапсе прибыл танкер «Лиски», плавающий под флагом СССР и принадлежащий Черноморскому государственному пароходству, под командованием капитана дальнего плавания Турецкого М. А. В тот же день в 19 часов 35 минут танкер «Лиски» был ошвартован левым бортом к шестому причалу нефтепирса под погрузку 32 000 тонн сырой нефти на Японию.

В 8 часов 15 апреля на внешний рейд порта Туапсе прибыл танкер «Сигни», принадлежащий частной судовладельческой фирме Редери А/Б Салли, под командованием капитана Якоба Доннинга. В тот же день в 10 часов 15 минут танкер «Сигни» был ошвартован левым бортом к причалу № 4 шестого нефтепирса под погрузку 15 000 тонн дизельного топлива на Финляндию.

После постановки судов к причалу корпуса обоих судов были заземлены обычным способом...»

«За несколько секунд до 18.00 местного времени мы были поставлены в известность о начале погрузки. Я, капитан теплохода «Сигни» Якоб Доннинг, и мой старший помощник Эрола Ойва, а также один человек с берега были на палубе, и наши вентили были открыты. Я пошел в каюту для того, чтобы зафиксировать начало погрузки. Ровно в 18 часов я услышал звук, похожий на небольшой взрыв трубы, а затем несколько глухих ударов, похожих на то, как будто что-то тяжелое падало на причал. Я вышел на палубу и увидел огонь на пирсе вблизи открытого места, где еще раньше рабочие открывали несколько секций покрытия пирса, как я думаю, для ремонта.

Нефтепродукты черного цвета, похожие на сырую нефть, вытекали из этого отверстия и горели на пирсе, под пирсом, и пожар стал захватывать обшивку моего судна и другого русского танкера у противоположной стороны пирса. Недавно окрашенный борт загорелся сразу.

Немедленно я пошел на мостик и дал сигнал тревоги.

Как только я дал сигнал тревоги, мои офицеры и команда, кроме меня и моего старшего помощника, покинули судно без моего приказа. Несколько моряков покинули судно по швартовым концам носовой части, и некоторые моряки покинули судно при помощи спасательной шлюпки с кормовой части правого борта.

Затем я и мой старпом, а также русский человек с берега пошли на бак и отдали все швартовые концы. Затем мы перешли на корму и сделали то же самое. Однако грузовые шланги все еще держали судно у пирса. Позже, когда шланги загорелись, судно отошло от пирса».

Так описал поведение своего экипажа капитан Якоб Доннинг. Он дал только общую картину, не входя в детали. Капитан порта внес некоторые уточнения. В своем протесте Доннингу он писал:

«Большинство вашей команды, возвратившейся из города, было в нетрезвом состоянии. На судне не было принято каких-либо мер по ликвидации пожара. Вся команда в паническом состоянии покинула борт танкера, что значительно затруднило береговым пожарникам борьбу с огнем. Для ликвидации пожара на нефтепирсе требовалось немедленно отвести танкер от причала. Однако это оказалось невозможным, поскольку не была готова машина судна, не было пара для подъема якоря».

Матрос танкера «Лиски» Алексей Посметный в своем объяснении писал:

«Я заступил на вахту 15 апреля в 16 часов вместе с матросом В. И. Диденко и вторым штурманом Любичем. С причала на судно было подано четыре шланга для приема сырой нефти. В 18 часов с минутами вместе с матросом Диденко я находился у трапа в районе шлангов и увидел облако дыма и пламя из-под носовой части причала. Отдав команду матросу Диденко закрывать глазки, крикнув на берег, побежал в пульт дистанционного управления, где находился вахтенный штурман. Я нажал сигнальный ревун, а штурман дважды объявил тревогу по принудительной трансляции. Когда снова выбежал на палубу, огонь уже подходил к шлангам, загорелась краска на борту, пламя быстро распространялось вдоль корпуса к кормовой надстройке. Парадный трап горел, поэтому женщины и дети — члены семей экипажа бежали к корме, откуда боцман спустил штормтрап...»

Как писал впоследствии капитан порта Н. Корсак: «Пламя, выходившее из-под пирса, между пирсом и бор-

тами танкеров, легким вестовым ветром отклонялось в сторону танкера «Сигни». Так как с возникновением пожара экипаж танкера «Сигни», кроме капитана и его старшего помощника, покинул судно, борьбу с огнем вести было некому, средняя надстройка «Сигни» загорелась, и пламя быстро охватило все надстройки».

Итак, горел нефтепирс, горел танкер «Лиски», горел никем не управляемый танкер «Сигни». Взрыв должен был произойти, как только нагреются пары нефти.

На «Сигни» огонь охватил ящик с ракетами на спардеке. Такие ракеты есть на каждом судне, и их выпускают по одной, когда надо дать сигнал бедствия или по другим причинам привлечь к себе внимание в море. А сейчас они стали рваться пачками. Красные, синие, зеленые фейерверки взметались с окутанного дымом судна и били во все стороны. Они достигали «Лиски», тоже охваченного пламенем.

Над нефтегаванью бурно клубился черный дым. К небу он поднимался медленно, заволакивая город. Все вокруг заглушали сигналы бедствия: длинный гудок, два коротких, длинный, два коротких...

Опасность над городом нарастала, потому что танкеры должны были вскоре взорваться. Это означало, что вся акватория порта покроется слоем горящей нефти толщиной сорок сантиметров. К нефтегавани устремились спасательные суда Туапсе, Новороссийска, Батуми, Поти, Сочи. Пожарные команды города окружали порт.

Впоследствии многочисленные эксперты, крупные специалисты самых различных областей знания скрупулезнейшим образом исследовали все обстоятельства пожара, чтобы установить его причины. Было точно установлено, что на иностранном судне курили в недозволенных местах. Однако не это явилось причиной пожара. Общее и единодушное мнение: форс-мажор. Непреодолимая сила. Чрезвычайные обстоятельства, подобные стихийному бедствию, которые не могли быть ни предусмотрены, ни предотвращены.

И вот, как форс-мажор, загорелись в трубопроводе пирофорные отложения, и труба разорвалась. Она шла под покрытием пирса. Взрывом подняло в воздух несколько плит этого покрытия, и, упав, они высекли искры.

Под пирсом имеются емкости, где скапливается нефть,— патерны. Искра попала туда. Но не всякая искра зажжет нефть, ибо она загорается при температуре 380—

530 градусов. Искра зажгла пары нефти в воздухе, а от них загорелись патерны. Трубы взорвались.

Поток перекрыли довольно быстро, но десятки тонн нефти выплеснулись в воду. Черная масса хлынула во все стороны с большой скоростью, и огонь не успевал охватывать ее.

Ширина пирса — шестнадцать метров. Патерны и источник огня оказались посередине. Потребовались мгновения, чтобы пламя пробежало восемь метров до каждого судна. Борта танкеров были охвачены пламенем одновременно. И одновременно на обоих судах раздался сигнал пожарной тревоги.

На всех флотах существует «Расписание по тревоге». Это точное распределение обязанностей и мест — кто куда должен бежать, где находиться, что делать при любых несчастьях, могущих свалиться на судно. Ни в одном «Расписании» мира не сказано, что по сигналу пожарной тревоги надо прыгать за борт или другим способом покидать судно. Вообще покинуть судно можно только по приказу капитана.

Видимо, моряки с танкера «Сигни» плохо знали «Расписание тревог». Как только раздался сигнал, бросились за борт боцман Лённблад Свен-Олиф, второй помощник капитана Хусель Стиг Р., старший матрос Полтилла Вильо и еще добрый десяток моряков. Прежде чем они достигли воды, ее покрыла лавина нефти. Огонь был пока далеко, но тело, омытое нефтью, не может дышать. Надо смыть нефть, иначе человек погибнет.

Берег был совсем рядом. Туда и ринулись, обгоняя друг друга, люди с черными от нефти лицами и слипшимися волосами. Их тут же отправили в больницу; «смыть» нефть надо сухой горчицей, определенным, известным врачам способом.

Остальные члены экипажа «Сигни» поняли, что прыгать в нефть рискованно, тем более что ее настигал огонь. Наиболее оперативные, уцепившись за швартовые концы на баке и корме, быстро перебирая руками, устремились к пирсу. Некоторые из них сорвались в воду, но серьезных повреждений не получили. Остальная часть команды тоже благополучно спаслась, успев спустить с кормы шлюпку. Эти и вовсе не пострадали.

Не могли остановить бегства капитан Якоб Доннинг и его старпом Эрола Ойва. Но сами они, как истые моряки, оставались на борту до последнего момента, конечно, по-

нимая, что в любую минуту танкер может взорваться.

Когда вспыхнул пожар, на шлюпочной палубе танкера «Лиски» играли Таня Николайчук, Ира Токарева, Люда Кернасюк и Лена Птушкина. Всем им вместе — девятнадцать лет. Неподалеку от них решали сложные проблемы пока только на кубиках Лена Невечеря и Олег Байдун. Этим по два года. И только самый старший, девятилетний Сережа Невечеря, стоял один на правом крыле капитанского мостика и, заложив руки в карманы, грозно вглядывался в морскую даль. О чем он думал, кем представлял себя, догадаться нетрудно.

Остальные дети и почти все женщины находились в каютах. Варвара Николаевна Трегубенко спустилась вниз, в единственное помещение, где разрешено пользоваться горячим утюгом.

В момент возникновения пожара капитан «Лиски» Михаил Андреевич Турецкий и его первый помощник Илья Вуколович Трегубенко вошли в каюту второго механика Юры Борискина. Кроме хозяина там был стармех Николай Иванович Токарев. Старшие командиры пришли к Борискину, чтобы поздравить его с днем рождения. Должно быть, прихода этого он не ожидал и был обрадован и вместе с тем смущен: не догадался приготовить стол для подобающего случая и теперь суетился, стараясь поскорее что-либо сделать. Как раз в это время и раздался сигнал тревоги. Капитан и его помощник бросились на мостик, а стармех и второй механик — в машинное отделение.

Члены экипажа бежали по палубам в разные стороны. Непосвященному человеку могло показаться, что они спасаются бегством. Но капитан видел, что каждый бежал на свое место по «Расписанию». И только женщины и дети не знали, куда деваться. Они бросились к трапу, но тут же отпрянули: трап был охвачен огнем.

Первая команда капитана и относилась к ним. Из всех репродукторов принудительной трансляции по всему судну раздался его приказ: немедленно на корму, без паники спускаться по штормтрапу, боцману и двум матросам обеспечить эвакуацию.

Второй приказ капитана — начать пенную атаку — был отдан для того, чтобы подтвердить правильность действий экипажа, ибо атака эта уже началась. Били лафетные стволы, брандспойты, пеногонные аппараты.

Женщины и дети устремились к корме. Четырехлетняя Люда звала отца, не понимая, почему он бежит куда-то, хотя видит ее. Матрос Витя Кернасюк обернулся, беспомощно посмотрел на дочь, хотел что-то крикнуть в ответ, но бегущий рядом подтолкнул его, и он, так и не найдя слов для дочери, побежал дальше и скрылся за надстройкой.

Семьи экипажа сбились в кучу на корме. Дети не плакали. Они были серьезными. Никто не суетился и не рвался вперед. Возможно, потому, что несчастье было большим или на всех повлияло поведение моряков. Они просто работали, пряча свой страх перед взрывом. Без шума, деловито, быстро. То и дело раздавались команды с мостика. Ясные и уверенные.

Видимо, трудно бежать с судна или вдаваться в панику, когда вокруг родные и близкие в пламени ведут борьбу с огнем. Ни одна из женщин не крикнула мужу, чтобы берег себя или не лез бы в это пекло. Почему не плакали дети — трудно сказать. Не плакали, и все. Скорее всего обстановка, страшная и деловая, оказывала на них воздействие.

Никто не устанавливал очереди у штормтрапа. Но очередь была. Вне зависимости от того, кто пришел раньше, каждая занимала положенное ей место, будто об этом была договоренность. Сначала снимали маленьких детей и их матерей, потом детей постарше и, наконец, самых старших. Женщины без детей становились в сторонку, чтобы сойти в последнюю очередь. На пирс детей спускали по одному. Матрос, стоявший на штормтрапе, одной рукой прижимал к себе ребенка, которого ему подавал боцман, и спускался вниз, перехватывая балясины трапа второй рукой. На пирсе тоже стоял матрос, который принимал ребенка. А дальше, под прикрытием водяных вееров, которые устроили пожарные, матери и дети бежали на берег.

Варвара Николаевна, услышав пожарные сигналы, схватила белье и побежала в каюту. Поступила она так от растерянности, потому что белье незачем было сюда нести, да и делать в каюте нечего. Накинув на плечи пальто, тоже побежала к корме. И теперь, стоя здесь и наблюдая эвакуацию, видя, как быстро распространяется пламя, думала, как бы помочь, но понимала, что ее помощь морякам не нужна. Она решила, что вполне сможет принимать внизу детей вместо матроса и он высвободится

для тушения пожара. Она не знала, как спуститься вниз, чтобы не лезть по штормтрапу впереди детей.

Обернувшись по сторонам, увидела толстый канат, укрепленный на палубе за кнехт и переброшенный через борт. Второй его конец свисал между пирсом и бортом судна.

Варвара Николаевна — бывшая спортсменка. У нее сильные руки, на которые можно положиться. Повесив на какой-то крюк сумку, перелезла через планшир и, ухватившись за канат, стала спускаться. Пальто мешало ей. Спустившись на несколько метров, посмотрела вниз, чтобы нащупать ногами пирс. Глядя на пирс и крепче сжимая канат, медленно перебирая руками, уже готова была встать. Но она сорвалась и полетела вниз. Не потому, что ослабли руки или устала. Она не заметила, что нижняя часть каната была покрыта толстым слоем сгустившейся нефти. Тут и акробат не удержится.

Варвара Николаевна могла разбить голову о пирс или о корпус судна, если бы зацепилась за что-нибудь. Но упала она удачно, как раз в узкий промежуток между пирсом и бортом. Вода здесь была покрыта нефтью, по которой приближалось пламя. Варвара Николаевна скрылась под водой.

Пожар разгорался. Водяные и пенные струи с пирса и танкера гудели и бились о палубу и надстройку, взвивались арками. Водяной пылью заполнился воздух, образуя множество красиво пересекающихся радуг.

...Когда начался пожар, стадион, находившийся поблизости, был полон. Шла отчаянная борьба между командой порта и ростовской «Стрелой». Обстановку здесь можно не описывать: болельщики футбола везде одинаковы. Но мне рассказывали, что туапсинцы по экспансивности достигают уровня бразильцев. Видимо, это неправда, потому что бразилец не уйдет со стадиона, если даже загорится его собственный дом. Здесь же весь стадион ринулся на нефтепирс, как только поднялся в небо черный дым.

Со всех улиц и площадей толпами бежали люди, загораживая пути пожарным машинам. Многие прорвались на пирс и полезли в гущу огня. Вереницы добровольцев бесконечным потоком шли с ящиками пенного порошка в головную часть пирса.

Пожарные, добровольцы, военные моряки тушили пожар. На пирсе было много людей, и несколько человек заметили, как упала в воду Варвара Николаевна. Она

скрылась под водой, но тут же всплыла. Волосы, лицо, руки были покрыты нефтью.

Вытащить ее удалось быстро, потому что на помощь бросились пятеро здоровых ребят. Они же и отвели ее в больницу.

Илья Вуколович Трегубенко, как и положено первому помощнику, почти все время был возле капитана. Выполняя какой-то приказ капитана, он побежал на бак. Увидел на крюке сумку жены, увидел, как вытащили из воды всю черную от нефти Варвару Николаевну. У него не было времени подбежать и узнать, что случилось, не разбилась ли она. Он бежал на бак, то и дело оборачиваясь, чтобы увидеть, пойдет ли она сама или ее понесут. Его раздражало, что по всему судну несутся сигналы пожарной тревоги. Это сработала автоматическая система пожарных сигналов, и никто не догадается выключить ее, будто и так не ясно, что на судне пожар.

...Вдоль бортов над палубой выступают расширители танков. При погрузке в расширителях скапливаются легковоспламеняющиеся пары нефти, которые выходят в атмосферу через смотровые глазки́. На солнце видно, как струятся эти пары. Они идут не только вверх, но и в стороны.

Пламя, охватившее борт, подбиралось к расширителям. Взрыв должен был произойти еще до того, как эвакуировались женщины и дети. Взрыва тогда не последовало, потому что вахта заметила пожар в то мгновение, когда он возник, а в следующие секунды матросы Алеша Посметный, Володя Диденко и моторист Митрофан Хурда, определив точно главную угрозу, ринулись в самое опасное место, успели закрыть глазки́. Выход паров нефти и доступ огня в танки были отрезаны. Но пары нефти оставались и накапливались в железных расширителях. Достаточно было им немного нагреться, и взрыв оказался бы неизбежным.

Эту вторую возможность взрыва в начале пожара предотвратил вахтенный штурман Георгий Любич. Он так же точно определил, где главная опасность в данную минуту, и приказал открыть пожарные рожки, орошающие палубу, и направить на расширители мощные струи из лафетных стволов. Вода охлаждала расширители и мешала пламени пробиться к ним.

Третью возможность взрыва предотвратил капитан, приказав главный удар всех средств тушения направить

не туда, где огонь в данную минуту был наиболее сильным, но не угрожал взрывом, а в места, омываемые изнутри нефтью или ее парами, чтобы не дать им нагреться.

Горел борт, левая сторона надстройки, двенадцать кают, крыло капитанского мостика. Пламя охватывало шлюпочные лебедки, спасательный мотобот, амбулаторию. С треском лопались иллюминаторы, открывая доступ огню во внутренние помещения. В каюте первого помощника загорелась груда пересохшего белья, которое, так и не успев погладить, бросила на стол Варвара Николаевна.

В воде и пене, прорываясь сквозь пламя, орудовали брандспойтами матросы Посметный, Кернасюк, Диденко, мотористы Чермак, Лисица, Хурда. Отбивали огненную атаку Любич и Невечеря. В машинном отделении, не зная, что стало с женами и детьми, что делается наверху, работали старший механик Токарев, мотористы Байдун и Николайчук.

Вентиляторы гнали в машинное отделение не чистый воздух, а черный дым, который окутывал судно. Вентиляцию отключили, но поздно. Дымом наполнилось все машинное отделение. С мостика раздался приказ приготовить машину, и в накаленном воздухе, в дыму люди готовили к запуску главный двигатель. Экипаж машинной команды действовал на ощупь, потому что сильные электрические лампочки не могли пробить густого черного дыма. Дым проникал в легкие, резал глаза, и люди кашляли до тошноты.

На полную мощность работали электродвигатели насосов, компрессоров. В ход были пущены все средства противопожарной защиты. Механики держали максимальное давление в магистралях, в стволах, брандспойтах, рожках, в системе орошения.

Потом все компрессоры и насосы остановились. Брезентовые рукава обмякли, потому что прекратилась подача воды и пены. Пламя бросилось на палубу и переборки, захватывая новые участки.

Матросы беспомощно озирались и кричали:

— Воду! Воду давай!

— Давай пену!

Они все еще держали шланги и брандспойты, не зная, что делать.

Капитан на мостике и старший механик в машине одновременно схватились за телефонные трубки: один вызы-

вал машину, второй — мостик. Один — чтобы спросить, что случилось, второй — чтобы доложить, что случилось.

— От перегрузки сработала автоматическая защита, сгорели предохранители и двигатели отключились,— сообщил стармех.— Электромеханик струсил, куда-то сбежал.

Капитан бросил на рычаг телефонную трубку.

Включить двигатели — дело одной минуты. Но дело это электромеханика.

Через несколько секунд по всему судну из репродукторов принудительной трансляции раздался голос капитана:

— Палубному электрику Ковганичу немедленно в машинное отделение на место электромеханика.

Капитан повторял свой приказ, но это было уже ни к чему. Ковганич бежал, перепрыгивая через трубы и шланги, удерживаясь руками за перила, скатывался с трапов, пока не ворвался в машинное отделение.

Дым ударил в глаза. Запершило в горле. Что-то крича, задыхаясь, Ковганич на ощупь пробирался к электрощиту.

Вскоре вздрогнули и рукава брандспойтов. Люди ринулись в атаку на огонь.

В эти критические минуты перед капитаном Турецким встала проблема, которую он не знал, как решить. Он не знал, оставаться ему на месте или уходить в открытое море. На всякий случай повторив свой приказ машинной команде приготовиться к отходу, он не решался трогаться с места. Он видел, что пожарные машины заполнили нефтегавань, видел их реальную помощь. Начальник порта И. Шаповалов и начальник городской команды И. Аксенов организовали на тушении пожара уйму людей, в их распоряжении мощная техника, большие запасы пенного порошка. Если отойти от причала — значит лишить себя столь мощной поддержки. Против отхода был и хорошо известный опыт тушения пожара на танкере «Волганефть», непосредственно у причала.

Но капитан Турецкий понимал и другое. Недегазированный танкер «Сигни» может взорваться в любую минуту. Танкер «Лиски», имея на борту более двадцати тысяч тонн сырой нефти, тоже мог взорваться и стать очагом гигантского пожара, что представляло угрозу городу. И времени на решение этого вопроса у капитана не было.

С пульта управления стармех Токарев доложил:

— Машина к пуску готова.

В ту же минуту раздался в машине звонок. Сквозь дымную завесу взглянул Токарев на освещенный изнутри диск телеграфа. Стрелка метнулась и, дрогнув, замерла на секторе: «Полный вперед».

Это приказ капитана. Это значит — он решил уводить горящее судно в море.

Токарев быстро перевел рычаг телеграфа на сектор, указанный стрелкой. Звонок оборвался: приказ принят, понят, повторен.

Перед тем как отдать приказ «Полный вперед», капитан скомандовал людям на баке и корме:

— Рубить все концы!

Отдать концы с пирса не было возможности, потому что вокруг бушевал огонь. Два конца отдали на баке, остальные обрубили. Судно удерживалось четырьмя шлангами, по которым качают нефть. Их оборвали, дав машине полный ход.

Только теперь капитан обратил внимание, что у штурвала нет старшего рулевого Абрамова. Он не явился на свой пост по сигналу тревоги. Он и не тревожился, Валерий Абрамов. Он сидел со своими друзьями в ресторане. Народу было мало, тихо играла музыка, улыбались официантки. Хотя Валерий почти весь день бродил с ребятами по городу и все хотели есть, официантку не торопили. Они отдыхали. Им было хорошо. Когда она появилась с полным подносом, все пришло в движение.

Увольнение у Валерия до девяти часов, и он может спокойно сидеть в ресторане, и ему неинтересно, как некоторым зевакам из зала, выскакивать на улицу и узнавать, что за шум. Но сквозь шум до него донеслось:

— Нефтепирс горит!

Валерий рванулся к окну. Черный дым поднимался со стороны гавани. Валерий бросился к выходу. В такси, стоявшее у входа, садились трое.

— Уступите, прошу вас, мой танкер горит,— взмолился Валерий.

Молча отступили трое. Машина понеслась. Остановились далеко от нефтегавани: сквозь толпы людей не пробиться. Валерий с раздражением шарил по карманам, забыв, куда девал деньги.

— Да ты что! — закричал на него шофер.— Беги! — И он подтолкнул пассажира.

Перед Валерием открылась нефтегавань: объятые пламенем танкеры, горящий пирс, бесчисленное количество

пожарных. Спасательные и пожарные суда, мотоботы, и над всем этим десятки водяных арок, образованных брандспойтами и лафетными стволами. Перед ним открылась картина грандиозного пожара.

Горел родной «Лиски».

Валерий пробивался к гавани сквозь толпу. Когда он выскочил на пирс, рухнули остатки сгоревшего трапа. Откуда-то из толпы вынырнул старший штурман Леонард Арсеньевич Позолотин и бросился к штормтрапу. Вслед за ним — механик Борис Михайлович Петров. Они тоже были в увольнении.

Штормтрап лизало пламя, когда ухватился за него Валерий. Судно отходило от причала. Кто-то сверху сбросил новый штормтрап, но Валерий успел уже вскочить на борт. Не останавливаясь, прыгая через шланги, понесся на ходовой мостик.

За штурвалом стоял штурман.

— Разрешите,— виновато обратился к нему Валерий.

В гуще событий оказался старпом Позолотин. Механик Петров помчался в задымленное машинное отделение.

Обрывая, как нити, оставшиеся необрубленными швартовые концы и нефтеналивные шланги, судно отошло от пирса, винтами отгоняя пламя на воде. Из жерл нефтяных шлангов, свесившихся за борт, били огненные струи, точно из реактивного двигателя. Танкер уходил от мощнейших береговых средств тушения пожара. Уходил, чтобы не погубить порт и, если придется, погибнуть одному. С берега смотрели на горящий танкер, на огненные струи оборванных рукавов семьи экипажа.

Едва «Лиски» отошел, как у его левого борта появился морской буксировщик «Дедал». Это был отчаянный шаг маленького экипажа, рисковавшего жизнью, но он сыграл решающую роль для жизни «Лиски». Буксировщик направил водяные струи на борт танкера и, двигаясь за ним, сбивал пламя с этой почти недоступной для самого танкера площади, охваченной огнем. «Дедал» бесстрашно следовал за судном, готовым взорваться, и окатывал водой надстройку, каюты, переборки.

На судно не успели попасть десять членов экипажа, находившихся в увольнении. Раздобыв где-то катер, они готовы были отчалить вдогонку «Лиски», когда их остановил крик судового врача Любови Родионовны Смирновой.

— Меня подождите! — кричала она, подбегая к причалу.

— Куда вам в такое пекло?! — махнул кто-то рукой и, обращаясь к мотористу, скомандовал: — Пошли!

Катер оттолкнули от причала, и все увидели, как эта немолодая женщина в каком-то неестественном и страшном прыжке полетела за борт.

— Как вам не стыдно?! — чуть не плача, упрекала она товарищей, успевших подхватить ее на руки.

Катер подходил к борту «Лиски». Опасность взрыва еще не миновала. С палубы кто-то кричал:

— Назад! Немедленно назад, капитан запретил подниматься.

Это был приказ капитана, который отказался выполнять экипаж. Первым ухватился за штормтрап комсорг Валя Кирсанов, потом штурман Синеокий, Пилипенко, за ними потянулись Смирнова, Шевченко, Перекрест, Ревтов...

С полным составом экипажа «Лиски» уходил на внешний рейд. Задыхаясь в дыму и жаре, держала максимальные обороты машинная команда. Снова включили вентиляторы, и стало легче. Матросы и штурманы добивали гаснущее пламя.

— Спасибо за помощь! — кричал капитан в мегафон, махая рукой буксировщику «Дедалу».— Теперь сами справимся, опасность миновала.

Капитан «Дедала» Сигидов взял курс к пирсу.

Английское судно, стоявшее далеко на рейде, забило огненным тире, вызывая «Лиски». И начальник радиостанции Николай Невечеря принял:

«Восхищен вашей героической борьбой с огнем. Поздравляем с победой над грозной стихией. Капитан «Оверсиз Эксплорер».

Что же происходило на пирсе и на «Сигни», пока шла борьба с огнем на советском танкере?

Во время стихийных бедствий самое страшное — паника, растерянность, неорганизованность. И еще страшно изобилие командиров, советчиков, консультантов, добровольно берущих на себя эти функции вне зависимости от возраста, опыта и квалификации. Известно огромное количество случаев, когда на борьбу с бедствием выходят сотни и сотни людей, которые легко могли бы победить стихию, но терпят поражение из-за неорганизованности, оттого, что нет уверенной направляющей силы,

не определены очаги главной опасности и каждый отдает команды, которые лично ему кажутся наиболее целесообразными, хотя видит он только ограниченный участок борьбы, часто нерешающий, десятистепенный.

В первые минуты после начала пожара, одновременно с первыми приказами пожарным, был создан штаб по борьбе с огнем, который расположился на горящем пирсе. И все теперь было подчинено его воле, на себя он взял всю полноту власти и всю меру ответственности.

Штаб знал, какими мощными противопожарными средствами оснащен танкер «Лиски», видел, как организованно идет там борьба с огнем. Стало ясно, что главная опасность — «Сигни», брошенный экипажем, недегазованный «Сигни», все танки которого заполнены взрывоопасными газами.

Сосредоточив пеногонные установки в центре пирса, начальник городской пожарной команды И. Аксенов бросил главные свои силы в атаку на «Сигни», а остальную часть — на пирс. В следующую минуту связался по телефону с Краснодаром и получил подтверждение, что в Туапсе вышли спасательные суда Новороссийска, Батуми, Поти, Сочи.

Были проложены километры рукавной линии по всей длине пирса, параллельными полосами. Под давлением десять атмосфер пожарные заламывали тяжелые рукава и наращивали их, чтобы дотянуться до «Сигни».

На танкере не было ни груза, ни балласта, ни запасов топлива. Значит, и не было у него почти никакой осадки. Над водой возвышался весь его корпус. От пирса до палубы больше десяти метров. И ни одного трапа на палубе — все сгорело.

Пробиться на пирс с пожарной машиной-лестницей не представлялось возможным. И люди со шлангами ринулись на «Сигни» кто как мог. Это была акробатическая работа в огне. Цепляясь за выступы, за какие-то обрывки канатов, пожарные и рабочие порта, помогая друг другу, карабкались вверх по горящему борту. Сбивая пламя вокруг них, расчищая от огня путь, рушились на борт удары брандспойтов.

Метался на горящем судне единственный человек — молодой и смелый капитан «Сигни», Якоб Доннинг. Он сбрасывал людям канаты, помогал взбираться наверх.

Рвались ракеты на спардеке, иллюминируя судно, что-то падало, грохотало, гремело. Кричали люди в мегафоны,

отдавая и принимая команды с пирса, с «Лиски», с катеров и буксиров. И над всей гаванью клубился черный дым. С десятков иностранных судов, стоявших на внешнем рейде с разведенными парами, готовых в любую минуту ринуться в открытое море, уставились с биноклями и подзорными трубами десятки моряков. Тысячи жителей города заполнили берега, крыши домов, балконы.

Пламя подбиралось к расширителям. Глазки́ на них были открыты. Может быть, это случайность, но люди обогнали стихию на секунды. Несколько секунд оставалось, чтобы пламя достигло расширителей. Это неизбежно вызвало бы взрыв. Но с трех сторон ударили брандспойты. Вода и пена смяли, оттиснули огненные языки от расширителей и других взрывоопасных мест.

Это был первый и решающий рубеж, была предотвращена первая возможность взрыва на «Сигни». Атака воды и пены распространялась на капитанскую каюту, штурманскую и радиорубку. Люди вышибали иллюминаторы и заливали пламя в помещениях.

Пожарный катер «Стремительный», заняв место «Лиски» у причала, бил через пирс по левому борту «Сигни», по надстройке.

Концы на «Сигни» были обрублены в самом начале пожара, и его удерживали четыре толстых гофрированных рукава, поданных с пирса для погрузки солярки. Постепенно рукава обгорели и разорвались. Под давлением брандспойтов со «стремительного» и отжимного ветра танкер начал отходить от пирса. Катер немедленно отвел брандспойты, но «Сигни» продолжал двигаться. Пожарные рукава стали вырываться из рук людей, находившихся на борту, и они лишились возможности управлять водой. Отогнанное от расширителей пламя, ничем больше не гасимое, под силой ветра снова поползло к ним.

Понимая вновь создавшуюся угрозу взрыва, «Стремительный» обошел пирс и встал между пирсом и бортом «Сигни», чтобы, следуя за танкером, продолжать борьбу с огнем.

Морской буксировщик «Дедал», гасивший пламя на воде близ правого борта «Сигни», увидев, что танкер отходит, и понимая, какая возникает опасность, бесстрашно подошел вплотную к «Сигни», уперся носом в его борт и начал подталкивать танкер обратно к пирсу. И все увидели, что это огромное судно вот-вот навалится на пожар-

ный катер «Стремительный», прижмет его к железобетонному пирсу и раздавит.

— Назад! — раздались десятки голосов, обращенных к «Стремительному». Люди махали руками, показывая на возникшую опасность.

Капитан «Стремительного» Виктор Пянзин и сам понимал, в каком оказался положении. Понимал, что должен немедленно дать задний ход. Но сделать этого не мог. Катер не имел заднего хода. Вернее, не было возможности включить задний ход.

Как же такое могло случиться?

Когда раздался первый сигнал пожарной тревоги и горел только пирс, «Стремительный» стоял на ремонте в маленькой бухточке у тихого причала. Это был заранее запланированный ремонт, но в день бедствия работы там не производились, потому что было воскресенье. Часть команды ушла на берег.

«Стремительный» не мог тронуться с места: двигатели разобраны, механик Василий Железняк смотрит футбол. Там же, на стадионе, матрос Борис Чернышев и другие члены команды.

Естественно, капитан «Стремительного» Виктор Пянзин не мог участвовать в тушении пожара. Конечно, было обидно, что специальное пожарное судно в такой момент должно стоять, но рассчитывать на него не приходилось.

Как только раздались гудки пожарной тревоги, Виктор Пянзин скомандовал:

— Отдать концы!

Матросы Петр Дьяченко и Владимир Трегубов переглянулись.

— Двигатели же разобраны,— сказали они в один голос.

— Отдать концы! — закричал Пянзин.

Ребята с недоумением отдали концы с кормы и бака и только тогда поняли, что затеял их капитан. Он направил в воду со стороны кормы две мощные струи из лафетных стволов, превратив свое судно в реактивное. Пока катер шел к нефтепирсу, ребята собирали двигатели, но дело не ладилось, так как не было механика Железняка. Но вместе со всеми, кто был на стадионе, Железняк помчался в порт. Не к пирсу, а к месту стоянки своего катера. Не найдя его там, упросил капитана какого-то гидрографического бота подъехать к нефтегавани. Вскочив на свое судно, Железняк прежде всего взялся за левый двигатель,

в котором было нарушено сцепление. Вскоре катер обрел ход. Он, как и подобает «Стремительному», быстро маневрировал, сбивая пламя на пирсе и на «Сигни».

Вскоре примчался из города на мотоцикле матрос Борис Чернышев. Бросив мотоцикл, побежал на пирс, где его и заметила команда «Стремительного». Прибыли и радист Лев Паас, матрос Володя Бурохов, прыгнул на борт даже бывший член команды Иванов. С полным составом экипажа «Стремительный» продолжал борьбу с огнем. Но двигатели были собраны поспешно, на живую нитку, и переключение на задний ход вышло из строя как раз в тот момент, когда катер оказался между пирсом и надвигавшимся на него танкером «Сигни».

Раздумывать было некогда, и капитан крикнул:

— Самый полный вперед!

«Стремительный» проскочил в узкую щель перед тем, как «Сигни» прижался к пирсу. И хотя это была страшная минута, зато катер оказался на чрезвычайно выгодной позиции и с новой силой ринулся на огонь танкера.

Все пожарные действовали смело и решительно. Так им и положено действовать по службе и по уставу. Они выполняли свой служебный долг.

Ну а больше ста добровольцев, находившихся в самой гуще огня, близ готовых взорваться танкеров? Что руководило этими людьми? Они шли на смертельный риск. Шли сознательно, добровольно, бесплатно. Никому бы не пришло в голову обвинить в чем-либо членов экипажа «Лиски» Позолотина, Абрамова, Петрова, находившихся в увольнении, если бы и не успели они примчаться на горящее судно. Тем более не могло быть претензий к врачу Смирновой и всей группе, тоже находившейся в увольнении и опоздавшей к отходу «Лиски» на рейд. Но они догнали свой опасный танкер и вопреки приказу капитана поднялись на борт.

Их действия можно понять: горел их танкер. Но почему ринулись в огонь инженер-конструктор судоремонтного завода А. Горчаков, главный инженер этого завода А. Приходько, рабочие завода В. Богуславский, А. Тимченко, главный инженер порта В. Солонов и десятки других людей?

Кто звал их на этот смертельный риск? Кто звал экипаж «Стремительного», стоявшего в ремонте с разобранными двигателями? Они ведь понимали, что «Сигни» может вот-вот взорваться, но именно сюда они пришли.

Они подчинялись только одному зову — зову сердца.

В 18.40 капитан «Лиски» Михаил Андреевич Турецкий записал в вахтенном журнале: «Пожар на судне полностью ликвидирован». Спустя несколько часов капитан «Сигни» тоже сделал запись в своем вахтенном журнале: «Около полуночи экипаж был доставлен властями на борт после того, как пожар был полностью ликвидирован».

О ЧЕМ ОНА ПЛАКАЛА

Впоследствии я близко познакомился с капитаном «Лиски», с помполитом и многими членами экипажа. Бывал и на самом судне, когда оно стояло в порту. Но вспоминается «Лиски» всегда таким, как я увидел его впервые в Атлантике, когда мы шли из Кубы в Марокко: белым и сверкающим, похожим на ракету.

Одиннадцать дней мы шли через Атлантический океан. Далеко слева остались Азорские острова, португальский остров Мадейра. Близ берегов Африки дул харматан. Он принес в океан сухую пыль из пустынь и изнурительную жару. Странно видеть сплошную пыль, когда вокруг столько воды. Но харматан не страшен, говорят моряки. Страшен самум, который случается именно в этих местах. По-арабски «самум» — ядовитый, отравленный. Арабы называют его «отравленный ветер» или «дыхание смерти». Он налетает с сильно нарастающим шумом и свирепствует не больше 15—20 минут. Этого достаточно. Тучи раскаленного песка окутывают океан красновато-желтой мглой, сквозь которую солнце кажется багровым, а вода темной и густой, как кровь. Усиленное испарение влаги из организма вызывает рвоту, невыносимую головную боль, а иногда и смерть.

Мы благополучно миновали район, где бывает самум. Ночью показалось зарево. Оно было туманным, еле видимым, а потом залило весь горизонт. Касабланка.

Чужие порты, особенно ночью, кажутся загадочными. Цветные огни бросают тусклый свет на серые громады зданий. Подходим ближе. Сверкает огненной рекламой один из красивейших городов Африки. И ярче других реклам — голова сфинкса. Она горит то синим, то красным, то зеленым светом, и ее нервные, стремительные контуры, точно молнии, бьют в глаза. Голова сфинкса возвышается на крыше здания, построенного в стиле

модерн в пригороде Касабланки. Это публичный дом.

Публичные дома в Марокко запрещены. Но этот, единственный, существует открыто: он принадлежит и приносит доход весьма влиятельному лицу.

Неподалеку, на берегу океана, распласталось еще одно здание в цветных огненных бликах: игорный дом. Я был в нем. Ходил смотреть, как все это происходит.

Зеленые столы больше бильярдных. Яркие секторы кругов: черные — красные. Бегает, вертится тугой пластмассовый шарик: черное — красное, черное — красное. Мечутся за ним воспаленные глаза, облизывают пересохшие губы люди, потерявшие над собой власть. Крупье: черные костюмы, черные лопатки на длинных гибких рукоятках, бесстрастные, холодные лица. Они никого не зазывают, не приглашают. Точным, как автомат, движением опускают в автомат шарик, ударяют по рукоятке: черное — красное, черное — красное. Плывут над столами, покачиваясь, гибкие рукоятки лопаток, сгребая деньги.

Это первый зал, самый невинный. Здесь выигрыш в семь раз больше ставки. А в следующем — в тридцать семь. В следующем — нервный экстаз. Здесь бьются в истерике страсти.

Эти страсти придумали не африканцы. Африканцы сюда не ходят. Здесь французы, испанцы, американцы. ...Зеленое сукно принимает любую валюту. Шелестят доллары, фунты, франки. Игроки стараются держать себя спокойно. Они не видят, как сжимаются их кулаки, не слышат скрежета своих зубов. Мечется шарик, и уже не только воспаленные глаза, но, как в безумном тике, дергаются за ним тела.

В этом зале можно стать богатым в несколько минут. Именно за богатством сюда и приходят. В этом зале теряют все, что имеют.

Бешено вертится шарик, носится по столу. Черное — красное. Где остановится? Плывут над столами лопатки, и тупые глаза провожают только что вынутые и безвозвратно потерянные деньги. До утра горят неоновые огни казино. До утра горят страсти. До утра мечется шарик... Черное — красное... Где остановится? Черные костюмы крупье, черные лопатки, черные души...

Теплоход коммунистического труда приближается к порту. Нас не встречают, не спрашивают, кто мы, откуда и куда идем. Одновременно с нами подходит еще несколь-

ко судов. Их тоже не встречают. Ничего не поделаешь, по законам порта он принимает суда с шести утра до десяти вечера. Пришел в другое время — стой и жди. И мы бросаем якорь на внешнем рейде, поднимаем флаг: «Мне нужен лоцман».

Лоцманский катер причалил к борту ровно в шесть. Поднялся на мостик высокий худой француз. Как и положено в морской практике, говорит по-английски, но с сильным французским акцентом. Как и положено, он улыбающийся, предупредительный, остроумный.

Моросит мелкий противный дождь. Мелкий-мелкий, как из пульверизатора. Сзади и спереди подошли буксиры и потащили нас к причалу. Люди с буксиров в тонких коробящихся плащах яркого апельсинового цвета, в какой обычно окрашивают паруса спасательных шлюпок. А марокканцы удачно использовали этот наиболее заметный на воде цвет для плащей. До самого горизонта замелькали желтые пятнышки.

Уже светло, и виден огромный, блестяще организованный порт. Бесконечные причалы, пирсы, стройные, добротные. Краны, будто насторожившиеся вереницы гусей, медленно движутся или стоят, вытянув шеи.

Многие порты мира по мере роста грузооборота реконструируются, теряют свой первоначальный вид и, как правило, теряют цельный, законченный ансамбль. Порт Касабланка сразу строился на большую пропускную способность. Он красив и как архитектурное сооружение. В нем все предусмотрено, все удобно и рационально. Отдельные изолированные пирсы для угля, для фосфатов, для генеральных грузов, продовольствия. Но все равно кажется, что над портом господствуют апельсины. Да и в самом деле, едва ли найдется порт, который перерабатывал бы такое количество апельсинов.

Буксиры подтаскивают наш теплоход к пирсу. Пришвартоваться нелегко: надо втиснуться между польским и американским судами чуть ли не впритирку.

Идет дождь, мелкий, липкий, бесконечный. Внизу нас встречают несколько человек под зонтиками. Это шипшандлер, морской агент, представитель фирмы, полицейский и таможенные власти. Там же девушка в синем костюме, без зонтика. Они сбились в группку и стоят согнувшись под краном. И только она ходит.

Блестят под дождем крыши. Судно еще не подошло, еще долго будет швартоваться, пока не подтянут его к

пирсу и не закрепят на кнехтах все эти продольные, прижимные, шпринги. А она ходит по причалу взад-вперед, вся промокшая, и не отрывает глаз от нашего судна. С грустью смотрит на палубы и надстройки. Не знаю почему, но мне кажется, она русская. С того момента, как мы приблизились к причалу, до конца швартовки прошло минут сорок. Она все ходила под дождем. Взад-вперед, взад-вперед, от кормы к носу, от носа к корме, и, подняв голову, смотрела на моряков и прятала от них глаза.

Раздалась команда «Опустить трап!», и будто по этой команде девушка остановилась. Она смотрела, как медленно опускался трап, и, когда он коснулся причала, быстро повернулась и пошла к воротам порта не оборачиваясь, все ускоряя шаг.

Странным поведением она обратила на себя внимание моряков. Вначале мы думали, что она служит в порту и пришла на судно по делу. Оказывается, нет.

Дождь кончился, и жарко запылало солнце. Не зря же оно африканское. Выяснилось: стоять будем долго. Было начало девятого месяца лунного календаря, и, значит, весь месяц от восхода солнца и до заката мусульмане не имеют права есть, пить, курить. И сил для работы будет немного.

За ворота порта мы вышли в день прибытия. «Касабланка» — значит «Белый город». Он и в самом деле весь белый. Белые двадцатиэтажные гостиницы, белые минареты, белые офисы, белые магазины. Но это издали. Издали не видна черная, закопченная и прижатая к земле Медина. Так в этой деловой и коммерческой столице, в крупнейшем городе Марокко называется район, где живут арабы. Белая часть раньше принадлежала французам, испанцам, американцам, итальянцам. Их офисам, трестам, банкам. Теперь все это откупили арабы. Однако во всех крупных предприятиях до сих пор есть акции иностранного капитала. И хотя контрольный пакет находится в руках государства, иностранный капитал часто диктует свою волю. И Сахара, большая часть которой принадлежит Марокко, занимает в планах иностранного капитала немалое место.

От порта к центру города ведет широкая улица, по обе стороны которой палатки и магазины сувениров. Здесь изобилие разнообразнейшей медной посуды, старинное холодное оружие, ковры, изделия из кожи. Мы шли мимо ларьков, куда продавцы затаскивают прохожих руками,

видели, как западногерманские моряки лихо продавали арабам сигареты, с каким изумлением дети смотрели на уличного фокусника.

Мы осмотрели широкие кварталы белой части города и кривую захламленную Медину, где, кажется, из окон домов, находящихся на разных сторонах улиц, можно поздороваться за руку.

Вместе с нами был Жора Мандрыкин. Его родители уехали из России до революции, а он родился здесь и вовсе не видел родины. Но русский язык знает отлично. Работает в пароходной компании и по долгу службы заходил к нам на судно. Жора сам предложил нам быть гидом. Он и привел нас в кофейню, где произошел смешной случай.

Кофейня принадлежала итальянцу, владельцу фабрики кофеварок. Жора познакомил нас с хозяином, и тот похвастался, что приготовит кофе, какого мы еще никогда не пили. И в самом деле, кофе был необычайно вкусным.

— Как вы его готовите? — вырвалось у меня, но я тут же понял, что оконфузился.

Хозяин смущенно улыбнулся и сказал:

— Извините, пожалуйста, я не могу вам ответить. Это мой коммерческий секрет, понимаете? Секрет моей фирмы.

Черт бы их побрал с их фирмами и секретами. Ну, кому у нас взбрело бы в голову прятать рецепт кофе? Пришлось извиняться за свою любознательность. А может, и действительно тут научное открытие. Хозяин сказал, что он смешивает тринадцать сортов кофе в разной пропорции. Может, он и не обманывает. Когда мы зашли, Жора сказал, что это самая лучшая кофейня и никто другой не умеет так варить кофе.

С Мандрыкиным связано и еще одно происшествие, тоже смешное, но совсем не такое уж невинное. Он женат на француженке, и у него две чудесные девочки: девятилетняя Катюша с золотыми волосами и пятилетняя Валя. В воскресенье мы пригласили к себе в гости всю семью, и они очень хорошо провели у нас день. Сначала девочки стеснялись, но очень скоро свыклись с обстановкой и с восторгом бегали по палубам. Моряки охотно с ними играли. Может быть, вспоминали своих детей, а может, просто так, потому что девочки веселые и забавные. Мы не могли тогда предположить, к каким последствиям это приведет. А события развивались довольно стремительно.

В школе, где училась Катюша, была одна гордая девоч-

ка. Гордость появилась у нее с тех пор, как вместе с отцом она побывала на американском пароходе. Она часто говорила про это, и все девочки ей завидовали. Понимая, что она лучше тех, кого не приглашали к американцам, она соответственно и вела себя. Поэтому ее не очень любили. Но вот появилась Катюша и заявила,что была на советском пароходе и он в сто раз лучше американского. Гордой девочке не хотелось терять монополии, и она решительно опротестовала заявление Катюши. Начался спор, чей пароход лучше.

В этом-то споре и выяснилось, что гордая девочка не была на капитанском мостике, не участвовала в перетягивании каната, не играла с моряками в пиратов, не держалась за руль, который называется штурвалом, не ела флотский борщ вместе с матросами и вообще, наверно, дальше порога ее не пустили. Гордая девочка не сдавалась, утверждая, будто именно все это и даже больше видела на американском пароходе.

— Ах так? — горячилась Катюша.— Тогда скажи, что еще кроме руля есть на капитанском мостике.

— Тормоз...— отвечала та под смех старших школьниц, которых тоже привлек спор.

Катюша провела у нас почти весь день и в самом деле многое видела. Она со знанием предмета наседала на свою соперницу и задавала новые вопросы, и все видели, как трудно отвечать бедной гордой девочке.

— А советскими конфетами тебя угощали твои американцы? — не унималась Катюша.— А спутника твоей маме подарили? А в спасательном круге тебя фотографировали?

У гордой девочки подрагивали губы, но она упрямо отвечала:

— Угощали... подарили... Фотографировали...

Чтобы уж окончательно добить свою противницу, открывая ранец и сильно растягивая слова, Катюша спросила:

— А матрешку тебе твои американцы подарили? — И торжествующе стукнула матрешкой о парту.

Гордая девочка оторопела, но на нее уже никто не обращал внимания, потому что из одной матрешки получилось пять и они пошли по рукам восторженных девочек. Все происходило на перемене. Гордая девочка незаметно исчезла и в тот день на занятия больше не вернулась. За ее книгами приходила разгневанная мать. А мат-

решка тем временем ходила по классу, и вся школа уже знала о поединке двух девочек. Дети рассказали о происшествии дома и, точно сговорившись, потребовали, чтобы родители повели их на советский корабль. А на следующий день уже среди некоторых взрослых начались разговоры о коммунистической пропаганде, проникшей в школу и охватившей всю ее, точно чума.

Все это случилось за день до нашего отхода из Марокко, и чем кончилась злополучная история, не знаю. Возможно, полиция отобрала матрешку, как орудие коммунистической пропаганды, но все равно Катюша будет долго помнить советских моряков и рассказывать, какие они хорошие.

И не только Катюша будет об этом говорить. Более убедительно скажет портовый служащий Удда.

Он прибежал к нам на судно ночью, огромный, беспомощный, готовый расплакаться. Тяжело болен старший сын. Чего только не делали с мальчишкой, а ему все хуже. Его тело сгорает. Кланяясь и молитвенно складывая руки, просил хоть что-нибудь сделать. Ведь русские все могут.

Мы отправились к нему на квартиру вместе с судовым врачом Аллой Кравченко. Температура у ребенка была около сорока. Алла осматривает мальчика и говорит, что положение хуже, чем думает отец. Она обращает внимание и на двух других детей Удды, которые тоже больны, о чем родители не догадываются.

Алла действует уверенно и решительно. После первого посещения мы находились в Касабланке еще две недели. Алла выходила ребят. Родители все понимали. Понимали, что советские врачи могут правильно поставить диагноз, назначить правильный курс лечения. Но они искренне не могли понять, почему врач не берет денег. Они с недоумением смотрели на Аллу и друг на друга и увеличивали сумму, думая, может быть, мало предлагают. Им очень хотелось понять, как это может быть, что в Советском Союзе врачи ни с кого не берут деньги. Понять этого они не могли, но поверили. И одно это уже казалось им таким величайшим благом, какое может быть только там, у всевышнего.

Когда Удда в первый раз прибежал на советский теплоход, у причалов порта находились суда девятнадцати стран. Наш теплоход стоял у самого дальнего пирса. Чтобы попасть к нам, ему требовалось пробежать мимо двух

американских пароходов, трех из ФРГ и десятка других. Я спросил, заходил ли он туда. Оказывается, нет. Почему же выбрал самое дальнее судно?

— Но ведь оно же советское,— развел он руками, точно удивляясь, как это можно не понимать таких простых вещей.

Мне много раз приходилось сталкиваться с людьми, у которых просто не укладывается в голове наша система здравоохранения. В Сингапуре, например, был такой случай.

На борт нашего турбохода «Физик Вавилов» поднялся шипшандлер Гаута. Шипшандлер — это коммерсант, который снабжает суда самыми различными товарами. Скажем, требуются капитану продукты питания, запасные части к двигателям, лекарства, флаг какой-либо страны и другие самые разнообразные товары. Не станут же члены экипажа бегать по десяткам магазинов или баз. Шипшандлер быстро доставит на судно все необходимое. Шипшандлеров много, но «Физика Вавилова» обычно обслуживал Гаута. Это человек с большими связями в торговом мире, опытный коммерсант, пользовавшийся доверием капитана и фирм. Перепадало ему немало, жил он довольно широко и собирался уже открыть собственное дело.

Гаута был человеком не только энергичным, но очень веселым и удивительно остроумным, жизнерадостным. Таким знали его моряки с нашего судна. Но в этот раз он был другим. Молчаливый, скучный, буквально убитый горем.

Оказывается, два месяца он лежал в больнице, принадлежавшей англичанам, и там ему сделали операцию. В общей сложности болел четыре месяца, и болезнь съела все его капиталы.

На мой вопрос, как это могло случиться, он ответил:

— Понимаете, все очень дорого. Я уже не говорю о самой операции. Но вот бинтует сестра рану, уже все больное место покрыто бинтом, а она все бинтует. Она заинтересована в этом, потому что платить надо за каждый сантиметр бинта. То же самое с мазью. Уже покрыта вся рана мазью, а она кладет еще: ведь каждый грамм мази будет мною оплачен.

Гаута никак не мог понять нашей системы здравоохранения.

— Позвольте,— говорил он,— вы утверждаете, что если советского человека увезет машина «Скорой помо-

щи», платить за это не надо. А за такси вы платите? Как же так? — поражался он.— Вы утверждаете, что за питание в больнице с вас ничего не берут, а в ресторанах вы платите. Где же логика?

Гаута клялся, что после выхода из больницы остался нищим.

Старпом Федор Федорович Трубин, бывший командир эсминца, человек простой и бесхитростный, пробасил:

— А у нас за такое лечение ни гроша не платят.

Гаута горько усмехнулся:

— Не надо так зло шутить, чиф.

Его стали уверять, что это правда, и он сказал, что верит, но все видели: сказал только из вежливости.

Марокко мы покидали в шесть утра. Я уже забыл о девушке в синем костюме, которая встречала нас под дождем. Когда раздалась команда «Поднять трап!», она появилась. И стала ходить по причалу вдоль судна, глядя на нас такими же печальными глазами, как в первый раз. Когда отдали носовой шпринг, эту последнюю ниточку, еще связывающую нас с берегом, она вдруг быстро достала платочек. Она плакала.

Я так и не узнал, кто она, почему не решилась подойти к нам, почему ее так тянуло к судну. Может быть, была она советской девушкой и совершила что-то нехорошее, и теперь страшно ей смотреть в глаза морякам и страшно, что нет у нее больше родины. Возможно, вышла замуж за иностранца и, счастливая, унеслась в экзотическую страну, и нет больше сил жить в чужом краю. Может быть, родилась в этих африканских краях и никогда не видела своей родины, но ее тянет родина, и она бежит в порт, чтобы хоть взглянуть на пароход — этот крошечный островок отчизны.

Мы ушли уже далеко-далеко, а я все еще видел на причале поникшую фигурку. Она уменьшалась и даже в бинокль казалась теперь темным, бесформенным силуэтом.

В БАНАНОВО-ЛИМОННОМ СИНГАПУРЕ

В следующий рейс я пошел с комсомольско-молодежным экипажем турбохода «Физик Вавилов». Этот сухогруз, построенный в Николаеве, водоизмещением двадцать две тысячи тонн, может развивать скорость более двадцати узлов.

Нам предстояло доставить цемент в Сингапур, чугун — в Японию, затем взять на Сахалине бумагу для Индии и по пути туда снова зайти в Сингапур и на остров Пенанг за каучуком для Одессы.

Первая стоянка — в Порт-Саиде, где формируются караваны судов и дважды в сутки — в семь утра и одиннадцать вечера — уходят через Суэцкий канал в Красное море. Чтобы попасть в караван, надо прибыть на рейдовую стоянку за три с половиной часа до его отправления. Опоздаешь на несколько минут, и можно зря простоять целый день или ночь. И это не прихоть администрации. Слишком большой поток мирового транспорта пропускает канал, и надо проверить каждое судно, в состоянии ли оно пройти этот канал, не задержав всего каравана. Впрочем, администрация не заинтересована задерживать суда в Порт-Саиде. Если опоздает судно, но есть возможность проверить его до отхода каравана, этой возможностью всегда пользуются.

В Порт-Саид мы прибыли ночью. Вокруг будто исполинский аттракцион. Бесчисленное количество огней на воде, на земле и в воздухе. Весь в разноцветных огнях город, в огнях порт, сияют огнями сотни судов на рейде. Огни на воде движутся то медленно, то стремительно, меняется их окраска, потому что и цветами огней капитаны выражают свои требования и просьбы к берегу. Огненные лучи световой морзянки полосуют рейд в разных направлениях, грохочут якорные цепи, усиленные мегафонами несутся на всех языках мира команды с капитанских мостиков, бушуют джазы на пассажирских судах.

Но вот и у нас прозвучала команда:

— Отдать правый якорь!

Не успело еще судно развернуться по течению, как у трапа один за другим появились катера: полиция, администрация, таможенники, санитарный надзор, морской агент, шипшандлер. Они проверяют мерительные свидетельства, судовую роль, емкость балластных танков, берут данные о запасах воды и топлива, о радиостанции и множество других.

Мы поднимаем на борт две команды арабских швартовщиков и их две шлюпки, двух электриков с огромным прожектором. Где-то там, впереди, канал будет разветвляться на два рукава и снова сходиться в один, и именно в этом месте мы повстречаемся с другим караваном и будем пропускать его. Вот тогда и потребуются швартовщики,

которые спустят свои шлюпки, возьмут концы и закрепят их на кнехтах, установленных по обоим берегам на всем канале.

Перед отходом появляется и арабский лоцман. Еще недавно лоцманами здесь были только англичане. После национализации канала ни один араб не знал лоцманского дела. Английские колонизаторы не только надеялись, но и громко кричали, что, национализировав канал, арабы создадут в Суэце пробку, застопорят движение мирового флота, ибо не сумеют провести по каналу ни одного судна. Но на помощь пришли советские люди и моряки других стран. Еще и сейчас многие караваны ведут иностранные лоцманы, но с каждым годом их становится меньше: эту сложную профессию с успехом осваивают арабы, и совсем скоро они уже не будут нуждаться в помощи иностранных моряков.

Впереди нас по каналу шли четыре судна, а всего в караване их было семьдесят шесть. С одной и той же скоростью, в одной бесконечной колонне, единым строем и на равных началах шли суда под флагами десятков стран.

С верхнего мостика в бинокль караван был виден до самого горизонта.

Когда мы подходили к Исмаилии, свободные от вахт и работы моряки собрались в «курилке». Хотя здесь действительно курят, но название это совсем не подходит к очень уютному уголку, похожему на веранду, между главной и шлюпочной палубами, где стоит большая садовая скамейка. Место, хорошо укрытое от ветра, дождя и солнца, откуда видны горизонты, всегда привлекает моряков и никогда не пустует. Здесь обсуждаются судовые новости, ставятся прогнозы на будущее, состязаются острословы и идет великая морская «травля».

Едва судно достигло Исмаилии, первый помощник капитана сказал:

— В этом месте произошел интересный случай, когда я плавал на «Славгороде». Наш караван растянулся на несколько километров. Мы шли третьими, а всего в караване было больше пятидесяти судов. Как и обычно, на носу танкера устроились два арабских электрика со своим прожектором. На подходах к Исмаилии уже стемнело, и они начали регулировать прожектор. Один из них не удержался и упал в воду.

Что было делать капитану?

Свернуть в сторону — значит, вероятнее всего, сесть на мель. Дать задний ход, остановиться? Нельзя. По пятам идет целый караван. Не говоря уж о серьезной аварийной обстановке, которая создастся обязательно и, очень возможно, приведет к аварии, такой маневр закупорит весь канал и прежде всего задержит движение каравана. Продолжать путь прежним курсом — значит втянуть под винты человека.

Все это отлично понимал лоцман, который вел судно, и он крикнул:

— Так держать!

И тут же раздалась команда капитана:

— Отставить! Стоп, машина! Право на борт!

— Снимаю с себя ответственность! — закричал лоцман.

Никто ему не ответил. Одна за другой неслись команды. Взвились белые ракеты, осветив всю местность, полетели на воду светящиеся буйки, загремела лебедка, и плюхнулся на воду моторный бот. По всему каналу раздались сигналы: «человек за бортом, выхожу из каравана». Били электрическими искрами эхолоты, показывали глубины. Медленно проплывали мимо иностранные пароходы. Ныряли матросы в поисках человека.

Его нашли, подняли на борт, привели в сознание. А спустя несколько дней мы получили благодарственное письмо управления компании Суэцкого канала за спасение электрика, оказавшегося отцом шестерых детей.

Суэцкий канал вывел нас в Красное море, самое соленое в мире море. Оно соединяет Азию и Африку и отличается большими странностями. В него не впадает ни одна значительная река. Три четверти года его воды текут в Средиземное море, а с июля по сентябрь — обратно. И как раз случилось так, что в оба направления, и из Одессы и в Одессу, мы шли в Красном море по течению.

Бесчисленное количество бактерий окрашивает его в нежные, красивые цвета. Вода удивительно прозрачна, но купаться опасно. Здесь свирепствуют тигровые акулы, меч-рыба, осьминоги, морские змеи. На человека змеи не нападают, но если случайно наступишь на них или коснешься рукой, тогда худо. Спастись уже трудно. Да и вести судно здесь нелегко: уйма рифов, укрытых водой, незаметных.

В Аденском заливе нам опять не повезло — налетел хариф. Поразительно: куда ни глянь, до горизонта — вода. Но летит густая, белая пыль. Она на палубах, забивается в щели, хрустит на зубах.

И вот «Физик Вавилов» уже у берегов Малайи, на три четверти покрытой вечнозеленым тропическим лесом. Над жилищами и вокруг них пальмы. Много всяких пальм, от низеньких, широколистых до таких высоких, как мачты Братской ГЭС.

Приезжать сюда надо было, конечно, в январе, а не летом, как это получилось у меня. В январе здесь не жарче, чем летом в Крыму. А сейчас спасение только в каютах, салонах и в красном уголке. Там кондиционированный воздух, там просто рай.

Мы шли в Малайзию, в край каучука и ананасов, олова и кокосовых орехов. Более трети мировой добычи олова и до сорока процентов каучука дает маленькая Малайя. Она занимает первое место в мире по смертности от туберкулеза.

Еще недавно в Сингапуре был английский губернатор со своими подчиненными, немного деловых людей Англии, которые владели каучуковыми плантациями и оловом, и английские войска, которые охраняли губернатора, деловых людей и следили, чтобы на плантациях и рудниках было все в порядке.

Узкий и длинный Малаккский полуостров, точно исполинский шлагбаум, перекрыл кратчайшие пути между Индийским и Тихим океанами, оставив только узкий проход через Малаккский пролив. Недалеко от входа в него, на малайском острове Пенанг, находится английская военно-морская база Джорджтаун, а у выхода — английская военно-морская и военно-воздушная база Сингапур.

В Малайзии живут китайцы и малайцы. Китайцев немного больше, чем малайцев. Англичан почти нет совсем. Малайцы занимаются сельским хозяйством, обрабатывают китайские и английские плантации, добывают руду, выполняют черную работу. В руках китайцев вся торговля: мелкая, крупная, оптовая, часть рудников и каучуковых плантаций. Государственные служащие, бесчисленное количество коммивояжеров, агентов, посредников, управляющих, директоров контор тоже китайцы. Квалифицированные рабочие — китайцы. Кварталы китайских миллионеров расположены на набережных и высоко над уровнем моря, куда ведут хорошие дороги.

Мы шли в Сингапур за каучуком для Ярославского шинного завода. Мы везли в Сингапур цемент.

Десятки и десятки стран Европы, Америки, Африки и Азии сообщаются между собой через этот порт, и он пропускает в год до пятидесяти тысяч судов. Может, и назвали его малайцы Сингапуром, что означает «Город льва», потому что лежит он, как страж, на оживленнейшем перекрестке мировых торговых путей. Но почти полтора века назад забрался сюда английский лев, которого едва удалось изгнать.

Сингапур — один из крупнейших международных рынков. Здесь совершаются сделки на миллионы долларов и фунтов. И город будто один сплошной, нескончаемый, кричащий, задыхающийся рынок. Мы увидели его несколько позже, этот рынок, где смешалось и перепуталось все: от банков, бирж, торговых компаний до уличных парикмахеров, что развесили на стенах домов зеркальца и грязные инструментальные сумки, до черных от грязи лотков, где можно купить маленький кусочек арбуза или ананаса.

Все это мы увидели позже, но дыхание рынка пахнуло на нас далеко от причалов, словно не вместился он в черте города и выплеснуло его в море.

Едва мы бросили якорь на рейде, к судну устремились шаланды, разрисованные под рыб. Казалось, что срезали с огромных рыб спины и от этого раскрылись пасти и расширились навыкате глаза.

Некоторое время они курсировали вокруг судна. Как только с нашего турбохода вернулся в свой катер местный врач и мы опустили карантинный флаг, а это значило, что разрешено общение команды с берегом, они облепили оба борта.

В шаландах были торговцы со своими товарами. Они хватались за трап, забрасывали на судно кошки и по веревкам, цепляясь за что придется, кто как сумеет карабкались на палубу. Моряки знают: они как москиты, никакими силами их не согнать. Они очерчивали мелом на палубе «свои» места, натягивали огромные цветные тенты, таскали веревками из шаланд тюки и в какие-нибудь пятнадцать минут превратили главную палубу в аккуратные торговые ряды. Галантерея, трикотаж, зажигалки, ручки...

Тихонько и таинственно вам предложат здесь самое радикальное, «вот видите, марка — американское», сред-

ство против любых болезней и недугов, которое излечивает за две недели. Пилюли от заикания действуют еще быстрее. Женские и мужские браслеты, понижающие давление, начинают свое целебное воздействие с той минуты, как вы их наденете. Я едва отбился от торгаша, который совал мне в руки флакончик, гарантируя, что к приходу домой вместо лысины у меня будет развеваться пышная шевелюра. «Всего двадцать долларов,— говорил он, пожимая плечами, словно удивляясь, как это можно еще задумываться, когда привалило такое счастье.— Ну ладно, пусть десять долларов, только из уважения к русскому, русский спутник лучше американского...»

Убедившись, что и это не действует, он с ловкостью фокусника сунул мне в карман свой флакончик и, доверительно подмигнув, точно совершает великое благо, сказал: «Давай пятьдесят центов». Я дал ему пятьдесят центов и бросил флакон за борт. И тут мой благодетель расхохотался. Он смеялся искренне и радостно и, грозя мне пальцем, говорил: «Ох, и хитрый русский, смотри, какой хитрый...»

Больше ста судов в день принимает и отправляет Сингапурский порт, и ни одно не пропустят плавучие торговцы. Они делают свой бизнес.

Товары здесь из разных стран, разных фирм и назначений, но есть у них одно общее: непервосортные они. Даже немного больше, подпорченные, чуть подлинявшие, немного прелые. Расчет простой: моряк не заметит, купит и уйдет за океан. А заметит, торговец будет долго качать головой, поражаясь, как это в его отборных товарах оказалось такое. Здесь порою показывают и добротные вещи, но главным образом для приманки. Как правило, их товары — это выбракованные отходы оптовых баз и крупных универсальных магазинов, где цены высокие и доступны немногим.

Надо бы объяснить все это экипажу, особенно молодежи и новичкам, потому что торговцы опытные, показать товар умеют. Любая безделица упакована в специальный целлофан, сквозь который все выглядит очень красиво, а на нем десяток кричащих и тоже красивых надписей, вроде «Остерегайтесь подделок под нашу фирму», и десяток отливающих золотом и серебряным блеском наклеек и ярлыков на цветных шелковых нитках, и становится ясно, что лучше этой рубашки или, скажем, этих трусов действительно в мире нет. И упакованы они нак-

репко, и неловко разворачивать и смотреть: ведь сквозь целлофан все хорошо видно. А попросишь снять всю мишуру, вскрыть пакет, и уже неловко не купить.

Надо бы объяснить все это людям, да объяснять надо словами, а красивые вещи агитируют сильнее любых слов. И первый помощник капитана пошел в торговые ряды. Отыскал и купил очень дешевую, сказочной расцветки блузку в изумительной упаковке. Он понес ее через всю палубу, и моряки спрашивали, где он купил такую чудесную вещь. А он только улыбался и при всех начал распечатывать ее. Его обступили любопытные. Медленно и аккуратно снимал бесчисленные ярлыки и наклейки, вытаскивал булавки и булавочки, картонки и ватные подушечки, и уже все, кто был на палубе, собрались возле него. Когда блузка была наконец освобождена от украшений, он слегка потянул ее, и она поползла, как промокшая бумага.

Он действовал так уверенно, потому что много раз бывал в Сингапуре и хорошо знал плавучих торговцев. Его расчет был правильным: не может такая красивая вещь быть добротной, если отдают ее чуть ли не даром. Но ведь многие этого не знают. А новички вообще могут подумать: вот где рай.

На палубе шумели торговцы, а в музыкальном салоне расположились таможенные, иммиграционные и прочие власти. На весь экипаж нам выдали десять пропусков для увольнения на берег сроком до пяти вечера.

— Почему десять, ведь нас пятьдесят семь?

— Таков порядок,— улыбается полицейский.

— А почему до пяти? Почему вечером нельзя выйти в город?

— Такой порядок.

— Это для всех иностранцев?

Полицейский молчит, потом, не глядя на нас, изрекает:

— Нет, только для русских и других коммунистических стран.

И здесь, в Сингапуре, и на острове Пенанг в порту Джорджтаун я спрашивал у иммиграционных властей и у других официальных лиц, почему для нас установлен такой «порядок», и получал неизменный ответ:

— Боятся коммунистической пропаганды.

— Кто боится?

Пожимали плечами.

Конечно, те, кто установил ограничения, хорошо знают, что советские моряки не будут собирать митингов, устраивать собраний или подбрасывать листовки.

В международных портах привыкли: моряки пьют, дебоширят, спекулируют, развратничают. Никто не обратит внимания на моряка, валяющегося на улице. Моряка, но не советского. Случись что-нибудь подобное с советским человеком, это была бы такая сенсация, что о ней заговорили бы все газеты. В этой связи вспоминается случай, происшедший в Гаване.

Наш теплоход «Солнечногорск» вместе с шестью советскими и многими иностранными судами стоял на рейде. Я возвращался с вечера дружбы в Доме моряка около двух часов ночи. Тревожить людей на судне и вызывать катер в такое позднее время не хотелось, тем более что любой лодочник за песо в несколько минут доставит вас на рейд. И пока один из них отвязывал свою шлюпку, я увидел на скамейке двух спящих моряков. Это были ребята не с «Солнечногорска», но мне показалось, что они с какого-то нашего судна. Должно быть, вышло так, что у них не оказалось с собой денег, а вызывать катер не захотели.

Лодочник уже причалил к ступенькам, и я попросил подождать, пока разбужу ребят, которых надо будет потом отвезти на другое советское судно.

— Что вы! — поразился он.— Разве русский моряк ляжет вот так спать на пристани? Эти,— он кивнул в сторону спящих,— с английского судна. Они англичане.

Мне стало стыдно...

После того как власти Сингапура выполнили все формальности, к борту подошел лоцманский катер. Бывшая владычица морей, Великобритания демонстрировала свой шик и хороший морской тон. Стремительный, яркий, начищенный, буквально горящий медью, окантованные края палубы, надраенной до паркетного блеска. Отличный катер.

Легко пружиня по трапу, поднялся на борт английский лоцман. Туго накрахмаленная белая сорочка, белые накрахмаленные шорты, белые гетры, черные, точно лакированные туфли. Высокий, зализанный, с перстнями на обеих руках, непринужденный, улыбающийся, жизнерадостный:

— Гуд монинг, кэптн!

Весь его вид и тон, каким произнесено приветствие, показывает: пришел хозяин.

С внешнего рейда он привел судно на внутренний, охотно перекусил у нас и ушел на своем блестящем катере. Появился второй лоцман точно на таком же катере и сам будто двойник только что ушедшего накрахмаленного:

— Гуд монинг, кэптн!

Этот привел судно с внутреннего рейда к причалу и тоже сошел. Таков обычай порта.

Обычай порта! Это узаконенное в мировой практике понятие. Надо подчиняться любому беззаконию, если оно освящено как обычай порта. Впрочем, беззаконие идет только в одном направлении: выкачать с чужого судна побольше валюты. И каждый порт придумывает свои обычаи.

По хорошо изученной трассе капитан сам без труда проведет судно. Но по обычаю порта надо брать лоцмана. Надо платить. По обычаю порта на судно подают свои концы. Но нам они не нужны, у нас в изобилии собственные. Ничего не значит, платите! Многотонные стальные крышки трюмов закрывает боцман или старший матрос поворотом рукоятки. Никто не доверит этого постороннему. Но в счете стоит сумма за закрытие трюмов.

— Позвольте, мы ведь закрывали сами!

— А это уж как хотите, по обычаям порта закрывать должны мы. Платите по счету.

Приходится платить. Платить за воду в бачках, которую приносят на судно для грузчиков, хотя у нас сколько хочешь холодной и вкусной воды, за телефон, который установили для себя на судне грузополучатели, за все, что придет в голову.

Плати! Таков обычай.

В город я пошел вместе с матросом первого класса Володей Алешиным и машинистом Геной Маценко. Моряки дальнего плавания, повидавшие мир, они знали многие порты на всех материках, не раз бывали в Сингапуре.

Еще издали мы увидели двух полицейских у проходной. Белые пробковые шлемы, открытые рубашки-безрукавки, шорты, револьверы с обнаженными рукоятками, торчащими из-за пояса, черные дубинки — одним словом, типичный вид полицейских тропических стран. Они обыскивали каких-то матросов, выходящих из порта.

Впереди нас шла группа шведских моряков с гетеборгского судна. В руках у них были спортивные сумки и футбольный мяч. Когда шведы поравнялись с проходной, начали обыскивать их. Мы замедлили шаг. Полицейские осматривали сумки, заставили выпустить воздух из мяча, помяли пустую покрышку.

Моряки привычно подняли полусогнутые в локтях руки, и их ощупали буквально с головы до ног, заставив вынуть и показать бумажники, блокноты, все, что оказалось в карманах. Потом мы услышали «о'кей!», и шведов пропустили за пределы порта.

Настала наша очередь. Мы предъявили пропуска, и неожиданно заулыбался полицейский.

— О-о, рашн! Плиз!

Нас не стали обыскивать. Наши моряки годами стяжали себе добрую славу, и ни в одном порту мира их не обыскивают. Знают: в их чемоданчиках нет сигарет и часов, в карманах не зашиты порнографические открытки, в волосах не спрятан кокаин.

Мы решили прежде всего посмотреть знаменитый сингапурский Тигровый парк, который находится далеко за городом. Под мостом через глубокую бухту близ порта увидели первые трущобы. Они на воде. Люди живут в баржах, черных от копоти, побитых и ободранных, изъеденных временем. Они стоят так тесно, что не видно воды. Висит застиранное белье, дымят плиты, кричат оборванные дети, прыгают с баржи на баржу голодные собаки. Здесь рождаются, здесь умирают. Только немногие жители барж — их владельцы. Почти все местное население арендует эту рухлядь. Целыми днями бродят по городу обитатели трущоб в поисках груза.

Подобные районы мы видели во многих бухтах гигантского города-рынка.

Улицы от порта к центру города — это вывески и белье. Вывесок столько, что не видно дверей и стен. Вывески торчат над головами, как крылья семафоров. А сверху сушится белье. Из окон и балконов верхних этажей выставлены, как удилища, длинные бамбуковые шесты с бельем. Будто весь город одна сплошная прачечная. Шесты идут с обеих сторон узких улиц и образуют многоярусные бельевые арки. А внизу идет торговля. Бесчисленное количество лотков и палаток или просто очагов, где готовится и продается пища. Между ними мануфактурные, скобяные, продуктовые ларьки. Противни, жаро-

вни, чугунки, кастрюли, чаны... Все это дымит, коптит, исходит паром. Жарится, варится множество видов ракушек, водорослей, моллюсков, осьминогов, рыбы и еще бог знает чего. Здесь же производят какие-то изделия из теста, свинины, овощей. На грязных столах рубят и продают дольками ананасы, апельсины, арбузы. Течет липкий сок, собирая тучи мух и насекомых. Каждый торговец громко выхваляет свой товар. Стоит невообразимый хаос.

Одна из улиц резко отличается от всех соседних. Здесь делают и продают салаты из цветов. На тротуарах длинными рядами сидят, поджав под себя ноги, женщины, и возле каждой — горы лепестков. Они режут лепестки на низеньких столиках, посыпают какими-то травами, укладывают в плоские тарелочки. Когда подходит покупатель, обливают приготовленное соусом, и люди тут же едят. На всей улице стоит аромат цветов.

Чем ближе к центру города, тем чище кварталы, ярче витрины магазинов. А дальше типичный европейский город со сверкающими рекламами, богатыми домами, фешенебельными гостиницами. Здесь тоже идет торговля и кипят страсти. Здесь торгуют англичане, японцы, американцы, индусы. Десятки банков ежедневно финансируют крупнейшие сделки на каучук, олово, рис, копру.

Возле входа в «Гонконг-банк» мы увидели первого валютчика. Красная чалма, черная борода, черные вразлет брови, черные, сверлящие глаза.

— Чейндж? — обратился он к нам, показывая веером сложенные деньги разных стран. Он продает и покупает валюту.

Возле «Шанхай-банк» маленький рыжий человек подмаргивает нам, быстро-быстро говорит:

— Американ доллар тэйк, гив! Бери, давай! Франк, рупий, марк, фунт тэйк, гив!

Чем ближе к центру, тем больше спекулянтов валютой. Они хорошо одеты, но очень по-разному. В дорогих европейских костюмах, в шотландских юбках, в китайских халатах, в шортах. Чейндж! Чейндж! Чейндж! Тэйк, гив! Все они спекулируют валютой, и все по-разному. У входа в универсальный магазин стоит человек, ни на кого не глядя и не умолкая, повторяет:

— Чейндж, чейндж, чейндж...— точно маятник.

Рядом с ним его коллега, который никого не пропускает. Он хватает нас за руки, сует деньги.

— Чейндж! — властно требует он.

Третий что-то шепчет на ухо, и трудно от него отстраниться. Доверительно берет за локоть, доверительно, как союзник, подмаргивает и шепчет. Я не понимаю, что он говорит, но мне кажется: «Наконец-то вы пришли, я ведь только вас и ждал. Идемте за угол, и вы все получите, я все для вас устроил».

Валютчики стоят рядом целыми стайками, но не мешают друг другу, не конкурируют. Здесь строгий расчет на характер потребителей. Один ни за что не подойдет к такому, как «маятник», а другой именно такого ищет.

Сто пятый день идет забастовка, начатая мелкими служащими полиции, к которой присоединились два универмага и несколько учреждений. На заборах, на стенах зданий — призывы, с резко выделяющимся словом «страйк». Забастовщики митингуют, ходят по улицам с транспарантами, с жестяными копилками — собирают пожертвования. Большая группа женщин идет по центру проезжей части дороги и несет плакат: «Остановить жён полицейских штрейкбрехеров».

Забастовщики требуют «человеческого отношения» к себе полиции и увеличения заработной платы. И все это как-то естественно вписывается в городской пейзаж. Ничего удивительного нет: в городе постоянно кто-то бастует.

Мы решили посмотреть знаменитый парк тигрового бальзама, или, как его еще называют, Тигровый сад. Что касается тигров, то их здесь нет и в помине. Сада тоже нет. Есть немыслимое нагромождение гор, пещер, гротов, сделанных из разного стройматериала и окрашенных в бесчисленное количество цветов. Тигровый сад занимает огромную территорию. Это несколько сот сказок и народных преданий, изображенных в бутафорских скульптурных группах. Вот река из бетона, выкрашенная в голубой цвет. Плавают, сплетаются в смертельной схватке фантастические чудовища и рыбы. А рядом в сказочном челне дева, которую выслеживает из кустов юноша. Дальше — бетонное море. Страшные рыбы напали на корабль и поедают людей. Мы обошли меньше четвертой части сада, а я уже насчитал сто двадцать подобных скульптурных групп, в каждой из которых от двух до тридцати фигурок. Целый склон горы занимает «бой белых и черных мышей», в котором около ста фигурок длиною в метр каждая. Здесь и самый «бой», и «санитары», и «лазарет», и «штаб».

В Тигровом саду несметное количество «птиц» самых разных раскрасок, величины и видов. «Птицы» на пагодах, на деревьях, на «ледниковой лаве», в кустах.

Большое место занимают виды экзекуций и казней, существовавших когда-то в Китае.

Конечно, все эти фигурки с натяжкой я называю скульптурой, ничего общего с искусством это не имеет. Но сад — сооружение уникальное, и оно передает в сказках и преданиях целую эпоху из жизни народа.

К порту мы подъезжали, когда начало темнеть. Кварталы, где на тротуарах ночуют бездомные, уже затихали. Здесь под стенами домов спят и одиночки и целыми семьями вместе с детьми и стариками. Фонари едва-едва освещают перекрестки. Неожиданно наш шофер так резко затормозил, что раздался визг на всю улицу. Ругаясь, водитель выскочил. Почти под самыми колесами лежал человек с ребенком.

Шофер стал кричать на него, почему улегся на проезжей части, а не как люди, на тротуаре.

Приподнявшись и прикладывая к груди руки, бездомный униженно объяснял:

— Сэр, извините, мой ребенок очень болен, извините, на тротуаре под стенами нечем дышать, а тут воздух от движения машин...

...Мешки с цементом были уже выбраны из трюмов, и оставалась только цементная пыль. Это неизбежное зло: при погрузке и разгрузке некоторые мешки рвутся, пробивается цемент и сквозь швы.

Мешки разгружали малайцы, сингалезцы, индусы. Пыль собирали малайские женщины. Женщинам платят меньше, это легкая работа.

Цементной пыли было много. Она вздымается и садится, она движется, как густой туман. В этом тумане — женщины в черных широких штанах и блузках навыпуск. Их подгоняли, чтобы не держать судно и не платить за простой. Они работали очень быстро: насыпали лопатами цемент в мешки. Но если работать быстро, новые клубы цемента вздымаются в воздух, и долго ждать, пока пыль осядет.

Температура в трюме около сорока градусов. И блузки и штаны на грузчицах мокрые. Мокрые совершенно, будто их окунули в воду. Мокрые лица и косынки.

Уже слой цемента, который можно брать лопатами, снят, замелькали в руках веники. Надо быстрее подметать, чтобы собрать весь цемент. Но быстро нельзя, цемент поднимается вверх. Надо собрать все, чтобы не осталось ни одной горсти. Женщины становятся на колени, садятся на пятки и сгребают руками цемент. Так меньше поднимается пыли. Мокрые рубахи схвачены цементом. Черные мокрые лица превратились в цементные, как скульптура. Это легкая и дешевая работа. Специально для женщин...

Я смотрел на их работу, когда кто-то крикнул: «Голуби!» Действительно, над судном пролетела стайка голубей. Но я не понял, почему это вызвало большое возбуждение моряков. И мне рассказали историю, происшедшую здесь, в Сингапуре.

На корме была голубятня. В ней жили восемь белых голубей. Весь экипаж любил их. Но нельзя сказать, будто личный состав судна вообще был неравнодушен к голубям. Дело здесь в другом.

Если в рейсе у человека плохое настроение, он всегда найдет на ком отыграться. Можно ни за что накричать на подчиненного, если по штату не положены подчиненные, можно придраться к товарищу. Наконец в запасе есть повар, и никто не запретит походя заметить ему, будто его борщ никуда не годится. Одним словом, излить на кого-нибудь свое недовольство есть широкие возможности. И это хорошо. Не зря восточная пословица гласит: «Если в сердце мужчины гнев, пусть он выйдет бранью, но не оседает на сердце». Да и не только старые восточные мудрецы это знали. Об этом же говорят последние открытия медицины: плохое настроение должно иметь внешний выход.

А вот как быть с нежностью? Она есть у всякого живого существа. Но выхода для нее в море нет. Она не растрачивается: не на кого растрачивать. Не станут же моряки нежничать друг с другом. Поэтому нежность скапливается и переполняет душу. И если есть на судне животные, вся она достанется им. На «Солнечногорске», например, жил Уран. Откровенно говоря, просто недалекая дворняга. Но каких только высоких и благородных качеств в нем не находили! И породистый, и умный, и добрый, и еще бог знает что. И как только его не называли! Стоило Урану не доесть кусок мяса, как на ноги поднимался весь экипаж: не заболел ли?

Такое, если не более нежное, отношение было и к голубям. Они того стоили: гордые белые красавцы.

На каждом судне есть излюбленное место, где собираются моряки, свободные от вахт. Таким излюбленным местом был уголок возле голубятни, сооруженной прямо на палубе и примыкающей к кормовой надстройке. Едва ли не главной темой были голуби. Каждому из них дали имя, изучили их характеры и повадки, отыскивали все новые и новые достоинства.

Поначалу кормили голубей все, кто хотел. Потом решили, что это не дело, и составили расписание, кто и когда должен кормить, и вывесили его на доске объявлений. И все с нетерпением ждали своей очереди. Потом постановили не тискать голубей своими грубыми руками и не брать в рот клюв, потому что это не игрушка, а живые существа и надо совесть иметь.

Подобное самоограничение было в тягость каждому, но все пошли на это из-за любви к голубям. Люди стали по-другому проявлять свои чувства. По почину старшего матроса, который на судне одновременно и плотник, стали украшать голубятню. Моряки выпиливали из фанеры замысловатые узоры для подоконников, сооружали новые кормушки. Токарь выточил всякие украшения из медных прутиков и шариков, которые надраили так, что они блестели ярче пояска телеграфа на капитанском мостике. Голубятню покрасили, а потом покрыли лаком в три цвета, и она стала похожей на сказочный теремок.

Особую заботу о голубях проявляли перед непогодой. Голубятню укрывали брезентом, ограждали щитами, чтобы не била волна. Во время шторма то и дело проверяли, все ли в порядке. А когда кончался шторм, прежде всего бежали к своим любимцам.

На подходах к тропикам горячо и очень серьезно обсуждали вопрос, как пустить в голубятню кондиционированный воздух. И, словно в знак благодарности, голуби отлично переносили и шторм и тропики, хотя охлажденный воздух так и не удалось подвести к их жилищу.

К Сингапурскому проливу судно подходило перед вечером. По радио передали, что через пять минут на палубе в районе четвертого трюма начнется профсоюзное отчетно-выборное собрание. Именно в этот момент и произошло непоправимое. По чьей-то преступной халатности дверь голубятни осталась незапертой, и порывом ветра ее распахнуло. Голуби взмыли. Затрепетали на тусклом

солнце крылья. Точно слепые, птицы метались то в одну сторону, то в другую, пока не выбрали направление: они летели на отчетливо видимый остров.

Люди точно окаменели. Они стояли на палубе, надстройках, на люках в каких-то странных позах и, пораженные, смотрели, как улетают белые голуби. Еще некоторое время видели в небе движущиеся пятнышки, а потом и они исчезли.

Никому не хотелось говорить. Никто не стал искать виновников. Молча бродили по палубам, молча заглядывали в осиротевшую голубятню. И никто не решался повторить приглашение на собрание, хотя срок давно прошел.

Потом кто-то робко заметил, что хорошо бы бросить якорь. Может, еще вернутся. Но все понимали, что бросать якорь нельзя. Даже изменение скорости должно быть занесено в вахтенный журнал, а для остановки требуется еще и объяснение. А как же объяснить? Голубей ждали? И все поняли, что никогда уже не вернутся белые голуби.

За весь рейс это был первый вечер, когда не играли в домино. Пусто было и в музыкальном салоне.

Обычно приход в порт вызывает большое оживление на судне, особенно в такой крупнейший узел на путях мирового флота, как Сингапур. На этот раз оживления не было.

Как и всегда, причалы были забиты судами. Тесно оказалось и на рейде, где на рассвете бросили якорь.

И вдруг по всему судну из репродуктора разнесся голос вахтенного штурмана:

— Справа по борту со стороны города вижу голубей.

Это были белые голуби. Они сделали два круга над портом, где стояли сотни судов, и опустились на родную палубу.

Больше никогда не запирали голубятню.

ДЖОРДЖТАУН

Мы покидали Сингапур поздно вечером. Шли вдоль причала, растянувшегося на несколько километров. Ни одного свободного места: пароходы, теплоходы, турбоходы. Флаги десятков стран.

Город удаляется, но еще долго видны хорошо знакомые теперь огни Сингапура. Бьется в огненной рекламе Британский торговый дом, сверкают контуры винных бу-

тылок на крыше ночного клуба, неоновая фигура на коммерческом банке сулит богатства.

Шумит ночной Сингапур. Бананово-лимонный Сингапур. Город церквей и притонов, курильщиков опиума и бродяг, нищий город, где схлестнулись в борьбе за каучук и олово тресты, концерны, банки главных стран капитала и китайских миллионеров. И над городом, забивая мишурный блеск, вспыхивает как удар молнии: «Strike».

На палубе, в районе четвертого трюма, идет комсомольское собрание. Моряки давно привыкли и к этим рекламам, и к забастовкам, и никого не отвлекает нервная суета города.

«Физик Вавилов» берет курс на остров Пенанг в порт Джорджтаун. Как и в Сингапуре, там военно-морская база Англии. Пенанг — это тоже остров олова и каучука, но это тихий остров и тихий город с величественными, в зелени горами, куда ведет шестикилометровый фуникулер, где все блага тропиков и температура летнего Подмосковья. И где бы в Малайе ни находились предприятия американцев, англичан и китайцев, их хозяева селятся на острове в порту Джорджтаун.

Еще на дальних подходах к порту бросается в глаза странное сооружение, похожее на разграфленную в клетку стену высотою в двадцать этажей. Будто исполинский тетрадный лист «в арифметику», и в каждой клеточке — огонек: синий, красный, зеленый, голубой... Это дом американцев у самого порта. Но живут они не здесь. Мы увидели позже, где они живут.

Городок небольшой, чистый, весь в тропической зелени. Нет здесь ни сингапурской сутолоки, ни черных от грязи лотков. На каждом шагу аккуратные банки. Их так много, что можно подумать, будто все население с утра и до вечера только тем и занимается, что совершает финансовые операции. Здания банков чем-то напоминают посольские особняки. Может быть, оригинальной архитектурой, балкончиками, башенками и зеленью за оградами или сверкающими медью пластинами с выгравированными названиями банков: английский, китайский, американский, гонконгский, коммерческий, торговый, промышленный, колониальный и еще десятки названий. А может быть, кажутся эти особняки посольскими, потому что вокруг них тихо. Ни людей, ни шума. Только блестящие швейцары дремлют у дверей да важные полицейские испытующе провожают вас взглядом.

И не одолевают валютчики. Их много на улицах, но они не такие, как в Сингапуре. У каждого закрытый стеклянный лоток, похожий на большой аквариум, облепленный изнутри денежными знаками многих стран. Здесь можно купить и продать любую валюту капиталистического мира. Валютчики стоят у своих лотков, никого не зазывая и не останавливая, спокойные и солидные. И так подчеркивают собственное достоинство, что можно подумать, будто это памятники.

Вместе с группой моряков мы остановились возле полупустого кафе, советуясь, перекусить ли сейчас или побродить еще часок по городу и «нагнать» аппетит. К нам подошел рикша, шикарная коляска которого стояла рядом, и предложил свои услуги.

Мне давно хотелось поговорить с рикшей, но не получалось. Я предложил ему пообедать с нами, и, к моей радости, он согласился.

Человека этого звали Каба. На вид лет тридцать. Держался с достоинством, вежливо, но отвечал на вопросы односложно. Беседы не получалось. Разговорился Каба после второй рюмки «Белой лошади». Мы говорили о его профессии.

Когда-то в ходу была только тяжелая коляска на толстых деревянных колесах с толстыми оглоблями для человека. С течением времени ее облегчали, колеса стали приближаться к велосипедным. Но главное оставалось неизменным: в оглоблях — человек, а значит, низкая скорость.

И вот создаются коляски на велосипедных педалях. Скорость теперь значительно увеличивается, но появляются новые «неудобства». Раньше седок возвышался на сиденье, а рикша был где-то внизу, на уровне ног пассажира. А теперь, видите ли, рикша поднялся, уселся в седло, заслонив своей спиной перспективу. Не годится.

Появляется новая конструкция. Место рикши сбоку. Расположение людей как на мотоцикле с коляской. Но это уже вовсе шокировало взыскательных ездоков. Они не пожелали сидеть рядом с рикшей, который тяжело дышит, особенно на подъемах, или, еще того хуже, потеет.

И снова переделывается коляска. Теперь место рикши устраивает всех. Оно позади ездоков. Это последнее достижение «техники». Когда над седоками поднимают тент, чтобы их не беспокоило солнце, рикше не очень хорошо

видна дорога. Но это уже его дело. Он вполне может наклоняться то в правую сторону, то в левую и смотреть, что делается впереди. О таких пустяках рикша не думает. Его волнует другое: конкуренция.

Между рикшами идет бешеная борьба за ездока. Они изучают его вкусы, привычки, прихоти. Не всякий ездок сядет в первую попавшуюся коляску. Он хочет, чтобы она была красивой, на мягких рессорах, хочет, чтобы его везли быстро.

Мы слушали Кабу, поглядывая сквозь открытую дверь на его коляску. Сверкают на солнце хромированные спицы, горят медью фонарики, бьют в глаза голубые сиденья и зеленые коврики из синтетики. Коляску Каба берет в аренду у владельца большого парка.

Конечно, на такой коляске всякий захочет прокатиться, но арендная плата за нее велика, значит, и с пассажира надо брать больше. А если пассажиров, готовых платить больше, не окажется? Если не заработаешь на арендную плату?

Ну что ж, хозяин парка пойдет навстречу рикше, подождет. Может, завтра человеку повезет и он заплатит сразу за два дня. И еще день или неделю подождет хозяин, чтобы помочь человеку. Пусть рикша постепенно выплачивает долг, вместе с процентами, которые набегут. Теперь ведь рикша уже не уйдет к другому хозяину. Не уйдет, хотя условия аренды для него будут ухудшаться и придется все глубже залезать в долги. Именно поэтому он не сможет уйти. И именно поэтому хозяин будет все больше обретать над ним права. Потом обоим станет ясно, что никогда человек не вырвется из долгов, и между ними устанавливаются новые отношения. С рикши снимаются все заботы. Ему больше не придется думать о том, как распределять заработанные деньги, сколько отдать в счет долга, сколько на жизнь семье и как выкроить хоть что-нибудь и остановиться у лотка перекусить. Хозяин будет забирать теперь каждый день все заработанные деньги и раз в неделю выдавать ему, сколько найдет нужным.

Хозяин сам скажет, что выезжать из парка надо на рассвете, а возвращаться поздним вечером. Если рикша с заискивающей улыбкой, шатаясь от усталости, вернется раньше времени, хозяин выгонит его снова в город, чтобы не симулировал, потому что на стоянках он достаточно отдыхает, и чтобы не возвращался в парк, пока не при-

несет дневную выручку, которую ему тоже устанавливает хозяин, если для этого придется работать даже всю ночь. И рикша, освобожденный от всех забот, будет ездить по городу, искать пассажиров и с ненавистью смотреть на таких же, как сам, которые мешают ему быстро заработать определенную хозяином сумму. Он будет думать только о хозяине, потому что сам он теперь принадлежит хозяину, как и коляска, на которой ездит.

Каба не жаловался на судьбу. Он видел, с каким интересом мы его слушаем, и говорил о тонкостях своей профессии. Оказывается, очень важный «критерий» для ездока — мышцы рикши. И тот, у кого они крепкие, носит шорты или высоко закатывает штаны и рукава рубашки, старается незаметно напрячь мышцы, когда подходит к стоянке ездок, чтобы тот видел крепкие руки и ноги. Ну, а кому нечем похвастать, надевает длинные брюки и рубаху с длинными рукавами.

Опытный рикша не пойдет на любую стоянку, близ которой случайно оказался. Он выбирает место в зависимости от своей коляски. Если не сверкает она никелем и медью, нет на ней автомобильного сигнала и поскрипывают рессоры, нечего ему делать у подъездов центральных гостиниц и в богатых кварталах. Он пойдет на окраины, на базары, туда, где пассажир менее взыскателен и платит втрое, вчетверо меньше, чем богатые ездоки.

О трагедии своей жизни Каба говорил с горечью, но спокойно, как человек, смирившийся со своим положением. В том, что хозяин превратил его в раба, Каба винил только себя. Хозяин ни при чем. Каба должен ему деньги и обязан отрабатывать. Просто два года назад, когда впервые решил взяться за профессию рикши, сам совершил крупную ошибку: неправильно выбрал коляску. Ведь можно было взять не самую красивую и самую дорогую, а плохонькую, дешевую. Не смог определить, на какой больше заработаешь. А теперь дела не поправишь. Через год-два, когда сил станет меньше, хозяин отберет эту шикарную коляску и передаст ее новому рикше, молодому и сильному, а Кабе достанется какое-нибудь старье. Но поправить свои дела будет поздно.

Каба не казался человеком темным и забитым. Поэтому поражало его заблуждение. Хотелось сказать: «Да не в коляске же дело, черт возьми! Дело в хозяине, который опутал, превратил в раба честного и доброго человека». Но разве мы могли это сделать? Подслушает кто-либо наш

разговор или запишет на пленку, вот и готово обвинение в политической пропаганде, направленной против существующих в стране порядков.

Мы тепло, по-дружески распрощались с Кабой. Идя по улицам, другими глазами смотрели на рикш. Они стали нам ближе.

Я не раз видел, как зазывают покупателей торгаши, ремесленники, проститутки, как предлагают свой товар валютчики. Но никто не просит потребителя так униженно, как рикши. Они зовут вас с мольбой, что-то шепчут, в чем-то убеждают, кланяясь и стараясь заслонить собой дефекты коляски. Они ревниво косят глазами на своих конкурентов и просят, как подаяния: возьмите меня.

Завидев стоянки рикш, мы далеко обходили их. Мы ничем не могли помочь людям.

И еще с двумя профессиями мы познакомились в Джорджтауне: гадальщиками и писарями.

Мы остановились возле старика с большими, торчащими во все стороны волосами, который изучал под увеличительным стеклом ладонь мелкого торговца фруктами. Старик то и дело заглядывал в какой-то справочник, находил на рисунке ладони точно такие конфигурации, как у клиента, и показывал их ему, чтобы тот сам убедился. Старик говорил:

— Вот линия богатства вашего возраста. Она не уходит за пределы ладони, а обрывается. Значит, разбогатеете вы не на том свете, а на этом. Длина линии, видите, тридцать шесть миллиметров. Значит, богатство придет к вам через пять лет, поскольку сейчас вам тридцать один...

Когда сияющий торговец, хорошо понимающий, что теперь-то он обеспечен богатством, ушел, мы предложили старику оплатить время, которое он на нас затратит, но вместо гадания пусть подробнее расскажет о своей профессии.

Это оказался веселый человек. Он охотно согласился. Сказал, что, пока нет клиентов, готов ответить на наши вопросы и ничего ему за это не надо. Он сам заинтересован, чтобы больше людей знали о нем.

Он индус, зовут его Гама. Назвать свой возраст отказался, отделался шуткой. Зарабатывает хорошо, гордится своей профессией, рассказывает о ней с увлечением.

Прежде всего Гама отметил, что гадательное дело — это наука, и те, кто окружает ее ореолом таинственности, мистики, колдовства, просто аферисты, подрывающие

авторитет подлинных ученых. В любой отрасли науки каждый ученый имеет свои открытия и свои тайны, которыми, конечно, не станет делиться с другими. Не будет же, например, известный врач рассказывать кому-нибудь о собственных методах лечения. Так и гадальщики. У каждого есть свои тайны, но у всех одна основа — наука. Любой трудолюбивый человек может лет за десять — пятнадцать хорошо освоить дело.

Мы слушали, стараясь не улыбаться, чтобы не обидеть Гаму. Впрочем, как потом мы убедились, нелепая версия, распространяемая гадальщиками, будто они ученые, не так уж смешна. Это продуманная тактика. Ходить к колдунам охотников нашлось бы куда меньше, чем к ученым. В этом одна из причин, заставляющая людей верить в гадальщиков.

Гадают только по руке. Для всеобщего обозрения, будто образцы снимков уличного фотографа, выставлены рисунки ладони с отчетливо нанесенными линиями и их значениями. Тут же лежат учебники, справочники, схемы. Гама показал нам краткий «Толкователь линий» и «Монографию» с бесчисленным количеством иллюстраций, в том числе цветных. Кстати, подобной «литературы» много. Даже в солидных книжных магазинах мы видели пособия по «гадательному» делу, великолепно изданные, с множеством рисунков на атласной бумаге.

Мы рассмотрели схему двух ветвей женской ладони: любви и богатства. Каждая едва заметная ниточка, оказывается, имела значение и в какой-то мере определяла судьбу. Мы нашли линии «легкого поведения», «страстности», «количества замужеств» и еще невесть каких значений, и каждая сопровождалась пространными комментариями. Особенно выделялась линия, определявшая, когда девушка выйдет замуж. Тоненькие ниточки указывали степень богатства будущего мужа.

Сначала Гама давал нам объяснения солидным тоном. Постепенно он оживлялся и приходил в восторг, будто сам верил в то, что говорил, будто только что узнал о таких неисчерпаемых возможностях определить человеческую судьбу.

Ветвь богатства оказалась немыслимым переплетением линий. Его источников так много, что совсем нетрудно подобрать один из них для любой ладони. Разбогатеть можно от брака, по наследству, в результате наводнения, пожара и других бедствий, благодаря случайной

находке, спасению человека, рождению вундеркинда и еще десятка причин.

Любому человеку легко предсказать богатство. Надо лишь узнать его возраст и пообещать не золотые горы, а просто безбедную жизнь, когда не надо думать о куске хлеба, то есть предсказать именно то, о чем мечтает большинство клиентов. И пообещать не на том свете, а скоро, ну хотя бы лет через пять, и хорошо запомнить человека, чтобы спустя год, когда тот снова придет проверять свое счастье, сделать вид, будто впервые в жизни видит его, и предсказать богатство через четыре года. И уйдет счастливый человек, чтобы терпеть нужду и голод, терпеть не ропща, потому что теперь уже бесспорно придет богатство. Он будет рассказывать знакомым и случайным встречным, у какого удивительного гадальщика был, и станет посылать к нему таких же, как сам. И если это будет девушка двадцати лет, Гама обязательно найдет у нее линию, которая точно укажет, что судьба улыбнется ей в двадцать пять.

Второй кит, на котором держится гадательное дело,— это реклама. Широко распространяемая, навязчивая, убедительная.

На стволе дерева, близ которого расположился Гама, в рамках под стеклом висели выдержки из писем, якобы полученных им. Вот некоторые:

«В сроке моего замужества вы ошиблись на полгода, а все остальное совпало точно. Муж действительно оказался со средствами. Посылаю вам в подарок нашу фотографию». И тут же снимок типа старых рождественских открыток. Чуть ниже второй отзыв:

«Я последовал вашему совету, и сын поднялся с постели. Теперь он ходит, и я счастлив. Я никогда не забуду вас».

Следующее письмо:

«С тех пор как я был у вас, прошло три года, и все сбылось. Вы великий маг».

Подобных выдержек из писем штук тридцать. Это лишь одна из форм рекламы. На большом здании с торцовой стороны, где нет окон, висит щит высотой в четыре этажа. На нем гигантская раскрытая ладонь с линиями судьбы. Слева надпись: «Не живите вслепую! Идите к гадальщику, и он научит, как сделать жизнь счастливой».

Подобную рекламу можно увидеть в витринах мага-

зинов, на автобусах, в скверах и даже в кино. Раскрытая ладонь преследует вас повсюду и делает свое дело.

Невыносимо тяжел труд на каучуковых плантациях, падают люди на оловянных рудниках, давят мелких торговцев концерны и тресты...

«Не живите вслепую! — кричит раскрытая ладонь.— Идите к гадальщику, и он научит, как сделать жизнь счастливой!»

И люди идут. Идут, чтобы услышать слова надежды на лучшее. И верят в эти слова, потому что очень хочется лучшего.

Вторая широко распространенная уличная профессия — писари. Что-то похожее на стряпчих старой России. С этой профессией я впервые столкнулся много лет назад в Сеуле. Сидит человек у пагоды, под деревом или в маленькой будочке, похожей на скворечник, и пишет для неграмотных людей прошения, жалобы, письма. Там все это выглядело кустарно. Писари, вооруженные тонкой рисовой бумагой и палочками туши, умели только красиво рисовать иероглифы и редко могли дать совет неграмотному человеку.

Другое дело — писари в Джорджтауне. Хотя устраиваются они тоже на улицах, где придется, но у них складной столик, на котором стоит пишущая машинка, и, так же, как у гадальщика, несколько стопок справочников, сводов законов, книги по юриспруденции.

Писари сидят под большими зонтиками, похожими на грибки кафе, солидные и важные, слушая своих клиентов глубокомысленно, степенно задают вопросы. И хотя они, как и сеульские писари, не имеют ни юридического, ни другого образования, но в своих делах поднаторели и могут дать дельный совет. И получат они с клиента за этот совет, за составление бумаги, за самое бумагу, за перепечатку. Люди они негордые и, если им просто диктуют письмо, возьмут дешевле, но в ходе диктовки обязательно предложат какие-то красивые слова, и, обрадовавшись, клиент согласится и не сразу сообразит, что за эти красивые слова придется платить дополнительно. Видели мы в Джорджтауне и писаря с юридическим образованием, безработного адвоката, который, отчаявшись найти работу и не имея средств открыть частную контору, пошел в уличные писари. Товарищи по профессии не любят его, боятся его конкуренции.

Мы бродили по Джорджтауну, наблюдая уличную

жизнь, пока не попали в квартал миллионеров, растянувшийся вдоль набережной.

Во многих портовых городах, где мне довелось побывать, набережные и прилегающие к ним улицы устроены одинаково: берег, одетый в гранит или камень, вдоль него широкий тротуар, потом шоссе для всех видов транспорта, снова тротуар и, наконец, дома. Такие набережные я видел в Гаване, Александрии, Касабланке, Бомбее и других городах. Набережная, как правило, любимое место гуляний. Здесь встречаются и радуются жизни влюбленные, долгими часами сидят и любуются морем, и вздыхают о промчавшейся молодости старики, здесь бурлит людской поток в дни праздников, и в любое время как постоянную принадлежность берега увидишь здесь бесчисленное количество рыбаков.

Все это понятно и естественно. Набережная тянет к себе, и умиротворяет, и наводит на мысли, очень разные для каждого, но именно те, которые приятны каждому. Она никогда не бывает одинаковой. Ни берег, ни волны, ни открывающаяся панорама моря. Приходят и уходят корабли, доносятся на берег слова команды с капитанских мостиков, трепещут флаги различных стран, и невольно уносишься в эти чужие и далекие страны и ощущаешь перед собой весь мир.

Набережная в Джорджтауне отличается от всех, виденных мною. Особняки китайских миллионеров примыкают непосредственно к берегу. У каждого — лично ему принадлежащий участок моря с купальнями, пристанями, яхтами, беседками на береговых скалах. Особняки, парки, ограды заслоняют бескрайние водные просторы так, что с улицы и не заподозришь их близость. Миллионеры своими особняками отгородили от малайцев море.

В этом квартале живут владельцы каучуковых плантаций, оловянных заводов и рудников, банков и крупных торговых фирм. В наиболее жаркие месяцы они переезжают в свои летние резиденции в горах.

Джорджтаун расположен у подножия величественных гор, покрытых тропическими растениями. На тысячу метров поднимается над уровнем моря вершина, куда ведет фуникулер длиною в несколько километров. В горах, в непроходимых зарослях тропиков вырублены площадки для летних резиденций миллионеров. На искусственных плато построены особняки. Поднимаешься на фуникулере и видишь: то далеко справа, то слева в лиановых зарос-

лях мелькнет яркий автомобиль по узкой ленточке асфальта, или голубое озерцо бассейна, или каменная башня, возвышающаяся над королевскими пальмами.

Чем ближе к вершине, тем шикарнее особняки. Они далеко отстоят друг от друга, и вокруг каждого свои джунгли, свои парки, личные асфальтированные дороги владельцев резиденций. Здесь, в горах, другой мир, другой климат. Нет тропической жары, воздух пахнет зеленью, и летают удивительные, будто раскрашенные детьми птицы.

Мы сошли с фуникулера на конечной остановке, на вершине горы. Спортивные площадки, рестораны, гостиницы, бары, игорный дом. Величественная панорама. Где-то далеко-далеко внизу, километрах в десяти, море, порт, город. Виден весь остров Пенанг. Весь в зелени, красивый, как в сказке. Страшный остров Пенанг, где гибнут малайцы, задыхаясь от удушливых газов оловянных заводов и рудников, на каучуковых плантациях, где и поныне свистит плеть надсмотрщика, на мостовых города, где идет кровь горлом у рикш, не выдерживающих состязаний с автомобилями.

Малайцы построили особняки и фуникулер. Малайцы никогда не поднимаются на фуникулере. Подъем и спуск три с половиной доллара. Три с половиной доллара — это неделя жизни для малайской семьи.

Нам хотелось посмотреть, как они работают. На оловянные заводы нас не пустили. Сказали, что можно посмотреть каучуковую плантацию. Образцовую плантацию господина Ли Ю, который охотно показывает иностранцам свое хозяйство. Показ начинается с ресторана, где господин Ли Ю постоянно находится. Ресторан — его изобретение и его гордость.

Ресторан действительно необычен. Первая половина здания похожа на гостиницу. Посетителю предоставляется комната с большой ванной, набором легких и купальных костюмов. Здесь можно принять душ и переодеться. Вход в зал ресторана обычный. Но противоположной стены нет. Перед вами — пляж с золотым песком, пальмы, сосны, кусты. И повсюду столики — в зале, под деревьями и просто на воде. Люди за столиками — в купальных костюмах. Это китайцы, англичане, американцы. В белых, застегнутых на все пуговицы куртках — малайцы. Это официанты. Они подают на стол и внимательно следят за посетителями. В перерывах между рюмками и бокалами

посетители бросаются в воду, и надо не упустить тот момент, когда они выйдут, и подать свежее полотенце. Не успеешь на несколько секунд, и это будет последним днем работы у господина Ли Ю.

Господин Ли Ю встретил нас радушно.

— Видели? — восторженно развел он руками.

— Видим,— ответили мы.— Но нам еще хочется посмотреть плантацию. Можно?

— Конечно, конечно, но не надо торопиться, здесь так хорошо.

— Да, но нам разрешено быть в городе только до пяти вечера. Осталось всего два часа.

— Значит, вы русские! — поразился он. Улыбки на его лице больше не было. Он поднял палец. Подбежал служащий.

— Покажите плантацию,— сказал Ли Ю.— Это русские.

Мы сели в машину. Гид был любезен и словоохотлив. Из его слов мы поняли, что каучуку принадлежит будущее мира. Поняли, что капиталы надо вкладывать в каучук. И окончательно нам стало ясно, как завладеть миром: взять в свои руки каучук.

На большой скорости проехали минут пятнадцать по лесной дороге и остановились возле большого дерева гевеи. Ствол толстый, едва обхватишь руками. Светло-серая тонкая и гладкая кора, ярко-зеленые небольшие листья, плотные, как у фикуса, желтые цветы на ветках.

Коротким острым ножом наш гид срезал узкую полоску коры вокруг всего ствола, начав на уровне головы с уклоном в сторону корней. По всему надрезу мгновенно выступили белые капельки, будто повесили на дерево ожерелье. Внизу, где соединились линии надреза, вбил колышек и подвесил на него банку. Капельки, похожие на густое молоко, выступали, как слезы из глаз. Они становились все больше и, дрогнув, покатились, догоняя друг друга по идущему спирально вниз надрезу, по колышку в банку. И снова выступали капельки.

Казалось, дерево плачет. Да и в самом деле «каучук» в переводе на русский означает «плачущее дерево». Это очень точное название. Стоит перед тобой живое существо, и катятся слезы. Его жалко.

Наш гид рассказывал историю каучука. В 1541 году

испанец Гонсало Писарро, младший брат завоевателя Перу, и его помощник Орельяно снарядили экспедицию в Эльдорадо за золотом. Измученные джунглями, у реки Агуарико построили бригантину. Но не было смолы. Индейцы показали дерево, сок которого вполне заменил ее. Это и был каучук. Но о нем забыли. Спустя сто пятьдесят лет французский математик Шарль Мари де ла Кондамин, возвращаясь по Амазонке из экспедиции по измерению дуги меридиана, увидел у индейцев кувшины, мячи и другие странные предметы. Он узнал, что они сделаны из сока дерева. Это была гевея. Вернувшись на родину, Кондамин написал об этом книгу.

Прервав гида и поблагодарив за столь ценные сведения, мы напомнили, что хотели бы посмотреть плантацию.

— Да-да, сейчас едем,— заверил он нас,— вы только послушайте, как это интересно.

И мы узнали, что первым товаром из каучука была карандашная резинка, на которой ее изобретатель англичанин Джозеф Пристли нажил состояние. Но далеко позади оставил его английский химик Чарльз Мак-Интош. Делая эксперимент, он случайно вымазал свой сюртук раствором каучука и увидел, что это место стало водонепроницаемым. А уже через год он пустил фабрику по производству макинтошей. Первые галоши, оказывается, появились в 1880 году, и снова кто-то разбогател, на этот раз на галошах.

Мы еще раз как можно вежливее напомнили о своей просьбе. И тут наш гид развел руками. Ему велено показать нам только дерево гевеи. Так мы и не увидели производство каучука. Но мы видели малайцев, возвращавшихся с работы. Они брели по дороге почти голые, лишь с маленькой набедренной повязкой, как черные скелеты. Это коптильщики каучука. Они ставят на огонь сотни банок с соком гевеи и обкладывают их сырыми ветками. Надо, чтобы не было огня. Каучук надо коптить густым дымом. Надо больше черного дыма. Надо непрестанно подкладывать сырые ветки. Дымом заволакивается все вокруг, но нельзя закрыть глаза. Надо, чтобы нигде не пробился огонек. В клубах дыма мечутся закопченные дочерна люди. Это малайцы добывают на своей земле каучук для иностранцев хозяев.

«Не живите вслепую! Идите к гадальщику, и он научит, как сделать жизнь счастливой!»

ТАКИЕ СУДЬБЫ

Из Джорджтауна мы еще раз заходили в Сингапур, а затем направились в Японию.

В префектуре Фукуока на берегу Симоносекского пролива распластался порт крупного промышленного центра Кокура. Здесь я познакомился с группой японок, среди которых и была Юрико. Едва ли доведется еще когда-нибудь ее увидеть, но, возможно, эти строки дойдут до нее и выразят то, чего я не мог, не имел права ей сказать.

Подходы к Кокура красивые. Множество островов и островков, то утопающих в зелени, то неприступно скалистых и величественных. Они со всех сторон, и кажется, что плывешь по озеру.

Раннее утро. На мостик доносится тихая, будто заглушенная горами мелодия. То ли наш радист включил японскую станцию, то ли плывет эта мелодия над водой, нежная и грустная, и слышится в ней жалобное, далекое, несбыточное. И чудятся рисовые поля и голые, согнутые спины, и тяжелая сеть рыбаков, и что-то горькое, безысходное в этой песне, и трогает она душу.

Мы приближаемся к порту. На подходах все те же острова, но, точно корабельные мачты, торчат из них заводские трубы. Застилает горизонт оранжевый дым химических предприятий. Черный туман плывет над всей территорией. А на воде великое множество судов. Это уже не рыбацкие джонки. Это сухогрузы, танкеры, рудовозы, буксиры, плашкоуты, лееры, плавучие краны. Будто перекресток огромной транспортной магистрали. Это и в самом деле транспортная магистраль десятков, сотен заводов. К одному из них, к причалам концерна Сумитомо, идет и наш турбоход.

Первым на борт поднимается инспектор морской полиции. Он поздравляет нас с благополучным прибытием из далекого и трудного плавания, и на лице инспектора такая радость, будто осуществилась наконец мечта его жизни — увидеть нас в этом порту. И трудно объяснить почему, но ждешь от инспектора еще чего-то. Он говорит, как бы извиняясь:

— Мы постараемся сделать ваше пребывание здесь приятным, но не все зависит от нас. Прошу озна-

комить с этим экипаж,— и он вручает обращение полиции, отпечатанное на великолепной атласной бумаге.

Обращение начинается с фразы, набранной крупным шрифтом: «Добро пожаловать в наш порт и город!» Дальше идут вежливые слова, которые инспектор нам уже сказал раньше, и несколько пунктов:

«1. Когда уходите с судна, запирайте на замки все шкафы и двери.

2. В случае воровства или в других случаях, требующих вмешательства полиции, оставьте место преступления неприкосновенным и немедленно сообщите в морскую полицию по тел. № 3-4232.

3. Остерегайтесь подозрительных личностей и особенно женщин легкого поведения. В большинстве случаев они связаны со злоумышленниками».

В этом документе говорится далее, как поступить, если вас обсчитает шофер такси или произойдет иная неприятность. И создается впечатление, будто эти неприятности, малые и большие, ждут тебя на каждом шагу, как только ступишь на берег. И начинаешь сомневаться, действительно ли здесь повсюду только воры, бандиты и проститутки, и приходит мысль: так ли уж рада нашему приезду полиция?

Инспектор полиции говорит нам, что с особым уважением относится к советским морякам и ценит их самостоятельность. Например, один матрос с пассажирского судна «Урицкий», посмотрев, как живут в Японии, решил остаться там.

Этим словам тоже не верилось, однако и в самом деле такой факт был. Некий молодой человек Виктор Шешелев сбежал с судна и остался в Японии. Второй раз его имя я услышал несколько лет спустя в связи с шумным судебным процессом во Франкфурте-на-Майне по какому-то уголовно-любовному делу, где он выступал в качестве главного героя. А потом он сам рассказал мне в Бонне свою историю.

Говорил, на мой взгляд, откровенно, касаясь порой глубоко интимных вопросов, поэтому я спросил, не будет ли он возражать против опубликования нашей беседы. Он ответил: «Это можно, это пожалуйста», но только чтобы я не растолковывал его слов по-своему, а писал точно, как он говорил. А рассказал он вот что.

* * *

Я родился в тридцать шестом году в селе Каменка Тюменской области Тюменского района. Меня часто били. Может, за то, что неохота было учиться, а скорее потому, что отец не просыхал. Правда, и в трезвом виде бил. Не везло мне в жизни с малолетства, потому что невезучим родился. Все-таки за шесть лет учебы до четвертого класса дотянул. Что же, думаю, так себя мучить. Бросил к черту школу и без малого два года жил свободно, без нагрузок. Но и на шее отца не сидел. В нашем колхозе бесхозяйственность тогда была полная, что хочешь, то и бери. Я и приносил каждый день... Ну, не так, как некоторые,— целыми мешками, а чтобы вполне пропитание обеспечить. Потом в нашем колхозе дела пошли на поправку, стало мне труднее. Ну, сам себе думаю, пора профессию понадежнее искать. Подался в Тюменское железнодорожное училище. А медицинская комиссия не пропустила, так как я не был развит ни физически, ни умом. А я так и думал, что опять не повезет. И тут стало внутри у меня все больше разгораться: зачем я родился? У каждого человека есть такое распределение заранее. Что ему положено, оно само выбьется наружу. И каждый сам в себе понимает, кем он должен стать и какие внутри у него силы. Учись не учись, а если ты, к примеру, не родился художником, нипочем рисовать не будешь. А самые знаменитые художники без образования выходят. К примеру, Рубенс — это я уже потом, за границей узнал — был совсем неграмотный. На своих картинах он вместо подписи белую лошадь ставил. Что ни нарисует, обязательно лошадку присобачит..

Вот так и я. Большую в себе силу чувствовал, только не художника или там музыканта. Меня путешествия с приключениями стали заманывать, как у разведчиков. Ездил бы из одной страны во вторую, в города с небоскребами и другой шикарностью, летал бы из края в край по всей земле и по морям-океанам, чтобы посмотреть все державы и государства. Вот в этом и была моя внутренняя тяга и сила, чтобы оторваться от невезения. Эх, будь я разведчиком, такое бы сделал... Ну, ясное дело, чуток подучиться надо, машины заграничные водить, фотографировать, шифры там разные по радио передавать...

На то и школы такие есть, где обучают всяким приемам. Обучат как следует, дадут заграничный адресок и

пароль, которые в голове надо без записей помнить, и будьте любезны — на аэродром без провожатых. Задание, вроде тебе ничего не интересно, а сам примечаешь, где какой завод, фабрика, аэродром и другие дела, которые по тайному заданию на месте дадут. Чтобы подозрения не вызвать, на ночевку в самые дорогие гостиницы заезжать, питание принимать в шикарных ресторанах и тоже не зевать, незаметно приглядывать — что к чему.

Ну, стал я расспрашивать, где находятся школы разведчиков, а сам время не терял, начал готовиться. Я и раньше любил кино про разведчиков смотреть, а теперь по второму кругу пошел. Не просто по любопытству, а примечать, где какие они ошибки делают, когда проваливаются. И все думал: как же здорово там, за границей, машины какие, а квартиры, когда цветные фильмы,— хоть стой, хоть падай.

Расспрашивал людей про школы разведчиков, а они только улыбаются, никто не знает. А один говорит: «Чудак ты, парень, зря стараешься. В такие школы заявления не подают, надо, чтобы они сами тебя заметили и сами определили».

А как же они меня заметят? Может, их и нет здесь, может, они в Москве сидят... Безнадежное получается дело.

Вот так и произошло мое главное разочарование в жизни.

Не стал я больше спорить с отцом и устроился в Тюмени в ФЗО № 8, как он хотел. А какая может быть учеба, если по насилию пошел, да еще не в ту группу, куда сам хотел. Все-таки выучили меня на судоплотника и послали в Тюменский судостроительный завод.

Послали, а у меня раз оно внутри сидит, наружу все сильнее пробивается. Столько я про заграницу передумал, что отказываться от нее, вижу, нет расчета. Махну, думаю, туда, а смотришь, какой-нибудь случай и выведет в разведчики. И про эту мечту думал и днем и ночью, и не давала она мне покоя и разворачивала душу. Мечту свою от всех прятал, только один раз за столом сказал про нее, а мать ударила меня ложкой по лбу и сказала: «От тебя, дурака, ничего умного не дождешься». Ни мать, ни другие не понимали мою душу, и я стал молчком пробивать дальше свою жизнь.

Из Тюмени уехал во Владивосток и пристроился плотником на Дальзаводе. Поработал немного и перебазировался в Дальневосточное пароходство. Нет, думаю, не та-

кой уж я дурак, если тайком сумел так быстро к цели приблизиться. Взяли меня матросом, значит, в плавание пойду за границу. Еще раз пожалел, что не стал разведчиком,— вот ведь как я сумел тайно действовать.

Отправился в рейс, а судно оказалось каботажным, дальше своих портов не ходит. Ну, сам себе думаю, не такой я дурак, чтобы сразу в загранку проситься. Стал терпеть, пока сами пошлют. А тут беда, про которую я и не подумал. Пришла осень — и забрили меня как миленького в армию.

Пережил я тогда немало, вспоминать не буду. Всякие бродили мысли. И додумался до того, что, может, и хорошо это, что в армию. Отслужу, думаю, в ракетных войсках гвардейских, приеду домой весь блестящий в знаках различия, выберу себе девушку, из тех, что полюбит меня, женюсь и заглушу любовью свою мечту о загранице.

В армии я попал в караульный взвод и охранял склад со старыми автоматами ППШ, и за плечами у меня был такой же старый ППШ. Старшине я почему-то не понравился, и все чаще посылал он меня на кухню посуду мыть. А там повар придирался: и то ему не так, и это не так, и вроде не все ему равно, в какие кастрюли наливать щи. Одним словом, сплавили меня в рабочий взвод, а там определили в кочегарку. Здесь уже особой чистоты не требовалось. Что они там про меня думали, не знаю, только комиссовали раньше времени, а чтобы вернее сказать, сократили из армии за год до срока.

После армии уехал в Таганрог, поработал месяца два и направился в Тюмень. Ни в Таганроге, ни в Тюмени никто меня не полюбил, а также я никого не полюбил. Хотя не знаю и утверждать не берусь, но, как мне показалось, счастья я не нашел, потому что невезение как клещами в меня вцепилось, и, чтобы оторваться от него раз и навсегда, один выход остался, какой я раньше наметил,— уехать за границу. Для этой цели прибыл во Владивосток и поступил матросом в Дальневосточное пароходство.

Приняли меня без рассуждений, как-никак уже работал у них, от них в армию ушел, про то, как служил, им неизвестно, и полное мне доверие. Сразу на судно дальнего плавания назначили.

А дальше все как в сказке. Жизнь ко мне все задом стояла, а тут лицом обернулась. Выясняется, что в Японию идем. Ну, сам себе думаю, держись, Витя. Прибыли в Токио, и в первый же день стоянки отпустили в город на четыре часа. Правда, не одного, а пять человек, и старшего назначили. Так все кучкой и ходили.

И вот тут-то я окончательно удостоверился, что мечта моя была правильной. Бог ты мой, что в этом городе Токио! Глаза разбегаются, и не знаешь, куда смотреть. Машины — как волны в море. Колышутся по всей ширине и длине, магазины такие, что дух захватывает, хотя и день был, а огней разноцветных столько, будто радуги поразвесили. И девушки молоденькие, красивенькие, так ласково смотрят и знаки делают, зовут, улыбаются. И закружилось у меня в голове от этой шикарности, и иду я как контуженый, а сам себе думаю: только бы не выдать себя, чтобы старший ничего не учуял.

Заходили мы в разные магазины, но все кучкой, и затеряться от них не получалось. А я все сам себя успокаиваю, потому что хотя не трус я, а в дрожь меня все-таки бросало и очень потел. Для виду и я что-то стал покупать, а время уходило, и старший сказал — пора возвращаться. Ну, думаю, завтра я уж по-другому буду действовать. А завтра не получилось. Под утро снялись в свой порт. И еще два рейса неудачных было, пока не перевели меня на «М. Урицкого». В Находке взяли иностранных туристов на Олимпиаду в Токио. Туда шло пять наших судов с пассажирами, которые останутся жить на судах, пока идет Олимпиада. Тоже и наш «Урицкий». Значит, стоять будем долго и момент высмотрю, спешить не буду.

В Токио на первую прогулку отправились четверо. Старшим назначили пятого помощника капитана. Это помощник по пожарной части. Он из новеньких, в Японии не был. И две девушки с нами были из судового ресторана, тоже новенькие. Я им и говорю: «Город я хорошо знаю, сто раз бывал тут. Я вам самые красивые места и самые дешевые магазины покажу».

Это я не просто говорил, а с полным сознанием. Как только посадили мы туристов, им планы Токио выдали. Где какие улицы, площади, стадионы — все помечено. А самой сильной краской все посольства всех стран выделили. И на каждом флажок нарисован. Вот такую карту я и раздобыл и все свободное от вахты время изучал ее в

гальюне. У нас на судне плакат такой висел — флаги всех стран мира. Вот посижу, поизучаю флажки, потом с плакатом сверяю. Так я раскрыл, что самое близкое к порту это посольство Америки. Сто раз прошел по карте все улицы и переулки до него, где направо повернуть, где налево — все зарубил себе.

Вот в тот район я и решил, как Сусанин, завести группу. Ну, они пошли за мной, а все получалось не по карте. Там было ясно, а тут перекрестки какие-то, но все-таки где-то поблизости оно должно уже было появиться. И тут я говорю: «Давайте зайдем в этот маленький ресторанчик, тут посидим, перекусим, музыку послушаем». Дальше получилось, как я задумал. «Что ты, говорят, психованный, что ли? Что тебе, на судне мало еды или музыки, чтобы на это валюту тратить». На такой ответ я весь расчет и тактику строил. Ну, говорю, как хотите, а у меня желудок больной, мне надо по часам питание принимать, как раз сейчас время.

Договорились, что они пройдутся по улице и через полчаса встретимся у этого ресторанчика. Вот так я их и обвел вокруг пальца. Зашел, выпил стакан молока, выглянул, а они уже далеко были. Я и метнулся в другую сторону, свернул в переулок. Побегал с полчаса, совсем заблудился, и только сердце стучит. Что делать, не знаю, а тут смотрю — такси. Остановил его, сел, достал карту туристскую — я ее с собой брал — и ткнул пальцем в американское посольство. Сам молчу, чтобы не понял он, что я русский.

Шофер был старый, надел очки, стал смотреть, я еще раз ему пальцем показал. Он понял, тоже молча вернул мне карту и поехал. Оказалось, посольство совсем рядом, метров пятьсот. Я ему все-таки сто иен заплатил и вышел. Надежная ограда, два японских полицейских у ворот, а во дворе сада на здании громадный флаг — звезды и полосы, как на плакате судовом, только большой очень, больше наших знамен раза в четыре.

И тут что-то со мной стряслось. Нашел же, что искал, радоваться надо, а мне страшно стало. Ну, не так страшно, как если судно гибнет или там бандиты напали, этого я бы не испугался. А тут дух стало забивать, вроде дышать нечем. Будто не думал про это все время, не готовился, а только что такая мысль в голову ударила. И сил нету сразу идти туда. Быстро так в сторону направился, виду не подаю. Точно не скажу, не помню, но вроде

вертелось в мозгах: «Что я, сдурел, что ли?» А вернее сказать, не было никаких мыслей окончательных. Перешибали они одна другую, и ни одна до конца не доходила.

Помню, когда первый раз попал в Токио, спустился по трапу, вышел на пирс — вот тебе и заграница. Судно мое, советское, трап мой, а пирс уже по другим законам живет. Спустился на этот пирс и разницы никакой не почувствовал. А тут перед воротами — уже на чужой земле, а все-таки еще дома я, а один шаг за ворота сделаешь по той же самой земле — и уже на всю жизнь другая судьба-дорога. И судно на веки вечные чужое, и к трапу не подпустят.

Пошел, значит, в сторону, а далеко не ухожу, круги возле посольства делаю. Сколько ходил — не знаю, может, пять минут, может, полчаса, о чем думал, тоже не знаю, только спохватился, что со спиной у меня что-то не так. Повел плечами и понял: она не то чтобы вспотела, а вся рубаха насквозь мокрая и прилипла к спине.

Тут и в голове прояснилось. Все-таки, думаю, невезение стало меня немного отпускать. Ребята на судне хорошие, дружные, меня уважают, девчата тоже, веселые, шумливые, их у нас много было — и в ресторане, и в других службах. Самодеятельность хорошая, я в хоре пел, и тоже не на последнем месте. Друзьями обзавелся, в своем порту во Владивостоке в «Золотой Рог» ходили вместе посидеть, потанцевать. Ну ее, думаю, к черту, эту Америку.

Думаю, а самого скребет. Зачем тогда мучился тайно, готовился? Почему отказываться от путешествий и приключений, если уже с таким трудом своего добился — вот они, все дороги, открылись. И опять про ребят подумал и в последний раз махнул — не пойду, вернусь на судно. Пошел было, но стал, как в стену уперся: а что мне теперь первый помощник капитана скажет, который пропуск в город выдавал? Это японские пропуска, их на всю команду дали. Может, не поверит, что я просто заблудился? Может, подумает, нарочно от группы отстал, чтобы сбежать с судна... И я повернул к воротам.

Полицейские остановили у входа, что-то спрашивают. Я им пропуск показал, они повертели его, посмотрели на меня и показали на дом: мол, можешь идти. Прошел по дорожке, поднялся на ступеньки, открыл дверь. Помеще-

ние большое, в коврах и люстрах, напротив широкая белая лестница. Справа солдат, слева за столиком девушка. Направился к лестнице, а девушка задержала, вопросы какие-то задает. Я ей тоже пропуск предъявил. Она смотрит и вдруг вся заулыбалась: «Русский, русский» — и побежала к шкафчику. Она немного русский знала. Достает карту Токио и ноготком своим длинным в одно место тычет и объяснения дает наполовину по-русски, наполовину по-своему: ошиблись, говорит, вам вот куда надо, вот русское посольство, а вы вот куда попали — и все ноготком, ноготком красненьким тычет. А потом ведет свой ноготок по карте зигзагами, путь мне в наше посольство прокладывает.

Смотрю я, рот облизываю, а он сухой и шершавый, будто пленкой клеевой покрыт, и она вся чисто потрескалась. Хочу глотнуть, а глотать нечего. Последняя, думаю, распоследняя надежда домой вернуться. Может, это моя судьба ноготком водит. Может, это не в посольство, а в жизнь мою дорога прокладывается. Может, и правда, пойти туда и сказать: так, мол, и так, заблудился, помогите поскорее на «Урицкого» попасть, а то скоро на вахту заступать... А вдруг увидел кто, как сюда заходил? На явку, подумают, являлся...

Пока стоял я как тупой, она переводчика вызвала, что-то пролепетала ему, а я так и выпалил: «Не ошибся я, сюда шел».

Повели меня куда-то, а я все стараюсь по бровке ковра без нажима ступать, чтобы не затоптать его. Посадили к столу, напротив — посол или консул, в точности сказать не могу, не знаю. Переводчик рядом. И спрашивают меня, кто такой, откуда и зачем пришел. Я все объяснил как есть на самом деле: матрос, мол, хочу жить и работать за границей, лучше всего в Западной Германии, но согласен во Франции или Италии.

Улыбнулись они и спрашивают, кем бы я хотел работать. Плотником, отвечаю, маляром или матросом. Они опять заулыбались: «А что, у вас такой работы нету или вы плохо жили?» Почему же нету, говорю, работы сколько хочешь, и жил в последнее время хорошо. «Тогда, мистер Шешелев,— говорит этот посол или консул,— вам здесь делать нечего, и мы доставим вас на ваш пароход или вызовем сюда вашего капитана, объясним, зачем вы сюда являлись, и пусть сам забирает вас».

Сказал он эти слова, и теперь не спина, а все лицо, чув-

ствую, потом покрылось. Вижу, будто поднимаемся мы с капитаном по трапу на «Урицкого», а весь экипаж, и коридорные, и буфетчицы — все высыпали на палубу и смотрят, как мы поднимаемся. А капитан говорит: «Вот он, полюбуйтесь, предатель и изменник Родины». А они не любуются, каждый будто в лицо хочет плюнуть или в морду дать.

Увидел этот посол или консул мое внутреннее сотрясение и говорит: «Чтобы остаться за границей, надо политическое убежище просить. Нужны объяснения серьезные и обоснованные. Например, притеснения со стороны властей, гонение на вас или родителей, родственников, аресты, тюрьма, а главное, что вы не согласны с советским режимом и с коммунизмом».

Вот, выходит, как дело оборачивается. Ни назад хода нету, ни вперед. В дрейф ложиться надо, куда волна вынесет.

Все-таки собрался с силами и говорю: «Если иначе никак нельзя, делайте как надо, а мне уже все равно».

Потом за мной приехали японцы из министерства иностранных дел и других органов. Они увезли меня в отель и поставили в комнате штатскую охрану, чтобы меня не украли советские агенты или кто-нибудь другой.

Утром пришли другие люди и дали подписывать какие-то бумаги. Стоп, сам себе думаю, какие это такие еще бумаги, а сам иду, подписываю. Да стоп же, сам на себя кричу, куда ж меня водоворот закручивает? А они только подсовывают, а я все подписываю не глядя, как в кинохронике на международных договорах. После заполнял формуляр и отвечал на вопросы. Мне показывали разные графы и говорили: «Вот тут пиши «да», а тут пиши «нет». Я так и делал. А дальше я мало что помню. Каждый день меня куда-то возили и расспрашивали про заводы, фабрики, про Владивосток и Находку и особенно про службу в армии. Ну что я им мог сказать, когда я ничего не знал. Про старые ППШ сказал — не верят, про то, что ничего не знаю,— тоже не верят.

На второй или третий день кто-то постучал в дверь не по-условному. Меня быстро затолкали в ванную, и со мной остался один из охраны. Выяснилось, что меня ищут журналисты, чтобы я подробнее рассказал про коммунистический ад, о чем было с моих как будто слов сообщено

в печати. Часов в пять утра меня подняли и вывели черным ходом и увезли в другой отель.

Здесь за чашкой кофе текла у нас непринужденная беседа. Меня спросили, могу ли я перечислить фамилии всех членов экипажа и сказать, кто чем занимается. Я не мог, так как было много новеньких. Тогда мне дали судовую роль всех членов команды, и я отметил ребят, которых знал. Потом принесли целую гору фотографий. Здесь были карточки всех членов команд всех пяти советских судов, стоящих в Токио, а также спортсменов и туристов, живших на судах. Также были сфотографированы все японцы, посещавшие советские суда,— и гости, и чиновники, и все, кто ступал на борт этих судов. Мне велели отложить снимки тех, кого я знал. Я так и сделал. Они стали расспрашивать о каждом из них.

Потом мне сказали, что представители экипажа «Урицкого» хотят со мной поговорить, и велели подписать бумагу, что я отказываюсь. Хорошо, что велели отказаться. А вдруг заставили бы встретиться! Что говорить им? Куда глаза прятать? Может, первая та была бумага, какую я охотно подписал. Еще несколько дней допрашивали, им не верилось, думали, просто под дурака играю. Когда убедились, что толку от меня мало, передали западногерманским немцам. Перед этим переводчик по-дружески сказал мне: «Американцам ты не нужен, в Японии тебя тоже не оставят, поэтому постарайся понравиться немцам. А они очень подозрительно к тебе отнесутся».

В посольстве ФРГ меня посадили за круглый стол, было много людей, и я думал, как мне отвечать на их вопросы. В это время быстро вошел их главный, все расступились, и он строго сверлил меня своими глазами и так быстро задавал вопросы, что я не успевал отвечать. Потом так близко наклонился ко мне и сказал резко, как приказ: «Тебе надо вернуться назад».

Я не ждал такого, но быстро сообразил, что это игра, которая входит в их политическую логику. Им выгодно на весь мир шуметь, что советские моряки бегут в ФРГ. Не такой я дурак, чтобы не понять, чего они хотят. Поэтому вскочил и закричал: «Нет, не вернусь!» Они заулыбались, стали успокаивать, говорить, чтоб не боялся, никто меня коммунистам не отдаст. Что же я делаю, думаю... А, черт с ними! Они пятьдесят лет так шумят. А в моем-то положении еще думать о чем-то...

Тогда и наступил главный вопрос: почему хочу именно в ФРГ и что я о ней знаю. А что я знал о ней? Ничего хорошего, только плохое. И вдруг стоп, сам себе думаю. Вспомнил последнюю политинформацию на судне. По ней прямо и пошел. Правительство Эрхарда, говорю, ведет борьбу с коммунизмом не на словах, а на деле. Вот запретили компартию и другие их органы, многих коммунистов посадили в тюрьму. Это, говорю, хороший пример от Гитлера, он тоже так начинал, и его поддерживал весь германский народ. Гитлер, говорю, каждому человеку дал хорошую работу, не стало безработицы, а проиграл войну только случайно... И тут один недоделок перебивает меня и спрашивает: «А ты нормальный? Ты один такой в Советском Союзе или еще есть?» Эти слова показались мне обидными, но я помнил предупреждение переводчика, обиды не показываю, говорю: «Вполне нормальный, и не я один такой».

Больше в тот день меня не трогали, зато за несколько дней потом всю душу выворотили своими вопросами. Снова отвезли к японцам и там сказали: «Сейчас у тебя будет встреча с советским консулом. Отказаться никак нельзя. Но ты не бойся, будут наши представители и охрана. Разговор будет ровно десять минут. Главная твоя задача вопросов не задавать и молчать. Десять минут какнибудь потерпишь». Нарисовали план комнаты, вот с этой стороны стола, говорят, консул будет сидеть, вот здесь ты, а тут и тут охрана и другие представители. Потом долго объясняли, что, если поддамся на пропаганду консула, дома меня без суда расстреляют, вроде такой закон есть.

Когда вошли мы в ту комнату, человек десять, консул уже был на месте. Совсем молодой, лет тридцать с чем-то. Вот, думаю, везет людям. А он поздоровался со мной, развел руками и, улыбнувшись, говорит: «Что же так много народу, не подеремся же мы с ним, как думаете, Виктор Иванович?» Нет, говорю, не подеремся.

Ему объяснили, что все это официальные представители. Консул справился о моем здоровье и самочувствии, а также сказал, что вся команда за меня очень переживает и что они все меня ждут на судно.

Я чувствовал и понимал, что консул говорил правду. Я знал, вся команда относилась ко мне хорошо, а может быть, даже с уважением. Я еще не успел ответить, как за-

говорили разные представители, они вроде упрекали консула за пропаганду. Так в суматохе прошли десять минут, консул успел сказать мне еще одну фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь и на каждый день. Я сейчас ее повторю, но, когда прошло десять минут, все вскочили и со всех сторон оттеснили меня от консула и почти что вытолкали побыстрее за дверь.

На другой день — про это я не скоро узнал — всякие газеты и радио кричали, что бежавший от советского режима матрос оказался стойким борцом против коммунизма и дал решительный отпор советскому консулу.

Потом приезжали по очереди американский и немецкий консулы, чтобы попрощаться со мной и сказать напутствие. Американец объяснил, какая сильная, богатая и надежная страна Америка и как хорошо там живут люди. На прощание сказал: «Помни и знай: Америка всегда за твоей спиной, и, что бы с тобой ни случилось, ты найдешь помощь, поддержку и спокойствие». На память он сфотографировался со мной. Потом приехал немецкий консул доктор Шмидт и говорил то же самое про ФРГ и тоже пожелал иметь на память нашу с ним фотографию.

Я понял, что моя жизнь будет обеспечена.

Перед отъездом в ФРГ получаю инструктаж. Сказали, что меня будут провожать торжественно, даже фотографы придут. Должен быть бодрым, глубокомысленно-деловым, в меру веселым. На аэродроме к самолету должен идти быстро, но не бежать, ни с кем не вступать в разговоры, не отвечать на вопросы. Когда поднимусь на верхнюю площадку трапа, спокойно и величественно повернуться лицом к публике, снять шляпу — мне уже выдали ее, хотя на мою голову она не лезла,— помахать ею красиво над головой, потом решительно повернуться и исчезнуть в самолете.

Мне это здорово на душу легло. Так же только в кинохронике провожают важных лиц. Ну, думаю, с этим-то я справлюсь, важности напустить на себя сумею. Инструктаж давали американцы, хотя отправлялся в ФРГ. Эта мысль промелькнула и не задержалась в голове: какая мне разница. Когда мы спустились, меня затолкали в машину в полном смысле, потому что я ослеп от вспышек фотографов. Со мной сели двое, а остальные разбежались по другим полицейским машинам, и на большой скоро-

сти, с воем сирен мы понеслись на аэродром. Там я увидел множество полицейских, а также толпу людей. Когда я вылез, меня снова ослепили вспышки, и я пошел не туда. Меня поймали за руку, повернули, подтолкнули в спину. Я торопился, спотыкался, как слепой, натыкался на полицейских, которые направляли мое движение. А я держал на голове шляпу рукой, чтобы ее не сдуло с макушки. Возле трапа опять ослепили, и я побежал наверх, чуть не упал, но, как мне было велено, на площадке сделал разворот, размахнулся в воздухе шляпой и, не надевая ее, вошел в самолет. У входа стоял человек, который показал, где мне сесть.

Тогда я не понимал, почему такие проводы, почему столько машин, бешеная скорость, сирены, вспышки фотографов. Спустя много времени узнал, что это им надо было для печати, для выгоды своего политического акцента как важного борца против коммунизма.

С посадками на Аляске и в Амстердаме, с разными приключениями я прибыл во Франкфурт-на-Майне и был поселен в однокомнатной квартире необитаемого дома на Мендельсонштрассе. Это был конспиративный дом американской разведки. Среди встречавших меня был американец Линдон, говоривший по-русски. Он познакомил меня с американским разведчиком Вагнером, который будет обо мне заботиться. Кто такой Вагнер и что это за дом, я узнал позже, а пока мне запретили выходить из дома, не велели приближаться к окнам, так как русские агенты могут меня застрелить. Объяснили, на какие звонки и стуки отвечать, пожелали спокойной ночи и ушли.

За столько времени я остался один, и хотя не верил тому, что они говорят, но стало страшновато. Весь трехэтажный дом стоял как пустой. Так я определил в первые три минуты и так заключил через три месяца, что это только кажется. На самом деле во всех углах тихо сидели люди — или такие, как я, которых прятали, или которые сами прятались, следя за нами. Долгие дни, и ночи, и недели, и месяцы я никого не встретил в этом большом доме и не услышал шороха. Но в тот первый вечер мне показалось, что кто-то сидит за стенами, может, в этих стенах и на потолке устроены глазки, и они поворачиваются за мной, куда бы я ни пошел.

Может, все это чушь, но я рассказываю про это, чтобы вы поняли мое внутреннее содержание. Я подумал: воз-

можно, я сойду с ума или уже стал сумасшедший,—и нарочно стал громко ходить, пошел в ванную, на кухню, открыл холодильник и даже ахнул. Весь он был огромный и полный самыми любыми продуктами питания и бутылками.

И тут я отвлекся от своих мыслей и подумал: вот бы ребята увидели, как я живу, как барин, с креслами, коврами, ванной и таким холодильником, что на весь экипаж хватило бы. А потом опять мне глазки чудились, я резко поворачивался, но ничего заметить не мог. Спал я как осенний дождик: то идет, то перестает. То дремлется, то спохватываюсь, а то вижу, что лежу и давно не сплю. Когда на следующий день позвонил Линдон и справился о самочувствии, я обрадовался, как родному голосу. Он сказал, что, наверно, я скучаю, потому сейчас ко мне приедет Вагнер. Он и приехал, вежливый, обходительный, веселый, и мне стало совсем хорошо. Он тоже говорил по-русски, мы сделали кофе, и потекла у нас задушевная беседа. Говорили мы на равных, я тоже старался и, как он, клал нога на ногу или разваливался в кресле с чашечкой кофе в руках. На столе было много закусок, и опять я подумал про ребят.

Основательно говорил только Вагнер, а я больше прислушивался и имел на его слова свое соображение. Получалось, что русские агенты стоят чуть ли не у дома и вообще повсюду расставлены и охотятся за такими, как я. А уж если человек сам вздумает вернуться в Россию, его обязательно признают шпионом и без всяких разговоров расстреляют.

Это я вам рассказываю сокращенно, а он про все это во всех мелочах часа три беседовал. Зря только он говорил, потому что я и сам кое-что понимал, а также выходить из квартиры намерения не имел и возвращаться не собирался. Я уже для себя решил без изменений: жилье хорошее, ешь, пей, сколько хочешь, а там видно будет.

На другой день начались допросы. Нет, наверно, допросов не было. Допрос — это когда так строго, официально, с протоколами... А тут просто беседы. Про политику, экономику, литературу, комментарии на различные советские газеты, журналы, книги и членов Советского правительства. Сюда также входят различного рода рассказы, анекдоты, женщины, все это последовательно закрепляется пивом, виски, кофе — кто что любит. А потом заверша-

ется общим обедом за общим столом. Такие беседы растягиваются на много месяцев. Но тогда я еще этого не знал. Тогда я только в первый раз пожалел, что нет у меня образования. И когда заходил разговор о музыке или литературе, говорил, что больше всего люблю Чайковского и Пушкина. Когда же начинали разбираться досконально по отдельным стихам или по мелочам музыки, я выражался общими словами, но думаю, они подозревали, что в этих делах я компетентный неокончательно. Я старался все больше по части анекдотов, и они всегда смеялись. В промежутках мне задавали много вопросов.

Иногда два-три человека сразу задавали один и тот же вопрос, только в разных вариантах, или один и тот же вопрос, но разные люди. Беседы были на квартире, но чаще всего в другом особняке, куда меня привозили на машине, и там нас обслуживала фрау Габбе.

Меня спрашивали про то же, что и в Токио,— о питании на судне, о тревогах на судне, о комсоставе на судне. Потом о Владивостоке и Находке. Какая глубина бухты Золотой Рог, заходят ли туда или нет подводные лодки, какие ворота бухты, как они охраняются, есть ли там ракетные корабли — и сто раз про одно и то же. Потом велели нарисовать по памяти бухту Золотой Рог. А я даже не знал, как приступиться. Зря наболтал им, что у меня десятилетка и морское училище окончил. Они ушли, а я стал думать, как рисовать. Думал, думал и здраво и логически сделал полное заключение, что они меня испытывают. Бухта Золотой Рог на всех морских картах есть и, наверно, в разных атласах и учебниках, и они лучше меня знают про эту бухту. А вопросы задают, чтобы проверить, правду я говорю или обманываю. Поэтому на другой день виду не подаю, показываю, что я там нарисовал, и очень стараюсь хорошо отвечать на вопросы.

Они поняли, что я не ловчу и человек честный, и сразу перешли на вопросы, которые им были нужны, а именно про Тюмень. Спрашивали про места нахождения газа, нефти, о научных институтах, лабораториях, о которых я не имел понятия. Потом про заводы, фабрики Тюмени, какую продукцию какие фабрики выпускают, какие настроения, о чем говорят рабочие, о воинских частях, ракетах, училищах, радиостанциях. Не брезговали ничем, даже

кинотеатрами, клубами, больницами. Даже глазная больница им зачем-то понадобилась. И где, на какой улице что находится, и какого цвета эти здания, и сколько этажей. Тюменью они интересовались так досконально и упорно, что каждый дурак уже мог понять, какую агентуру они собираются туда забрасывать. Про Тюмень они мучили меня не одну неделю, а я, как ни старался, толком ничего не мог сказать, потому что был совсем давно. Они заставили чертить улицы, расположения улиц и площадей, реку Туру.

Под конец третьего месяца я уже не мог спокойно разговаривать, потому что они вымотали из меня всю душу и выжали, как сильная прачка выкручивает белье, а потом вытряхнули, намочили и опять стали выжимать.

Исходя из принципа своего возмущения, я пожаловался Вагнеру.

Сказал, что скоро сойду с ума, а точно не знаю, может быть, я уже сумасшедший, и у меня не осталось ни внутренних, ни наружных сил. Сижу, как в тюрьме, дома, или увозят на закрытой машине, как арестованного, на допрос и опять сюда. Я выдавал не стесняясь, потому что долго терпел и знал, что Вагнер за меня заступится, поскольку с самого начала он обрисовал мне хорошую жизнь, про что я ему без утайки напомнил.

Вагнер слушал внимательно, сам молчал и только качал головой, также выражая сочувствие. Когда я ему все выдал как следует, он сказал, чтобы я перестал разыгрывать из себя дурачка и дурачить их. Они меня кормят, поят, одели, обули, им дорого обходится моя квартира с ванной, а взамен я ничего не даю. Таким сердитым я его не видел, тем более когда он говорил, что я их очень подвел. Они объявляли несколько раз в печати и по радио, что вот такие честные и умные люди, как я, не могут жить в советском режиме и бегут за границу, чтобы бороться против этого режима, и на весь мир напечатали мои заявления по этому поводу, которые я сам написал, а больше ничего не делаю и не борюсь, и тогда неизвестно, зачем я сюда приехал и почему они должны меня поить и кормить.

Я весь закипел, и внутри у меня до самого горла все закипело, но я понял, что переборщил, а выдержка у меня большая, поэтому виду не подал и молча притих.

Он заинтересованно, долго смотрел на меня, а я смотрел в землю, чтобы не повредить стратегию своего молчания. Стратегию я выбрал правильную, и хотя для слов он сказал, чтобы я не становился овсяной кашей, которую можно по тарелке размазывать, а для дела проявил полную капитуляцию. Сказал, что познакомит меня с двумя русскими парнями, такими, как я сам, разрешит ходить к ним в гости и представит самостоятельную работу.

Да, я забыл сказать, что у меня с первого дня все было завалено любого выбора антисоветской литературой — «Русская мысль», «Грани», «Посев» и всякие книги. Были вырезки и из советских газет, но только отрицательные. Один раз другой американец, Андерсон, который велел мне все читать, спрашивает, как мне понравился «Посев». Я честно сказал, что нет, не понравился, потому что они не умеют работать. Конечно, кое-что пишут похожее, а остальное придумывают нескладно или совсем глупо. Андерсону это было обидно слушать, потому что они вкладывают большие доллары. Все-таки, чтобы он не переживал, я добавил, что одно направление мне очень нравится как чистая правда. И на самом деле, я его в каждом номере газеты искал и полностью перечитывал, потому что в советских газетах такого ни за что не напечатают. Я себе даже кое-что на память вырезал. Вот почитайте, вот видите, сбор денег объявили. А кто объявил, посмотрите: «Союз Ревнителей Памяти Императора Николая II и состоящий под Августейшим Покровительством Его Императорского Величества Главы Императорского Дома Комитет по сооружению Лампады у Креста-Памятника Государю Императору Николаю II в Православном соборе в Ницце». А самое интересное, когда они про свои собрания сообщают. Там таких собраний и всяческих организаций тьматьмущая. Видите: «Объединение Императорской Конницы и Конной Артиллерии», «Объединение бывших чинов Собственного Его Величества Свободного Пехотного полка»... много таких. А то совсем чудные. Еще живы, оказывается, и тоже собираются, смотрите: «Фрейлины Их Императорских Величеств Государынь Императриц». Смех один, а интересно про это читать.

Про тот разговор с Андерсоном теперь вспомнил Вагнер. Сказал, как я тогда верно подметил, что главные статьи у них получаются придуманными. Они пишут по

отрицательным вырезкам советских газет, а из России уехали давно и свои добавки и перекройки выражают таким стилем, какой был в России десятки лет тому назад. Получается мешанина и чепуха. А то, что теперь из головы придумывают сами, забывают, какая теперь Россия развитая, и выходит очень глупо. Потом хотят выкрутиться — и уже совсем ни на что не похоже.

Вагнер говорил, что, хотя я не журналист, у меня должно хорошо получиться, потому что я только приехал. Направление надо держать как у них, но из собственной жизни, с участием вырезок, и получится как правда. Если я с этим делом справлюсь, он устроит меня работать на их радиостанцию «Свобода» в Мюнхене. А там очень много платят и дают дешевую квартиру.

Я прикинул, что, если он так идет мне навстречу, постараюсь вовсю. Так ему и сказал. На другой день повел меня в одну квартиру, метрах в ста от моего дома, и познакомил с Женей и Иваном, которые там жили с одним американцем. Это были хорошие, грамотные ребята, после техникума и опытные механики. Они работали не то приемщиками, не то на какой-то стройке или заводе в ГДР, чего-то не поладили со своим же начальником, а оба гордые, и сбежали сюда.

Ну, вместе с Вагнером мы закатили ужин на славу. Потом стали часто встречаться у меня или у них. Днем я читал антисоветскую литературу, а после двенадцати ночи ходил в ночной бар или на стриптиз. С нами еще был американец, который жил с ребятами, парень хороший, никогда нам не мешал, старался уйти в сторону, чтобы мы не стесняясь разговаривали. А только каждый себе на уме, и разговаривали мы осторожно. Кто чем занимается, не интересовались. И фамилии не спрашивали. Если один скажет про американцев или немцев положительный пример, обязательно остальные поддержат. Каждый думал: может быть, другой выдает себя не за того, кто он есть, а приставлен для выяснения настроения. Я даже не один раз произносил посевские антисоветские фразы. Так-то оно верней.

Дешевый стриптиз придавал мне отвращение, а на дорогой не было денег. Ночные бары тоже не завлекали, и я не принимал больше туда приглашений. Всего раза три или четыре ходил. Вечером мы просто гуляли уже без охраны американца.

А потом у меня появилось много новых знакомых, потому что Вагнер или кто-то еще посоветовал сходить в русскую церковь. Маленькая такая деревянная церквушка в районе Индустрихоф. Там собираются эмигранты антисоветской организации энтээсов. Вообще-то они не организация в смысле там партии, профсоюза или объединений, про которые я вам в газете показывал. Я потом с ними со всеми перезнакомился. Они просто состоят на службе по выпуску антисоветской литературы и других провокаций. Правда, получают за это много.

За границей такой способ часто применяется. К примеру, числится хозяином фирмы или магазина какой-нибудь чудак, а на самом деле он подставное лицо и только на службе состоит. Настоящий хозяин совсем другой, и по какой-то своей выгоде ему невыгодно раскрываться. Само собой, подставному не зарплату платят, а порядочные деньги.

Так вот и энтээс. Американцам выгодно, чтобы вроде не они хозяева, а энтээсы будто сами по себе существуют. А на какие шиши, спрашивается, им существовать? Всякая их литература, как «Посев» или другие, хотя цена на них проставлена, для торговли не подходят. Никто не купит. Они свою продукцию бесплатно раздают, а тем, кто раздает, комиссионные насчитывают. Одни по-честному советским туристам норовят всучить, или людям в почтовые ящики втискивают, или по почте отправляют. А другие с ходу на далекие свалки тащат, а говорят — раздали, чтобы комиссионные получить...

Ну, пошел я в первое воскресенье в церковь, смотрю, молебен служат. Он заключался в том, что вспоминали различных князей, поминали царя, «многострадальную Россию», перечислялись фамилии больных. Молебен служил священник граф Игнатьев, он же отец Леонид.

Потом подошла ко мне одна старая бабушка и говорит: «Вы Виктор?» Да, отвечаю, Виктор, а сам думаю: откуда она меня знает? «Ну, пойдемте,— говорит,— я о вас слышала». Это была бабушка Горачек, называли ее Петровной. Служба уже кончилась, она меня познакомила со своим сыном Владимиром Еромировичем. Он в «Посеве» самый главный или около этого, с его женой Ниной Викторовной — очень хорошая женщина. Потом, когда меня крестили — я расскажу про это,— она мне сама белую ру-

баху шила. С Артемовым познакомила, тоже шишка у них большая, а потом эта бабушка подводит к графу Игнатьеву и говорит: «Это новенький, батюшка». И его жена, графиня Анна Владимировна, тут же была, ручку мне подает. Она тоже начальница в Толстовском фонде, так он называется.

И думаю я: как времена меняются. Раньше бы графы и князья близко к себе не подпустили, а не то что ручку, а тут заслужил такой почет. Все-таки интересно мне за границей становилось.

В то воскресенье произошло самое главное. В церкви я молодежи не видел, а во дворе были и ребята и девушки — дети энтэзсов. Меня со многими тогда познакомили. И вижу вдруг — стоит одна такая красивая, каких я еще не видел. И не то чтобы намазанная, а от природы такая. И фигурка такая же невозможная. И с ней меня познакомили. И так она на меня ласково смотрит своими глазами, что просто сердце заходится. Я думал, она русская, оказывается, немка. Родители в деревне, она студентка, все время жила в Мюнхене в семье Мозговых — это тоже энтэзсы — и подрабатывала на пропитание в «Посеве». Русский язык знает, как мы. Теперь живет отдельно, имеет квартиру.

Вижу, и ей со мной интересно. Мы стали гулять возле церкви, она мне свой телефон дала, просила звонить.

Я стал встречаться с Карин. Так звали ту девушку. Фамилия ее Локштедт. После третьей встречи я уже видел, что она в меня влюбилась окончательно. Пригласила к себе на квартиру. А там так уютненько, так тепло, как она сама. Приготовила ужин, виски поставила, хотя я не любитель пить, но и сам на всякий случай бутылочку прихватил. А она все хлопочет, все красиво расставляет, и свет в комнате голубой и тихий, верхний она выключила.

Эх, не знал я, какую она судьбу в моей жизни сыграет.

Тогда я первый раз остался у нее ночевать. А утром поспешил домой, потому что мог прийти мистер Вагнер. Он опять был недоволен, что долго пишу. Я честно старался, а никак не получалось. Тогда хитро придумал одну штуковину. На обратной стороне, где были две заметки и фотографии, оказалась статья Юрия Жукова про НАТО. Я ее переписал и там, где было НАТО, ставил «Варшавский блок». Не подряд, само собой, а чтобы смысл выдержать.

По-моему, хорошо получилось, что из-за этого блока весь мир будоражится. Сам бы я, конечно, не дошел до такого, но от посевцев научился. Они всегда с больной головы на здоровую перекраивали. Ну, а чем я хуже, думаю.

Вагнер забрал мое произведение, а дня через три вернул, говорит, написано складно, а лучше бы я про себя писал и про то, что сам видел — с помощью вырезок.

Прошло еще время, а у меня опять не получалось и некогда было. Меня очень приголубила семья Горачеков, они рядом жили, на Котенхофштрассе. Я приходил туда почти каждый день или с Карин обедали там. Ее все хорошо знали. К Горачекам приходили часто его кореши по службе. Отец Леонид бывал, здоровый такой старик с белой бородой, а пил лихо, как офицер, и матерился здорово. Светланин приходил — редактор «Посева». Фамилия ему Лихачев, а Светланин — это по какой-то его бабе, Светлана ее звали. Живот огромный, руки на живот положит и пальцами крутит то в одну сторону, то в другую. И хихикает. Он никогда не смеялся, только хихикал. Председателя энтээсов Поремского не раз видел у Горачеков. Этот все больше молчал. Поломает пополам сигаретку, одну половинку обратно в портсигарчик, а вторую в мундштучок. До самого конца докуривал. А потом булавочкой вытащит — она у него всегда на уголочке воротника между шовчиком в пиджак заколота — и выковыривает окурок. Теперь его на задние роли Артемов переборол. У них там все время потасовки за главные места. Мне Карин подробно рассказывала. Один раз до того подрались, что два энтээса получилось. И вместо того чтобы антисоветскую деятельность пропагандировать, они друг против дружки пошли. А и без того там тьма эмигрантских разновидностей между собой схватывается. Американцы все-таки нашли выход. Той половине, что поменьше была, чтобы дешевле обошлось, отступного дали и условие поставили: пусть совсем уезжают и больше не вмешиваются. Ну, те не дураки, согласились. Должно быть, немалые доллары отхватили. К примеру, невелик был начальничек Андрей Тенсон. Я его тоже у Горачеков видел, а ему — десять тысяч как на тарелочке. Хитрый мужик, денежки протютюкал и опять приполз. Правда, не то чтобы пропил или там на баб, он себе в Мюнхене бензиновую колонку купил, а сам к делу не

приспособлен. Вот и прогорел. В начальники его, само собой, не пустили, а взять взяли. У них на американской радиостанции «Свобода» свой энтээс сидит — Гаранин, к нему в русский отдел и сунули. Теперь он там работает, а к энтээсам сюда за материалами и для связи ездит.

Ну, это я уже в сторону от своей жизни пошел. Скажу только, что немало я в том котле поварился. Они ведь меня сразу за своего признали. Должно быть, на мой счет им протекцию Вагнер сделал. Для отвода глаз он мне не советовал с ними связываться, а сам же и направил туда. Они мне особых вопросов не задавали, но я видел, они без вопросов все про меня знали. А может, Карин какое ручательство дала, я ей все про себя рассказал. А про нее я все больше задумывался. Думал, ей меньше лет, а получилось, она уже десять лет студенткой числится. Учебников или тетрадей у нее не видел, а целый день с утра до ночи все какие-то дела, все торопится и дома не сидит. А если дома, так телефон звонит, хоть провод оторви.

Один раз обедал я с ней у Горачеков, и отзывают меня в другую комнату Артемов и Околович. Тертый мужик этот Околович. На все разведки мира работал и ни разу не попался. Перед войной, говорят, перешел границу в СССР, полстраны объездил и спокойно вернулся. А в войну в смоленском гестапо служил, и тоже не поймали. А приметный он здорово. Росточка совсем маленького, а лицо длинное, нос длинный, с горбиком, и сам сутулый. А вот выкрутился из всех оказий и прочно в энтээсе засел. Ему уже лет семьдесят, а он все шебуршится.

Так вот он и Артемов предложили мне поработать в «Посеве». Нам, говорят, позарез молодежь нужна. Какую работу делать, не намекают, все больше на деньги ударение делают. Помогать, говорят, вам будет Трушнович, человек опытный, не одного уже в люди вывел. На другой день ко мне сам Трушнович пришел. Будем, говорит, с вами книгу вашего жизнеописания делать. С самого рождения простого русского парня, который сам перенес муштровку в советской школе, колхозные ужасы, рабский труд на пароходе, недовольство в армии и сам нашел выход — уехать за границу и бороться.

Вот, значит, куда хватили. Сами-то энтээсы как подставная фирма у американцев работают, а меня хотят еще

под себя подстелить. А я уже этих жизнеописаний посевских начитался. Такое пишут, что только плюнуть и растереть. И чтобы под таким моя фамилия стояла?

И не для того я приехал, чтобы бороться против своих. Я хотел мир посмотреть, попутешествовать, узнать, где лучше всего живут люди. Правда, наговорил уже с самого Токио немало, только одно дело говорить таким, как они, пусть уши развешивают, а другое — книгу враждебную выдумать. А вдруг она к ребятам на «Урицкого» попадет? Судно ведь по всему миру ходит и сюда очень просто может заявиться. Они ж меня живого или мертвого найдут и пришибут за любую ответственность. Трушновичу, конечно, про это молчу, а он видит, что я злюсь, и быстренько так прощается. А назавтра опять заявился.

Веселый такой. «Ну что,— говорит,— сегодня начинать будем»; вроде на мой отказ ему наплевать. Я молчу, слова подбираю. А он меня весело по плечу похлопал и говорит: «Давай, давай, Витя, хватит тебе от американцев подарки принимать да с их рук высматривать каждый пфенниг. Книгу напишем — вот тебе и машина, и квартира, и на девочек останется». Говорит, а сам смеется, вроде смешно ему. А у меня, верите, будто залпом из дробовика по всему телу дали. Ах ты гад ползучий, думаю. Ладно бы Вагнер или Линдон попрекали, а то эта...

«А ты,— говорю,— сам на чьи подачки кормишься? Из чьих рук все энтэсы высматривают?» — «Мы,— отвечает он,— боремся за идею».— «За идею? — спрашиваю. А когда посты не поделили и неустойку от американцев взяли, тоже за идею? Сколько отступного Байдалакову дали за его пост председателя энтэсов и чтоб потом он не путался под ногами? Куда же,— говорю,— его идея подевалась, если он за нее денежки принял и молчит, как закопанный, до самой смерти?»

Трушнович все перебить меня норовил, но я не дал, все ему высказал. А он выпустил свой главный козырной туз. Зачем, дескать, тогда сюда приехал, если ты такой коммунист, зачем бежал, если никто тебя не звал сюда, и прочее такое. Припер он меня так и ушел.

Я по комнате из угла в угол, не знаю, что делать. У меня и раньше закрадывалось в груди: может, я промахнулся на большую ошибку? Тогда плакала моя дальнейшая будущность. Но при встречах с американцами, с Иваном, Женей,

да и с энтээсами держал себя таким антисоветским героем. Надеялся, обопрусь на какой-нибудь случай, что судьбу мою выправит.

Бегаю по комнате, и, на радость, Карин звонит, сейчас, говорит, приду. Она всегда за меня переживала, заботилась и понимала меня даже в том, что я от всех скрывал. Ей я все рассказывал — и хорошее, и плохое, и даже мечты, о чем думал и никому бы не доверил.

Приезжает она, только стал рассказывать, а она в слезы. Плачет, а сама лаской просит. Карин умела с кем угодно разговаривать и своими улыбками и глазами любого уговорить или сделать так, чтобы он ей в любви объяснился. А тут слезами и лаской. «Какая,— говорит,— тебе разница, заработаешь хорошо, другая жизнь у нас пойдет».

Что, думаю, делать? Потом вспоминаю: я же не успел ей про все рассказать. Похоже, она без меня знает, что тут произошло. Мне бы тогда спохватиться, что она свою роль со мной играет. Свою или чужую, не знаю, только жизненно играла. И ни о чем я не догадывался. Я ей верил еще долго. И когда в Москву уехала, в гостиницу «Украина» звонил и переписывался с ней, и потом, пока до тюрьмы меня не довела. А в тот вечер как вожжа под хвост попала: не буду, говорю, никакой книги делать, и все тут. Обиделась она — первый раз ее не послушал — и рванула из комнаты.

И опять я из угла в угол. Думаю, думаю, и докатились мои думы до Владивостока. Вспомнил музыкальный салон на «Урицком», песни, танцы, человеческие отношения, вспомнил наш матросский хор, в котором и я пел, веселых матросов и девчат, друзей и родителей вспомнил, и покатились у меня слезы. Первые мои слезы в западном свободном мире. Сколько их еще потом пролилось... А ведь я упорный, никогда пощады не просил и слез не выдавливал. Отец бил, тоже не плакал. А тут нервы не сработали.

Еще день прошел, и вызывают меня в тот особняк, где беседы велись. И опять встречает фрау Габбе. Мистер Андерсон навстречу выходит, приглашает садиться. «Жаль,— говорит,— что нам надо расстаться, но, к сожалению, мы не можем вас дольше оставлять у себя. Все, что было обещано, уже сделано, вас ждет хорошая работа. Мы передаем вас в другую организацию, тоже нашу,

но ведающую устройством на работу. Вот вам телефон туда к мистеру Райли».

Что?.. Устал, конечно, но не знаю, смогу или нет еще с вами встретиться. Давайте уж сегодня кончим, я дальше сокращенно буду.

Одним словом, послали меня на завод в местечко Нойс под Дюссельдорфом. Перед отъездом у меня ночевала Карин, которая обиду забыла. Она со мной до самого Нойса поехала. Завод американский, там делают всякие детали для тракторов и автомобилей. Рабочие были там со всего света: немцы, португальцы, югославы, испанцы, финны и другие. Поселили меня в общежитие вроде барака. Комнатка маленькая, там все такие, и в каждой немец и три иностранных рабочих. На этом заводе и Женя работал.

Да, забыл я вам сказать: когда еще он во Франкфурте был, позвонил он мне один раз ночью и говорит, что Иван убил себя. Сначала плакал, обзывал себя дураком и сволочью, кричал, что его обманули и больше он не может, и ударил себя ножом в грудь три раза, весь изрезался, нож у него выбили, а его отвезли куда-то.

Не сват мне Иван, не брат, а извещение это... как будто не Иван, а сам я себя ножом переполосовал. Вот она, подумал, и моя дальнейшая судьба-дорожка по этой жизни.. Ходил опять от окна к двери туда-сюда, туда-сюда и не про Ивана думал, про себя думал. Часа два километры вышагивал, пока силы не кончились. Лег обратно в кровать, где там — не только спать, улежать не могу. Скорее бы утра дождаться. Поднялся и заметался опять, как в зверинце. Все быстрее и быстрее хожу, вроде убежать куда можно. И такое в голове творилось — как бы в горячке и на себя руки не наложить.

Разбужу, думаю, Женю, вдвоем полегче будет. Звоню ему, а он с полгудка трубку поднял, тоже, выходит, не спал. «Слушаю,— говорит,— слушаю, кто это?» Тревожно так говорит, а мне все равно полегче стало, голос его услышал. «Приходи,— говорю,— Женя, ко мне, или я приду». А он не своим голосом закричал: «Никуда не пойду, и ты не приходи!» — и трубку бросил, как будто я виноват за Ивана.

Испугался я, и опять в голове — как насосом ее накачали и дальше подкачивают, вот-вот лопнет.

А ведь и верно, чего ходить? Он предатель, я предатель,

и вокруг нас отстой подонков из энтээсов, и мы туда потихоньку оседаем, скоро до самого дна спустимся. И дорога нам только туда, ко дну, и груз уже такой сами на себя наложили, что не выплыть больше. И как назло, откуда взялось — про первомайскую демонстрацию во Владивостоке вспомнил. И знамена красные, и пляски на ходу с оркестрами, и «Золотой Рог», и забился я, как баба, в голос. Как до утра дотянул, один бог только знает. С тех пор про Ивана я ничего не слышал. Выжил он, нет ли, не знаю. А Женя через два дня уехал на завод работать. Здесь мы с ним теперь и встретились.

Работа у меня была простая. Большим крюком зацеплял огромную деталь трактора и волочил юзом по бетонному полу к стану. А там уже полная механизация. Нажимаю кнопку подъемника — деталь идет вверх, потом накрепко садится в гнездо. Поверну рычажок — и сверло пошло в тело. Тут уже делать больше нечего, сверло само свое дело сделает, а я с крюком за второй деталью. К концу сверловки надо ее успеть подтащить, потому что рядом второй станок для дальнейшей обработки ждет.

Вроде все просто, а была это в полной мере каторга. На механизацию пять — десять секунд уходило, а все остальное время тащил крюком непосильные детали. Вставали в четыре, не позже полпятого утра, потому что в шесть уже надо браться за крюк. Обеденный перерыв в двенадцать тридцать, а кончали в пять. И целый проклятый день тащишь эти тяжелые, как наковальни, детали и под конец уже так изгибаешься, чуть мордой не тычешься в землю. Остановиться нельзя, никак нельзя, там целый большой ряд станков, и если на одном задержка, все враз встанут.

Домой приходили без рук, без ног. А свалиться на койку нельзя, ужина в столовке дожидаемся. Перед ужином — молитва. Надо руки сложить ладонями вместе и повторять за комендантом слова. Так, верите, руки не держались, падали.

Я терпел, думал: с непривычки, обойдется, привыкну, человек ко всему привыкает. А только скажу вам: к каторге привыкнуть нет сил. Там на таких работах одни иностранцы, а немцы по всем цехам и участкам рассеяны, как и в комнатах общежития. Работа у них без крюков, только на кнопках, а за наблюдение за нами им еще одна зарплата идет. И за длинный рабочий день еще одна. Каждый немец

втрое больше нашего получал. Хотя они старались, а все равно иностранцы не выдерживали и убегали. Но простоя не было, новых пригоняли.

Работал, света белого не видел. Какое там кино или еще чего-нибудь. Только в воскресенье полегче было, хоть отсыпались вволю. А встанешь, постираться надо, под душ надо, и так на весь день всякие мелочи набегали.

В одно воскресенье стал я жаловаться Жене — мы уже тогда не прятались друг от друга, откровенно разговаривали,— а он только рукой махнул. «Я,— говорит,— механик, а тоже крюк дали в руки. Надо бежать отсюда к чертовой матери, пока не поздно».— «Куда же бежать,— спрашиваю,— Женя?» — «Как куда, совсем бежать домой».— «А там тебе сразу: предатель и изменник Родины, получай тюрьму».— «Ну и черт с ней, отсидишь, хоть жить по-человечески станешь».

Тут я его и спросил, о чем давно хотел вопрос задать. «Женя,— говорю,— ну, ладно, я дурак неученый, а ты механик первой руки, сам хвастался, что тебе почет и уважение отдавали. Ты-то почему бежал?» — «А потому и бежал,— отвечает,— что тоже дурак, хотя техник. По дурости вообразил, что весь пуп земли — это мы с Иваном. На мне с Иваном целый участок ГДР держался, а отпуск на десять дней начальник отказался дать. Почему же, говорю, другим можно, а нам нет, если мы лучше других работаем? Ну, и завязался спор. Я ему прямо сказал: «Любимчиков своих по два раза пускаете, а на нас выезжаете». А ему хоть бы что. Нет, и все тут. Ну, думаю, и мы тебе тем же ответим. И не стали выкладываться, как раньше. А он придираться начал и все равно верх брал как начальник. За каждую мелочь цеплялся. Ну просто никакого житья не стало. Издевался, как хотел, должно быть, решил выжить нас. Что ж, думаем, так и уехать домой оплеванными? А он еще и характеристику вслед пошлет такую, что перед людьми стыдно будет. Думали, думали, как отомстить, и пришла в голову эта мальчишеская идиотская идея. Он ведь за нас всю полноту ответственности несет. Вот уж повертится, если сбежать. Он же с ума от такого чепе сойдет. А кроме того, интересно поездить, мир посмотреть. Вот и смотрю. Получилось, как в поговорке: назло отцу я себе уши отморожу... Ивана жалко, на этот безумный шаг я его подбил. Парню всего девятнадцать было, ветер в голове. Я как-то сказал ему про это, когда

он очень терзался, молодость, говорю, виновата, а он еще больше обозлился: «Молодость, молодость... Гайдар в семнадцать полком командовал и рубил всякую сволочь. А мы в свои девятнадцать к его недобиткам в услужение приехали». Вскоре после этого он и схватился за нож».

Это был мой последний разговор с Женей. Ничего не сказал он мне, уехал во Франкфурт, а потом сбежал в Советский Союз. Узнал про это через полгода от Горачека.

А я продолжал работать на заводе, пока одни кости да кожа от меня не остались.

Поднимаюсь, чтобы к проклятым наковальням идти, а подняться не могу. Все-таки поднялся и потащился. Только не на завод, а на вокзал. Вернулся во Франкфурт. Ни денег, ни квартиры, ни работы. Явился к Карин. Приняла она меня хорошо. А я и тогда еще не догадывался и не скоро понял, что и эту каторгу, и те, что были потом, они специально устраивали, чтобы некуда мне было податься, кроме энтээсов. И опять туда подталкивает. А я не пошел, стал правду искать.

Где я только не был, чего не перепробовал! Вагнер сразу от меня откачнулся, Райли тоже. Направился в американский консулат, напомнил про богатую и надежную Америку, которая всегда будет за моей спиной, как разъяснил мне ихний консул в Токио. С неделю по его требованию ходил к нему, пока не отправил меня на любые четыре стороны. Я в Бонн кинулся, в американское посольство. «Вам кого?» — спрашивают. Не знаю кого, отвечаю. Я советский матрос, про дальнейшую судьбу хочу выяснить. Они заулыбались, усаживают меня, думали, я новенький, только сбежавший. А выяснилось когда, сразу кислые морды стали. Прямо так выгнать неловко, велели подождать, провели к какому-то типу вроде переводчика. И ноги на столе. Я думал, так говорят только — «ноги на стол», а он натурально на столе их держит. Выслушал меня, сколько американцы наобещали, позвонил куда-то, потом говорит: «Пойдем». Вывел на лестницу, показал направление: «Прямо на вокзал попадешь. Езжай во Франкфурт. Тебе работу дали, а ты сбежал. Теперь возвращайся».

Пошел я прямо в министерство иностранных дел. Думаю, самое главное, чтоб важный чиновник выслушал, а не сошка какая. Пришел советский матрос, говорю,

и так далее. А раскрываться до конца не спешу, пусть, думаю, поважнее кто явится. Стратегия моя удалась, большой чин меня принял, а только кончилось пустотой. Отправился я в Организацию Объединенных Наций в Бонне, к комиссару по делам беженцев. Тут со мной целую неделю возились. И тоже во Франкфурт-на-Майне направили, там, говорят, вас устроят. Правда, на дорогу пятьдесят марок дали. А у меня уже сто раз такие направления были. И сто раз я туда возвращался, а получался один и тот же толк. Я вам все подряд перечисляю, а ходил-ездил-то не подряд. На это пошли месяцы, а то и не один год. Чего только не натерпелся, не намучился. Какие и от кого унижения на себя принял, перед кем ни улыбался. Посылали на разные работы, а покажешь свой беспаспортный документ — и морды воротят. Берут только там, где каторга или аврал какой. Тогда на временную, до отбоя. Потом опять на улице. Самым натуральным образом на улице. Спал на вокзалах, в скверах, даже в забытой солдатской душевой. И в дождь и в холод не раз по асфальту шлепал, сам себя, сжавшись, согревал. Вот тогда и вспоминал каждый день эти слова советского консула в Токио. Что?.. Не сказал разве? Простые слова: «Все у вас будет, сказал, что тут вам обещали. И квартира, и полный холодильник, и кофе с коньяком. А только выжмут из вас все, что можно, и выбросят на помойку. Тогда и запроситесь домой». Вот какие слова сказал. Будто на несколько лет вперед меня по моей жизни прошелся. И не выходят эти слова из головы. Только как проситься? Может, и через край берут энтээсы, может, не расстреляют, а только большой срок дадут. Кому я потом, старый и больной калека, нужен буду?.. А почему Женя не побоялся тюрьмы? А Иван побоялся, но и жить тут не мог.

Вот в таких мыслях и тянется моя беспощадная жизнь. Наголодаешься вволю и идешь на первую каторгу, что по дороге попадется. Самое большее на месяц хватало сил. На заработанные деньги хожу-езжу жаловаться. Посылают во Франкфурт, а я уже знаю, куда пошлют, и еду. Все надеюсь на что-то, да и Карин притягивала туда. И опять энтээсы вокруг меня. Но я уже знал их расчет: не выдержит человек, все равно к ним явится. Все-таки ездил туда охотно. Кроме Карин, много знакомых ребят — Володя Курдюков, Леня Артемов, Витя Гу-

менюк, Миша Горачек, Таня Гаранина со своим парнем и еще другие. Все они дети энтээсов, но у них особые мнения. Что делают родители, они насмотрелись, им хочется посмотреть свою родину, которую никогда не видели, а те их смертной казнью пугают, и у них продолжается инцидент.

Хорошо, конечно, с ними встречаться, на вечеринки ходить, если есть работа. А работы не было. Один раз все-таки повезло. Устроили маляром в жилой городок американской военной базы «Вольфганг» возле Ханау. Работа сдельная, с квадратного метра. Зарабатывал еле-еле, потому что пока мебель отодвинешь, пол бумагой застелешь, да все закутки закрасишь, еще ничего не набегало. Но я очень старался, все-таки лучше, чем с крюками.

Через несколько месяцев узнал, что у них свой филиал есть под Франкфуртом, и стал проситься туда. Сначала подозрительно на это смотрели, а после моих объяснений о друзьях и Карин поверили и перевели. Обосновался в казарме на Эмерсхаймерландштрассе. Работать маляром мне пока доверия не было. В столярной мастерской я склеивал стулья, табуретки, которые расшатались или развалились. Встречался с молодежью и с Карин. От нее и узнал, что во Франкфурте есть общество «Дружба». Там советские люди, которых забросила сюда война, и каждый по своей причине вернуться не мог, но и против Родины не идет. Они смотрят советские фильмы, собирают библиотеки, отмечают Октябрьский и другие праздники. Одним словом, поперек горла энтээсам стоят.

Меня заинтересовало, и я пошел туда. Потом Карин рассказывал про них. И опять завились вокруг энтээсы. Как только в голову им такое пришло. Предложили в последний раз, говорят, одним махом разбогатеть. Посещать «Дружбу» и написать потом, что она связана с советской военной миссией во Франкфурте и передает туда разведывательные данные. Я им, конечно, приготовил отпор, какого они еще не видели. И весь расстроенный ушел, ищу Карин. Никто, кроме нее, не мог им сказать, что я в «Дружбе» был. Только стал ей претензии, а она как из пулемета: «Никогда,— говорит,— я тебя не любила, хотела человека из тебя сделать, а ты просто русская свинья и вон навсегда отсюда». И пока говорила, по щекам меня — раз, раз, раз... Ну, и я нервами сдал, сам пощечину

ей отвесил. Не за то, что по щекам,— слова ее больней били. И сейчас вот здесь ноет, как вспомню, как я не мог раскусить раньше.

На другой вечер заходят ко мне трое в штатском. Одного я узнал сразу. Он из американской разведки, охранял Ивана и Женю. Поэтому я не сопротивлялся, когда они без всяких разговоров обыскали мои вещи и повели в машину, отвезли в полицей-президиум. Здесь дежурный потребовал у меня пистолет и бандитский механизированный нож. Я ответил: пистолета у меня нет,— а нож достал. Он был с кнопкой, выскакивал сам, но пользовался им для хлеба и пищи.

Дежурный взял нож, посмотрел в какую-то папку и сказал: «Приметы совпадают». Меня обыскали и отвели в камеру. Утром взяли на допрос, дали мне на подпись бумаги. Теперь я уже так легко не подписывал, потребовал переводчика.

Делать им нечего, вызвали. Обвиняли меня в том, что являюсь советским шпионом, езжу по немецким городам, а потом во Франкфурт-на-Майне, где что видел, передаю советской военной миссии. При этом пытался изнасиловать немецкую девушку Карин Локштедт, угрожал ей пистолетом и ножом, шантажировал, на что прилагается ее личное заявление, а также медицинская экспертиза о побоях и вещественное доказательство — нож, приметы которого обозначены в ее личном заявлении.

Кончил читать переводчик, об чем-то меня спрашивают, трясут за плечо, а я молчу, чисто языка лишился. Потом потихоньку кровь по своим местам пошла, и мне полегче стало. Про миссию, говорю, никакого понятия не имею и все начисто неправда, а Карин знаю хорошо, и вызывайте ее на очную ставку, и сами послушайте, что произойдет, потому что я с ней уже который год живу и еще неизвестно, кто над кем насилие свершил.

«Мы и сами хотели,— отвечают,— но она отказалась, боится вас видеть». На этом допрос закончился. Целый месяц полицейские или следователи меня не вызывали. Зато энтээсы весь месяц давали о себе знать. Первым пришел в камеру батюшка — отец Леонид в церковном обряде. Ахал, охал, сказал, что надо подобрать хорошего адвоката и тогда все будет хорошо. Смеется он надо мной, что ли? Где же на это деньги взять? «Заблудшего сына,— говорит,— церковь и русские люди никогда не оставят».

И на самом деле пришел адвокат. Многие энтээсы меня посещали, Карин присылала посылки, в письмах просила прощения. Когда пришел Горачек, сказал, что видел ее в прокуратуре, она просила свидания, но ей не разрешили.

Да что же это за человек такой? На кого она работает? И что со мной хочет сделать? Не просто же это?

Пока сидел в одиночной камере, много о ней думал. Вспомнил, как в Москву уезжала, и некоторые вещи теперь по-другому проявились. Отправлялась она с немецкой выставкой как переводчица химической фирмы «Гест». Узнал про это во время моих поисков работы и правды, когда в который уже раз приехал во Франкфурт. Остановился у нее, как раз сборы шли. У нее штук двадцать писем было с адресами на русском языке и с готовыми советскими марками. Только в тюрьме подумал: значит, подпольные письма в Москве опускать будет, чтоб не знали, что из ФРГ. И денег много было в пачках. Тогда не пришло в голову, а в камере не сомневался: не для себя, кому-то везла. Или чтоб подкупить можно было.

И еще одно соображение выплыло: ехала от немецкой фирмы, а паспорт привезли и провожали американцы. Мне она не разрешила на аэродром ехать, а кто за ней прибыл, я видел. Я у нее случайно целую кучу адресов московских нашел. Инженеров разных, учителей, таксистов, и на каждом проставлена профессия. Я из ревности ей недовольство высказал, а она как крикнет: «Не смей к моим вещам прикасаться!» И только в камере подумал: нет, не шуры-амуры это, а посерьезней.

Чтобы с этим закончить, скажу: был суд, про шпионаж и военную миссию разговоров не было, замяли они это все, а за насилие с побоями судили. Карин не пришла. Адвокат их на лопатки разложил, доказал все как было. Много журналистов и корреспондентов наехало, вся печать про это писала, и все-таки месяц тюрьмы дали. Правда, месяц я уже отсидел, сразу выпустили, а радости нет никакой. Что я теперь и кто я? Куда деваться?

Поехал к Горачекам, они хорошо ко мне относились и провокаций моих не добивались.

Вы как хотите, а я не признаю энтээсов антисоветчиками. Они только так числятся, ну работа у них такая. К примеру, возьмите Жору Чикарлеева. Ему под шестьдесят, а может, уже и перевалило, а его по отчеству назвать

ни у кого язык не повернется. Жора и Жора. Он у них на самой грязной работе. Один раз на советский корабль явился, когда эскадра с визитом приходила, туда всю публику без разбора пускали. Люди ходят толпами, им интересно, а Жора по закоулкам рыщет. Увидел одинокого матроса, обернулся по сторонам — никого нет — и сует моряку листовку. Матрос смотрит и говорит: «Да мне ж двадцать суток строгого дадут или судить будут,— тоже осматривается матрос по сторонам и тоже видит: никого нет,— за тебя, гада»,— и бах Жору во всей одежде за борт.

Он потом подробно рассказывал, требуя возмещения за ущерб в здоровье и в одежде как потерпевший в борьбе против коммунизма. Заплатили ему хорошо: действуй, мол, и дальше смело. Он и действовал. К советским не то туристам, не то спортсменам на улице пристал, про свой «Посев» толкует, подарить, говорит, могу. Его гонят, последними словами обзывают, а он идет и идет, свое толкует. А они в какой-то тихий сквер свернули, может, и надо было им, а может, заманивали, только набили морду так, что долго в синяках ходил. Правда, за это заплатили ему хорошо, потому что вещественное доказательство побоев представил. Хотя многие сомневались: может, все выдумал, может, по пьянке где досталось,— но все-таки окончательно признали как героизм против советского режима и членом редакции «Посева» назначили.

Был случай, когда он в Париж попал и к советским аспирантам заявился, у них комната там была. Заявился и начал ту же пластинку крутить. А они выход ему загородили, говорят — сейчас полицию позовем. Он в слезы, боится — бить будут. После того случая в сквере его еще раз били, с тех пор он всю жизнь стал бояться, что будут бить. Поднимет кто-нибудь руку просто так, без назначения, а Жора рывком лицо прикрывает. Свои же над ним и потешаются. Чуть что — махнут рукой, он и шарахается.

Одним словом, сжалились над ним тогда в общежитии, отпустили. Примчался он домой, рассказывает: «Слезами,— говорит,— я их на пушку взял. Никогда, говорю, больше не буду, а они, дураки, и поверили».

Вот вам Жора! Другой бы про такую стыдобу со всех сил зубы зажал, а он хвастается. Думаете, по дурости? Нет, он на такой стыд с полным сознанием идет, ну, как

женщина на стриптизе или в бардаке. Ей уже не стыдно, это ее такой заработок. Так и Жора своего стыда не стыдился, поскольку за это платят.

Он своего нигде не упустит. Вот трудно поверить, а ему за журнал «Молодой коммунист» гонорар выплатили. Он его всегда с собой носит, всем показывает. А там, и верно, его фамилия есть, написано, что он последний подонок. Когда показали Жоре этот журнал первый раз, он три дня от радости пил. «Вот,— говорит,— как против меня силы мирового коммунизма поднялись». Ну, понятно, вознаграждение потребовал и на законном основании получил. А за что получать, ему без разницы. Но и его понять надо, а не только судить. Лет ему порядочно, профессии или ремесла не имеет, куда ни тыркался, везде неудачи. Сколько лет назад на Вьетнам подался, думал, подвезет, а видит — там и убить могут. Тоже правильно рассудил, и понять человека можно, когда сбежал оттуда. Ну, а что ему теперь делать? В энтээсах хоть платят исправно, вот и старается. Да что Жора! Для всех энтээсов нет больше радости, если их советская печать пропечатает. Они тогда поздравляют друг дружку, в своих журналах про это сообщения делают, столько шуму поднимают, героями ходят. Один раз на свое письмо из Москвы ответ получили. Так ни конца ни края радости не было. Переписку затеяли, стали говорить, что центр свой и агентуру в Москве организовали, а оказалось, их журнал «Крокодил» разыгрывал, потешался и про все напечатал с фотографиями и письмами. В таких дураках они остались, им бы только вывеску менять, а они опять в хвастовство не хуже Жоры. Кто-то из их детей сказал, у Горачеков разговор происходил: «Что же вы радуетесь? Над вами же смеются. Это еще у Чехова описано, как один с газеткой бегал, всем свою фамилию показывал, а напечатано было, как его в пьяном виде извозчик сбил».

На его слова только рукой махнули: ничего, мол, ты не понимаешь. А он и верно не понимал, что даже за такое, как «Крокодил» поиздевался, им деньги платят.

Ну, а с другой стороны, что им делать, скажите, если все они по рукам и ногам Гитлером связаны? Влез по пояс, полезай по горло. Начать хоть с Романова, он у них почти самый главный, а тридцать лет назад в Днепропетровске при немцах редактором газеты уже состоял и Гитлера возвеличивал, пока тот живой был. А сейчас что? Поезжайте во Франкфурт в район главного вокзала

ночью, там одно место есть, где теплые собираются... Обязательно там Романова встретите. Его за это три раза брались судить, особенно один раз, когда мальчика к столу хотел привязать, а тот такой крик поднял, что люди сбежались. А чем кончилось? В третий раз американцы выручили. После Гитлера они ж его подобрали, по их речке и плывет, их воду и пьет. И про такого вдруг напишут, что он антисоветчик, вот и радуется. Да любой генерал из Пентагона антисоветчик, и получается, будто они на равных. Чего ж ему не радоваться?

Такой же Гитлером мазанный Артемов еще в войну в фашистском лагере служил, кадры провокаторов готовил, гестаповец. Околович сколько жизней погубил, и все у них такие. Не знаю только про Тарасову, она редактором «Граней» состоит, такой журнал у них есть. Не иначе тоже из гитлеровцев, но точно заверять не берусь, не знаю. Знаю только, что славу она большую имела. Ее отец во время войны много богатства из Украины повывез, говорят, на целый музей хватило бы. А после его смерти она и начала пировать. Такие гулянки закатывала, с выездами, со слугами, как в кино. Она мужчин любила и сама их себе подбирала, даже из тех, с кем знакома не была. И про эту ее славу все знали, она самой высокой квалификации в этом деле числилась. Может, книг начиталась и досконально изучила — есть такие особые магазины с вывесками «Секс»,— а может, от природы у нее такие способности, только гремела она своей квалификацией и тем, что денег на мужиков не жалела. А пришло время, денежки-то кончились. И годы уже не те, и мужчинам платить стало нечем. Вот вся она и есть. Антисоветчик — это если идеи у него, а ее главная идея теперь безвозвратно не вернется, она всю свою идею уже поизрасходовала.

Ваше дело, я не против, только не советую вам про энтээсов писать. Если напечатаете, вы им такой праздник устроите, лучше рождества Христова. Целый год напоминать про это будут. И по всем регистрациям такую статью проведут, и сами печатать про нее сто раз будут, и американцам докладывать как положительный пример.

Ну, опять я в сторону от своей жизни свернул. Чтоб кончить когда-нибудь мою историю, скажу — выпустили меня из полиции, энтээсы встречают, зовут к Горачекам. К ним было и направился, деться пока некуда. Только пошли, а тут Карин. На шею бросилась, плачет, целует,

умоляет прощения. К ней и поехал, и тошно от самого себя стало. Думаю, все-таки лучше, чем к энтэзсам, ничем не хотел больше ихней зависимости. Даже адвоката отработал им. Отработал крещением. Тут на одну руку взялись Карин и батюшка. И Горачек им помогал, тоже агитировал за крещение. Все горе оттого, что ты некрещеный, говорят. И Карин поддерживает: все плохое, что между нами было, все очистится. Зачем им надо было, так и не понял, но обязанным быть не хотел. Черт с вами, думаю, крестите.

И устроили надо мной комедию. Собрались в воскресенье утром в церкви, сунули мне сверток. «Иди,— говорят,— вон туда, переодевайся, это рубаха. Только все сними и даже носки». А трусы, спрашиваю, тоже снимать? «Нет, трусы можно оставить». Снял я все, надел рубаху, а она до самого пола. Рукава широкие, только пальцы выглядывают. Вышел, сунули мне в руки горящую свечу, и началась моя срамота. Поднял шею вверх, иду, как Иисус Христос, за батюшкой, обеими руками божественно свечку несу, слова за ним повторяю. Походили несколько раз вокруг, потом поставили меня в оцинкованный бак с водой, и батюшка сверху стал опрыскивать.

Потом обед был богатый. А ночь тревожная получилась. Лежит рядом Карин, посапывает. А ведь задумали они что-то надо мной сделать. Она же собственными руками меня в тюрьму загнала, а я лежу как дурак с нею.

Ни разу не заснул, пока дождался утра. Похлопотала она вокруг завтрака, поцеловала и выпорхнула. А я никому ничего не сказал, к вокзалу направился. И пошел по второму кругу каторги свободного мира на два года. Не буду про него рассказывать, он как и первый. А конец вам известный: советский консулат выдал мне визу в Советский Союз.

Полагаю так, что судить меня не будут, я же столько мук принял, любое законное наказание перевыполнил. А если будут, так любую кару за спасение приму.

Эта история далеко увела меня от японских берегов, от порта Кокура, куда мы пришли на турбоходе «Физик Вавилов» и где я познакомился с Юрико. В наших трюмах был чугун. Двенадцать тысяч шестьсот тонн. Это больше четырех тысяч грузовых машин. Их разгрузят за три дня. Так сказал представитель концерна Сумитомо, у причала которого мы отшвартовались. Ну что ж, недаром это один из крупнейших металлургических комбинатов Сумитомо.

Родившись как «Торговый дом Сумитомо», используя свои связи с правительством и огромные государственные субсидии, он вырос в могущественный монополистический концерн. К концу второй мировой войны под его контролем и в его зависимости находились сто восемьдесят четыре промышленные компании, а «Банк Сумитомо» стал самым мощным банком империи. После войны объявили о роспуске концерна, но это была лишь фикция, потому что остался нетронутым банк, остались компании с измененным названием. В ряде важнейших отраслей производства концерн Сумитомо потеснил таких столпов капитала, как Мицуи и Мицубиси, заняв первое место.

Наш турбоход стоял у причала металлургического комбината Сумитомо. Могучие краны свесили свои головы, точно заглядывая в трюмы. Там триста семьдесят тысяч чугунных чушек, весом от 30 до 50 килограммов каждая.

Я видел, как их грузили в Туапсе. Краны-пауки опускали на чугунную гору свои широко растопыренные стальные щупальца, потом концы их соединялись, загребая под себя и захватывая в утробу до пятидесяти чушек, и высыпали их в сварной лоток, стоящий рядом. Три-четыре захвата, и пятитонный лоток полон. Один за другим заполнялись лотки, краны взвивали их в воздух и опрокидывали на дне трюмов.

У причалов Сумитомо стояли такие же краны-пауки, даже более мощные. Чтобы наполнить лоток, едва ли потребуется больше одного захвата. Немудрено, что при такой механизации нас действительно разгрузят за три дня.

У самого борта толпились мужчины и женщины в довольно странной одежде. На головах были желтые каски, на ногах — специальная обувь, похожая на носки с одним пальцем. Такую обувь, удобную для лазания по камням и скалам, я видел во время войны на японских солдатах в горных районах Маньчжурии.

Вскоре люди, толпившиеся у причала, поднялись на борт. Маленькими быстрыми шажками, словно пританцовывая, торопились в трюмы. Когда они спустились во все шесть трюмов, раздались свистки. Разгрузка началась.

На причале концерна Сумитомо безжизненно лежали могучие стальные щупальца «пауков». Маленькие япон-

ские женщины нагружали лотки вручную. Сумитомо это обойдется дешевле.

Расчет представителя концерна оказался точным. Разгрузка шла ровно трое суток. Трое суток с грохотом падали чугунные чушки в стальные лотки. Портальные краны нагибались в трюмы, выхватывали лотки и опрокидывали их в самосвалы у левого борта. Судовые стрелы вытаскивали лотки на тросах и вываливали в баржи по правому борту. Скрежетали краны, жужжали натянутые стальные канаты.

Судно не должно стоять ни одной лишней минуты. За каждую сэкономленную минуту концерн Сумитомо получит диспатч — премию от судовладельца. Эта премия уменьшит расходы по разгрузке.

Бесконечно, безостановочно сто шестьдесят пар рук бросали в лотки чугун. Сто двадцать три тысячи чушек в сутки. Точно били автоматические тяжелые пушки: бух-бух-бух-бух-бух... Пять тысяч ударов в час. Не разгибались спины. Нельзя задерживать судно. Стоянка — это лишние деньги. Сумитомо не платит лишнего. Сумитомо не платит даже того, что положено. Пусть будут благодарны за эту выгодную работу, что им досталась. За воротами много желающих. Теперь их будет еще больше. Империя Ниппон проводит «улучшение структуры сельского хозяйства». Это разорит и сгонит с рогожных участков двадцать три миллиона крестьян. Часть останется батрачить у кулаков, которые собирают их земли, а остальные пойдут к воротам Мицуи, Мицубиси, Сумитомо... Этот процесс уже идет. После того как началось «улучшение структуры», уже разорилось около двухсот тысяч крестьян. Они ринулись в город. Пусть радуются те, кому досталась сегодня эта выгодная работа по разгрузке чугуна. За это дорого платят.

Рабочий день не должен превышать восемь часов. Но нельзя трижды в сутки ждать, пока будут меняться смены, пока будут вылезать из глубоких трюмов одни и спускаться другие. Да еще каждой смене устраивать обеденные перерывы. Получится не работа, а одни простои. Нельзя сбивать темпа. Надо работать по двенадцать часов. Сумитомо за это заплатит. Заплатит, как за полтора рабочих дня. Каждая женщина получит тысячу иен за смену. А мужчина еще больше. Такие деньги не валяются. Тысяча иен — это полтора килограмма мяса. Самого лучшего, упитанного мяса.

Я видел, как едят мясо японские грузчики. Все было очень хорошо организовано. За десять минут до начала перерыва на наше судно привезли обед для грузчиков: сто шестьдесят красивых жестяных коробочек. Мужчинам квадратные, женщинам овальные. По свистку из трюмов полезли люди. Они уселись на палубе в кружочки. Каждая бригада возле своего трюма. Открыли коробочки. В квадратных — рис и тушеное мясо. Тридцать граммов мяса. Правда, тридцать было в сыром виде, а после приготовления остался двадцать один грамм. Но тут уж ничего не поделаешь. Зато приготовлено очень хорошо. Мясо отрезано красивым ломтиком без единой косточки. Резали не просто как попало, а очень разумно, поперек волокон. Толщина ломтика получалась больше, чем длина рисового зерна. Поэтому очень удобно есть. Нож не нужен. Толстые короткие волокна легко отделяются палочками. Грузчики берут сразу по нескольку волокон и заедают рисом. Они так умело это делают, что мяса вполне хватает на весь рис.

В овальных коробочках для женщин — рис и рыба. Пять рыб размером каждая в кильку.

Женщины едят тоже очень умело. Аккуратно, любовно отщипывают палочками мякоть и заедают рисом. Хвостики едят не отдельно, а вместе с кусочками мякоти.

Мы шли по палубе со старшим механиком Сергеем Викторовичем Гуртих и судовым врачом Мишей Федорчуком, когда нас окликнула японка.

— Сигалета,— попросила она, смущенно улыбаясь и жестом показывая, что хочет закурить. На вид ей было лет двадцать пять. Как она грузила чугун, трудно понять. Худенькая, маленькая, издали похожая на подростка. Совсем девочка. Ее звали Юрико.

Среди грузчиков оказался бывший военнопленный, который несколько лет жил у нас на Дальнем Востоке. Он вполне прилично знал русский язык. Это был сосед Юрико, и он помог многое узнать о ней. Она говорила о себе рассеянно, будто о другом человеке. Порою было похоже, что она жалуется, но не ждет ни ответа на свою жалобу, ни сочувствия, а просто объясняет, как несправедливы люди. Она вспоминала счастливые детские годы, когда они всей семьей работали на своем участке земли на далекой окраине Токио, где кончается город и начинается двадцатимильный овощной пояс.

Токио надо очень много овощей. Надо накормить овощами десять миллионов человек. Это очень выгодное дело — производить овощи. И вся семья во главе с отцом, и мать, и ее старшая сестра Кимико выращивали помидоры. Какие это были счастливые годы, когда вдвоем с Кимико они уходили на целый день со своими корзиночками собирать птичий помет. У Юрико хорошие глаза. Она очень далеко видит. Она не пропустит серые комочки на дороге, на заборе, на листьях кустарника. Она идет, то нагибаясь, то вытягиваясь на носочках, и сковыривает, счищает острой малюсенькой деревянной лопаткой эти серые комочки.

Они собирали помет всю осень и зиму, собирали по крошкам на дорогах, в общественных парках, в чужих садах, и к весне его накапливалось столько, что вполне хватало на все грядки. Отец радовался, потому что это самое лучшее удобрение и даже в неурожайный год можно будет получить много плодов.

Весной начиналась обработка грядок и вся семья рыхлила вскопанную отцом землю, рыхлила, меняя грабельки на все более маленькие, а последние комочки растирали пальцами, чтобы земля была мягкая и пышная и чтобы хорошо взялось удобрение. Отец рассыпал по грядкам высушенный и истолченный в пыль помет, и опять вся семья рыхлила и перемешивала землю, чтобы каждой ее клеточке досталась пылинка удобрения.

И потом, когда высаживали рассаду и когда появлялись цветочки, и завязь, и плоды, отец не давал себе отдыха, а уж женщинам сам бог велел работать, если трудится глава семьи. Они таскали на коромысле воду из ручья, нагревали ее на солнце, поливали ростки и выхаживали не каждый куст в отдельности, а каждый цвет и стебель. И если заболеет какой-нибудь цветочек, вокруг него собиралась вся семья. Они опрыскивали растения из маленького пульверизатора и покрывали каждый цветок целлофаном и обвязывали ниткой, чтобы он был в прозрачной коробочке, которая бы не касалась лепестков, но предохраняла их от всяких букашек и ветра. Они заключали в целлофановые коробочки завязь, а потом и плод и, перетягивая нитками целлофан, следили, чтобы не примять зеленый пушок на стеблях и оставить доступ воздуху, но не дать лазейку для вредителей.

Так они работали, выращивая помидоры, и собирали богатый урожай, и когда кончались ранние сорта, поспевали более поздние и, наконец, осенние. И ни у кого не было таких изумительных помидоров, таких мясистых и больших, с такой нежной окраской и наверняка очень вкусных, потому что не могли они быть иными, эти сказочно красивые плоды, которые шли в лучшие рестораны на Гинзе и не разрезались на кусочки, а подавались к столу целыми, как произведение искусства.

Каждое утро приезжал поставщик овощей в рестораны Томонага, осматривал приготовленные плоды, пересчитывал их и говорил, в какой из ресторанов везти. Конечно, отец мог бы и сам продавать их куда дороже, но один опрометчивый шаг, и теперь надо горько расплачиваться. Только один раз три года назад он не смог погасить полученный у Томонага аванс, и этот долг теперь растет из года в год, и уже никому, кроме Томонага, нельзя продавать плоды. Да и цены теперь он диктует сам.

И все-таки Юрико вспоминает о том времени, как о лучших своих годах. Кто мог подумать, что все это так внезапно кончится. Оказалось, что их дом вместе с огородом лежит как раз на той трассе, где началась прокладка дороги на американский аэродром. Нельзя сказать, будто их просто бесцеремонно согнали с насиженного места. Напротив, им объяснили, что оплатят полную стоимость земли, а домик они могут перевезти куда-нибудь в другое место. Им во всем шли навстречу и согласились даже заплатить за дом, если хозяева откажутся увезти его. Правда, за жилье предложили не так уж много, но не хватит же совести просить больше за такую лачугу, слепленную из глины, тонких палочек и бумаги.

Им сполна заплатили наличными за участок и дом, и это получились немалые деньги. Вполне хватило отдать весь долг Томонага, и еще кое-что осталось.

Тем, у кого откупили участки, в первую очередь предоставили работу на строительстве дороги. Даже оставили бесплатно жить в этом доме, за который они получили деньги. К ним только подселили двенадцать рабочих.

Когда дорогу закончили, отца взяли на другую стройку за триста километров от дома и тоже бесплатно дали

жилье. Работа оказалась временной. Они стали переезжать с места на место, перебиваясь случайными заработками. В конце концов отцу удалось устроиться на постоянную работу истопником в прачечной. Заработка могло бы и хватить на жизнь, но больше половины съедала комната. Немыслимо дорого в Японии жилье.

Они недоедали каждый день. Они обносились так, что стыдно было выйти на улицу. Однажды, когда в доме уже не оставалось ни одного зерна риса, а получки ждать еще десять дней, и продать было нечего, и негде было взять ни одной иены, отец сказал Кимико, что и она могла бы наконец подыскать себе работу.

Когда говорит отец, даже старший сын молчит. Кимико молчала. Но слушать это ей было обидно. И без того уже она готова идти на любую работу.

На следующий день Кимико вернулась домой рано утром. Она была какая-то странная. Очень спокойная и серьезная, будто вдруг стала старше. Молча столкнула с ног гэта, молча положила на маленький круглый столик деньги.

Все смотрели на нее и тоже молчали. Потом отец поднялся с циновки, медленно подошел к столику, взял деньги и уставился на них, будто впервые увидел стоиеновую бумажку. Он стоял и смотрел на деньги, и никто не мог понять, как он хочет распорядиться своими деньгами.

Задумчиво снял с очага чайник и аккуратно положил деньги в огонь. Маленькой кочергой, сделанной из проволоки, затолкал их поглубже, чтобы они сразу сгорели. Закончив с этим делом, повернулся к Кимико и грустно сказал: «За что ты меня так?»

В тот день они ели только отвар из кореньев, а на следующее утро Кимико пришла и принесла рис и рыбу. И отец уже не мог бросить это в огонь.

Теперь жить стало легче. Правда, Кимико не каждое утро приносила продукты, бывало, по целым неделям она возвращалась без единой иены, но все же голодать они перестали. Конечно, будь у Кимико красивое платье, и дорогие белила для лица, и розовая краска для ушей и рук, она могла бы зарабатывать куда больше. Она могла бы, как другие девушки, приезжать на такси в порт, когда приходят американские корабли, и к ней садился бы военный моряк, который хорошо платит, и хотя к приходу кораблей выстраиваются целые вереницы такси с девуш-

ками, разбирают всех, потому что моряков много, и вообще военных американцев полным-полно, и все они щедро платят, и можно потерпеть, если иногда бьют по лицу.

Но думать об этом ни к чему, потому что денег на наряды и краски у нее не было. И чем дальше, тем меньше можно было мечтать о деньгах, потому что теперь Кимико приносила их совсем редко. Поэтому, когда Юрико исполнилось четырнадцать лет, она пошла на эту улицу, полутемную улицу, где сдаются комнаты на час или два. Она прохаживалась по тротуару, и перед ней неожиданно появилась Кимико и спросила:

— Что ты здесь делаешь?

Юрико не успела ответить, как старшая сестра ударила ее по лицу, схватив за волосы, потащила домой. И всю дорогу, не стесняясь прохожих, она то и дело поворачивалась к Юрико и била ее, заливаясь слезами.

Так безжалостно поступила ее старшая сестра, которая больше всего на свете любила свою маленькую Юрико и никогда раньше даже пальцем ее не трогала.

Мы стояли возле четвертого трюма, в том месте, где у нас находится настольный теннис, и слушали Юрико. Она говорила, глядя на море, словно думала не о том, что рассказывает, и казалось, ей безразлично, слушают ее или нет, потому что ни от кого уже ничего не ждет, и сейчас можно жить, а можно и не жить, и ничего от этого не изменится ни для нее, ни для других.

С ракетками в руках к столу подошли наш чемпион настольного тенниса электрик Гриша Антоненко и котельный машинист Толя Панкратов.

— Пинг-понг,— щелкнула Юрико пальцами и побежала к трюму.

Снова поговорить с ней удалось в последний день выгрузки. Тем же безразличным тоном, как и прежде, она сказала, что спустя три дня после той злополучной встречи с сестрой Кимико умерла. Денег на врача она не оставила, и никто так и не узнал, отчего она умерла. Как раз в это время отцу предложили новую работу. Они уехали с этого проклятого места и теперь живут хорошо. Отец служит в крупной рыболовной компании. Ему и группе рыбаков компания выдала вполне прилич-

ную лодку, снасти и отвела участок, где они могут ловить рыбу. Целыми днями они находятся в море, и когда лодка становится полной, везут свой улов к берегу и сгружают в баржу. Они снова уходят в море, а другие рыбаки возвращаются, и сотни лодок загружают баржу, но наполнить ее невозможно, потому что круглые сутки работают насосы и по широким рукавам гонят рыбу в разделочные цехи завода.

Заработков отца вполне хватает, чтобы оплатить аренду лодки, снастей и участка моря, выделенного для них, и, кроме рыбы, которую компания бесплатно выдает ему для личного пропитания, при хорошем улове остаются еще и деньги.

На новом месте повезло и Юрико. В первый же день она попала на причалы Сумитомо и ее взяли выгружать руду. Работала она хорошо, и теперь ее постоянно берут, когда приходят суда. Бывает, что работа есть почти пятнадцать дней в месяц. В такие удачные месяцы она сама оплачивает всю стоимость квартиры. Это как раз ее двухнедельный заработок, если работать по двенадцать часов в день. Квартира так дорого обходится потому, что теперь у них две комнаты. Конечно, можно бы жить и в одной, но тогда надо большую, метров шестнадцать. У них теперь одиннадцать, но зато две комнаты, а дороже это ненамного.

...Закончился второй перерыв последнего дня разгрузки, и Юрико полезла в трюм. На ней, как и на всех женщинах, темные брюки, серая в цветочках блузка и каска. На ногах мягкая обувь.

Чугун оставался только на дне трюма. Туда ведет отвесный трап из металлических прутьев. Это высота четырехэтажного дома. Крепко цепляясь за прутья, Юрико спускается все ниже. Четыре стальных лотка уже внизу. Раздается свисток, и в ответ, точно залпы, загрохотали чугунные чушки.

Каждый лоток нагружают шесть человек. Чушку берут двое. Их норма девяносто три чушки в час. Девяносто три раза в час надо нагнуться, поднять два — два с половиной пуда и бросить в лоток. А за смену эту операцию надо повторить тысячу пятьдесят раз. Это за все двенадцать часов с двумя перерывами.

Правда, перерывов куда больше. В воздухе над трюмом носятся лотки. Они опускаются и поднимаются

один за другим. Надо следить, чтобы они не придавили, чтобы не упала сверху чушка. Не зря на всех каски. И те секунды, пока смотришь, фактически отдыхаешь. Кроме того, чтобы поднять нагруженный лоток, опрокинуть его и снова опустить, уходит от одной до двух минут. А это уже чистый отдых. Зато потом надо немного быстрее работать, чтобы покрывать эти непроизводительные простои, так как никто за вас грузить не будет. Из-за этих простоев получается, что надо грузить по две чушки в минуту. Может показаться, будто не так уж это и много. И верно, не много, если бы работать час, два или пять часов. Но ведь просто нагнуться тысячу раз в день трудно. А здесь в руках еще два пуда. Тридцать шесть тысяч килограммов на двоих за смену.

В первые дни было проще. Стой себе на одном месте, бросай чушки. А теперь это трудно. Чугун лежит в углах трюма, куда лоток не загонишь. На одном месте стоять не будешь. И лежат чушки не ровным штабелем, а точно вываленные из самосвала. Возьмешь одну — поползет десяток. Их не удержать, они раздавят ноги. Но и возиться с ними нельзя, Сумитомо ждать не будет.

В Одессе я видел, как на одном судне подбирали остатки чугуна. Маленький смешной бульдозер сгребал их к центру трюма, а «пауки» выносили наверх. И только два-три десятка чушек, зацепившихся за шпангоуты, выбирали руками.

Но здесь не Одесса. Здесь Сумитомо. Монополистический концерн Сумитомо, который должен вытеснить Мицуи и Мицубиси. Ему невыгодно опускать в трюм бульдозер.

Юрико и ее напарнице теперь очень трудно. Они стараются брать чушки так, чтобы не задеть соседних. Подняв груз, надо сделать к лотку всего три — пять шагов. Но, должно быть, и это трудно. Чушка качает из стороны в сторону двух маленьких японских женщин. Подойдя к лотку, они не бросают груз, как раньше, а просто разжимают руки. При этом чугун больно трет пальцы, сдирает кожу. Но бросать уже нет сил.

Работать в брезентовых рукавицах нельзя: тонкие пальцы не удержат груз. На руках Юрико вязаные хлопчатобумажные перчатки. Они почти не предохраняют рук. Уже содранные пальцы в бинтах. Уже и бинты стерлись, пора бы перевязать, но надо гру-

зить чугун. Надо бросать чушки. Нельзя сбиваться с темпа.

В первый день было куда легче. В первый день ни один человек не упал. В первый день сидя дожидались две минуты, пока поднимется и снова опустится лоток. Теперь на эти две минуты все ложатся. Падают на чугун в ту секунду, когда брошена последняя перед подъемом чушка. И снова качает Юрико и ее напарницу. Но они улыбаются. Надо улыбаться, чтобы тот, кто стоит со свистком, видел: им совсем не тяжело. Просто смешно, что их качает. Надо улыбаться, чтобы и в следующий раз взяли на работу. Улыбаются все. Грузчик, которому раздавило палец на ноге, по привычке улыбался нашему судовому врачу Мише Федорчуку, когда тот делал перевязку. Приходя в себя, терявшие сознание улыбались. Ужасно смешно потерять сознание, пусть это видит человек со свистком.

Здесь, на комсомольско-молодежном судне «Физик Вавилов», у причалов Сумитомо я видел улыбки, страшные, как смерть. Ночью работают только мужчины. Ночной перерыв длится час. За несколько минут японские грузчики съедают скудный ужин, а потом спят. Я много раз видел, как спят очень усталые люди. Видел на вокзалах, на целине, на фронте. Но то, что было на палубе, ни с чем не сравнимо. Лежали трупы. Трупы, которым уже несколько дней. Уже обтянула скулы черная кожа, уже виден каждый сустав на пальцах. Лежали тела, будто пораженные током: скорченные, скрюченные, разбросанные. Они окаменевали в том виде, в каком застало их последнее съеденное зерно риса. Во сне они падали и, не просыпаясь, застывали в таком же согнутом положении, другие так и замирали с палочками в руках, третьих разбрасывало одним рывком, словно судорогой. А потом все затихало. Не слышно было даже дыхания. И вдруг раздавался свисток. Людей подбрасывало. Вскочив на ноги, они улыбались. Страшная, нечеловеческая улыбка. Они улыбались: пусть видит человек со свистком — никакой усталости нет, как смешно, что они задремали.

...Из последних сил выбивалась Юрико. Маленькая Юрико с маленькими тонкими руками. Мы смотрели, как шла разгрузка. Котельные машинисты Юра Антипов, Саша Голов, атлетического телосложения механик Боря Пономарев. Мы не могли тебе помочь, Юрико. Не имели

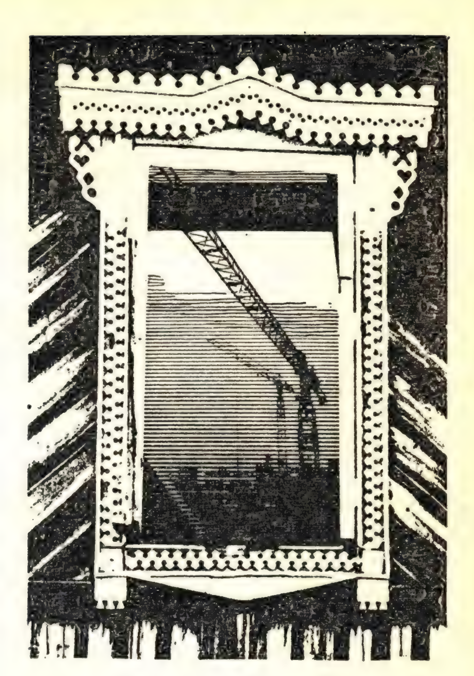
права даже выразить тебе сочувствие. Это вмешательство в чужие, внутренние дела. Это внутренние дела Сумитомо. Это внутренние дела богини солнца Аматерасу, солнца, которое изображено на знамени империи Ниппон.

Прощай, Юрико. Мы видели, как ты выбиралась из трюма, как, качаясь на прутьях, карабкалась на высоту четвертого этажа. Вслед за тобой совсем близко поднимался Толя Панкратов. Может, и полез он для того, чтобы поддержать тебя, если качнешься в последний раз.

Мы покидали порт Кокура. Гудели заводы Мицуи, Мицубиси, Сумитомо. А дальше снова были тихие озера, и эта мелодия, бесконечная, усталая, безысходная.

Прощай, Юрико. Прощай, маленькая, печальная Юрико. У нас сегодня праздник! Поднялась в космос первая в мире женщина. Ей, как и тебе, двадцать шесть лет.

1962 — 1968



ОЧЕРКИ



ВСЕ ЛИ ПОНИМАЮТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Получился конфуз. Советник нашего посольства в Бонне Александр Яковлевич Богомолов отлично владел немецким языком, знал массу пословиц, идиом и нередко читал лекции о Советском Союзе перед различными западногерманскими аудиториями. Выступления Богомолова были оригинальны и интересны.

Мне тоже хотелось разок послушать его. На очередную лекцию о принципах мирного сосуществования и советско-западногерманских отношениях он взял меня с собой, предупредив, что аудитория будет разношерстной. Кое-кто придет в Малый зал Бетховенхалле, где предстояло выступать, потирая руки, предвкушая удовольствие подковырнуть, покуражиться.

Ничего себе «Малый зал» — человек триста вобрал в себя. После доклада начались вопросы. Первым поднялся молодой увалень. Ухмыляясь, спросил:

— Вы призываете к расширению сотрудничества и торговли, но что вы можете нам продать, кроме щетины и лаптей?

В зале раздался смех. Смеялись пришедшие куражиться.

Задавать вопросы, уже содержащие в себе ответ, на суде запрещено. Такие вопросы судья отведет. В полемике они бестактны. А тут «вопрос» звучал однозначно: «Ничего, кроме щетины и лаптей, у вас нет». И интонация, с какой он говорил, подчеркивала сию оригинальную мысль.

Представилось, в какое глупое положение поставит его Богомолов. Кто-кто, а советник посольства должен знать, сколько лицензий на уникальные изобретения, сколько различных станков, механизмов закупает у нас ФРГ. Докладчик, подумал я, как человек находчивый, остроумный, не упустит такой выгодной ситуации.

В смущении, даже в растерянности, молча стоял Богомолов. Не могу сказать, сколько длилась пауза. Мне она показалась бесконечно долгой. Но, возможно, так только казалось. Прервал ее бородатый человек неопределенного возраста:

— С этим ясно! — В голосе — нескрываемая насмешка.— Разрешите еще вопросик? — И только по тому, как раздалась в стороны растительность на его лице, можно

было догадаться, что он улыбается, ибо растительность эта надежно закрывала весь рот. Улыбка, пожалуй, угадывалась и по ехидным глазам. Явно и этот лез с подковыркой.

Было не по себе. Как мог первый же простой, хотя и провокационный, вопрос поставить в тупик Богомолова? А тут еще бородач наступал...

— Минуточку,— приподнял руку Богомолов, толчками отталкивая ладонью воздух.— Минуточку, сейчас вы зададите свой вопрос. Но вот есть ли у кого-либо из вас, уважаемые дамы и господа, часы...— и он назвал какую-то западногерманскую часовую фирму.

Недоуменно переглядываясь, люди пожимали плечами. Наконец раздались два-три, как мне показалось, неуверенных голоса:

— Есть...

— Вот они,— оттянул рукав увалень, все еще стоявший в ожидании ответа.

— Очень хорошо,— улыбнулся Богомолов.— Дайте, пожалуйста, их мне.

— Зачем?

— Не бойтесь, не заберу же я их.

Озираясь на присутствующих, точно призывая их в свидетели, парень нехотя направился к докладчику, на ходу снимая часы.

— А теперь,— обратился Богомолов к залу,— попрошу у кого-нибудь перочинный нож.

— Вы будете фокусы показывать?! — выкрикнул кто-то из задних рядов.

Зал взорвался смехом. Тем не менее чуть ли не под улюлюканье тех, кто пришел сюда, потирая руки, нож ему дали.

Богомолов открыл крышку, повернул в руках часы и вновь обратился к залу:

— Все отсмеялись? Или есть еще желающие?.. Нет? Тогда прошу кого-нибудь подойти ко мне.

Не сразу, но один за другим поднялись трое.

— Прочтите, что здесь написано,— указал острием ножа.— Вслух прочтите, громко.

Один из подошедших прочитал:

— Made in UdSSR.

В зале наступила тишина.

— А теперь я объясню,— нарушил ее Богомолов,— как делаются фокусы. ФРГ закупила у нас десятки тысяч ча-

совых механизмов, по качеству не уступающих вашим, первоклассным. Но себестоимость наших ниже. Вот и заключаете вы советские часовые механизмы в собственные корпуса, на которых стоит марка ФРГ. Кстати, наши часы закупают Англия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Канада и многие другие страны.

В зале вновь воцарилась тишина.

— Но оставим в стороне фокусы,— продолжал Богомолов.— Посмотрим на то, что не спрятано ни в какие корпуса, не прикрыто никакими ширмами. И возьмем не часы, а тяжелую индустрию. Патент на установку для разлива алюминия в магнитном поле закупили у нас США, Англия, Франция, Швейцария, Япония, а всего двенадцать фирм различных стран, где техника высоко развита. Право пользования разработанными нашими специалистами методом непрерывной разливки стали оплатили нам долларами двадцать шесть фирм, производства жидких самотвердеющих смесей — тринадцать, испарительного охлаждения доменных печей — двадцать четыре, патент на установку сухого тушения кокса — семнадцать...

Как видите, я беру только металлургию и перечислил в ней далеко не все. А другие области? Ваша фирма «Линда АГ», например, купила у нас лицензию на массообменный аппарат, широко применяемый в химической, нефтехимической промышленности и криогенной технике, дающий высокий экономический эффект; фирма «Зальцгиттер» — метод получения кислоты, имеющей широкое применение в кожевенной, текстильной промышленности и сельском хозяйстве; фирма «Бауэр» — лицензию на проходческий комплекс для сооружения тоннелей метрополитенов; фирма «ГХХ» — право на производство высокоэкономичного нагнетателя природного газа. Ваша страна закупила у нас самолеты «ЯК-40», суда на подводных крыльях... Перечислять дальше?

Выдержав паузу, докладчик продолжал:

— Я говорю только об открытиях и уникальных изобретениях, сделанных в Советском Союзе, которыми пользуется западный мир. Что касается торговли, то мы ведем ее более чем со ста странами и импортируем отнюдь не лапти, молодой человек. Возьмите свои часы,— повернулся он к их владельцу.

Прерву здесь на минутку Богомолова. Торговый консультант Государственного департамента США Джон Кайзер, перечислив шесть промышленных корпораций США,

сказал, что и «многие другие приобретают патенты у Советского Союза. В той обострившейся конкурентной борьбе,— заключил он,— с которой сталкивается сейчас промышленность Соединенных Штатов, СССР и его союзники служат потенциальным источником приобретения методов, позволяющих производить товары лучше и дешевле».

С выводами эксперта Джона Кайзера можно бы и согласиться, если заменить здесь неточное слово: «потенциальным». Не потенциальным, а реальным источником. Как сообщает вашингтонский орган деловых кругов США «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт», Советский Союз и его партнеры за последние годы продали западу лицензий на сумму не менее 50 миллионов долларов.

Отдадим должное скромности журнала — сумма эта куда большая. Тот же журнал отмечает, что только за последнее время и только Соединенные Штаты приобрели у Советов и их союзников более 125 лицензий на такие процессы и устройства, как высоковольтные линии электропередач, автоматический пистолет для сшивания ран, новейшие методы сварки, литья алюминия и меди в электромагнитных печах, подземная газификация угля в месторождениях...

Они знают, что делают. На ветер миллионы не бросают. За наши лицензии и патенты платят дорого, но затраты свои окупают сторицей.

По уникальной методике главы нашего института микрохирургии глаза профессора С. Федорова уже более пяти лет работают многие клиники США. За одну 15-минутную операцию, сделанную по этой методике, они берут 2000 долларов.

А какие гигантские доходы приносит им наша установка для автоматической сварки «Север-1»! Стыки труб диаметром около полутора метров он сваривает за четыре минуты. Нет в мире такой установки. Впрочем, теперь есть. Патент на нее купили у нас все технически развитые страны и многие развивающиеся.

Здесь повод, чтобы чуть-чуть отвлечься от темы. На пороге второй нашей пятилетки Бернард Шоу сказал: «Исключение России из международной торговли было актом слепоты и сумасшествия со стороны капиталистических держав. Бойкотируя Россию путем неистового террора против коммунизма, они предоставили ее собственным ресурсам и заставили спасать себя при помощи развития своих физических и культурных сил. Сейчас...

Россия отвратительного царизма становится энергичной, трезвой, чистой, по-современному интеллектуальной, независимой, цветущей и бескорыстной коммунистической страной».

Так было уже более 50 лет назад. Как же мог сегодня Вашингтон, при нынешнем-то уровне развития нашей техники, допустить, что эмбарго на поставки для стройки трансконтинентального газопровода «Восток-Запад» остановит ее! Капиталистический мир вообще не верил в нее. Но не будем судить строго, «Проект века», как назвали его на Западе, представляется и в самом деле фантастическим. Газопровод длиною более 4000 километров диаметром около полутора метров должен был пересечь два горных хребта, пройти по дну 561 реку, пробуравить 124 километра вечной мерзлоты и более тысячи километров болот и топей, сменяя пять часовых поясов. Стройку предстояло вести в сильно пересеченных местностях, где не было никаких дорог, даже водных, по которым могли бы доставлять тяжелые агрегаты, механизмы, трубы, людей, где работать надо было при температуре от 45° жары до 50° мороза.

И вот там-то впервые была применена установка для автоматической сварки «Север-1» и еще 102 сконструированных для этой стройки механизма, часть которых ныне разошлась по свету. А стройку, как известно, закончили задолго до срока.

Я-то думал, что государственные, политические деятели мыслят шире, масштабно, трезво оценивая явления. А они вдруг: наложить эмбарго — остановить стройку. Да таких, как эта, у нас сейчас пять. Пять газопроводов длиною в 3—4 тысячи километров каждый в разных направлениях пересекают страну сквозь горные хребты, реки, топи. В будущем году будут закончены. А может, как и первый, раньше срока. Вот так обстоят дела. Прежде чем накладывать эмбарго, почитали бы хоть Бернарда Шоу, что ли, или вспомнили, как на заре нашего автомобилестроения нарушили контракт на поставку нам тонкого листа, решив поставить крест на создании советской автомашины. Так уж и поставили!

Названный выше журнал свидетельствует, что американские ученые давно восхищаются такой сильной стороной русских, как развитие проблемных исследований, требующих интеллектуальных способностей и теоретического подхода, что американские должностные лица за-

видовали (это слово не мое, я списал его из журнала) достижениям советских специалистов в применении точных наук в таких областях, как металлургия, физика ядерного синтеза, реактивное движение и сейсмография.

Журнал признает, что СССР уже, по-видимому, отобрал у Соединенных Штатов главенствующую роль в производстве радиоактивных изотопов, которые приобрели жизненно важное значение в современной медицине и промышленности.

Одним словом, какую отрасль науки и техники ни возьмешь, всюду найдутся передовые идеи и методы, которые Запад заимствует у нас. Но вернемся в Малый зал Бетховенхалле.

— Возьмите свои часы, молодой человек,— повернулся Богомолов к их владельцу.— По нашим советским часам вы встаете на работу, по ним завтракаете, обедаете и ужинаете, по ним вы ложитесь спать со своей женой или встречаетесь с любовницей, если она у вас есть.

На несколько мгновений зал стих, а потом прорвались эмоции. Люди возбужденно обсуждали происшедшее. Кто-то нападал на парня, задавшего свой вопрос, кто-то открывал нижнюю крышку собственных часов, и к нему склонялись соседи справа и слева, сидевшие позади и впереди него.

— Еще вопросы, уважаемые дамы и господа? — раздался голос нашего дипломата.

Дамы и господа молчали. Я посмотрел на бородача, только что рвавшегося со своим «вопросиком». Он тоже молчал. Развалившись в кресле, бросал скептические взгляды на сцену, но молчал, словно не слыша приглашения. За бесцеремонной позой и наигранным взглядом, прятал, должно быть, боязнь лезть теперь с какими-нибудь лаптями. Боялся быть высмеянным. Так и не поднялся.

Вопросов было много. Ни одного кляузного.

Уже потом, когда все закончилось и мы шли с Богомоловым к выходу, уже после того, как высказал ему свои восторги, я все же заметил, что слишком рисковал он, решив таким образом ответить на провокационный вопрос,— у присутствующих могло не оказаться часов с советским механизмом.

— Риска не было,— ответил он.— Я объяснил бы, почему спрашивал о часах, привел бы больше данных об импорте ФРГ и других стран Запада из СССР. Но эффект,

как понимаешь, был бы не тот. Что касается вопроса, то я не убежден в его провокационном характере... Кстати, вон тот парень идет, поглядывает на нас, давай подойдем, поговорим.

Мой друг оказался прав. Никакой это был не антисоветчик. Добродушный, доверчивый человек, вполне довольный своей работой в мастерской. Наша страна представлялась ему дремучей, чуть ли не таежной, где люди живут, в основном натуральным хозяйством. «И, напав на Германию (так он сказал), вы победили...»— последовал довод когда-то модный, а нынче полностью обанкротившийся, об ошибках Гитлера, морозах и снегах, не переносимых европейцами, якобы и сыгравших решающую роль в нашей победе. Он сам недавно читал статью о снежном человеке в России... Конечно, он хорошо понимает, снежных людей не так много, но, будь их даже сколько угодно, теперь решает не сила и выносливость обитателей гор и таежников, и не дай бог разразиться войне — ему будет очень жаль советских людей.

Богомолов сказал:

— Это хорошо, что вам будет очень жаль советских людей, но вот интересно — путь в космос впервые в мире проложил таежник или снежный человек? Как вы думаете?

Вопрос не произвел на него никакого впечатления. В его мозгу совершенно самостоятельно существовали два представления о нашей стране. Первое — Россия, по его терминологии, имеет превосходство в ядерном оружии. Он хорошо знает: уже несколько лет в космосе носятся многие сотни советских спутников, их количество все нарастает, они контролируют весь земной шар, угрожая мировой цивилизации. И второе: Россия — темная, отсталая страна, которая будет разгромлена в первый же день войны, если она начнется.

Да черт возьми, понимает он хоть простую истину: вывести в космос даже спутник Земли под силу только государству, обладающему самым высоким для эпохи уровнем развития всех областей науки, техники, производственной культуры?

Нет, не понимает. И винить его в этом нельзя. Он тяжело контужен в тотальной психологической войне, ведущейся против нас.

Два исключающих друг друга начала — сверхсовременное ядерное оружие, массовые полеты космических

кораблей, а значит, высокий уровень развития всех областей знаний и практики, с одной стороны, и техническая, социальная, интеллектуальная отсталость — с другой, якобы одинаково присущих Советскому Союзу, являются сегодня государственной генеральной линией США и ряда стран НАТО в борьбе против нас.

Но зачем же такие противоречия? Чтобы вышибать миллиарды на вооружение, хватило бы и одной клеветы, будто Советский Союз имеет превосходство в вооружении. Нет, вторая им тоже необходима: поднять народы против сильного трудновато, значит, убедить их — темные и отсталые. А уж вывод напрашивается. Его и сделал тот, с «лаптями»: «Россия рухнет в первый же день войны».

Абсурд? Абсурд. Но капля камень точит. Если долго-долго долбить в одно место, долбить днем и ночью, изо дня в день, из года в год, начиная со школьных учебников, можно, оказывается, вывернуть мозги, как это сделали с тем лапотником.

Сегодня трудно найти в мировом эфире волну, свободную от антисоветской пропаганды. То же на западных экранах телевидения, в кино, театре, на эстрадных подмостках, в печати. Дурманом заполнен воздух. Люди словно под воздействием психотропной инъекции. В пропаганде против нас порой действуют столь изуверски изобретательно, что и в глупейшую ложь невозможно не верить. Я сам видел, как это делается.

Близ Гамбурга расположены живописные острова и полуострова Гельголанд, Силт и другие. Это место паломничества туристов. Там чудесные пляжи, скользят яхты, лодки, водные лыжи, там рестораны, кафе, бары, игорные дома, танцевальные залы, другие увеселительные заведения, включая объекты платной любви. Между городом и берегами развлечений курсирует множество пассажирских катеров.

Через неделю после описанной лекции Богомолова случай свел меня с ним в Гамбурге. Он и предложил совершить морскую прогулку вокруг островков, пообещав показать нечто сверхоригинальное.

Катер, на который мы поднялись, выглядел весьма привлекательно. Он оказался очень старым, допотопной конструкции. Шел медленно, натужно, казалось, вот-вот задохнется. Кстати, и все встречные катера были такими же.

Как известно, уровень техники в ФРГ весьма высок и на обслуживание туристов трудно жаловаться, а тут?.. Может быть, мода? Ведь и извозчик в иной европейской столице возьмет по сравнению с таксистом втридорога, хотя повезет во много раз медленнее. Однако речь не о том.

Маленький, бойкий и остроумный гид восторженно, будто сам впервые увидел, указывал туристам на достопримечательности побережья.

— А это что? — протянул руку один из пассажиров. Все обернулись. В бухточке, мимо которой мы шли, стояли накренившись в разные стороны два наших катера на подводных крыльях. На борта налипли водоросли и грязь, отчетливо проступали желтые пятна ржавчины, во многих местах облупилась краска, вместо окон зияли провалы.

С недовольной миной гид ответил:

— Не хочется об этом. Вот посмотрите лучше сюда,— указал на какой-то памятник.

— А все-таки, что это за суда?

Гид заговорил неохотно:

— Ничего интересного. Жил себе человек, прилично зарабатывал, но — как только он мог! — поверил русской пропаганде. Поверил их рекламе. Продал свои катера и купил вот эти, русские. Оказалось, они выходят из строя раньше, чем через месяц и ремонту не поддаются. Теперь стоят, ржавеют, их даже на металлолом никто не покупает, боятся подвоха... Но посмотрите все же сюда...

Он говорил уже о другом, а туристы еще долго смотрели на жалкое зрелище, покачивая головами. Его словам верили. Да и как не верить, если собственными глазами видели.

Богомолов объяснил мне, что́ это за фокус. Для того и пригласил на морскую прогулку: посмотри, как работают.

Катера действительно были куплены у нас, и расчеты их предприимчивого владельца оправдались. Постоянные жители побережья стали пользоваться только ими: в несколько раз быстрее, и билеты дешевле. Да и туристы предпочитали скоростной и комфортабельный транспорт. Другие владельцы катеров оказались перед угрозой краха: их суда курсировали почти без пассажиров. Было над чем задуматься.

И придумали. Скинувшись, купили участок земли с

прилегающим к нему причалом и предложили их владельцу освободить место. Куда деваться со своими катерами? Они стояли на рейде, пока их хозяин, неся большие убытки, потихоньку сходил с ума, думая над тем, что же делать?

Все это их заботы, их нравы, пусть сами и разбираются. Нас это не трогает. Трогает другое, о чем узнал впоследствии. Некто воспользовался бедственным положением человека, оказавшегося накануне разорения. У новых владельцев причала снял в аренду место для стоянки катеров на подводных крыльях без права эксплуатировать их, и «спас» неудачника от полного краха: откупил у него катера. Что произошло дальше, мы уже знаем.

А гид состоял на службе в туристической фирме, только зарплату получал на другой службе. И тот, кто задал вопрос, получает зарплату там же. Они работают на пару, как обычные шулера, вроде бы даже незнакомые друг с другом.

Катера советского производства, доведенные до жалкого состояния, видят в течение года тысячи и тысячи туристов. И представляю себе: встретив такие же где-нибудь на морских или речных просторах — многие страны покупают их у нас,— подумают, вздыхая: еще кто-то доверился русским, еще кого-то разорили русские. И не переубедить их — сами все видели.

От провокации с южнокорейским самолетом или столь же провокационных кампаний о «правах человека» и «международном терроризме», до подлогов мелких, наподобие истории с катерами, все призвано прививать народам паранойю антисоветизма, довести «холодную войну» до точки кипения.

...Вернувшись в Бонн, я все еще возмущался гамбургской фальшивкой и тем парнем с его лаптями.

Богомолов сказал:

— Да разве он один! — Достал с полки подшивку газеты «Франкфуртер альгемайне», полистал и ткнул пальцем в какую-то статью:— Сядь, почитай.

Публикация, заверстанная посередине полосы, почти во всю ее ширину, содержала две таблицы — результаты опроса молодежи, характеризующие уровень интеллектуального, нравственного, духовного развития народов. В одной из таблиц перечислялись положительные качества людей, такие, как трудолюбие, честность, находчивость, остроумие, доброта и так далее. Во второй —

отрицательные: лень, зависть, безграмотность, лживость, склонность к воровству...

По ответу читателей на анкету редакция проставила первые десять мест, какие, по мнению опрошенных, занимают народы различных стран по перечисленным качествам.

Сама расистская затея газеты промышленного и финансового капитала провести подобный опрос, отвратительная и пошлая, глубоко оскорбительна для миллионов людей, которым приписана, например, «склонность к воровству» или, скажем, «тугодумие», будто такие качества могут быть присущи целым народам.

Не стал бы говорить об этих таблицах, не таи они в себе и нечто иное. В первой из них, в графах «находчивость», «трудолюбие», «доброта»... первенство отдано США, Англии, Франции, Японии, ФРГ, Бельгии и другим. Здесь, в этом разделе, народам Советского Союза места вообще не нашлось. Зато во второй таблице, где «безграмотность», «лживость» и прочее такое, не нашлось места Соединенным Штатам и другим «цивилизованным» странам. Там первые места розданы нам, Китаю, арабским народам.

Если пьяный хулиган обложит на улице мирно идущего прохожего, это вызовет возмущение людей, но не унизит в их глазах оскорбленного. Это воспримут как деталь биографии хулигана, и удивляться здесь нечему. Подлогами и бесстыдной ложью организаторов враждебной нам пропаганды тоже никого не удивить. Но анкеты «Франкфуртер альгемайне» заполняли не только они, но и сотни людей, честно высказавших свое мнение.

Какая же потребовалась психологическая хирургия, как глубоко проникли в мозг молодежи и как долго воздействовали на него, чтобы привить такое «свое» мнение!

По официальной статистике США, на каждые сто взрослых американцев приходится двадцать неграмотных. Каждый пятый не умеет читать и писать. Мы забыли даже думать о том времени, когда у нас были неграмотные. Сегодня каждый четвертый ученый земного шара — гражданин СССР. У нас около трех миллионов учителей, 1,1 миллиона врачей — вдвое больше, чем в США. Последние данные ООН свидетельствуют: по уровню грамотности населения США занимают 49-е место в мире. Ну, а в таблицах газеты? Всякий догадается: не Соединенным Штатам отдается первенство по безграмотности, а нам. Правильно, валяйте, чего там задумываться!

Правительство каждой страны само отвечает за окна, разбитые ее прессой. Эта мысль принадлежит Бисмарку. Прикидывая, почему в США столько безграмотных, хорошо бы обратиться к этой мысли. И еще она пригодилась бы при анализе некоторых сторон жизни американцев, учитывая при этом, что во времена Бисмарка «пресса» означала то же, что сегодня все средства массовой информации.

Порнография, наркомания, грабежи, бандитизм, убийства, демонстрируемые с экранов общественных и квартирных, в печати, театре, на эстраде, подаются так, чтобы «героям» пороков хотелось подражать, чтобы люди, особенно молодежь, упиваясь «красивыми» преступлениями, ожесточались, оглуплялись, тупели, а значит, легче поддавались бы восприятию опасных политических фокусов как реальности, отвлекались бы от социальных бед, верили в лапти. И весь кошмар, испускаемый средствами массовой информации, охватывает людей. По всей стране звенят стекла разбитых окон, гремят выстрелы, несутся к тайникам машины с похищенными, пылают кресты ку-клукс-клана. Но от социальных бед деться некуда. Они выпирают, вопиют, становятся невыносимыми. Люди не выдерживают, выходят на улицы.

Тогда их бьют. Бьют людей. Не окна — людей. Точно средневековые орды, оградившись щитами, врезаются в толпу и бьют. И ничего не скажешь: свободная страна — все можно.

Когда-то пощечина вызывала дуэль. Это не от физической боли. Это искала выхода, требовала возмездия боль унижения. А тут не пощечина. И не только унижение. Тут растоптанное, раздавленное чувство собственного достоинства людей. Тут выкручивают руки, ломают кости, бьют палками, резиновыми дубинками, каблуками. Бьют по голове, по лицу, бьют в пах твердыми, как в футбольных бутсах, носками сапог.

На вооружении у них не только щиты и каблуки. У них своя техническая революция. Как дымовыми завесами, окутывают толпы людей слезоточивыми газами, точно пулеметные очереди свистят пластиковые пули, сшибают с ног мощные водоструйные аппараты. Как анахронизм отбросили брандспойты, которые они держали в руках, окатывая людей водой. Теперь в руках брандспойт не удержишь. Укрепленный на кулачковом кронштейне, он легко вращается во все стороны и под любым углом, а струя вы-

рывается под огромным давлением, бьет со страшной силой.

Каждый вечер мы это видим на экранах телевизоров. Это документальные кадры. Это съемки с натуры. Они сделаны их, а не нашими операторами. Это обвинительное заключение, несмываемый позор администрации «цивилизованных» стран, которым в таблицах «Франкфуртер альгемайне» назначается первенство в гуманизме, доброте, нравственности, моральной и духовной чистоте.

Нам в области духовного развития по таблицам отказано вовсе. Куда уж нам! По уровню культуры нам отводится одно из последних мест. Непонятно лишь, почему все, решительно все западные страны наперебой приглашают к себе наш всемирно прославленный балет, наши знаменитые оперные, драматические и другие театры, включая кукольный, наши прославленные музыкальные и танцевальные ансамбли, наших выдающихся пианистов, скрипачей, вокалистов, сотни других деятелей искусства?

На всей Земле звучит музыка Дмитрия Шостаковича, памятник при жизни воздвигнут в столице Швеции советской балерине Галине Улановой, выдающиеся театры мира работают по системе Станиславского. С ночи становятся в очередь за билетами на Западе, хотя цены на них там чрезмерно высоки, когда выступает ансамбль Игоря Моисеева, или наш Большой балет, или поет Елена Образцова. Советская литература дала миру великие творения Горького, А. Толстого, Маяковского, Шолохова и ныне здравствующих писателей. На всех континентах знают полотна Ильи Глазунова. Единственный в мире цыганский театр родился и процветает в Москве. И как великий символ эпохи сияет над земным шаром улыбка Гагарина.

«Темные и отсталые» не по собственной инициативе едут на Запад. Их почему-то приглашают. Возможно, чтобы насладиться высоким искусством, обогатиться духовно?

Соединенные Штаты Америки, Англия, Ирландия, Западная Германия, Япония и многие другие страны приглашают наших режиссеров, чтобы учиться у них. Для постановки спектаклей за последние семь лет выезжали на длительное время за рубеж 114 советских режиссеров. На всех международных конкурсах скрипачей, пианистов,

вокалистов, на многочисленных балетных конкурсах наши представители неизменно получают первое, в редком случае второе или третье места.

На международной олимпиаде школьников по химии, проходившей в 1985 году в ФРГ, из четырех советских участников двое получили первое место и золотые медали. На аналогичных соревнованиях по физике в Швеции из пяти наших ребят четверо отмечены золотыми медалями и один серебряной. На такой же олимпиаде в Чехословакии по математике из шести участников СССР пятеро награждены золотыми медалями и один серебряной. Такие конкурсы проводятся ежегодно, и неизменно советские школьники триумфально проходят их, ни разу не уступив первых мест. Как видим, и молодое поколение у нас растет «темным и отсталым».

А спорт? За всю историю шахмат мы знаем 13 чемпионов мира. Семь из них — граждане СССР, и золотая корона остается у нас вот уже сколько лет.

Впервые советские спортсмены участвовали в летних Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 году и поделили первое и второе места с командой США. А следующие игры в Мельбурне, Риме, Токио, Мехико, Мюнхене, Монреале!— то есть на протяжении около 25 лет наши спортсмены занимали первые места, а американские вторые или третьи.

В соревновании за олимпийские медали в зимних видах спорта наша команда вступила в 1956 году в Кортина д'Ампецца и заняла первое место, а американская — пятое. В дальнейших играх, проходивших в Скво-Вэлли, Инсбруке, Гренобле, Саппоро, Лейк-Плессиде, Сараеве, мы занимали первое место за исключением игр в Гренобле, где наши уступили лишь норвежцам, а команда США дважды подряд получила восьмое место, потом седьмое, дважды — третье и, наконец, четвертое. К настоящему времени на счету советских спортсменов 46 мировых рекордов, у американцев — 24.

Все правильно: «темные и отсталые».

И еще один оригинальный показатель есть в таблицах «Франкфуртер альгемайне» — остроумие. По этому всесезонному виду соревнований нам не присуждено даже десятого места. Одно из первых, само собой понятно, назначено США. Возможно, многие американцы и в самом деле остроумны. Спорить не стану, точно не знаю. Точно

знаю лишь, что не все. Есть такие, кто шутит довольно плоско и грубо. Даже опасно шутит. Не так давно один шутник оригинально пошутил. А 29 апреля 1985 г., например, в Нью-Йорке распространилась ранее не существовавшая и ныне не существующая газета «Пост нью-йорк пост», оповещавшая о начале ядерной войны. Оказалось, это была только шутка. Очень остроумно пошутили. Здорово пошутили. Но те, кто не занимает первых мест в остроумии, таких шуток не понимает. От таких шуток мурашки могут по телу пойти. Впрочем, может, на мурашки и рассчитывали шутники. Мурашки у нас не появились, появился вопрос: а что, если бы те, кому отказано в остроумии, ответили на такую шутку всерьез?

Подумали об этом шутники? Подумали. Вопреки собственным разглагольствованиям они хорошо знают: наше слово крепкое, надежное, первыми мы не нажмем кнопку. Но лично я уверен — и на нашей кнопке лежали пальцы, а четкое ухо приборов не пропустило бы безумной команды из-за океана.

И что бы получилось? Ничего. Ничего не осталось бы от жизни на Земле.

Во всей этой ситуации проступает что-то гнетущее, чуждое людям, отвратительное и ядовитое. И это «что-то» не туманное, не расплывчатое, а точно определенное, четко сформулированное там же, в Соединенных Штатах: «Держать мир на грани войны». Вот пока чего добиваются шутники. Но при этом кое-что недоучитывают. Кое-что упускают из виду. Не берут в голову, что время теперь не то. В прежние времена в Организацию Объединенных Наций входило 59 стран, и США, пользуясь механическим большинством, протаскивали любые решения. Теперь в ней 159 стран, и ни одно предложение США не проходит. И единодушно принимаются инициативы советских и других прогрессивных стран.

И еще один серьезный просчет шутников. Им бы заглянуть в учебник по истории, чего они не делают. Когда-то Советский Союз был в одиночестве. Потом появились страны социалистического содружества в Европе, потом — Куба, Вьетнам, Никарагуа, Кампучия, Ангола; новый мир строят Эфиопия, Йеменская Арабская Республика, Мозамбик. Поднялись на смертельный бой за свободу патриоты Сальвадора, Намибии, Боксваны. Начиная с Индии твердо встали или становятся на путь независимости десятки стран, ранее закованные империализмом

в колониальные кандалы. Идет революционное брожение во многих странах Азии, Африки, Латинской Америки.

Все это не шуточки. Шутить с этим опасно.

И еще хорошо бы шутникам посмотреть с какой-нибудь высокой башни на улицы, площади, проспекты. Не только в городах Соединенных Штатов, а решительно во всем мире. Нет сегодня на планете уголка, где бы не поднялись народы на борьбу за мир. История человечества не знала такого всемирного волнения народов, протестующих против военных приготовлений США. Пусть подумают шутники и политические фокусники, что значат волны народного гнева. История знает: они могут вздыбиться в девятый вал.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

В годы второй мировой войны я познакомился с человеком, которому суждено было стать одним из крупнейших банкиров мира. Но тогда его деятельность проходила в области чрезвычайно далекой от валютно-финансовой, и занимал он весьма скромную должность. Он никогда, насколько я знаю, не думал стать банкиром. Увлекался поэзией, писал стихи, мечтал о литературном поприще.

Но шли годы, и, однажды волею судьбы прикоснувшись к сфере валютно-финансовой, он начал постепенно втягиваться в нее, все глубже познавая мир голого чистогана. Впервые увидел этот мир, оказавшись в орбите деятельности так называемой «Большой пятерки» — пяти крупнейших английских банков, которые держали в то время в своих руках 85% всех банковских ресурсов страны. «Большая пятерка» контролировала и, по существу, направляла экономику Англии.

Нет в мире секретов более недоступных, чем банковская тайна. Она охраняется законом, властью, сложнейшими инженерными и шифровальными системами. Большинство работающих в банке посвящены лишь в разрозненные части его тайны, из которых никак не составить целого. Не посвящена в нее и масса акционеров, хотя числятся они совладельцами банка. Эту тайну знают лишь единицы, те, кто создал ее и воздвиг на пути к ней непреодолимые заслоны.

Изучение «Большой пятерки» не раскрыло перед ним ее тайн, но оставило глубокий след в сознании. Он понял ее методы.

Всякое дело, за которое брался, уже не выпускал из рук, словно впиваясь в него, пока не достигал в нем совершенства. Таким он был в годы войны, когда мы познакомились, таким оказался и в «Большой пятерке», хотя пришел туда без особых прав, еще никому не известный и далекий от практики большого бизнеса.

Сложнейшие переплетения международных политических и валютно-финансовых отношений осваивал в английских банках, долгими вечерами просиживал в библиотеке знаменитого Британского музея, изучая специальную литературу. Обладая гибким умом, сильной волей, фанатической настойчивостью в достижении цели, он впитывал науку банковских воротил, осваивал их приемы,

стратегию и тактику борьбы на мировом валютном рынке. Будучи лишь незаметным учеником, лишь стажером, которого не удостаивали взглядом магнаты, он готовился к тому, чтобы сесть с ними за круглый стол на равных правах.

Между крупнейшими банками мира идет постоянная жесточайшая борьба. Он изучал приемы и методы этой борьбы. Валюты, золото, кредиты владели его мыслями. Это была его стихия. Движения курсов валют, изменение цен на золото, взлеты и падения процентных ставок стали постоянным предметом его анализа. Этим он жил в Англии, эти же мысли владели им, когда обосновался в Соединенных Штатах Америки.

Обретенный опыт и природная хватка, точно направленная в одно валютное русло интуиция помогали ему и его коллегам определять колебания конъюнктуры мирового рынка, предвидеть изменения стоимости различных валют и цен на золото. Это были отнюдь не теоретические изыскания. Глубокий анализ приводил к точной ориентации и правильному выбору пути в лабиринте и хаосе мирового рынка и оборачивался немалыми выгодами.

И время пришло. Морган, Рокфеллер, Форд, представители крупнейших банков и концернов стали его партнерами по торговым и кредитным операциям. Он заключал все более крупные сделки, ставя свою подпись под договорами на многие миллионы и миллионы долларов. Он никогда не действовал в одиночку. Его постоянно окружали специалисты высшего класса, к голосу которых чутко прислушивался и неизменно находил оптимальные решения.

Внешнеторговый деятель, банкир — это не только род занятий. Это еще сложнейшая профессия. Кроме многогранной специфики банковской деятельности, кроме знания экономики и внешней торговли различных стран, бесчисленного количества фирм, устойчивости банков, кроме умения прогнозировать постоянно меняющуюся обстановку на мировом рынке он должен еще обладать многими качествами дипломата.

Неотразимые доводы, факты, цифровые выкладки хранились в глубинах его удивительной памяти до того, как понадобятся. И далеко не всякий умудренный практикой дипломат мог столь умело направить дискуссию в нужное ему русло.

Однажды его переговоры с министром финансов Япо-

нии Фукудой, казалось, зашли в тупик. Неожиданно он сказал: «Знаете, господин Фукуда, у меня легкая рука. В свое время мы провели успешные переговоры с министром торговли Англии Хитом. И, представляете, вскоре он стал премьер-министром. Плодотворно также завершились переговоры с министром финансов и экономики Франции Валери Жискар д'Эстеном. Это, конечно, совпадение, но по завершении переговоров он был избран президентом страны. Не улыбайтесь, но, после того как мы достигли договоренности о крупной сделке с министром финансов Италии Коломбо, он вскоре возглавил кабинет министров. Так неужели вы, министр финансов Японии, упустите такой счастливый случай?»

И оба рассмеялись.

Конечно же не эта шутка привела к положительным итогам переговоров с Фукудой. Однако, как известно, в каждой шутке... Кто знает, какое впечатление произвели его слова на министра финансов Японии, но впоследствии Фукуда и в самом деле стал премьер-министром.

Представитель крупного капитала США Дональд Кендалл сказал мне: «Это удивительный человек. Видимо, бог создал его и разбил форму, чтобы таких больше не было. С ним легко работать. Если наши переговоры осложнялись и точки зрения расходились все дальше, он неожиданно начинал рассказывать веселые истории. И как-то получалось, что они, никакого отношения к делу не имевшие, все-таки работали на его доводы. И мы в большинстве случаев приходили к соглашению».

О нем писали газеты и журналы Европы, Америки, Японии. Цитировали его высказывания. Но больше всех ценили качества этого человека те, чью волю он исполнял, по чьим заданиям работал. Они увидели в нем фигуру, способную встать во главе крупнейшего в мире банка. Банка, который по размерам своего баланса, оборота и активов превышает параметры таких банковских гигантов, как «Бэнк оф Америка», «Сити бэнк», «Чейз Манхеттен бэнк», французский «Креди Лионне», западногерманский «Дойче банк» и японский «Дайити Канге бэнк», вместе взятых.

Итак, я познакомился с ним в военные годы, а точнее сорок один год назад. В ту пору я был редактором газеты 3-й гвардейской артиллерийской Витебско-Хинганской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии прорыва Резерва Верховного Главнокомандования. Во

главе ее стоял гвардии генерал-лейтенант С. Е. Попов. Под стать ему были командиры бригад и полков — люди высокой культуры, большого мужества, богатого военного опыта и знаний. Но и среди них ярко выделялся начальник штаба дивизии Александр Георгиевич Спесивцев. Всесторонне образованный, он знал современное искусство войны, знал биографии великих полководцев чуть ли не всех времен и народов, их сильные стороны и их просчеты. В то далекое от запуска первого спутника Земли время он рассказывал нам об учении Циолковского, глубоко веря в наше скорое проникновение в космос.

Странной казалась его тесная дружба со старшим лейтенантом, командовавшим батареей, которого вопреки всем уставным положениям иначе чем по имени не называл. Что могло их связывать? У начальника штаба за плечами две военные академии. Огромная разница в званиях и должностях, в возрасте. Начальнику штаба, думается, было лет сорок пять, а старшему лейтенанту наверняка вдвое меньше.

Однажды Спесивцев посоветовал мне написать о боевых делах старшего лейтенанта. Повода для этого, мне казалось, не было. Дело свое он, конечно, знал превосходно, человек храбрый, волевой, всегда шел в передовых частях пехоты, откуда корректировал огонь своей батареи или дивизиона, но так же действовали и многие командиры батарей нашей дивизии, состоявшей из семи бригад, куда входили пятнадцать полков и еще отдельные части. Это добрых сто пятьдесят командиров батарей. Не просто отобрать лучших.

— Плохо людей знаешь,— покачал головой Спесивцев.— Три года было этому крестьянскому пареньку из-под Смоленска, когда при разделе земли кулаки убили его отца — секретаря исполкома волостного Совета. Но не затерялся сирота, не долго ходил в подпасках. В двадцать один год уже заканчивал в Ленинграде институт. Помешала война. Мог бы и закончить, никто его в военкомат не вызывал, но с пятого же дня ушел добровольцем в армию на защиту Ленинграда. Вот тут-то и хлебнул он.

В его стрелковой роте насчитывалось всего 84 человека, но приказ был стоять насмерть. И стояли. Утром начался бой, а к вечеру, когда чуть стихло, осталось 14. Но держались. Стояли, когда и втроем остались: кроме него студент Ленинградского горного института Женя Попов и рабочий Михаил Рейнгольд.

Когда пришла подмога, унесли труп Михаила и тяжело раненного Женю, а ему приказали прибыть в штаб полка, он еще сам мог идти.

Вот так-то,— закончил Спесивцев. Помолчав, добавил:

— В новых боях под Ленинградом был тяжело ранен и дважды контужен...

— Слов нет,— возразил я, выслушав Спесивцева,— воевал человек достойно, но то было в самом начале войны, в пехоте, а теперь мы к концу идем и в артиллерии служим...

Спесивцев пришел в раздражение:

— Нет, совершенно не знаешь людей. Его батарея отличилась в боях за Витебск, и в том, что дивизия получила название «Витебской», и его частица есть. В боях за Вильнюс он обнаружил и точными залпами взорвал вражеский склад боеприпасов, под Каунасом трижды рассеивал скопление фашистских танков и самоходок, чем немало помог освобождению города. А Лучеса? Знаешь, что произошло на реке Лучеса?

— Нет,— признался я.

— Я так и думал. Через Лучесу должен был переправиться гвардейский кавалерийский корпус. Но вражеская батарея, которую никак не удавалось засечь, точно пристреляла подходы к переправе и застопорила движение. Конники сунутся к ней, и их косит подчистую. А они скапливались, создалась угроза уничтожения корпуса. В этот критический момент он взобрался на самую верхушку высокого дерева, не побоявшись подставить себя под вражеский огонь, высмотрел фашистскую батарею и дал команду своим гвардейцам, которые сровняли ее с землей. Гвардейский корпус без потерь переправился на другой берег реки... Между прочим, именно за это он был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Разговор этот происходил перед началом ожидавшейся контратаки немцев, и Спесивцева вызвал генерал-лейтенант Попов.

— Кстати,— сказал Спесивцев, поспешно складывая карту,— говоришь, сто пятьдесят командиров батарей — верно. А ведь его и генерал знает и выделяет среди многих. Спроси сам Степана Ефимовича. Я уже не говорю о командире его полка Кривошапове и командире дивизиона Бабиче, те просто в нем души не чают.

Спесивцев ушел, на прощание бросив:

— Хочешь или нет, будешь о нем писать, он еще свое слово скажет.

Спесивцев оказался прав. Вскоре я написал первую заметку об этом командире батареи в нашей газете «Во имя Родины», когда во имя Родины он продуманно и сознательно пошел на верную гибель.

Когда ринулись в атаку тяжелые танки дивизии «Великая Германия» и часть машин достигла его наблюдательного пункта, имея все права и возможности отойти, он вызвал огонь на себя и, находясь в этом смертельном аду, в пламени горящих танков, продолжал корректировать огонь орудий дивизиона, точно наводя их на цель, пока не захлебнулась танковая атака. Во время этой схватки не один раз, а четырежды он вызывал огонь на себя.

Фронтовики знают — на войне бывает чудо. Это чудо испытал на себе старший лейтенант. Он остался жить. И не посмертно, а в собственные руки вручила ему Родина Звезду Героя Советского Союза.

Теперь он банкир. Председатель правления Государственного банка СССР — крупнейшего банка в мире, член Центрального Комитета партии, депутат Верховного Совета СССР, член правительства. И все, что сказано выше,— это о нем, о крестьянском пареньке, отца которого убили кулаки, о бывшем пехотинце, а потом командире батареи гвардии старшем лейтенанте Владимире Сергеевиче Алхимове.

По словам В. И. Ленина, банк — это «единый аппарат... регулирования социалистически организованной хозяйственной жизни всей страны в целом». Именно всей страны. Через Госбанк проходит финансирование, кредитование промышленности, транспорта, сельского хозяйства, учреждений культуры. В руках Госбанка контроль всей экономической жизни, проводимый мощнейшим экспертным аппаратом и высшей компетентности банковскими инженерно-техническими службами. Банковская деятельность пронизывает всю экономическую и социальную жизнь страны.

Государственный банк СССР оказывает влияние на обширную деятельность всей сети советских банков за рубежом. Наш банк в Лондоне, учрежденный по инициативе В. И. Ленина в 1919 году, ныне входит в «первую десятку» британских банков. Советский банк в Пари-

же — самый крупный из существующих во Франции иностранных банков.

Государственный банк СССР — это около 4,5 тысяч банковских учреждений и почти 80 тысяч сберегательных касс.

Банк — это тайна. Как работает член правительства, председатель правления Государственного банка СССР Владимир Сергеевич Алхимов, я не знаю. Могу лишь судить по тому, что свой третий орден Ленина он получил уже за труд на этом посту. К слову, не только орден Ленина. Значит, работает так же, как воевал.

Хитросплетения валютного мира Запада он изучал в Англии на примере «Большой пятерки», готовя кандидатскую диссертацию «Банковские монополии Англии», которую успешно защитил. Несколько лет познавал этот мир в Соединенных Штатах, будучи там торговым советником посольства СССР. Через его руки проходил гигантский внешнеторговый оборот страны, когда возглавлял валютное управление Внешторга. Двенадцать лет он отстаивал интересы Родины на посту заместителя министра внешней торговли. И на каждом посту добивался весьма ощутимых успехов. Например, серия его переговоров с руководителями финансовых кругов Англии, Франции, Италии и других стран Запада привела к тому, что мы впервые получили долгосрочные кредиты на 10—15 лет. Так было выполнено указание партии и правительства о прорыве кредитной блокады.

Приведенный выше разговор с видным представителем деловых кругов США Дональдом Кендаллом состоялся в 1973 году. А несколько дней назад я снова с ним встретился. И снова разговор зашел об Алхимове.

— Возможно,— сказал Кендалл,— мы легко находим с ним общий язык потому, что в тягчайшее время, во время войны, на себе испытали нечто схожее. Только чудом он спасся от гибели, когда вызвал огонь на себя. Но и свое спасение я считаю чудом. В то время я был командиром морского истребителя-бомбардировщика. Однажды над водами Тихого океана меня нащупали своими прожекторами японские военные корабли. Я бросил машину в пике, но лучи и спереди, и с боков, и сзади не выпускали меня. Даже сейчас не могу объяснить, как удалось мне

лететь над самой водой, по трассе, которая для японских снарядов оказалась мертвым пространством. Но летел совершенно ослепленный и оглушенный грохотом разрывов, и, повторяю, только чудо помогло выбраться из огненного ада.

Между прочим,— перешел на другое Кендалл,— я убежден, нет в западном мире двух народов, которые были бы так близки по характеру, широте души, по чувству юмора, как американцы и русские.

А людям, обладающим юмором и понимающим юмор, легче решать даже вопросы государственного значения. Однажды, после сделки на закупку в США крупной партии зерна, у нас поднялся шум, будто русские слишком дешево заплатили за него. Кое-кто пытался возбудить вокруг этого общественное мнение. Особые страсти разгорелись в Нью-Йорке на пресс-конференции, устроенной Американо-советским торгово-экономическим советом. Мы вели ее вместе с Алхимовым, как сопредседатели этого совета. Некоторые представители печати требовали пересмотреть сделку, считая ее неправомерной, наносящей ущерб Америке. Шумели долго, а когда наконец стихли, все обратили свой взгляд на Алхимова,— что скажет он? А он был очень спокоен, спокойно и сказал: «Зерно куплено по ценам мирового рынка. Но если вы считаете такое положение ошибочным, давайте его исправим, давайте пересмотрим сделку».

Присутствующие насторожились, никто не ожидал такой быстрой капитуляции, ведь сделка фактически была завершена. А Алхимов продолжал: «Но мне кажется, что такой пересмотр цен на проданное надо решать комплексно. Мы, например, считаем, что русский царь слишком дешево продал вам Аляску. Так вот, мы вам вернем ваше зерно, а вы нам наши деньги. Одновременно мы вернем ваши семь миллионов долларов, заплаченных за Аляску, а вы нам — нашу Аляску».

Я помню,— продолжал Кендалл, смеясь,— как на какое-то мгновение зал притих, а потом разразился гомерический хохот. Эта шутка полностью сняла проблему. На следующий день о ней сообщили все крупные газеты. И что, на мой взгляд, особенно важно, разъяснили: зерно продано действительно по ценам мирового рынка. Глава крупнейшего банка «Чейз Манхеттен бэнк» Дэвид Рокфеллер рассказал, что его брат Нельсон Рокфеллер, быв-

ший в ту пору вице-президентом США, прочитав в «Нью-Йорк таймс» об этой истории, тоже рассмеявшись, заметил: «Нас, американцев, можно убедить только так». Вот вам и цена юмора, так присущего Алхимову,— заключил Кендалл. На какое-то время он задумался, а потом сказал:

— А если отбросить шутки, то к словам Алхимова, к его предвидениям весьма полезно прислушиваться. Вот вам еще один пример, куда более важный. В 1965 году Организация Объединенных Наций поручила двенадцати крупнейшим в мире специалистам по валютным операциям выработать рекомендации по ряду глобальных валютных проблем. Каждый эксперт рассматривался не как представитель своей страны, а как эксперт в личном качестве. Да и не было здесь паритетного принципа. Например, советский эксперт был один — Алхимов, а американцев двое.

В 1934 году для мирового рынка цена на золото была установлена в 35 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма золота). Большинство экспертов считало необходимым оставить ее без изменений. Алхимов заявил, что она слишком занижена и ее надо поднять хотя бы до ста долларов за унцию. Подспудную мысль Алхимова понять было можно: США, не добывающие золото, по дешевке скупают его у золотодобывающих стран, которые много на этом теряют. Против предложения Алхимова особенно активно возражали эксперты из США. В ответ он заявил: «Конъюнктура на длительное время складывается так, что хотим мы того или нет, но цена на золото в долларах будет неизбежно и постоянно расти. Это объективная реальность. Если согласиться с таким прогнозом и повысить цену на золото, то США выйдут из этого положения, так сказать, с «красивым лицом». В противном случае, сами понимаете...» С ним не согласились. По его настоянию «особое мнение» советского эксперта, поддержанное экспертом из Чехословакии, было впервые записано в доклад ООН.

Что же произошло дальше? — продолжал Кендалл.— Как и предсказывал Алхимов, цена на золото стала подниматься из года в год. Уже через несколько лет США вынуждены были объявить, что вопреки своим обязательствам не могут и не будут, как это происходило раньше, платить золотом за доллары. В настоящее время тройская унция золота на мировом рынке стоит

примерно в десять раз больше, чем в момент спора экспертов.

Помолчав, он закончил:

— Что касается советских организаций, не сомневаюсь, они не могли не считаться с точкой зрения Алхимова.

...Вся жизнь Владимира Сергеевича Алхимова — это борьба. Борьба кровавая и бескровная. Всю жизнь он выполняет волю партии, волю народа. Он — один из миллионов, отстоявших Родину в навязанной безумием войне, один из миллионов, уверенно шагающих сегодня по пути, проложенному партией.

1985 г.

У ПОГОРЕЛОГО ГОРОДИЩА

В первый период войны я занимал должность помощника начальника оперативного отдела штаба инженерных войск Западного фронта. Эту фразу я написал не с ходу, не вдруг, а тщательно подбирал подходящее слово, которое бы точно отражало истину, пока не пришло это «занимал». Я действительно лишь занимал должность, ибо для службы, а говоря языком не военным, а гражданским, для работы на этой должности не имел никаких данных. Дело не только в том, что должность, если не ошибаюсь, была полковничья, а мне в ту пору надлежало первым козырять даже младшему лейтенанту. Главное — я абсолютно не был знаком с оперативной работой, особенно в масштабе инженерных войск целого фронта. Имел лишь самое общее представление о минно-саперном деле, а по занимаемой должности был обязан знать его досконально. Короче — полное служебное несоответствие. Потому и назначение такое было для меня полной неожиданностью.

В один из осенних дней 1942 года я сидел над очередной статьей для своей газеты, когда меня вызвал редактор — батальонный комиссар Колобов.

— Срочно отправляйтесь к начальнику отдела кадров инженерных войск фронта майору Щеголеву.

— Зачем?

— Не задавайте лишних вопросов. Не знаю.

По дороге в штаб нервничал. К тому времени я еще не успел ни в чем провиниться — значит, вызывают не для наказания. Может быть, другое назначение? Но при чем тут кадры инженерных войск? Не только военного, но даже просто инженерного образования не имел. И вообще, газетчиками занимаются не отделы кадров родов войск, а политуправление.

Майор Щеголев, ничего не объяснив, направил меня к комиссару штаба инженерных войск фронта Ивану Васильевичу Журавлеву.

— Посидите здесь,— указал мне на стул его адъютант.

Вскоре, резко толкнув дверь, из кабинета комиссара вышел командующий инженерными войсками генерал-полковник Иван Павлович Галицкий. Может быть, потому, что я не очень проворно поднялся и недостаточно смирно стоял, он довольно грозно спросил:

— Вы кто?

Я назвал себя, сказал, что являюсь сотрудником газеты «Сын Отечества» 1-й саперной армии, и, козырнув эрудицией, добавил: вверенных вам инженерных войск Западного фронта.

Галицкий хмыкнул:

— Такой газеты нет. И армии такой не существует.— И пошел к выходу.

Я подумал: видимо, какие-то клеточки мозга у меня несколько сместились... Или? Может быть, не во мне дело? Ну, я — ладно... А ведь ему войсками командовать...

У двери Галицкий обернулся:

— Что же вы стоите, идите к комиссару.

Полковой комиссар Журавлев принял меня приветливо, предложил прочитать донесение командира отдельного минно-инженерного батальона. В бумаге говорилось, что, презирая смерть, проявив непревзойденный героизм, бойцы подразделения переправились по льду реки, находившейся под ураганным пулеметно-автоматным огнем врага, заминировали опушку леса на противоположном берегу и благополучно вернулись, не потеряв ни одного человека.

Эпизод этот был мне хорошо известен, я писал о нем в газете. В лесу, в своем расположении минеры срубили несколько сосен, распилили их на куски в полтора человеческих роста, тщательно ошкурили, оставив лишь по одному короткому суку. Стволы спустили на лед и, держа за суки, поползли к противоположному берегу, толкая стволы, надежно прикрывавшие от огня.

Прочитав рапорт, я сказал Журавлеву, что эпизод этот знаю.

— Знаю, что вы знаете,— заметил он.— Потому и вызвали вас. Приказом Ставки Верховного Главнокомандования саперные армии, в том числе и наша, расформировываются. Следовательно, не будет выходить и газета, в которой вы служите... Но вот смотрите, что делается. Люди воюют, проявляя невиданную изобретательность, инициативу... А здесь,— указал на толстую папку рапортов,— героически сражались, героически рвались вперед, героически отстаивали рубеж... Будто под копирку. И еще стандарт: особо отличился такой-то. А что значит «героически», ка́к «особо отличился», в чем это выразилось —

хоть убей, описать не могут... А наградные листы? Те же слова — героически сражался, особо отличился — и все. И никак не научим. А ведь такой случай, как на льду, это же опыт войны, великолепный пример солдатской смекалки. О нем все войска фронта должны знать, даже Ставке доложить не стыдно. А кто придумал? Младший сержант. Хоть по возрасту и младшим его называть неловко. Командующий приказал к награде его представить.

Дальше Журавлев сказал, что меня забирают в штаб. Буду своевременно получать информацию, в каких частях могут происходить интересные события, выезжать туда и помогать командирам в составлении отчетов об операциях. Кроме того, в мои обязанности будет входить проверка всех наградных листов и надлежащее их редактирование, чтобы подвиг, за который человек представлен к награде, был исчерпывающе ясно и предельно коротко описан.

Такой неожиданный оборот обрадовал чрезвычайно. Я буду в курсе самых интересных боевых дел, буду знать много подлинных героев. Может ли газетчику попасть в руки более ценный клад!

Подходящей должности для меня не оказалось, и назначили временно на единственно вакантную. Так я стал помощником начальника оперативного отдела штаба инженерных войск фронта. А вскоре получил и первое офицерское звание, и не какое-нибудь, а сразу — старший лейтенант.

Я добросовестно выполнял возложенные на меня обязанности. Даже неловко писать «обязанности». Военные журналисты, кроме, может быть, самых знаменитых, не легко добывали информацию о предстоящих операциях, о том, где именно могут развернуться интересные события. А я ее получал, можно сказать, по долгу службы на тарелочке с голубой каемочкой. И хотя эта информация касалась лишь инженерных войск фронта, ее с лихвой хватало, чтобы освещать их жизнь на страницах фронтовой газеты «Красноармейская правда». Вскоре очерки о минерах стали появляться и в других газетах, даже в Якутске, ибо меня назначили военным корреспондентом ТАСС «по совместительству».

Постепенно узнал многих командиров и бойцов инженерных войск, побывал во всех батальонах и бригадах — минных, саперных, понтонных и смешанных. Особенно

часто приезжал в 11-й отдельный гвардейский батальон минеров, которым командовал гвардии подполковник Алексей Федорович Тихомиров. Сейчас он, полковник в отставке, живет в Калинине, и хоть не часто, но встречаемся, обмениваемся письмами, вспоминая то далекое время.

Его батальон по всем статьям был особым. Только один такой на весь Западный фронт. Звание «гвардейский» он получил не за победные бои и вообще не за боевые операции. Еще не существовало его, еще только формировался, а уже носил это гордое звание. И не зря. Думаю, пришло время выдать одну маленькую тайну и Герой Советского Союза генерал-полковник в отставке Иван Павлович Галицкий на меня не обидится.

Приказ был коротким и предельно ясным: из всех подразделений и частей инженерных войск фронта отобрать самых бесстрашных и самых опытных бойцов и офицеров, прошедших испытания боями, из которых и сформировать новый батальон особого назначения. Казалось бы, чего проще: дать приказ командирам батальонов и бригад откомандировать в распоряжение штаба инженерных войск бойцов и офицеров, показавших образцы героизма и умения воевать.

Просто, конечно, да только какой командир будет откомандировывать лучших своих людей! Тут уж на любую хитрость пойдут, а только лучших у себя оставят. Должно быть, и в штабе это понимали, и тоже не простачки там сидели, приказ составили с хитрецой. Сло́ва «откомандировать» там не было — только назвать лучших. Не помню уж точной формулировки, но получалось, вроде бы к особым наградам собираются представлять людей, хотя впрямую о наградах ничего не говорилось. А в следующем приказе, когда лучшие уже были названы поименно, предлагалось немедленно направить их в распоряжение штаба. Так и был создан этот батальон, можно сказать, из героев, уже проявивших лучшие качества воина великой державы. И звание гвардейцев они заслужили.

Дислоцировался он далеко от передовой и по нашу сторону фронта почти не действовал — как правило, только в тылу врага, чаще всего в его глубоком тылу. Уходили или улетали туда мелкими группами, выполняли задачи,

поставленные командованием инженерных войск, которому был подчинен батальон, совершали крупномасштабные диверсии, расстраивавшие планы врага в наступлении или обороне.

Командиром одной из рот был гвардии капитан Иван Зорин, а комиссаром у него — в отличие от других частей, здесь и в ротах были комиссары — гвардии капитан Федор Губарев. В отставку Губарев ушел спустя годы после войны в звании гвардии полковника. Живет он в Москве, время от времени мы встречаемся, и неизменно возникает у нас разговор о Зорине. Вроде бы и сам я его хорошо знал, и внимательно слушаю рассказы о нем Губарева, но полностью постичь этого человека не могу. Давно бы надо написать о нем, я обязан это сделать, это мой святой долг, ибо был свидетелем его гибели, но не хватает у меня на это мужества. Боюсь. Боюсь, не раскрыть мне образ этого богатыря, человека даже не редкостного, а, может быть, единственного, и уж бесспорно единственного из всех героев, каких узнал я за годы войны на западе и на востоке. Кажется, любые превосходные степени лучших человеческих качеств, таких понятий, как мужество, героизм, светлый ум, воля, душевная чистота, не дадут полного представления о том, в какой мере были присущи ему эти качества.

— Глядя на тебя,— сказал я ему однажды,— не удивлюсь, если в бога начну верить.

Было это при следующих обстоятельствах. В ясный зимний день, находясь в кузове полуторки, мы миновали последний перед передовой контроль — пропускной пункт и по просеке углубились в лес. Навстречу тоже шла полуторка, мы разъезжались впритирку на самом тихом ходу. Два лейтенанта лихо козырнули нам из проползавшей мимо машины. Не успели мы отъехать и двух десятков метров, как Зорин яростно застучал по кабине, приказывая шоферу немедленно возвращаться. Пока водитель с трудом разворачивался на узкой просеке, на мои недоуменные вопросы Зорин не отвечал. А потом выдохнул:

— Это немцы.

Нет, лица незнакомые, едва ли он их видел когда-либо, тем не менее это немцы.

Полуторку мы нагнали у КПП, где скопилось немало

машин. Она была шестой, последней. Зорин соскочил и рванулся в помещение КПП. Там командовал майор, который никак не мог понять запыхавшегося Зорина, а тот не мог объяснить, почему считает этих офицеров немцами. Однако под его напором, взяв с собой сержанта, майор направился к подозрительной машине, потребовал у лейтенантов документы...

— Что это нам такое преимущество? — с улыбкой, на чистом русском языке сказал один из них.— Вон сколько впереди нас.

Но майор отрубил:

— Не разговаривать! Документы!

Документы оказались в порядке, но кое-что насторожило майора. Шофер полуторки не знал их — на каком-то лесном перекрестке близ самой передовой попросили подвезти. На вопросы, что они там делали и где находится их часть, отвечали не очень уверенно, и майор задержал их до выяснения.

Впоследствии мы узнали, что то были не немцы, но враги, предатели, заброшенные к нам. Я долго допытывался у Зорина, по каким приметам определил их,— это же невероятно. Вразумительного ответа он дать не мог. Просто чувствовал. Вот тогда я и сказал ему насчет бога.

Интуиция Зорина поражала. Он точно определил и день своей гибели.

До войны Зорин был начфином на погранзаставе. Что там произошло в первый день войны, как разбомбили заставу, я в свое время описал. Повторю лишь кратко. После гибели начальника заставы и его ближайших помощников командование принял на себя начфин. Умело организовал оборону и вывел людей из окружения. За этот первый в его жизни бой в первый день войны он был награжден орденом боевого Красного Знамени. В тот год ему стукнуло двадцать лет.

Поражало в Зорине многое, в частности, обостренное до удара пружины чувство реакции. Однажды с группой минеров он летел в тыл врага с заданием разрушить мост в ста километрах от передовой. Мост этот имел огромное значение и охранялся сверхмощными противовоздушными силами. Разбомбить его не удавалось. Вот тогда и

решили послать Зорина с группой минеров. Однако самолет, на котором они летели, был подбит и начал разваливаться в воздухе. Связка взрывчатки лежала на полу. В каком-то сверхъестественном прыжке Зорин рванулся и успел схватить ее. Раскрыл парашют близко от земли, а перед самым приземлением бросил взрывчатку, чтобы смягчить свой удар о землю. Ему удалось найти еще двух минеров из своей группы, и вместе они выполнили задание. Только после этого, как и было приказано, отыскали в лесу партизанский отряд, откуда спустя короткое время их забрал самолет.

В ноябре 1942 года на плацдарме близ Погорелого Городища готовились к наступлению наши 20-я и 31-я армии. Серьезным препятствием на их пути был фашистский бронепоезд, курсировавший параллельно передовой. Зорин получил приказ в нескольких местах взорвать железную дорогу и таким образом вывести бронепоезд из строя. Рота была разбита на несколько групп. Одну из них возглавил Зорин. Остальные — Губарев и другие офицеры. Часть роты осталась в резерве.

Признаюсь честно, и пусть меня судят те, кто имеет на то моральное право: добровольно ни за что в тыл врага не пошел бы. Но в Зорина я верил, как фанатично религиозный человек верит в бога. Он десятки раз был на грани гибели, но остро ощущал эту грань, ни разу не переступив ее. По бесчисленным примерам, по опыту я знал, был слепо уверен, что с Зориным и людьми, которых он ведет, ничего плохого случиться не может. И я попросил командование включить меня в его группу. Решение было принято не сразу, я попал на исходную позицию, в место, где был намечен переход линии фронта, когда вся группа находилась уже там и где ждал меня неприятный сюрприз. В группе оказалась и военфельдшер Женя Кочеткова, к которой, честно говоря, я относился с большим недоверием: слишком юная, слишком красивая, слишком беззаботная. Для трудной минуты абсолютно непригодна. Знай я об этом раньше, еще подумал бы — идти с этой группой или нет, хоть и ведет ее Зорин. Однако пути назад не было: имелся приказ о моем включении в группу, и находились мы на последнем рубеже.

Группа наша разместилась в двух землянках, вернее норах — сидеть на земляном полу, покрытом лапником,

еще можно было, а встать нет. И войти или выйти было нельзя — только ползком. В одной из них разместились Женя, Зорин и я, в другой — отважный и опытнейший минер, прошедший гражданскую войну у себя на родине испанец Менендес, и ординарец Зорина, тоже опытный минер Миронов. Вечером мы легли спать. Проводник должен был прийти за нами в четыре часа утра. Без десяти четыре Зорин приподнялся, разбудил нас, спросил, не остались ли в наших карманах какие-либо документы.

— А у меня кое-что осталось,— сообщил он, услышав наш отрицательный ответ. Достал из кармана отпечатанные на одной карточке две свои маленькие фотографии, сложил их вдвое и аккуратно разорвал по сгибу. При свете гильзовой коптилки карандашом надписал их и, протянув по одной нам, сказал: — Вот вам на память.

Надпись на подаренной мне карточке, которую храню и поныне, содержавшая добрые слова в мой адрес, заканчивалась так: «...в решающий день моей жизни». Он знал, что это его последний день.

Мы выбрались из землянки. Мела пурга. Это было нам на руку. Не было видно огоньков, не слышались голоса, и скопление войск ощущалось словно в воздухе. Где-то недалеко позади сосредоточились танки. Через два часа ринется танковый десант. То и дело не видимые нами люди окликали нас:

— Пароль!

Проводник, опытнейший разведчик из пехоты, хорошо знавший передний край, привел нас к гребню широченного пологого оврага и, указав направление, которого нам надо держаться, ушел. Мы молча двигались по склону оврага, изрезанного заброшенными и заснеженными окопами, не то нашими, не то немецкими. Где-то, может быть, в километре от нас, находился Губарев со своей группой. Время от времени с разных сторон раздавались короткие пулеметные или автоматные очереди, а то и просто одиночный выстрел. Бесцельная стрельба. Так, на всякий случай. Немцы любили, демонстрируя свою бдительность, на всякий случай пострелять. Потом грохнул снаряд. Собственно, грохота мы не услышали, он разорвался совсем близко, и осколки достигли нас раньше звука. Они ударили веером и в трех уровнях: очень мелкие, покрупнее и размером с кулак.

Зорин был чуть ниже меня ростом, да еще шел по склону впереди меня. Поэтому такие же мелкие осколки, что ударили мне по кончикам пальцев, ему перебили запястья. Крупный попал мне в ногу выше колена, а ему — в живот. Совсем крохотные застряли у меня в груди, а ему, видимо, угодили в лицо, потому что из разных мест по лицу его сочилась кровь. Тяжело ранена была Женя, и тоже в область живота и в руку. Лицо ее почему-то покрылось копотью. Тяжело контуженным оказался Миронов. Он улыбался и ничего не понимал. И только Менендес остался невредим. Вокруг нас никого не было.

Быстро оценив обстановку, он бросился туда, где находился Губарев и другие минеры.

О последних минутах жизни Зорина, о его спокойных и гордых словах: «Вот и все, друзья мои», о том, как терзался я от стыда и угрызений совести, поняв свою недопустимую ошибку в оценке Жени, я в свое время рассказал в очерке «Седые волосы». Описал, как, изгибаясь от боли, окровавленная, она накладывала на мою ногу жгут, понимая, что это единственная возможность спасти жизнь, но и серьезный риск потерять свою, ибо собственную кровь, пока не закончила со мной, останавливать ей было некогда. В том же очерке рассказал, как искал Женю после войны, как нашел ее, но это уже было после их серебряной свадьбы с Федей Губаревым. А просто свадьбу они справляли вместе с Днем Победы.

Живут они в Москве, связи мы не теряем, хотя видимся не так часто, как хотелось бы. А недавно мы с Федей Губаревым махнули в Калинин навестить нашего боевого командира, героически прошедшего всю войну, Алексея Федоровича Тихомирова. Смерть Зорина он переживал долго и тяжело и, как ни захлестывала его война, находил время примчаться на часок в Москву в два госпиталя — к Жене и ко мне.

...Бой был в разгаре. Рвались бомбы, схватывались в небе самолеты, захлебывались пулеметы и автоматы. Зорин уже умолк навсегда. Женя, ругая на чем свет стоит Миронова, который не мог понять, чего от него хотят, действуя одной рукой и зубами, накладывала мне жгут. Сколько это продолжалось, не помню. Несколько пехотинцев торопливо прошли мимо нас, и я взмолился:

— Ребята, помогите!

У них были свои дела, свое боевое задание, они спешили, но задержались, в нерешительности остановились, кто-то из них бросил короткую фразу, и они вернулись. Как унесли или увели Женю, я не видел. Два пехотинца уложили меня на плащ-палатку и по снегу потащили вверх по склону.

Во время всей войны на всех фронтах с неотвратимой силой действовал закон взаимовыручки. Ценой даже собственной жизни люди помогали тем, чью жизнь надо было спасать. И кто скажет, сколько тысяч или сотен тысяч людей уберегла от гибели, от увечий, от плена надежная рука товарища по окопу, тепло его души, готовность к самопожертвованию во имя другого. Я испытал это на себе и знаю по опыту многих. Но законы войны беспощадны. И о нашей великой священной войне, рассказывая сегодня, мы говорим всю правду, какой бы жестокой она ни была. Когда идет атака и падает даже самый близкий твой друг, ни ты сам, никто из бегущих рядом не остановится. Раненых подберут специально на то выделенные люди. А если они ранены или убиты? Или огонь не дает подобраться?

Ни боец, ни группа бойцов, получивших боевое задание, не вправе остановиться у нуждающегося в помощи, ибо их задержка может расстроить планы командования, вызвать новые, напрасные и порой большие жертвы.

Пехотинцы, вытащившие меня на гребень оврага, извинились и умчались обратно, наверстывая упущенное время. На прощание крикнули:

— Тут народу много, подберут.

Менендесу удалось найти Губарева, и тот с группой минеров из резерва отыскали Женю, оказавшуюся далеко от меня. В полевом походном госпитале ей оказали самую элементарную помощь, сказав, что она нуждается в сложной и срочной операции, которую в полевых условиях сделать невозможно. Исключительная оперативность, находчивость и настойчивость Губарева привели к тому, что ее на самолете эвакуировали в Москву, благо все это происходило близко от Москвы в Погорелом Городище Калининской области. Там же, в Погорелом Городище, с воинскими почестями и солдатскими слезами похоронили Зорина.

Я не все время был в сознании, и как возле меня оказался старший сержант Рымарь, парень огромного роста, не знаю. Я по сей день ничего о нем не знаю. Может быть, он отзовется на эти строки, и я скажу ему лично, как благодарен за все, что он для меня сделал. Но меня Рымарь знал. Может быть, по очеркам во фронтовой печати, а возможно, по тем, что шли через ТАСС, и это вскоре мне стало ясно.

Я лежал на гребне оврага. Вокруг гремел бой. Где-то недалеко, казалось хаотически, перебегали с места на место люди, но никто из них никак не отзывался на крики и отчаянные жесты Рымаря. Откуда-то из-за кустарников показались розвальни, которые на рысях несла маленькая сытая лошаденка. Рымарь рванулся к ней, схватил под уздцы, выстрелил — казалось, в возницу, пожилого с седыми усами солдата, властно крикнув:

— Одну пулю в небо, другую в тебя или подвези раненого офицера.

— Да как же,— запричитал тот, указывая на груду валенок в розвальнях.— Я ж на боевое задание.

— Валенки — не боеприпасы, успеешь! — И Рымарь вновь поднял пистолет.

Он был неправ, как и я, молча наблюдавший эту сцену. Может быть, где-то рядом замерзали бойцы, может быть, в атаку им идти, и валенки так же важны сейчас, как и боеприпасы, но такие мысли не приходили.

Возница спрыгнул с саней, и вдвоем они положили меня поверх валенок, а минут через пятнадцать сгрузили в небольшом лесочке, где маскировался медсанбат. Положили на снег возле маленькой палатки, где санитар регистрировал поступающих раненых.

Медсанбат состоял из нескольких палаток, в каждой из которых могло разместиться человек по десять, и одной большой, на сорок человек, где было шесть операционных столов, процедурная и еще что-то. Близ этой палатки на лапнике или прямо на снегу лежали раненые, дожидаясь очереди в операционную. У другой палатки толпились легкораненые. То и дело машины увозили уже прошедших хирургическую обработку, а с передовой подвозили или приводили новых.

Санитар, регистрировавший прибывающих, отказался записать меня: своих некуда девать.

Шло сражение, в котором участвовали две армии. И каждая дивизия, каждый полк имели свои медсанбаты и медпункты, находившиеся в ближнем тылу своих частей. И каждый санитар знал, куда именно должен доставлять раненых. И это было правильно. Ни один госпиталь, кроме армейского, принимать людей из всех полков не мог. И не принимали. Конечно, были исключения, но только исключения.

Рымарь понять этого не мог. И мне не хотелось понимать такое.

— Не шути! — угрожающе приблизился к санитару Рымарь.— Два часа его жгут душит, сейчас начнется газовая гангрена.

— Не могу, дорогой,— спокойно ответил санитар.— Не имею права. Тут километра три, не больше — армейский госпиталь.

— Да ты дурак, что ли?! — разъярился Рымарь.— Да я сейчас все твои палатки разнесу!

— Это не трудно,— рассудительно заметил санитар,— на скорую руку поставлены, только они ж не пустые...

Метнув глазами по сторонам, Рымарь неожиданно убежал. У палатки остановилась санитарная машина: стали сгружать раненых. Бой, похоже, переместился — видимо, нашим удалось потеснить врага. Совсем близко разорвался снаряд, и санитар выругался. Ветер стих, крупными хлопьями пошел снег.

Из-за кустов вынырнул майор. Шел быстро, за ним Рымарь, жестикулируя, что-то доказывая. Когда приблизились к палатке, у которой я лежал, донеслась его фраза:

— Понимаете, не успел еще ТАСС разбить здесь свой полевой походный госпиталь.

Оказывается, он еще и остряк. Я все понял. Майор взглянул на меня и приказал санитару:

— Немедленно в операционную.

Мелькнула мысль: сказать бы надо — в ТАССе лишь совместитель, служу в другой части... Но меня уже укладывали на носилки, а майор, резко повернувшись, быстро зашагал. Дел у него хватало.

Через два дня в сортировочном госпитале предстояла первая перевязка. Врач предупредил: размачивать бинт на ноге нельзя, придется потерпеть.

Нога была забинтована от колена до бедра. По бинту можно было стучать, настолько он засох и отвердел. Стыдно признаваться, но что же теперь таиться. Когда взялись разбинтовывать, я начал кричать. Бинт трещал, будто его рвут, а ощущение, что сдирают кожу. Я не просто кричал, криком кричал, мешая врачу.

В белом халатике у изголовья сидела — не знаю, как сказать — девочка или девушка лет 16—17. Она была маленькая. Хорошенькая, как ангелочек. Днем работала на швейной фабрике, а вечерами, порой до поздней ночи, на общественных началах — в госпитале. Она держала мою руку и просила не кричать. Просила, как просят милостыню — жалобно и робко:

— Пожалуйста, я вас очень прошу, потерпите, ну, пожалуйста, я вам буду так благодарна.— И она вдруг расплакалась. Она так горько плакала, что я опешил. Сквозь слезы, всхлипывая, поглаживая мою руку и плечо, шептала: — У нас не стены — фанерные перегородки, и всюду — раненые, они все слышат, и от этого им больнее,— и снова залилась слезами. Она плакала, как плачут глубоко оскорбленные дети от бессилия ответить обидчику. Глядя на нее, такую беззащитную и нежную, с такой страшной силой переживающую боль совсем чужого человека, невозможно было оставаться безучастным к ее страданиям. Я перестал кричать. В это трудно поверить, но это так: последние витки бинта — самые болезненные, но боль притупилась. Ее приняла на себя эта девочка.

Годы меня не оставляло чувство долга перед ней. Все собирался поехать, найти, опубликовать очерк. Не сомневаюсь, она хорошо работает, ее любят люди. Да так и не выбрался. Не выполнил свой долг перед ней. Да разве только перед ней! В неоплатном долгу я перед Женей Кочетковой, перед Рымарем, которого так и не смог разыскать, перед майором из полевого госпиталя... Не перечислить. А Женя со смехом и искренне, даже удивленно говорит:

— Хотела бы я посмотреть, кто мог бы поступить иначе.

Может быть, и другие, кто помогал мне жить в ущерб себе не по приказу, а по внутреннему зову, тоже считают, что я ничем им не обязан.

Когда я думаю о Победе, передо мной встают люди, с которыми свели меня дороги войны. Во всех родах войск кровью своей они добывали победу. Одни падали, другие, сомкнувшись теснее, шли вперед. И я горд и счастлив, что всю войну прошел бок о бок с ними. Был среди них, когда дивизия, в которой служил после выхода из госпиталя, освобождала Витебск и Прибалтику, взламывала оборону Восточной Пруссии, штурмовала неприступный форт Королевы Луизы у стен Кенигсберга и форсировала большой Хинган. И жизнью своей я обязан им.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

ОЧЕРКИ

Аркадий Яковлевич Сахнин

ЧУЖИЕ ЛЮДИ

М., «Советский писатель», 1986, 480 стр.
План выпуска 1986 г. № 134

Редактор *О. Г. Маркова*

Худож. редактор *Е. И. Балашева*

Техн. редактор *Ф. Г. Шапиро*

Корректоры *Т. В. Малышева* и *Л. Н. Морозова*

ИБ № 5505

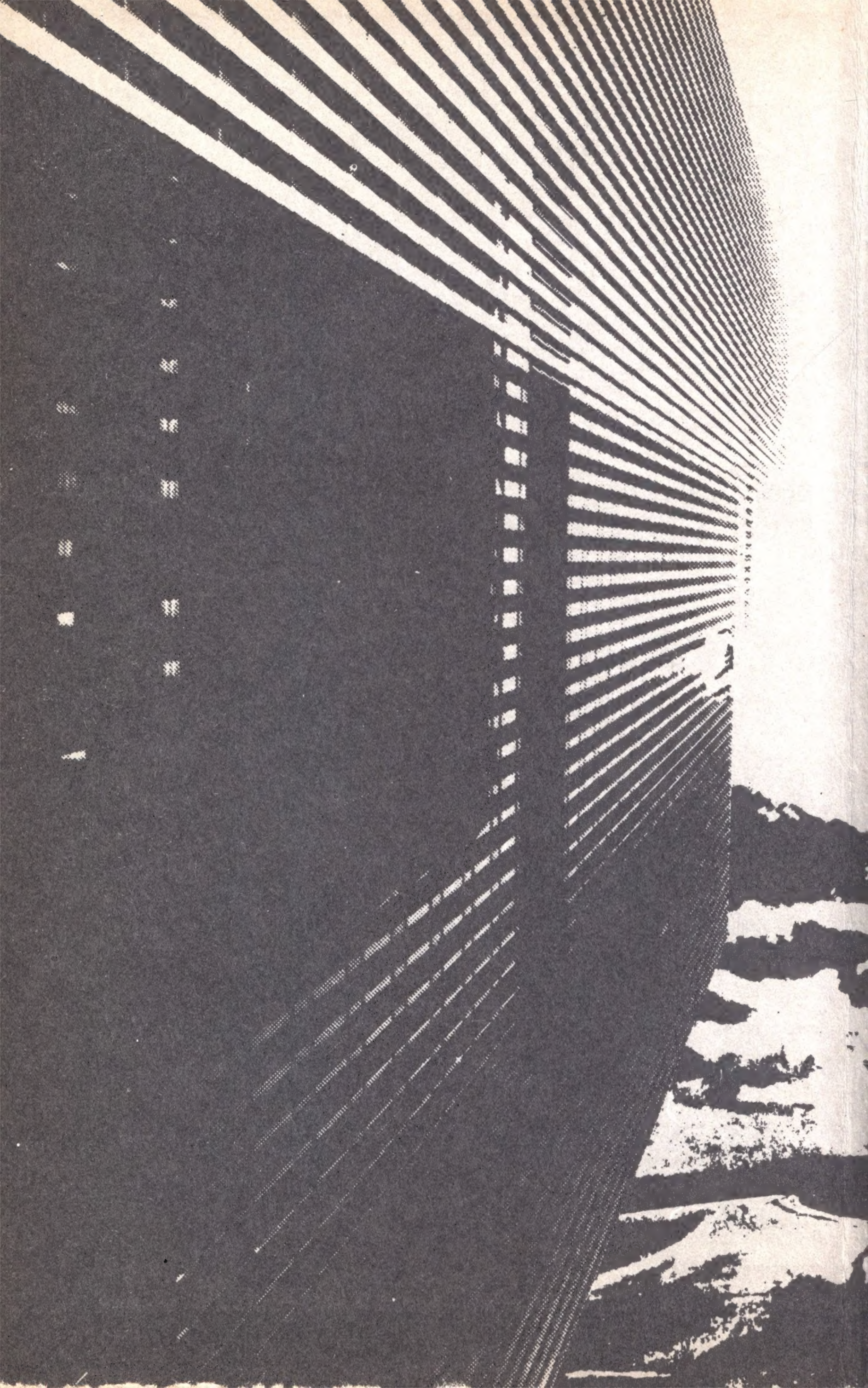
Сдано в набор 02.09.85. Подписано к печати 19.06.86. А 03444. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Балтика гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 26,93. Тираж 200 000 (1-й з-д 1—100 000 экз.). Заказ № 580. Цена 2 р. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

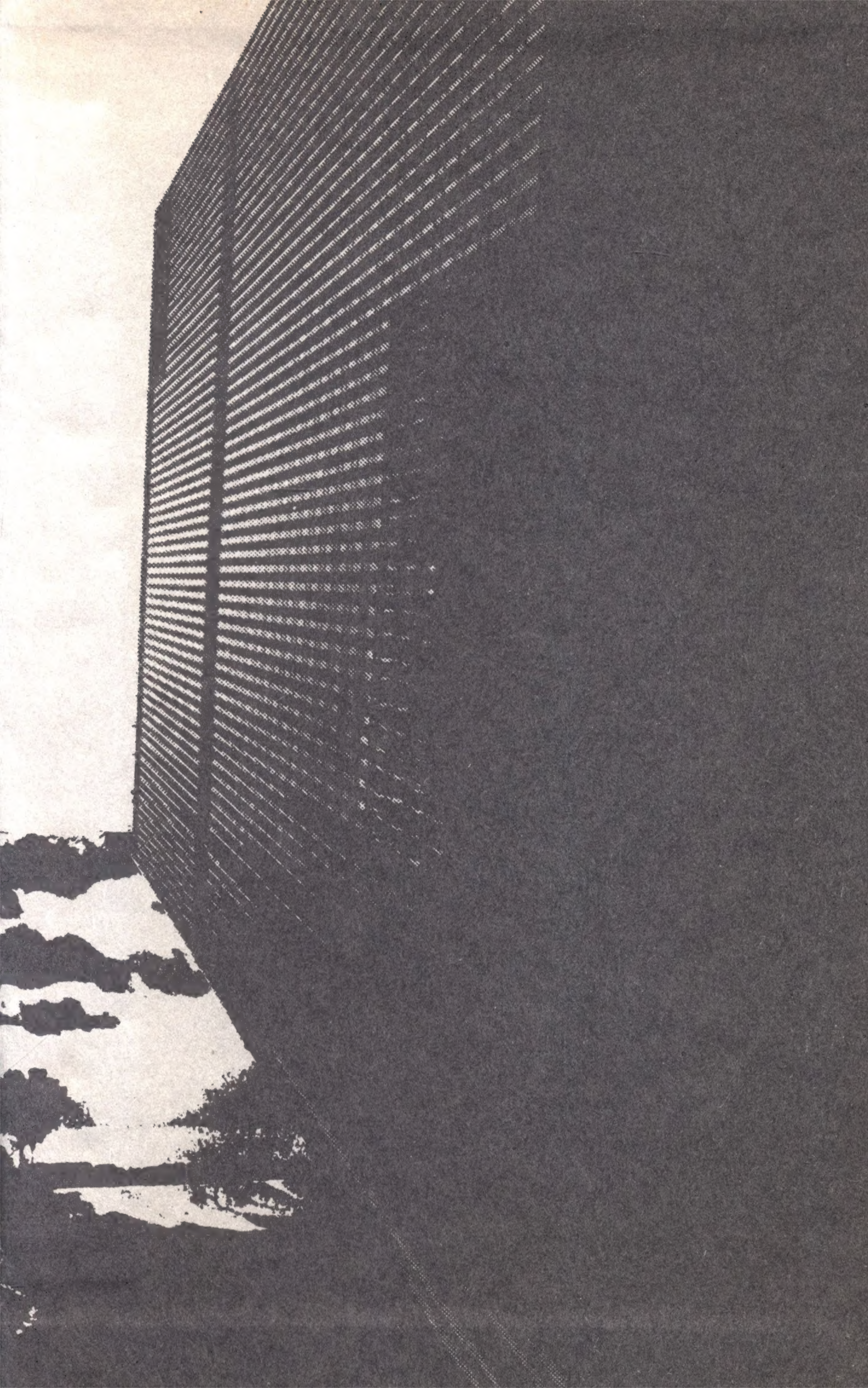
Сахнин А. Я.

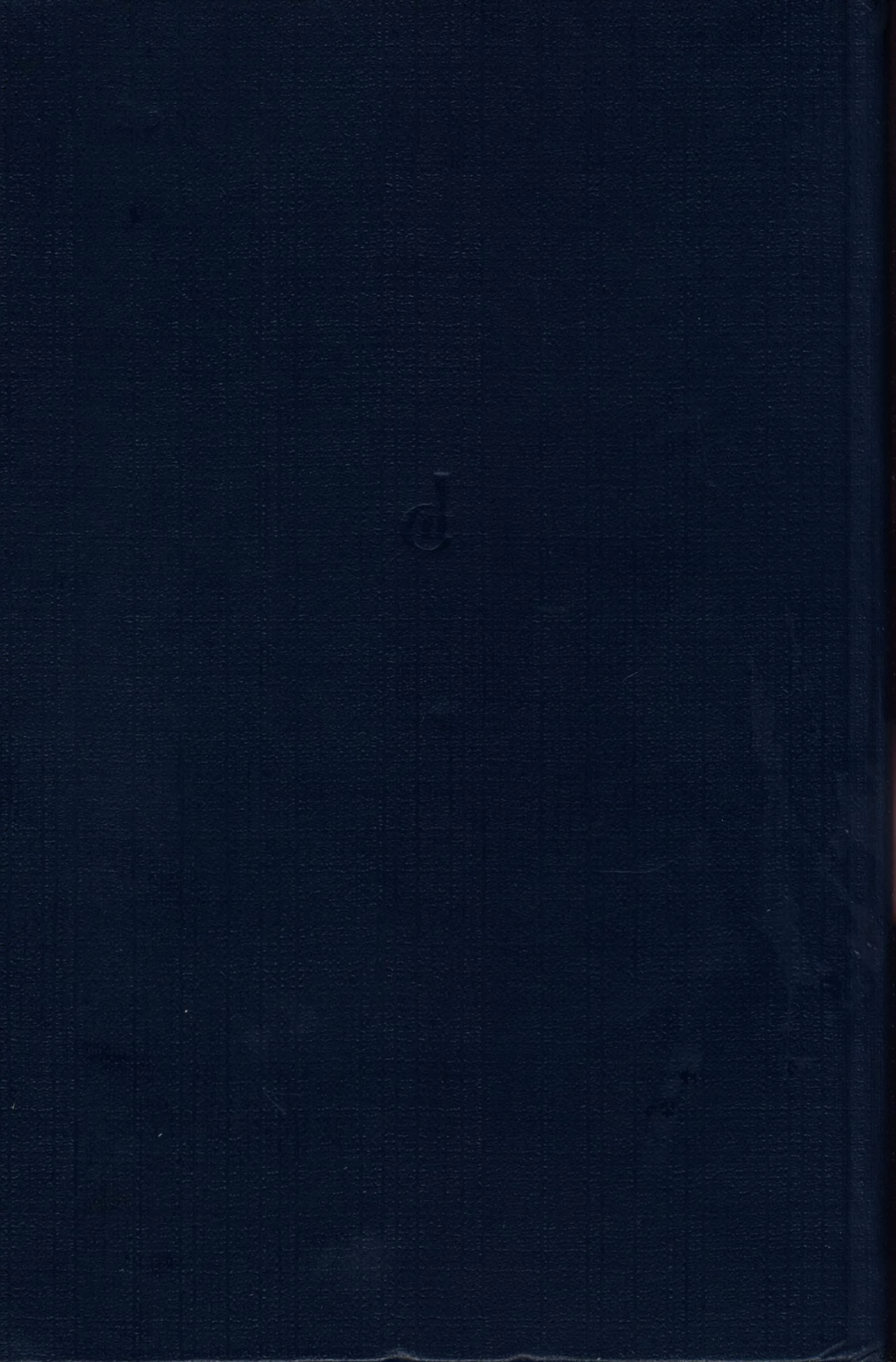
С 22 Чужие люди: Повести, очерки.— М.: Советский писатель, 1986.— 480 стр.

В книгу А. Сахнина вошли произведения, повествующие о героизме рабочего класса, о подвигах советских воинов в мирное время, повести, посвященные острым вопросам идеологической борьбы.

С $\frac{4702010200-267}{083(02)-86}$ 134—86 **ББК 84. Р7**







АРКАДИЙ САХНИН

ЧУЖИЕ ЛЮДИ